

В. И. КРЫЖАНОВСКАЯ-РОЧЕСТЕР

ДОЧЬ КОЛДУНА



Annotation

Книги Веры Крыжановской-Рочестер – то волшебное окно, через которое мы можем заглянуть в невидимый для нас мир Тайны, существующий рядом с нами.

Этот завораживающий мистический роман – о роковой любви и ревности, об извечном противостоянии Света и Тьмы, о борьбе божественных и дьявольских сил в человеческих душах.

Таинственный готический замок на проклятом острове, древнее проклятие, нависшее над поколениями его владельцев, и две женщины, что сошлись в неравном поединке за сердце любимого мужчины. Одна – простая любящая девушка, а другая – дочь колдуна, наделенная сверхъестественной властью и могущая управлять волей людей. Кто из них одержит верх? Что сильнее – бескорыстная любовь или темная страсть, беззаветная преданность или безумная жажда обладания?

- [Вера Ивановна Крыжановская-Рочестер](#)
 -
 - [Часть первая](#)
 -
 - [I](#)
 - [II](#)
 - [III](#)
 - [IV](#)
 - [V](#)
 - [VI](#)
 - [VII](#)
 - [VIII](#)
 - [IX](#)
 - [XI](#)
 - [XII](#)
 - [XIII](#)
 - [XIV](#)
 - [XV](#)
 - [XVI](#)
 - [XVII](#)

- XVIII
 - Часть вторая
 -
 - I
 - II
 - III
 - IV
 - V
 - VI
 - VII
 - notes
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
-

Вера Ивановна Крыжановская-Рочестер

Дочь колдуна

*Издательство
выражает
благодарность
коллекционеру Сергееву
Вячеславу
Александровичу (г.
Иваново) за участие в
подготовке издания*

*«Ты это делал, и Я
молчал: ты подумал, что
Я такой же, как ты.
Изобличу тебя, и пред
глаза твои представлю
(грехи твои).*

Пс. 49, 21.

*«Мудрость – пред
лицом умного, но в
глазах безумного – на
конце мира».*

Притч. 17, 34.

Часть первая

«La religion dit:
croyez et vous
comprenez. La science
vient vous dire:
comprenez et vous
croirez».

J. de Maistre. [\[1\]](#)

I

– Итак, значит, ты не хочешь положительно здесь оставаться, Иван Андреевич? Признаюсь, твое решение меня огорчает. Я надеялся, что ты пробудешь у нас хоть с месяц.

– Нет, Филипп Николаевич. Я и приехал-то, главным образом, чтобы убедить вас всех уехать из этого злополучного места, внушающего мне страх и отвращение.

Иван Андреевич был старый, заслуженный моряк. Его красивое и энергичное лицо обрамляла белоснежная седая борода; в больших серых, грустных глазах и складках рта таилось выражение горечи, указывавшей, что жизнь не избавила его от борьбы и разочарований.

– Ах, крестный, останься, прошу тебя!.. Погляди, как здесь хорошо, какой чудный вид, какой чистый, живительный воздух, – вмешалась сидевшая невдалеке молодая девушка.

Отодвинув тарелку с земляникой, она подбежала к нему и, по-приятельски повернув его, указала на расстилавшийся перед ними вид, в самом деле живописный.

Дом стоял на возвышенности; у ее подножия дремало озеро и на нем зеленел густо заросший остров, а сквозь кудрявую листву деревьев выглядывала остроконечная крыша какого-то здания. Темный лес опоясывал вдали горизонт и лишь с одной стороны виднелось вдали селение и голубой купол сельской церкви.

Разговор происходил на просторной террасе, уставленной цветами и растениями. Лестница в десять ступеней вела в сад, а дальше шел спуск к озеру. За богато уставленным хрусталем и серебром столом, украшенным большой вазой с цветами, сидели: хозяин дома, его жена, дочь Надя, ее крестный и старый, почтенный священник. В саду, у подножия лестницы, играли в серсо мальчик лет тринадцати и семилетняя девочка.

Хозяин дома, Филипп Николаевич Замятин, состоял директором большого банка в Киеве. Хотя ему и перевалило за пятьдесят, но это был человек полный сил. Жена его, Зоя Иосифовна, дочь крупного сахарозаводчика, принесла ему в приданое большое состояние, и богатый гостеприимный дом любезного Филиппа Николаевича, весьма чтимого за высокую честность и хлебосольство, всегда охотно посещался лучшим обществом. Имение, в котором в данное время проживали Замятины, Горки, досталось Филиппу Николаевичу в наследство. Барский дом,

необитаемый перед тем много лет, был заново отремонтирован и всего недели две, как прибыла семья, чтобы лично посмотреть за приведением в порядок заброшенного и запущенного хозяйства.

– Ну, крестный, не права я? Разве один этот вид не заслуживает того, чтобы ты остался у нас, а не поддавался суеверным воззрениям, странным, по правде говоря, в наш просвещенный век. В самом деле, почему одно место злополучнее другого? – лукаво глядя на адмирала, говорила Надя.

– Надя права. Ты должен быть выше всех этих бабьих сказок, Иван Андреевич, – поддержал хозяин дочь.

– Я понимаю, тебя огорчает трагическая кончина Маруси, – продолжал он. – Но, вместо какого-то *окультурного* влияния, не естественнее ли предположить, что на ее рассудок повлияли два столь сильных душевных потрясения, как отчаяние после потери жениха и изумление при виде его живым. Кроме того, и внезапная смерть этого болвана, Красинского, тоже могла вредно отозваться на ее молодой впечатлительной натуре.

– Если бы ты видел *то*, что я видел, и знал бы все странные обстоятельства, сопровождавшие кончину Маруси, ты изменил бы свой взгляд. Что место злополучно, вообще, и что дом – там на островке, – видел много кое-чего, о чем современные ученые даже не подозревают, это тебе подтвердит отец Тимон.

– Ах, батюшка, пожалуйста, расскажите, что вам известно про тот дом. Кто его строил и что там происходило? Я жажду его осмотреть и, как только лодка будет починена, непременно съезжу с Михаилом Дмитриевичем в этот *таинственный* дом, который дразнит любопытство своими островерхими башенками, словно «замок Спящей красавицы».

Надя под села к священнику и стала его упрашивать поделиться сведениями о беспокойном доме.

– Что ж, я охотно расскажу все, что мне известно. Однако, рассказ мой, к сожалению, подтвердит лишь справедливость того отвращения, которое питает к здешним местам его превосходительство, – указывая на адмирала, со вздохом сожаления ответил старик.

Он задумался на мгновение, всматриваясь в островок, красовавшийся над гладью озера, подобно букету зелени.

– Самого строителя того замка на острове я не знавал; а вот предместник мой, отец Порфирий, сказывал, что владелец Горок приступил к его постройке по возвращении из долгого путешествия по чужим краям. Привез он в ту пору с собой итальянца, как говорили, архитектора; а рабочие стояли на том, что, кроме того, он-де колдун, потому за ним всегда ходил по пятам черный пес, с человеческими как бы глазами,

которого все боялись. Болтали также, что у итальянца будто глаз дурной, и что когда этот гадкий черный, приземистый человечиска проходил мимо и смотрел на что-нибудь своими хитрыми, злыми глазами, то непременно случалась беда: ребяташки хворали, скотина падала, а не то пожар случался. Так что, под конец, трудно стало находить работников; люди бежали прочь, как только издали, бывало, завидят итальянца. Особенно худая слава пошла с тех пор, как помещик не освятил дом после окончания постройки. Потом разнесся слух, что итальянец помер и схоронен на острове. А затем пошли толки, будто на острове что-то неладное делается: огни-де промеж деревьев вспыхивают по ночам, а то собака отчаянно воет; одним словом, на деревне была паника. Да и сам барин странноват стал: со дня на день худел и от людей сторонился; а полгода спустя его нашли мертвым в постели.

Поселился тут его сын с женой и сыном, мальчуганом лет тринадцати-четырнадцати. Перед тем незадолго я был сюда назначен священствовать и многократно видывал Павла Павловича Изотова. Сначала он веселый такой был и общительный; по окрестным помещикам ездил, у себя принимал и охотился; а потом вдруг домоседом вовсе сделался. Стали поговаривать, что он дни и ночи просиживает за чтением отцовских книг и бумаг; а как его супруга скоропостижно скончалась от разрыва сердца, то он и вовсе на остров перебрался. Через несколько месяцев, однако, он уехал в чужие края и сына Николая с собой увез, так мне и не довелось с ним больше свидеться.

Почти пятнадцать лет минуло, и никто из владельцев не показывался в Горках. Дом стоял заколоченным и за ним присматривали старый дворецкий Фома с женой. А на острове и подавно ничьей ноги не бывало. Павел Павлович при отъезде настрого запретил до чего-либо касаться в замке...

Шел студеный декабрь, и выдалась как-то бурная ночь; ветер свистел и выл в поле, колотя снегом в окна; стоял трескучий мороз градусов до двадцати с лишком. Жил я еще тогда в старом церковном доме, теперь уже не существующем, и только что схоронил бедную жену. Горечь утраты тяжело легла мне на душу и я, чтобы разогнать тоску, работал почти до глубокой ночи. Заработался я раз так за полночь, как вдруг слышу – колокольцы да бубенцы звенят и будто у дома остановились.

– Господи, Боже мой!.. Должно, за мной приехали к больному, – подумал я. Потом застучали во входную дверь и слышу я в сенях разговор работника с работницей, осерчавших, что их ночью подняли. Вышел я, приказал им открыть дверь и вижу перед собой засыпанного снегом

ямщика, которого какой-то барин нанял в Горки.

– А уж что с ним приключилось по дороге и ума не приложу, – рассказывал ямщик. – Жив он или помер, – не знаю. Да непогодь такая стоит, что свету Божьего не видать. Вот я сюда и завернул к тебе, батюшка, помощи просить.

Осветил я фонарем внутри кибитки и вижу: откинувшись на подушках лежит с закрытыми глазами смертельно бледный молодой человек, который если еще и не умер, то, несомненно, тяжело болен. Барин, очевидно, богатый, судя по дорогой шубе и роскошным сундучку да двум дорожным мешкам. Во всяком случае, было явно невозможно тащить его две версты, да еще в такой буря. Я приказал перенести его в комнату покойной жены, в которой не жил по причине грустных для меня воспоминаний. Незнакомца уложили, и я оказал ему помощь. Он открыл глаза, но был настолько слаб, что еле мог говорить. По его указанию я вынул из дорожного мешка пузырек с каплями, которые он принял и заснул. Лицо его, несмотря на изнуренный и болезненный вид показалось мне знакомым; однако сразу я никак не мог припомнить, где и когда его видел. На другой день больной достаточно оправился, чтобы объясниться, и я, к великому удивлению своему, узнал, что мой гость – Николай Павлович Изотов, владелец Горок, а что отец его скончался года за четыре перед тем.

Он собрался было немедленно ехать в имение, но я разубедил его поселиться сразу в доме, необитаемом столько лет, и предложил, что съезжу раньше сам, дабы распорядиться истопить печи, прибрать две-три комнаты, а в помощь старому дворецкому решил определить на кухню Марфу, сестру моей работницы, ввиду того, что жена Фомы хворала.

Николай Павлович поблагодарил, согласился с моими доводами, и я уехал. Старый дворецкий был в восторге увидеть молодого барина, которого носил когда-то на руках, и бросился хлопотать. Кроме Марфы, мы взяли еще работника с работницей и стали приводить дом в порядок.

Печи были вытоплены, пыль всюду стерта, с мебели и картин сняты были чехлы и постланы ковры; словом, через несколько часов помещение в три комнаты оказалось готовым. Выбрали мы для Николая Павловича комнаты покойной его матушки, которые выходили окнами в сад. Фома сказывал, что там все осталось, как было при покойной барыне; после похорон Павел Павлович лично их замкнул, и с тех пор ничьей ноги там не бывало; потому сам он в тот же вечер перебрался уже на остров. Когда я вернулся с вестью, что все готово, Николай Павлович горячо меня поблагодарил и просил проводить его, потому что хотел ехать немедленно.

Вид освещенного дома глубоко взволновал и даже обрадовал как будто

больного; но он был так слаб, что мы с Фомой вели его под руки.

– А, это мамыны комнаты вы мне приготовили! – взволнованным голосом сказал он.

Но едва вошли мы в спальню, как Николай Павлович остановился, точно вкопанный, и уставился на висевший в углу образ Божией Матери, перед которым Марфа зажгла лампаду. Мы подумали, что он перекреститься хочет; а тут вдруг лицо его потемнело, рот перекосило и в глазах вспыхнул безумный ужас.

– Вон!.. Вон! – не своим голосом закричал он.

И с пеной у рта Николай Павлович повалился замертво нам на руки. В этот миг массивный киот сорвался со стены и упал, а лампада с треском потухла. Нас даже дрожь прохватила, и мы оторопели от ужаса. Николай Павлович был уложен в постель, а икона вынесена в дальнюю комнату.

– Господи милостивый! Знать, баринова-то душа проклята... Я видел, будто бы черная тень метнулась к образу, – сказал Фома, вытирая стекла у киота, оставшиеся случайно целыми.

Когда я вернулся к больному, он уже пришел в себя. Привстав на подушках, он дико взглянул на пустой угол, где теперь висела только паутина, и, поманив меня к себе, еле слышно прошептал:

– Велите их немедленно вынести... все... на гостиную половину... А еще лучше возьмите в церковь... Я вам их дарю...

С трудом подавив пробудившееся во мне от этих слов отвращение, я не удержался, чтобы не заметить:

– Тяжкие, должно быть, грехи лежат у вас на совести, коли даже один вид нашей Небесной Заступницы внушает вам ужас.

Никогда не забуду того выражения муки и отчаяния, которое отразилось у него на лице.

– Не могу... Я задыхаюсь, когда Ее вижу, – пробормотал он.

Мне стало глубоко жаль этого одинокого, больного и несчастного, видимо, человека. Я обещал исполнить его желание и увезти иконы. На прощанье он схватил мою руку, судорожно сжал ее и отрывисто пробормотал:

– Если я вас позову, отец Тимон, приедете ли вы к моему смертному одру, чтобы поддержать меня в тяжелую минуту и, может быть, даже спасти?

Несмотря на внутреннее содрогание, я обещал исполнить его просьбу и затем вышел, чтобы собрать и увезти образа. В прихожей собралась вся прислуга, ожидавшая моего выхода и объявившая, что не желает оставаться дольше в таком доме и служить «проклятому». Ну я их пристыдил,

растолковал, что бесчеловечно бросать больного человека, может статья, просто умалишенного, и обещал крупное вознаграждение. Под конец они обещали остаться. Тогда я вернулся к Николаю Павловичу и осторожно объяснил ему настроение прислуги. Его это страшно поразило, но он, не возражая, вручил мне тотчас же значительную сумму, которую я раздал людям, а затем уехал домой.

– Недели три ничего не было слышно про Николая Павловича, – продолжал отец Тимон. – Как-то после обеда возвращаюсь я с требы из окрестности и вижу: у ворот сани стоят, а кучер доложил, что из Горок приехал и письмо подал. Письмо было от Николая Павловича, который напоминал мне мое обещание и умолял приехать к нему, так как чувствовал приближение смерти и желал переговорить. Я долго не мог решиться и, сознаюсь, согласился ехать в Горки скрепя сердце, в надежде, что в последнюю минуту, может быть, несчастный воротится к Богу. Но одному мне ехать все-таки не хотелось, и я позвал с собой отца диакона. Итак, мы отправились; но по пути я с неудовольствием и даже тревогой заметил, что везли нас не в усадьбу, а по льду, прямо на остров. В прихожей нас встретили растерянные Фома с Марфой, которые заявили с ужасом, что две недели тому назад барин переехал в заклятый дом, где «бесчинствует нечистая сила». По ночам странный идет шум, двери с треском сами собой открываются и закрываются; без всякой причины вдруг тухнут огни, а рядом с бариновой комнатой слышится звон посуды, хохот и дикое пение. Фома же утверждал, кроме того, что какой-то черный человек с рогами пытался даже задушить его, когда он раз, во время поднявшейся кутерьмы, начал читать «Да воскреснет Бог».

– Каждый день он нам деньги дает и все просит не покидать его, а нам невтерпеж. Ух, больно жутко! Дай-то Бог, чтобы он хоть помер поскорей, – сказал мне испуганный и бледный Фома.

– Неужели больному так плохо? – спросил я.

– Встал он и ходит, а только уж смерть на лице написана, – ответили люди.

Попросив отца диакона обождать, я один вошел в спальню, где Николай Павлович сидел, одетый, в кресле за столом посреди комнаты. Его мертвенно-бледное, безжизненное лицо и ввалившиеся глаза поселили во мне твердое убеждение, что передо мной умирающий. По всем вероятностям, темнота страшила его, и потому на столе горели два канделябра по пяти свечей; из большой вазы со льдом торчала бутылка шампанского и под рукой стоял полуотпитый бокал с вином.

– Что же это такое? Вы обращаетесь за помощью к церкви, я прихожу

со Святыми Дарами, чтобы спасти вас в смертный час, а вы тут шампанское распиваете? – неодобрительно сказал я.

– Это, батюшка, чтобы придать себе сил немножко и мужества; чтобы заглушить гнетущую меня тоску, – тихим голосом ответил он, пугливо оглядываясь. Потом он неожиданно схватил мои руки и крепко сжал их. – Не оставляйте меня, отец Тимон, – умоляюще сказал он. – Я чувствую, что конец близок и меня некому защитить от грозного *властелина*, которого я сам избрал себе... – и он грустно поник головой. – Но вы служитель Того, чье Имя я не смею даже произнести. Ведь под ваш же кров неудержимо привела меня судьба, когда я только что сюда прибыл... Может быть, вы будете мне якорем спасения, моим единственным защитником и вырвете мою душу...

Николай Павлович волновался и замолчал, с трудом дыша, но потом продолжал:

– Только хватит ли у вас, батюшка, силы и мужества выдержать страшную борьбу *с адом*? Ужасны преступления мои, и силы зла не захотят выпустить меня...

Мне стало жутко... Но мог ли я, служитель Бога, отказать в помощи несчастному, кающемуся грешнику? Я ответил поэтому, что сделаю все от меня зависящее, употреблю все силы, дарованные мне церковью и моей непоколебимой верой, чтобы спасти его от гибели, и приступил к исповеди.

Николай Павлович преклонил колени и тихо, но ясно стал каяться.

Боже упаси каждого выслушивать подобное сплетение всяких мерзостей, кощунств и богохульств. Меня пробирала холодная дрожь...

Тут я заметил, однако, что всякий раз, как я осенял себя, невольно почти, крестным знаменем, по стенам пробегал словно треск, порывы ледяного, смрадного воздуха проносились по комнате, а Николай Павлович вздрагивал, будто под ударом бича. Страшные признания подходили уже к концу, и я взял крест, как пробил полночь.

Но не успел я прочесть отпущение, как раздался пронзительный свист; черный шар вылетел из камина и завертелся между мной и Николаем Павловичем, треща и меча снопы искр. Раздался громкий взрыв и шар лопнул, а из него спиралью повалил черный дым. Я, немой от ужаса, увидел, что из клубов дыма вынырнул черный человек с парой рогов на всклокоченной голове и с такими дьявольски злыми глазами, что о сию пору не могу вспоминать про них без дрожи. Я оцепенел, а вошедший диакон словно обезумел; у него волосы встали дыбом и он невольно поднял в руках Евангелие, ограждая им себя, как щитом. Дьявольское отродье

подняло с угрозой свою мохнатую с длинными, крючковатыми пальцами руку, и я отчетливо услышал:

– Не охраняй тебя *то*, что у тебя – на груди, твой последний час пробил бы. – А ты, изменник, презренный отступник, – обратился он к Николаю Павловичу, – ты заплатишься за свое вероломство!

Он бросился на упавшего на пол Изотова, и мне показалось, что вокруг закопошились разные безобразные гады, которые ползали, летали и цеплялись за него. Я еще видел, как диакон упал без чувств, а затем, уже в паническом ужасе, кинулся вон из комнаты и, добежав до прихожей, где Фома с Марфой забились от страха в угол, сам лишился сознания...

Священник умолк, охваченный тяжелыми воспоминаниями, и забыл как будто про окружающее. Под впечатлением описанного слушатели тоже молчали; но Надя, с любопытством и трепетом следившая за рассказом, не выдержала долго томительного молчания и, спустя некоторое время, тронула священника за руку.

– Ну же, отец Тимон. Что же потом было?

– Потом?... – и он провел рукой по лицу. – Что произошло потом – тоже в достаточной мере загадочно и мрачно. Так вот, когда я пришел в себя, уже брезжило утро. Мое забытие длилось несколько часов, и я чувствовал себя совершенно разбитым. Узнав, однако, что диакон не показывался, я собрался с духом и, горячо помолившись, пошел в страшную комнату. Диакон открыл глаза в ту минуту, как я входил; но волосы его поседел и мне пришлось вывести беднягу под руки. Николай Павлович скончался, и скорченное его тело валялось на полу; вздувшееся и потемневшее лицо было ужасно, а стеклянные, широко открытые глаза выходили из орбит, точно он был задушен.

По возвращении домой нас ожидало несчастье. Ночью вспыхнул пожар, и церковные дома, мой и диаконов, сгорели дотла. Вся округа пришла в волнение, и когда зашел вопрос о погребении Изотова на нашем кладбище, мужики этому воспротивились, не желая иметь «проклятого» у себя на погосте; так что Николая Павловича схоронили на островке, где уже ни одна живая душа не хотела более оставаться... А некоторое время спустя прибыл новый владелец, Петр Петрович Хонин.

Это был барин добрый: он и церковные дома для причта на свой счет отстроил, и денег дал на поправку; но он являлся уже человеком совсем иного склада ума. Будучи закоренелым скептиком, он не только не дал веры всему, что здесь происходило, но даже говорить о том заказал. Съездив однажды на островок и увидев, что на могиле Николая Павловича ничего нет кроме холмика земли без креста, он воздвиг монумент: мраморную

плиту с большим крестом. Но вот, накануне освящения памятника, разразилась страшная гроза; не запомню даже, видел ли я когда-нибудь такие яркие молнии и слышал ли подобные громовые раскаты. Гроза эта тогда много бед наделала. На острове буря опрокинула и разбила крест мраморный; в плиту же ударила, должно быть, молния, потому что металлические буквы надписи сплывились, а мрамор так страшно изуродовало, что линии образовали будто два скрещенных треугольника. Впоследствии я узнал, что подобный знак – кабалистический символ.

На окрестных жителей этот случай произвел глубокое впечатление. А что подумал Петр Петрович – не знаю, но только он монумента уже не возобновлял и велел лишь убрать обломки креста...

Настало снова молчание. Рассказ священника всех, видимо, глубоко поразил. Адмирал задумчиво и хмуро глядел на озеро, с которого поднимался белесоватый туман, густевший и волновавшийся на ветру.

– Пойдемте в дом, друзья, становится сыро, – вдруг сказал он. – Мой ревматизм этого не выносит, а здесь я особенно не люблю оставаться снаружи, когда поднимается туман. Мне все кажется, что из-за сероватой дымки вынырнет белокурая головка несчастной Маруси, и эта мысль оживляет во мне далекие, но тяжелые воспоминания. А сегодня рассказ отца Тимона еще более усугубил это впечатление.

Никто ему не возражал, и, кликнув детей, все вернулись в гостиную. Священник скоро простился и ушел, а семья осталась одна, но оживленный разговор не вялся.

– Иван Андреевич, – сказала вдруг Замятина, – не расскажешь ли и ты нам истинную историю происшествия с бедной Марусей. Муж говорит, что жених ее утонул, и затем молодому врачу удалось вернуть его к жизни, но зато сам доктор умер внезапно от разрыва сердца. Это двойное несчастье вызвало такое волнение и произвело столь подавляющее впечатление, что бедная женщина лишилась рассудка и утопилась в припадке безумия. Но ты знаешь, несомненно, все подробности этой грустной истории. Мне очень хотелось бы знать правду, потому что в моей голове как-то не укладывается, чтобы такой случай, как бы зловец он ни был, имел «сверхъестественную» подкладку. Между тем и ты, и отец Тимон, вы как будто это допускаете.

– Слово «сверхъестественное» довольно растяжимо, милая кузина. Лет сто тому назад и электричество в человеческом обиходе показалось бы *сверхъестественным*. Но я держусь того убеждения, что существует еще много нам неизвестных законов природы, которые кое-кто изучил и умеет применять; а эти неведомые пока силы могут быть благодетельными или

зловредными, смотря как ими пользоваться, вот и все. Но я охотно расскажу, что знаю об истории Маруси, тем более, что я был очевидцем главного происшествия с женихом. Едучи сюда, я захватил с собой даже мой дневник того времени и перечту его, а завтра опишу вам все, что случилось.

– Ах, как я тебе буду благодарна, милый крестный! – вскричала Надя, бросаясь обнимать его. – Меня очень заинтересовала эта Маруся с тех пор, как я видела ее портрет. Она должна была быть обворожительна с ее пепельными волнами волос и чудными голубыми глазами.

– Да, это была обаятельная девушка, и правосудие небесное не оставит, конечно, безнаказанными тех, которые преступно разбили ее жизнь, – взволнованно ответил адмирал. – Значит, завтра я вам и расскажу, – прибавил он. – А пока оставим это грустное происшествие.

Они заговорили о другом; но, тем не менее, выслушанный перед тем рассказ священника произвел на всех сильное впечатление, и семья разошлась позже обыкновенного.

II

На следующий день выпало ненастье; дождь лил, как из ведра, и нельзя было показаться из дому. После обеда вся семья сидела в маленькой гостиной. Надя разливала кофе и, подавая чашку крестному, влила в нее рюмочку коньяку.

– Для храбрости, – лукаво пояснила она. Адмирал с улыбкой потрепал ее по щечке.

– А я так думаю, что тебе храбрости потребуется больше моего. Будь готова услышать вещи не только необыкновенные, но даже страшные.

– Тем лучше, тем лучше, крестный. Я обожаю все «страшное» и «таинственное», что бросает в дрожь, – ответила Надя.

Она сбегала за вышиванием и уселась затем подле адмирала, который задумчиво перелистывал принесенную с собой толстую тетрадь. Наконец адмирал захлопнул рукопись и, после некоторого молчания, начал:

– Тому, что я буду вам описывать, друзья мои, минуло четверть века. В ту пору я был юным офицером. Должен пояснить, что со мной вместе был произведен мой лучший друг Вячеслав Тураев, которого я любил, как брата, да и действительно считал таковым. Мы воспитывались вместе; отец его был моим опекуном, а его мать, после одновременной почти смерти моих родителей, приняла меня под свое покровительство и окружила такой любовью, что я никогда не чувствовал себя сиротой. Счастливые и гордые нашим офицерством, мы совместно обсуждали план заграничного путешествия, когда получено было письмо от Петра Петровича, пригласившего нас провести у него в Горках наш отпуск. Вместе с тем, он писал, что взял из института свою единственную дочь, Марусю, и потому надеялся, что молодежь у него не соскучится. Петр Петрович был старым другом нашей семьи, и мы еще в детстве неоднократно бывали у него, а потому его приглашение нас очень обрадовало. В гостеприимном доме Хонина всегда было весело, а потому все прочие планы были оставлены и через несколько дней мы выехали в Горки. Петр Петрович был вдов и всю свою любовь отдал Марусе, которая вполне заслуживала, впрочем, страстное обожание отца не только своей красотой, но и своим превосходным, мягким характером. Не прошло и недели, как мы оба были без ума от обаятельной девушки и ухаживали за ней напропалую. Но скоро, к великому моему сожалению, я заметил, что пальма первенства отдавалась моему другу. Маруся была чересчур откровенна и неиспорченна, чтобы

хитрить и скрывать свое предпочтение. Недели через три Тураев сделал предложение, а Маруся объявила отцу, что никогда не выйдет ни за кого другого, как за Вячеслава, и Петр Петрович благодушно принял предложение. Да и в самом деле, что можно было сказать против такого жениха? Вячеслав был богат, независим, хорош собой и чудного нрава. Впрочем, Петр Петрович поставил условием, чтобы Вячеслав бросил морскую службу.

– Я не желаю, чтобы у моей дочери всегда были глаза заплаканы, или нервные припадки при каждой буре, пока вы там будете бродить вокруг света, – объявил он.

И Маруся поддержала отца.

– Я не могу верить мое счастье лукавым волнам океана, – с любящим взглядом сказала она, пожимая руку Вячеслава.

Ну, а мой приятель был слишком влюблен, чтобы противиться, и признался со смехом, что готов быть хоть сапожником, лишь бы жениться на Марусе. Для меня же настало тяжелое время. Это было первое мучительное испытание в жизни. Сердце и самолюбие были одинаково уязвлены, и только гордость давала силу скрывать свое поражение.

А жизнь в Горках текла весело. Ежедневно совершались поездки в окрестности; между прочим, мы посетили дом на острове, прозванный в народе «Чертовым гнездом».

– И что же, какое он произвел на вас всех впечатление? – перебила Надя, со страхом и любопытством слушавшая его.

– Дом каменный, в готическом стиле, с тремя башенками, островерхие крыши которого видны отсюда из зелени, – ответил адмирал. – Все здание серого, почти черного цвета, с узкими окнами. Массивный подъезд производит сразу мрачное впечатление, а окружающие деревья дают густую тень и еще более усиливают жуткое чувство, по крайней мере летом, – прибавил Иван Андреевич. – Но я возвращаюсь к моему рассказу.

– Обручение Маруси с Вячеславом отпраздновано было большим *bal champêtre*.^[2] К этому времени было получено письмо от Кати Тутенберг, которую прежде опекал Петр Петрович, и та просила позволения провести в Горках несколько недель с женихом, молодым врачом, Казимиром Красинским.

– Если не ошибаюсь, насчет этого Красинского бродили всевозможные сказки, да и сам он похвалялся, что приходится сродни черту. Старуха Афросинья, бывшая экономка Петра Петровича, рассказывает по этому поводу совершенно невероятные истории...

– А я так думаю, что она просто чуточку рехнулась от старости, – с

улыбкой вмешалась Зоя Иосифовна.

– Что он хвастался будто бы родством своим с дьяволом – преувеличено, разумеется; но что в его семье существовало подобное предание, – совершенно справедливо. Вот, что он сам рассказывал по этому поводу. В те времена, когда еще жив был знаменитый кудесник Твардовский, одна из дочерей знатного и богатого пана влюбилась в мелкопоместного шляхтича Красинского, служившего у ее отца. Отец девушки отказал, разумеется, наотрез и с позором изгнал претендента, а с дочерью обошелся жестоко, грозя упрятать ее в монастырь; но барышня была настойчивая и предприимчивая. Воспользовавшись пребыванием семьи в Кракове, она решила побывать у пресловутого пана Твардовского и просить его содействия, чтобы сломить сопротивление отца против брака ее с любимым человеком. А добиться свидания со страшным колдуном, перед которым трепетала вся страна, было нелегким делом. Но панна Урсула не смутилась и достигла цели: Твардовский ее принял. Что случилось потом – неизвестно. Влюбился ли колдун в прекрасную польку, или он пожертвовал ее своему *повелителю*-сатане, которого принимал у себя и с которым, согласно легенде, был в постоянных сношениях, так или иначе, Урсула пропадала в течение трех дней. Но после этого она походила на тень прежней разбитной девочки, а ее черные волосы поседели. Переговорив с дочерью, вельможный пан тоже вдруг осунулся, всецело отдался религии и разрешил дочери выход замуж за любимого человека. Свадьба вскоре была отпразднована, и новобрачные поселились в поместье, данном в приданое Урсуле. Там она произвела на свет мальчика, у которого были рожки и даже хвостик, пальца в два. Мучимая стыдом, Урсула скрытно воспитывала своего ублюдка, а затем поместила его в монастырь, настоятелем которого был их родственник. Но этот дьяволенок унаследовал, должно быть, предприимчивость матери: он отличился на войне, женился под конец на богатой и стал родоначальником тех Красинских, последним представителем которых и был жених Кати Тутенберг.

– Боже мой! Вот так вкус был у этой девицы, если она решилась выйти за человека с рогами и хвостом, за демона! – содрогаясь, вскрикнула Надя.

– Предание гласит, что он был красивым малым, а густые волосы вполне скрывали рога, – улыбаясь, ответил адмирал. – Кроме того, его мать оставила ему в наследство перстень, который подарил ей Твардовский, и это магическое кольцо давало власть над адскими духами.

– Как жаль, что этого кольца больше нет, – пожалела Надя.

– Да нет же, оно существует и сохранялось в семье из поколения в

поколение; оно было и у Казимира Красинского. Я видел это волшебное кольцо, знаю силу его и могу только сказать, что оно излечило меня от скептицизма. Я убедился в существовании «сверхъестественного» и сил зла; с той поры я уже не зову бессмысленным термином народного «предрассудка» или «суеверия» все то, что мне непонятно.

– Но, слушайте дальше. Добрейший и гостеприимный Петр Петрович тотчас же ответил своей бывшей опекаемой, что она с женихом будут желанными гостями в Горках, Катю Тутенберг я знал с детства; она не была хороша собой, но свежа и плотно сложена. После совершеннолетия она отправилась в Париж учиться, а что она делала с тех пор – никому неизвестно. По-видимому, она просто решила, что наступила пора пристроиться, потому что ей уже стукнуло двадцать восемь. В назначенный день мы отправились встречать жениха с невестой, и я нашел, что Катя сильно изменилась к худшему: побледнела, похудела и постарела; ну, а ее суженый с первого же взгляда мне сильно не понравился.

Доктор Красинский был человек лет тридцати, среднего роста и худощавый; лицо его с правильными чертами было недурно, но зато противными мне показались глаза и рот. При каждом слове или улыбке его тонкие и красные, как кровь, губы скалили ряд белых длинных и острых, как у хищного зверя, зубов.

Что-то донельзя странное было и в глазах. Круглые и на выкате, они оттенены были густыми и длинными ресницами; что же касается их цвета, то я никогда не мог его определить. Иногда они казались черными, иногда карими, а не то серо-голубыми, цвета стали; но один раз я видел их положительно зелеными и фосфоресцировавшими, как у кошки. Бегавший лукавый взгляд не останавливался долго на ком-нибудь и бывал чаще опущен или устремлен в пространство. Но в обществе это был приятный человек, хорошо воспитанный и занимательный собеседник; ну, а мне, как я сказал, он внушал глубокое отвращение. Маруся тоже его недолюбливала; а раз даже призналась мне, что от Красинского веет ужасом, и она не понимает, как может Катя выходить за такого противного человека.

С первого же дня Красинский заинтересовался островком и, побывав там, просил Петра Петровича разрешить ему поселиться в замке. Хонин согласился, но предупредил, разумеется смеясь, что у острова недобрая слава и народный говор зовет замок «Чертовым гнездом».

Красинский ответил в тон его шутки, что такого рода слухи еще более возбуждают в нем желание приютиться в «Чертовом гнезде», а соседство повелителя ада вовсе для него не страшно ввиду того, что они несколько «сродни». Кстати, он рассказал поверье о Твардовском, его волшебном

кольце, и показал при этом и самое кольцо. Очень массивное, оно изображало кусающую свой хвост змею, один глаз которой был из изумруда, а другой из рубина; в голове же был вставлен какой-то странный черный камень, блестящий как бриллиант.

Время текло у нас без особых приключений; другими словами, внешним образом все шло обычным порядком, а втихомолку бывали всякого рода странные случаи, которым не придавали в то время, к сожалению, надлежащего значения. Так, например, с приездом Красинского меня охватило пренеприятное состояние. Прежде, ни разу в жизни не бывало, чтобы, входя в темную комнату, мною овладевал ужас; а теперь мне чудилось, будто кто-то за мной следует, дует на меня, или по лицу проводит точно паутиной. Но тогда я был скептиком, чуть не атеистом, и с высоты моей мнимо научной и «просвещенной» точки зрения «интеллигента» глубоко презирал эти «глупые предрассудки» старого времени. Все, что случалось со мной необыкновенного, я приписывал тяжелому душевному настроению, или возбуждению нервов, утешая себя тем, что когда состоится свадьба и я уеду на судно, то успокоюсь, а ненормальные ощущения сами собой пройдут. Вполне естественное, например, соображение, что подобного же рода явления волновали и прислугу, не производило на меня в то время никакого впечатления, а когда старый, служивший мне лакей шепнул однажды тайком, что «домовой взбеленился», то, я помню, хохотал до слез. На мой вопрос, в чем именно «домовой» выражал свое неудовольствие, старик рассказал, но уже неохотно, что каждую ночь все лошади бьются в пене, коровы мычат и бодают друг друга и, наконец, уже которую ночь цепная собака воеет и, оцетинившись, прячется в будку. Самым страшным оказывалось показание пастуха, бывшего в ночном со своим стадом у озера, и видевшего в лунную ночь, что по воде, как по земле, бежал маленький черный человек, который и скрылся на острове.

– И вся эта чертовщина пошла с той поры, как господин Красинский водворился в «проклятом» доме на острове, – с грустным видом говорил старый Терентий. – Не к добру все это...

Этот рассказ меня еще более развеселил. Но Петру Петровичу люди ничего не могли сказать, зная, что тот ни во что не верит и терпеть не мог сплетен прислуги. Неожиданный случай заставил меня позабыть все это.

Однажды я поймал взгляд Красинского, устремленный на Марусю, и глаза его горели такой пылкой, но пошлой страстью, что у меня руки чесались наградить его оплеухой. Но, раз ревность моя была возбуждена, я стал незаметно наблюдать за Красинским и убедился, что он безумно

влюблен в невесту моего друга, хотя тщательно скрывал это. Как-то, недели за две до свадьбы, я и Маруся случайно остались вдвоем на террасе. Она казалась взволнованной и чем-то озабоченной; вдруг она заметила вдали лодку, перевозившую Красинского с острова, и тотчас встала.

– Пойдемте в сад, Иван Андреевич. Я не хочу встречаться с этим господином. Не могу высказать, как он мне противен; в его глазах таится что-то зловещее и лукавое, а иногда он удивительно странно на меня смотрит.

Я нагнулся к ней и шутливо сказал:

– Я думаю, что не он один одинаково *странно* на вас глядит; это уже скорее ваша вина. Зачем вы так прекрасны!?.

Маруся вспыхнула и с недовольным видом покачала головой.

– Не болтайте пустяков, Иван Андреевич! Скажите лучше, какого вы мнения о Красинском? На меня он производит впечатление зловредного человека и, – не будь это смешным в наш век – я была бы готова верить, что он действительно потомок Люцифера. Вообразите, что с его приезда меня гнетет беспокойство и положительно преследует мысль, что он хочет зла Вячеславу. А по ночам меня мучают кошмары. То я вижу, что жених мой умер, или между нами произошел разрыв; а самое ужасное – будто я выхожу замуж за покойника и тот своими ледяными, костлявыми руками тащит меня к озеру.

Разумеется, я старался убедить Марусю, что ее сновидения – просто расстройство нервов; но она отрицательно качала своей хорошенькой головкой.

– Нет, нет, вы меня не убедите. Происходит что-то очень нехорошее. Дважды уже меня что-то будило по ночам и, просыпаясь, я видела склоненной над собою точно черную тень; когда же я крестилась и начинала молиться, эта тень уплывала к окну и исчезала. Дай Бог, чтобы чего-нибудь не случилось худого.

Этот разговор привел меня к заключению, что странные рассказы прислуги были не так уже глупы; в самом деле, творилось что-то непонятное, действовавшее даже на интеллигентных людей, как я и Маруся.

Через несколько дней начали съезжаться приглашенные на свадьбу: несколько товарищей наших с Вячеславом и другие гости из соседнего городка.

По приезде гостей, утром, Вячеслав собрался с двумя знакомыми инженерами охотиться и осматривать остров, который и в самом деле был дик и своеобразно прекрасен. Искали Красинского, чтобы взять его с собой,

и не нашли. У меня в тот день болела голова, а кроме того нужно было ответить на спешные письма, и потому я отказался ехать с ними. Из моего окна я видел, как они отчаливали. Вячеслав стоял в лодке и, улыбаясь, махал соломенной шляпой стоявшей на балконе Марусе. Послав прощальный привет невесте, он сел на руль, а его спутники взялись за весла.

Сев за писанье писем, я хотел было закурить и вдруг вспомнил, что забыл свой портсигар на балконе...

Рассказ адмирала прервал Филипп Николаевич.

– Надя, отвори окно, – здесь ужасно душно. Прости, дорогой друг, что прервал тебя на интересном месте, но я положительно задыхаюсь.

Надя бросилась исполнять желание отца, и когда свежий, влажный воздух ворвался в комнату, все облегченно вздохнули. Адмирал же воспользовался временным перерывом и перелистывал свой дневник, чтобы возобновить в памяти прошлое. Наконец он выпрямился и продолжал свой рассказ.

– Итак, я сошел вниз; но, подойдя к двери террасы, остановился как вкопанный. У подножия лестницы стоял Красинский. В одной руке у него была черная и узловатая, похожая на корень палка, а в другой он высоко поднимал над головой перстень Твардовского. Палкой он чертил в воздухе какие-то кабалистические, вероятно, знаки и мерным голосом бормотал что-то странное и непонятное. Красинский был так поглощен своим занятием, что не заметил даже моего прихода. Затем он вытянул руку с кольцом по направлению видневшейся вдали лодки.

У меня же вдруг сердце тревожно заняло в груди. Была ли то галлюцинация, или необъяснимая игра света? Но я ясно видел, что из земли стал подниматься черноватый пар, окутавший затем Красинского как будто прозрачной дымкой. В ту минуту из камня кольца брызнули длинные, фиолетово-синие, почти черные лучи, летевшие над озером к лодке, подобно стрелам; там эти лучи вздувались, принимали вид шаров и лопались, выбрасывая что-то черное, похожее на вылетающих из улья пчел. Вода между тем забурлила в том месте и образовала нечто вроде воронки, которая поглотила весь рой, а затем поверхность озера приняла свой обычный вид.

Изумленный, не веря глазам своим, смотрел я на странное, происшедшее передо мною явление; вдруг такая ужасная тоска овладела мной, что я убежал. Очутившись в своей комнате, я упал в кресло и взялся руками за голову.

С точки зрения «здравого смысла», то, что случилось, было

невозможно; а между тем я действительно видел... Тогда, значит, правда, что Красинский состоит в сношениях с «окультурным» миром, неведомым прочим, и располагает зловредными силами. В таком случае какая-нибудь таинственная опасность грозила моему другу.

– Ах, и зачем только Петр Петрович уехал! – пронеслось в моей голове. – Я забыл упомянуть, что наш радушный хозяин отправился по делам в город и должен был вернуться на следующий день.

Почти невольно глаза мои стали искать образ в углу; то была икона Святителя Николая. Я встал и подошел ближе, собираясь помолиться, чтобы угодник охранил мо его друга и отвел от него угрожавшее ему может быть зло. Но не успел я поднять руку, чтобы осенить себя крестом, как услышал в комнате треск; затем меня что-то сильно ударило по голове и я упал замертво, задев при падении об угол стола головой...

Когда я открыл глаза и огляделся, то увидел, что вокруг меня разбросано разное платье. Оказалось, что совершенно непонятно как подломилась ножка вешалки, которая, падая, и задела меня концом.

– Слава Богу, что в данном случае причина явления была естественной, а не следствием какой-нибудь непонятной «чертовщины», – подумал я и, наложив компресс холодной воды на ушибленную голову, распахнул окно, потому что задыхался от жары и духоты.

За время моего беспамятства погода испортилась. Свинцовые, темные тучи затянули небо; дневной свет сменился белесоватым сумраком, и в отдалении грохотал гром; порывы бурного ветра хлестали поверхность озера и поднимали на нем седые, темные, громадные волны, каких я еще никогда не видел здесь. Надвигалась, видимо, буря.

Охваченный снова мучительной тоской, я взял бинокль и стал разглядывать, не едут ли наши охотники. Но нигде и следа их не было видно. Я решил, что они вероятно, добрались до острова и там пережидают бурю; однако смутная тревога не проходила. Тогда я закрыл окно и сошел в ту самую гостиную, где мы теперь сидим. Здесь я нашел Марусю в слезах и утешавшую ее Катю. Наши убеждения не действовали, и я понял, что у нее было одинаковое с моим дурное предчувствие. Не обращая внимания на бурную погоду, мы вышли на террасу, а я сходил в кабинет Петра Петровича за биноклями, и мы принялись разглядывать озеро с островком в надежде найти хоть какое-нибудь указание, что наши приятели в безопасности.

Буря дошла до полной ярости. Свистел ветер, сгибая деревья, яркие молнии бороздили темно-сизое небо и страшные раскаты грома шли без перерыва. Озеро кипело, точно котел, и глухо рокотало, а серые косматые

валы яростно бились о берег.

Вдруг вдали я заметил лодку, которая, видимо, пыталась добраться до острова. Пенные волны кидали ее из стороны в сторону, как ореховую скорлупку, и ежеминутно грозили затопить.

Глухой крик Маруси дал мне понять, что и она заметила лодку. Однако я надежды не терял: буря гнала лодку к острову, и если ей удастся пристать, – путешественники спасены. Но в это мгновение сердце у меня замерло. Лодка, которую я видел за секунду на гребне волны, вдруг исчезла. Однако она снова появилась, но уже без пассажиров и с торчавшим кверху килем.

Падение тяжелого тела заставило меня очнуться от моего оцепенения. Маруся упала без чувств, выронив бинокль. Я поднял ее, отнес в залу и просил бледную, расстроенную Катю позаботиться о ней. На вопрос мой: «Где Красинский?», – она ответила, что он только что уехал на остров и намеревался быть здесь к обеду. Не слушая ее далее, я выбежал, чтобы созвать людей и сообщить о постигшем несчастье.

Вскоре кучка озабоченной прислуги уже собралась на берегу. Я приказал подать другую лодку, стоявшую под навесом, и двое людей, несмотря на опасность, вызвались сопровождать меня. Когда мы отошли, один из моих спутников сказал:

– Ваше благородие, а ведь ежели с острова видели случившееся несчастье, надо полагать, что Агафонов постарается спасти людей; он ведь старый отважный матрос.

Говоривший был прав. В тревожном состоянии духа я совершенно забыл, что по просьбе Вячеслава, Петр Петрович принял на службу отставного матроса, с которым мы плавали еще будучи гардемаринами. Человек этот, испытанной храбрости, добрый и смысленный, во всяком случае будет мне полезен как отличный пловец, если бы даже он и не видел беды.

Ветер ослабел уже и мы шли довольно быстро. Неподалеку от островка мы увидели направлявшийся к нам челнок с одним гребцом. Это был Агафонов; с одежды его ручьями текла вода, а на бледном, расстроенном лице написаны были печаль и испуг. Он тотчас причалил к нам и подавленным голосом проговорил:

- Несчастье... несчастье, ваше благородие!
- Погибли они? Ты видел, как они тонули?! – воскликнул я вне себя.
- Никак нет. Мы их всех троих уже выловили, и оба инженеры живы, а Вячеслав Иванович, кажись, что померли.
- Где же он? – спросил я, охваченный нервной дрожью.

– В доме, на острове. Инженеры помогли мне перенести его, и дохтур теперь откачивает. – И как они могли так скоро потонуть? Потому плавали-то они, ровно рыба. Просто в толк взять не могу, – прибавил матрос, вытирая рукавом глаза.

Через несколько минут мы пристали к берегу. Я выскочил на землю и опрометью бросился в дом. Никогда еще это поганое здание не производило на меня такого удручающего впечатления, как в этот раз, и массивный подъезд с черными мраморными ступенями походил на вход в могильный склеп, а не в жилое помещение. В сенях меня встретил слуга Красинского, которого он привез с собой, – маленький, коренастый человек с такой же лукавой, противной рожей, как и у его барина. Он нес белье и таз с теплой водой и провел меня в комнату, куда внесли тело моего друга.

Это была большая сводчатая зала, освещаемая высокими, узкими и стрельчатыми окнами с разноцветными стеклами. Своей обстановкой, стульями с высокими спинками, черными бархатными портьерами и бледным полусветом, проникавшим в окна, комната производила подавляюще мрачное впечатление.

Посредине, на большом столе, лежал Вячеслав, а около его тела с засученными рукавами сорочки и со щеткой в руках хлопотал Красинский, которому помогал один из молодых людей. Доктор был разгорячен и утомлен, по-видимому, усилиями оживить моего бедного друга; но я видел достаточно утопленников и сразу понял, что все кончено.

– Какое ужасное несчастье. Какой удар для Марии Петровны! – воскликнул помогавший Красинскому инженер Авинов.

Красинский дохнул в рот Вячеслава и выпрямился, вытирая струившийся по лбу пот.

– Ну, не каркайте заранее; я еще не теряю надежды.

– Но ведь он мертв, – сказал я, взяв неподвижную, похолодевшую руку моего друга детства. И слезы хлынули у меня из глаз.

– Конечно, он кажется мертвым, но это не доказывает еще смерти, и он может быть в состоянии каталепсии, – ответил Красинский. – Два года тому назад я видел в Гавре подобный же случай. Одного утонувшего рыбака замертво вытащили и отнесли даже в больницу для вскрытия. Однако случай, про который долго было бы рассказывать, внушил мне подозрение, что он в каталепсии; я применил к нему некоторые, изобретенные мной средства, и опыт увенчался успехом, – человек ожил. Подобный же опыт я хочу испробовать теперь над Вячеславом Ивановичем и, надеюсь, с прежним успехом. Постарайтесь только скрыть до завтра от Марии Петровны состояние ее жениха.

– А какие же это средства? – спросил я.

В душе у меня создалось глубокое, непреодолимое недоверие к этому человеку. Он был несомненно влюблен в Марусю; затем, только что я видел, как он производил какие-то загадочные манипуляции, а теперь вдруг во что бы то ни стало воспыал желанием спасти своего соперника...

– Я не могу объяснить вам мой метод в нескольких словах и скажу только, что животный магнетизм играет в данном случае большую роль, а кроме того... если хотите, немножко и магия, – заметил, смеясь, Красинский. – Для потомка дьявола легкое колдовство даже необходимо. Я начну сейчас же свои приготовления, и вы можете присутствовать при них, если это вас интересует.

Он начал делать пассы над телом, в особенности над головой, и, спустя несколько минут, веки трупа вдруг опустились на глаза, до тех пор полуоткрытые и стеклянные.

– Победа! Отныне я не сомневаюсь более в справедливости моего предположения, – весело заявил Красинский.

Увидав, что я поспешил приложить ухо к сердцу Вячеслава, он прибавил:

– Вы слишком спешите. Биение сердца существует несомненно, но оно неощутимо без помощи одного инструмента, которого у меня, к сожалению, нет с собой...

После этого, он намагнетизировал несколько кусков красного сукна, которые положил на лоб, желудок, спину и ладони рук; затем, приказав переложить тело на матрац, он прикрыл его одеялом и пригласил всех нас вместе выйти из комнаты.

– Надо пока оставить его на несколько часов в полном покое, дабы дать всосаться флюиду. А после этого я испробую решительное средство.

Мы решили остаться на острове ждать результатов. Я был в неопишемом возбуждении, но все-таки написал Марусе, что все спасены, очень слабы и простужены, а потому, по приказанию доктора Красинского, должны до завтра оставаться в постели. Для успокоения молодой девушки я прибавил, что остаюсь ухаживать за ее женихом.

К вечеру погода прояснилась, и посланный привез нам от Кати большую корзину вина, провизии и письмо к Красинскому. Она сообщала жениху, что обморок Маруси продолжался несколько часов, но теперь она пришла в сознание и чувствует себя хорошо, хотя очень слаба. Хорошее известие ободрило ее, видимо, и она легла в постель, а теперь даже спит.

Мучительно долго тянулся вечер. Красинский лег уснуть, чтобы набраться сил, – как он сказал, – для предстоящего трудного и тяжелого

опыта; мы же отужинали втроем, грустные и озабоченные. Неожданное несчастье положительно давило нас, и это гнетущее впечатление еще усиливала страшная и мрачная атмосфера дома.

На всем здесь лежал особый отпечаток чего-то зловещего и демонического. Так, например, стенные часы в столовой украшены были головой Мефистофеля в красном капюшоне, в натуральную величину, и беспрестанно вращавшиеся глаза отмечали секунды.

К одиннадцати часам явился Красинский, бледный, но в хорошем расположении духа. Он отказался от еды и выпил несколько стаканов вина, а затем мы еще раз отправились в залу, где лежал Вячеслав. Я долго рассматривал его мертвенное лицо, освещенное двумя трехсвечными канделябрами, которые доктор зажег у изголовья.

– Увы! Он положительно умер, – думал я, – а этот гусь просто надувает нас, уверяя, что он в летаргии. Нет, тут бессильна всякая человеческая наука.

– Теперь, господа, я попрошу вас удалиться в соседнюю комнату, – сказал Красинский. – Мне надо остаться одному, чтобы сосредоточиться. Потерпите час или два. Если опыт удастся, на что я крепко надеюсь, я вас позову.

Когда мы направлялись к выходу, в полуоткрытую дверь шмыгнула огромная черная кошка; зеленые глаза ее фосфорически блестели, и она, ворча, остановилась около нас, оцетинившись.

– Фу, гадина какая! Пошла вон отсюда! – закричал Авинов, замахиваясь.

– Я нашел здесь эту кошку. Она жила, должно быть, на острове; я накормил ее, и она очень привязалась ко мне, – объяснил Красинский. – Пошла спать, Туту! – крикнул он, топнув ногою.

Кошка тотчас выгнула спину и поплелась в темный угол, где свернулась у камина, продолжая ворчать, храпеть и бить хвостом об пол.

– Не понимаю, что с нею сегодня. Обыкновенно это – самое кроткое в мире животное, – заметил Красинский, пожимая плечами и затворяя за нами дверь.

Мы уселись, чутко прислушиваясь к происходившему в соседней комнате, и слышали сперва, как Красинский ходил и передвигал мебель, а потом все стихло. Понемногу на меня напала непреодолимая сонливость; я решил не спать и сопротивлялся всеми силами, но все было тщетно. Товарищи же скоро уснули, сидя в креслах, а потом и я потерял сознание. Разбудил меня сильный взрыв. Часы били как раз половину первого. Товарищи мои также проснулись.

– Что это? Слышали вы? Как будто взрыв? – спросил один из них.

А мне ужасно хотелось спать, и все мое тело так отяжелело, что я не мог даже подняться.

– Нам это приснилось, – пробормотал я, снова закрывая слипавшиеся глаза.

Когда я вновь проснулся, часы показывали уже семь утра. Оцепенение, сковавшее меня ночью, прошло, но голова все-таки была тяжела и ныла. Спутники мои продолжали спать тревожным сном, но я разбудил их.

– Послушайте, господа. Мы проспали всю ночь, а Красинский не приходил звать нас? Все это не сулит ничего хорошего, – высказал я в тревоге.

– Ба! Ему не удалось совершить чудо, – воскресить мертвого, – а потому не стоило будить нас, чтобы сообщить о своей неудаче, – недовольным тоном возразил Авинов.

– Все равно, надо посмотреть, что там делается, – сказал я.

Комната оказалась запертой изнутри, и мы тщетно стучали, толкали и звали Красинского. Не было никакого ответа, но Авинову послышался из комнаты слабый стон. Мы решили во что бы то ни стало войти, но выломать массивную дубовую дверь было невозможно. Позвали Агафонова и слугу Красинского и наконец, после довольно больших усилий, замок подался и дверь отворилась. Смущенные, остановились мы на пороге.

Канделябры все еще горели на столе, только белые свечи были заменены черными и между канделябрами стоял еще подсвечник с седьмой, тоже черной, свечой. Под столом в металлическом тазу видна была черноватая масса, похожая на свернувшуюся кровь. Впрочем, в ту минуту все эти подробности произвели на нас мало впечатления, потому что все внимание наше было обращено на Красинского, лежавшего у стола ничком и с вытянутыми руками.

Опомнившись от охватившего нас в первый момент испуга, мы бросились к нему и подняли Красинского. Лицо его посинело, а тело окоченело. По всей видимости, он был мертв.

Бледные от страха, безмолвно смотрели мы на труп, как вдруг из груди моей вырвался невольный крик. Взглянув на Вячеслава, я заметил, что он дышит. Лицо его было синевато-бледным, глаза по-прежнему закрыты, но грудь правильно вздымалась. Красинский совершил чудо, заплатив, по всей вероятности, за него собственной жизнью. Труп Красинского вынесли, а Вячеслава осторожно положили на диван в другой комнате, чтобы при пробуждении его не ошеломила странная обстановка зала. Распорядившись пригласить врача и известить власти, я поместился около

своего друга, ожидая его пробуждения. Авинов же с приятелями отправились домой сообщить Марусе и Кате о происшествиях... С тревожным любопытством рассматривал я лицо Вячеслава. Он, положительно, был жив и чуть заметное дыхание вырывалось из его уст, а иногда он даже слабо шевелился. Но, вероятно, он был страшно изнурен и потребуется много времени, пока он оправится от этого ужасного случая. Вдруг увидел я на его пальце магическое кольцо пана Твардовского, и это обстоятельство направило мою мысль на Красинского.

Отчего он умер? И я стал перебирать все частности последнего случая. Несомненно, смерть его могла последовать от сильного утомления и слишком большого напряжения воли, вызвавшего прилив крови к мозгу или паралич сердца. Но почти тотчас же я откинул это простое объяснение. Тайный голос шептал мне, что причина смерти была иная, *окультурная*, и что это был не просто разрыв сердца, а неудавшийся магический опыт, убивший дьявольского отпрыска. Я припомнил, как накануне видел его на террасе, окруженного, словно дымкой, черноватым паром, с поднятым в руке магическим кольцом, из которого изливались темные лучи, рассыпавшиеся, точно пчелиный рой, черными точками вокруг лодки. Что имел он в виду, производя это странный опыт? Возможно ли, чтобы он мог повлиять на последовавшее за сим несчастье? Однако, если он желал смерти соперника, то к чему было затрачивать столько усилий на то, чтобы спасти его?... Я был тогда полным невеждой в этих вопросах; но тем не менее, в конце концов решил, что Красинский пал жертвой собственного незнания. Вероятнее всего, его соблазнил опыт, подробности которого были не вполне известны ему; он коснулся и привел в движение могучие пружины, совладать с которыми не мог, и эти таинственные силы убили его. Позже я много изучал эти темные вопросы и получил не одно объяснение непонятных мне прежде явлений. Конечно, я все еще остаюсь невеждой в сложных тайнах высшей *черной магии*; но теперь я понимаю достаточно, и у меня сердце содрогается при виде вас здесь, в полной власти *злого рока*, – прибавил, тяжело вздыхая, адмирал.

Замятины тревожно переглянулись. Невольно смутная и бессознательная тревога овладела ими.

Иван Андреевич снова начал прочитывать и перелистывать свою тетрадь, а минуту спустя продолжал прерванный рассказ.

– Через два часа приехали Маруся и Катя: одна – повидать воскресшего жениха, другая – оплакивать умершего. Взволнованная и радостная, склонилась Маруся над Вячеславом; но, понимая, как необходим полный покой больному, она скоро ушла; кроме того, у нее

явилось новое беспокойство.

Петр Петрович не приехал утром, как бы следовало, и экипаж вернулся пустой со станции, а от отца не было ни письма, ни телеграммы. Она просила меня, если до обеда не будет никаких известий, съездить в город узнать, здоров ли он. Я обещал, и мы пошли к Кате, которая, стоя на коленях около трупа Красинского, предавалась самому ужасному отчаянию.

Вдвоем старались мы успокоить ее и утешить; она не хотела ничего слушать, повторяя, что всю жизнь не утешится, потеряв такого восхитительного, великодушного человека, пожертвовавшего жизнью для спасения другого.

Внутренне я был убежден, что Красинский не из тех, кто жертвует собой для другого, и что горе Кати скоро погасло бы, знай она, что коварный жених уже пылал любовью к другой, моложе и красивее ее. Но я воздержался, – к чему разочаровывать ее?

Немного спустя явился доктор и объявил, что Красинский умер от разрыва сердца, вызванного, вероятно, напряжением воли. Затем прибыли власти, составили протокол, и я в продолжение нескольких часов был занят, ввиду отсутствия хозяина дома и болезни его будущего зятя.

Вечером я уехал в соседний город и нашел Петра Петровича в гостинице в самом отвратительном настроении. У него внезапно сделался сильнейший приступ подагры, удержавший его в комнате; а так как боль не проходила, то он послал дочери письмо, разошедшееся со мною. Рассказ мой о всем случившемся в его отсутствие очень взволновал его, особенно опасность, которой подвергался Вячеслав.

– Бедная моя Маруся не перенесла бы потери любимого человека, да еще за несколько дней до свадьбы, – сказал он.

Само собой понятно, я не упомянул ничего про виденные мною оккультные явления. Смерть Красинского он принял довольно холодно.

– Не знаю почему, но этот господин всегда был мне противен. Кроме того, я подметил, что он интересовался Марусей больше, нежели следовало бы чужой невестой. Пусть земля будет ему легка... Бог знает, какие тяжелые осложнения могли быть в будущем; даже для Кати смерть эта не служит несчастьем.

Слуга, объявивший, что чай готов, прервал адмирала, и все общество перешло в столовую.

III

После чая адмирал собирался отложить до следующего дня свой рассказ, но Замятин и жена его так заинтересовались, что просили продолжать; ну а Надя горела и дрожала от любопытства. Она бросилась к крестному отцу на шею, целовала его и умоляла сегодня же окончить трогательное приключение.

– Не задуши меня, крошка, иначе ничего не узнаешь, – смеялся адмирал. – Если кончат сегодня, то нам придется просидеть до утра.

– Ничего, крестный. Все равно я и без этого не усну. От всех этих таинственных историй у меня мурашки пробегают по коже; а вместе с тем, они буквально обворожили меня. Притом, мне крайне жаль бедную Марусю. Ведь какая же неслыханная и роковая случайность: в наше время встретить колдуна, потомка дьявола, как Красинский. Это исключительное несчастье.

Адмирал сделался опять серьезным.

– Ты ошибаешься, Надюша, думая, что в наше время не существует лиц, умеющих пользоваться силой зла, и я убежден, что немало людей становится жертвами неведомых и страшных сил, существования которых мы не подозреваем.

Все вернулись в зал, и адмирал возобновил рассказ, а Надя стала серьезна и задумчива; она бросила вышивание и уселась около крестного.

– Так я возвращаюсь к тому моменту, когда очутился в городе у Петра Петровича, больного подагрой. Я съездил всюду по его делам, сделал кое-какие покупки и не покидал его, пока он мог отправиться в Горки. Когда мы приехали, Маруся сообщила, что Вячеслав уехал накануне, едва оправившись от ужасного происшествия. Его вызвали телеграммой к опасно заболевшей матери, а через неделю получено было известие о кончине госпожи Тураевой. Коротенькое письмо передавало подробности смерти старушки и указывало, что необходимость приведения в порядок дел удержит Вячеслава, по крайней мере, на три недели; до этого времени и приходилось отложить свадьбу.

Последовавшее затем время шло тихо, без приключений; смерть Тураевой и траур Кати принудили отменить всякие приемы и празднества. Вячеслав постоянно присылал подарки и телеграммы, извиняясь, что не пишет, будучи занят день и ночь спешным окончанием дел ради скорейшего возвращения к своей обожаемой невесте. Одна его просьба,

впрочем, к Марусе и Петру Петровичу удивила меня и покорила. Он просил их прибрать дом на островке, чтобы можно было иногда проводить там несколько дней со своей молодой женой, так как место это стало ему дорогим по воспоминанию о его чудесном воскрешении и великодушном человеке, умершем, спасая его.

Я употребил все старания, чтобы убедить Петра Петровича не исполнять этой фантазии и не допускать молодую чету хотя бы одну лишь ночь проводить в этом страшном месте. Но Хонин, как я уже говорил, был убежденный скептик. Он рассмеялся на мои слова и сказал, что моряку стыдно верить таким «бабьим сказкам», что маленький замок на островке действительно восхитительное и своеобразное место, а потому и желание Вячеслава пожить там иногда вполне естественно. Маруся была под влиянием жениха и не протестовала, а Катя даже обиделась моим противодействием, как оскорблением будто бы памяти ее несчастного Красинского.

– Я не предполагала, что вы такой отсталый и такой... неблагодарный, Иван Андреевич. Я считала вас более благоразумным и понимающим, что все эти глупые истории о привидениях витают только в кухонной атмосфере и в полоумной голове какой-нибудь деревенской бабы, – уколола она меня.

Я промолчал, но не принимал никакого участия в убранстве дома на острове. Вячеслава ожидали только утром в день свадьбы; раньше он не мог приехать, а откладывать венчание ни за что не хотел.

Настал наконец свадебный день. Когда я проснулся, слуга доложил мне, что жених приехал на заре, несколькими часами раньше, нежели его ожидали, и, усталый с дороги, лег спать. Я не видел его и за завтраком, но часом позднее, когда я в своей комнате укладывал вещи, собираясь выехать на следующий день, дверь отворилась и вошел Вячеслав. Мы стремительно бросились в объятия друг друга, горячо обнялись, а затем я, держа его за руки, отодвинулся, чтобы взглянуть на приятеля.

Несомненно, ужасный случай подействовал на него. Сильная бледность сменила прежний свежий цвет лица и только губы стали красными, чего не было прежде.

– Ты еще очень бледен, – заметил я, – и, кажется, слаб. Я остановился и не мог говорить от волнения.

Я встретил его взгляд, и... по коже моей пробежал мороз. Я выпустил его руки, и взор мой прирос к столь знакомому лицу друга, которого я любил, как брата. Конечно, на меня смотрели большие и серые глаза Вячеслава, но взгляд их был не прежний: открытый, ясный и улыбающийся;

лукавый и в то же время злобный, грозный взгляд, устремленный на меня, показался мне взглядом... Красинского.

– Что с тобой, Ваня, ты нездоров? – спросил он меня.

– Ничего. Я здоров... Только взволновался чуточку, видя тебя впервые после того, как ты был почти мертвым, – пробормотал я, отирая потный лоб.

Он засмеялся, и снова это не был смех Вячеслава.

– Ты прав. Меня вернули с «того света» и это происшествие глубоко подействовало на весь мой организм. Я все еще не могу оправиться от слабости, страдаю головными болями и не в состоянии объяснить отсутствие памяти. Но надеюсь, что в спокойной обстановке семейной жизни, с обожаемой женой, все эти болезненные явления исчезнут.

Мы поговорили еще немного, а потом он ушел, сказав, что хочет еще отдохнуть, прежде чем одеваться к венцу. Оставшись один, я сел у окна и, сжимая руками голову, задумался. Мне казалось, что я теряю рассудок. Я не мог сомневаться, что видел перед собой своего друга детства, а между тем это был не он; глаза – не его, а того подозрительного человека, столь таинственно умершего... Я старался уверить себя, что все это только мне показалось; но когда вспоминал злое и угрожающий взгляд, смотревший только что на меня, ледяная дрожь потрясла все мое существо. Вдруг вспомнил я Марусю.

Она, эта любящая женщина, еще сильнее меня должна ощутить страшное превращение жениха, заметить в его взгляде душу другого и угадать истину. С лихорадочным нетерпением ожидал я минуты, когда увижу их вместе.

Ввиду траура Вячеслава, свадьба должна была быть без всякого торжества и было приглашено самое ограниченное число друзей. На следующий день молодая чета отправлялась в двухнедельное путешествие в Киев и его окрестности. Но с истинной горечью узнал я, что свадебную ночь они намеревались провести в доме на островке и мрачное предчувствие сжимало мое сердце.

Бракосочетание совершилось в сельской церкви, которую видно с вашей террасы, и служил отец Тимон. Потом он признался мне, что никогда в жизни не совершал с такой тяжестью на сердце святого таинства. Все время чувствовал он себя дурно, а колющая боль во всем теле мучила так, что руки его дрожали и голова кружилась.

Печальный и взволнованный, следил я за невестой. Она была восхитительна, а в ее чистых глазах светилось спокойное счастье, и я понял, что она *ничего* не заметила. Вячеслав был мертвенно бледен и

минутами лицо его подергивалось нервной судорогой. Разного рода дурные предзнаменования омрачили торжество. Обручальное кольцо выскользнуло из руки жениха, когда он хотел надеть его на руку невесты, и упало на землю; вуаль молодой загорелась и ее пришлось сорвать; наконец, при возвращении из церкви, среди бела дня, на дороге появился волк. Испуганные лошади бросились в сторону и едва не опрокинули экипаж новобрачных. Но все эти случаи, бывшие зловещими приметами, казалось, не произвели впечатления на Марусю; она была весела и после ужина мы проводили молодую чету на берег озера. Там их ожидала лодка, убранная цветами, украшенная коврами и иллюминированная. Маруся вошла в нее веселая и радостная. Это был последний раз, что я видел ее сияющей и счастливой рядом с ее бледным мужем.

Островок был также иллюминирован. Разноцветные фонарики сверкали в зелени, и он казался над гладкой поверхностью озера драгоценным камнем, блестящим всеми цветами радуги при свете бенгальских огней. Я уехал в ту же ночь.

Судьба моя неожиданно изменилась. Вместо того, чтобы догонять эскадру, меня послали в Севастополь, а оттуда предстояло ехать в Петербург, где я временно был прикомандирован к Морскому штабу. Прощаясь с Петром Петровичем, тепло и дружески относившимся ко мне, я вынужден был дать ему слово, что на возвратном пути в столицу сделаю небольшой крюк и заеду дня на два в Горки.

Не буду говорить о месяце, прошедшем между моим отъездом и возвращением к Петру Петровичу. Закравшееся в душу подозрение мое относительно «подмены» личности моего приятеля не рассеялось, понятно, а, напротив, даже усилилось. Вячеслав перестал быть для меня прежним другом и братом. Я не получил ни одного дружеского письма, поверявшего, как бывало прежде, всякую безделицу его жизни, всякое его душевное движение; между нами встала и крепла невидимая стена.

Приехал я в усадьбу довольно поздно, и слуга сообщил мне, что барин, страдавший подагрой, уже в постели, а молодая чета была на островке. Я отложил свидание на утро и также лег спать.

Вячеслав вставал всегда очень рано и потому на следующее утро, не ожидая когда поднимется Петр Петрович, я взял лодку и переправился на островок. Лакей сказал мне, что молодой барин еще не выходил из уборной, и это меня слегка удивило. Я прошел в кабинет приятеля и сел у открытого окна, за его письменным столом.

На столе валялись письма и бумаги; прямо передо мною лежал конверт, адресованный одному деловому лицу, и готовое еще не сложенное

письмо. У нас никогда не было секретов друг от друга, а имя поверенного указывало мне, что дело шло о продаже одного имения, давно находившегося под запрещением. Без всякой задней мысли взял я письмо, чтобы узнать, как обстоит дело; но, по мере того, как читал, мною овладевало тяжелое чувство. Почерк был Вячеслава, но он был деланный и производил впечатление копии; из под букв как бы выступал другой почерк и местами очень отчетливо. Подпись тоже походила на подпись Вячеслава, но характерный росчерк в конце был чужой. Но где я видел его? Не у Красинского ли? Раз у Вячеслава глаза *того*, может быть, он унаследовал и его почерк?...

Я стал перебирать свой бумажник, где должно было остаться старое письмо друга и также записочка поляка, в которой он просил у меня книгу. Найдя обе бумажки, я положил их перед собою и стал сличать, а через несколько минут убеждение мое составилось: письмо с подписью Вячеслава было написано Красинским.

Как пьяный, обливаясь холодным потом, спрятал я письма и, откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза. Буря бушевала во мне. Мой положительный ум, путем воспитания ставший скептическим, отказывался допустить факт столь аномальный, хотя и подкрепленный, казалось, неопровержимыми доказательствами.

– Боже Всемогущий, помоги мне, просвети меня в этом сплетении мрачных тайн, – от всей души подумал я.

Я вздрогнул и открыл глаза, услышав злобное мяуканье, царапанье когтями. На протяжении руки от меня, расправляя упругие лапы и дугой выгнув спину, сто яла огромная черная кошка, которую я видел в ту страшную ночь. Шерсть этой противной твари стояла дыбом, хвост торчал, как палка, когти ожесточенно царапали сукно стола, а зеленые фосфорически блестящие глаза пристально и с адской злобой смотрели на меня. Охваченный непобедимым чувством ужаса и отвращения, я вскочил и отступил назад.

– С нами крестная сила! Тьфу! Убирайся прочь, гадина, – вырвалось у меня почти невольно.

Но животное одним прыжком вскочило на меня и вцепилось в грудь, стараясь укусить. Я глухо вскрикнул и стал отбиваться. Мне казалось, что острые когти уже рвут мою кожу; но в эту минуту чья-то рука схватила животное за шиворот и выбросила за окно в сад. Это был Вячеслав.

– Черт возьми! Что же с ней такое? Ты ее дразнил? – спросил он.

Я оперся на стол, с трудом переводя дух.

– Что с ней? Это какая-то дьявольская тварь. Как можешь ты держать

подобную гадину? Это бешеное животное, и я всажу в него пулю в первый же раз, как только увижу, – сердито крикнул я.

Вячеслав принужденно и сухо засмеялся.

– Ну, не горячись. Уж сейчас и убивать бедное животное. Я сам не люблю его и не хочу больше держать...

– Но ведь это опасная тварь; она может когда-нибудь напугать твою жену, – перебил я его.

– Кошка эта очень редко появляется; она ютится, вероятно, в какой-нибудь дыре и надо полагать, что это старая обитательница островка. Покойный Красинский пригрел и кормил ее; вот в ожидании подачи, должно быть, она и появляется иногда неизвестно откуда. Но ты прав, она могла бы испугать Марусю и следует удалить ее, или убить. А теперь пойдем пить чай, жена ждет нас на террасе.

Мы были уже у двери, когда вдруг он сказал:

– Ты ведь знаешь дорогу? Так и ступай, а я приду сию минуту; мне надо только сосчитаться с садовником.

Шел конец сентября, но стояла великолепная погода, и было тепло, как летом. На террасе за чайным столом сидела Маруся, прелестная в своем голубом кисейном платье. Увидев меня, она поспешно встала и протянула мне обе руки. А у меня сердце сжалось при виде ее, и я с ужасом, пристально глядел на дорогое мне, бледное и похудевшее лицо с выражением горького разочарования; во взгляде, обращенном ко мне, читалось глубокое отчаяние.

Я любил Марусю такой чистой любовью, что в сердце моем не было и тени пошлого чувства ревности; наоборот, я от всей души желал ей счастья с человеком, которого считал братом. А между тем она – несчастлива и в этом нельзя было сомневаться.

Грудь мою болезненно сдавило и в голове блеснула мысль, что безумно влюбленная в Вячеслава Маруся открыла *аватар*,^[3] и что тревожившее меня подозрение столь неслыханной подмены мучило теперь и ее.

Мы обменялись взглядом, который был красноречивее всяких слов; ведь мысль выражается глазами иногда очень сильно. Словом, мы поняли друг друга и, глубоко взволнованные, опустили глаза. Я безмолвно прижал к губам ее похолодевшие ручки, а потом сел и молча стал мешать в стакане сахар. В эту минуту вошел Вячеслав.

Я заметил, как встрепенулась Маруся, и как ее рука чуть дрожала, когда она подавала ему чашку чая. Далее она сидела молча, рассеянно грызя сухарь.

Мы разговаривали с Вячеславом. Я рассказывал ему подробности моей командировки в Севастополь, а он говорил об их свадебном путешествии. Но все время холодный, зловещий и грозный взгляд, далеко не взгляд друга моего, а взгляд Красинского, – прикован был ко мне, следя, казалось, за всеми моими движениями и обдавая меня холодом. Но я был малый отважный и это томящее, никогда не испытываемое мною раньше чувство какого-то порабощения, тоски и страха, и овладевшее мною в присутствии этого загадочного человека, – положительно бесило меня.

– Твое свадебное путешествие было слишком коротко, – сказал я, недолго думая. – Почему ты не повезешь Марию Петровну в Крым или в Италию? Это развлекло бы ее. А этот остров кажется слишком уединенным и скучным для молодой женщины; к тому же, это – злополучное место. Здесь умер странной, загадочной смертью Красинский, претендовавший сам на родство с адом. Кто знает, не блуждает ли здесь его сатанинская душа в обществе его спутницы – поганой кошки. Во всяком случае, тебе следовало бы отслужить молебен и освятить дом.

В эту минуту я увидел, что на перила ползла та самая мерзкая тварь, о которой я только что упомянул. Украдкой взглянул я на Вячеслава, облокотившегося на стол и пристальным, сверкающим взглядом смотревшего на меня. Он был смертельно бледен, и рот его кривила циничная, злая усмешка Красинского, скаля зубы из-за кроваво-красных губ. Мне становилось жутко, но я все-таки продолжал решительным тоном и, поборов ледяную дрожь, сказал громко:

– Да, да! Вы должны позвать священника и изгнать нечистые силы, которые гнездятся здесь. Ты знаешь: *Живущий под покровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится.*

В эту минуту вокруг нас послышался грохот, словно посыпались кирпичи и бились стекла. Я вскочил, испуганный; но, увидав кошку, которая присела, чтобы прыгнуть на меня, занялся ею. Но на этот раз я был уже предупрежден. Я схватил за шею адскую тварь и, почти крича: «Да воскреснет Бог», – швырнул кошку с такой силой, что она шлепнулась о балюстраду и полетела на пол, вытянув лапы, как дохлая. Обернувшись, я увидел, что Маруся, откинувшись на стуле, была в обмороке, а Вячеслав исчез...

Тщетно искал я причину шума, слышанного нами; все стекла были целы и нигде не видно было ни камней, ни кирпичей. Пока я старался привести в чувство молодую женщину, возвратился Вячеслав, держа в руках маленькое ружье Монте-Кристо.

– Это рассыпалась куча камней, приготовленных для постройки

теплицы, и перебила стекла в парниковых рамах, – вскользь сказал он, помогая мне поддержать Марусю. – Бедняжка, испугалась, – прибавил он.

Он позвонил горничной, и Марусю увели; она открыла глаза, но вид ее был очень нехорош.

Возвратившись, он подошел к балюстраде и ногою сбросил труп кошки в сад.

– Я хотел пристрелить животное, но вижу, что ты уже расправился с ним сам, – засмеялся он. – Меня крайне удивляет, что ты стал суеверен, Ваня. Прежде ты был скептик и человек храбрый, а теперь всего боишься: и несчастной кошки, и призрака Красинского, и этого прелестного маленького дворца, даже самого воздуха здесь на острове; я просто тебя не понимаю. Кстати или некстати ты выкрикиваешь заклинания и крик твой немало способствовал испугу бедной жены.

И снова он разразился громким хохотом, но этот дикий неприятный звук не имел ничего общего с открытым и заразительным, веселым смехом подлинного Вячеслава.

– Вероятно, все на свете меняется, – возразил я не без ехидства. – Жена твоя из свежей и веселой сделалась бледной, худой и печальной; я стал суеверен, а ты... ты так изменился, что можно подумать, будто тебя подменили.

Он обратил мои слова в шутку, но в глазах его сверкнул злой огонь. Я придрался к первому попавшемуся предлогу, чтобы уехать, и он не удерживал меня: прощание наше было холодно и во все время переезда я повторял охранительные молитвы от злых духов.

Петр Петрович встал и ждал меня. Я сказал ему, что возвращаюсь от молодых и что падение кучи кирпичей напугало Марию Петровну, но она уже оправилась. Конечно, я ничего не сказал о таинственной чертовщине и о невероятных подозрениях, боясь огорчить больного, который все равно не мог ни пособить, ни даже понять происходившего, вследствие полного неверия. Петр Петрович слушал меня с озабоченным видом, а потом, минуту помолчав, сказал:

– Бедная Маруся стала очень нервна и впечатлительна; вообще, она мне не нравится. Я думал, что, выйдя замуж, она будет на седьмом небе; а вместо того она бледнеет, худеет и скучна, точно что-то тяготит ее. – Он на минуту замолчал, а потом продолжал: – Иван Андреевич, заметили вы, какая странная перемена произошла в Вячеславе после ужасного случая с ним на озере? Его точно подменили. Прежде он был такой симпатичный, что называется душа-человек; а теперь, не понимаю почему, но не лежит у меня сердце к нему.

Я отделался несколькими общими фразами, не рискуя сказать ужасную правду, и постарался перевести разговор на другую тему. Ссылаясь на необходимость безотлагательно вернуться в Петербург, я провел в Горках только один еще день; новобрачные обедали у отца и, по-видимому, все было по-прежнему, но внутренний разлад был несомненен.

Я поселился в Петербурге. Воспоминание о странных и непонятных происшествиях, свидетелем коих я был, словно кошмар, преследовало меня, но объяснения найти я не мог...

На помощь мне пришел неожиданный случай, если, вообще говоря, «случай» существует.

На вечере у моего начальника я познакомился с одним отставным полковником, внушившим мне большую к себе симпатию, особенно когда я узнал, что он интересуется спиритуализмом и оккультизмом, обладая притом обширной библиотекой по этим предметам. Я сделался частым гостем у полковника Вроцкого, прочел немало книг из его библиотеки, и многие темные вопросы потустороннего мира стали освещаться для меня новым и неожиданным светом; однако ни объяснения, ни подтверждения наиболее интересовавших меня явлений я не находил.

С полковником Вроцким я очень подружился. Как-то вечером, когда мы были вдвоем в его кабинете, я рассказал Николаю Андреевичу странные факты, которые мне довелось наблюдать в Горках, и сообщил невероятное, почти преследовавшее меня подозрение. Он выслушал меня с серьезным, задумчивым видом.

– Сообщенный вами факт вполне возможен и, к несчастью, таков он и в данном случае, – сказал он, когда я кончил. – В летописях оккультизма его зовут «аватар», но самая операция его относится уже к области *высшей* черной магии.

Положив руку на мое плечо, он прибавил:

– Ад – страшная область, мой молодой друг. Если бы люди знали, до какой степени они окружены силами *зла*, они меньше бы смеялись и больше молились. Во все времена, самые отдаленные, церковь всегда вела ожесточенную борьбу с бесовскими силами. Спаситель наш, Иисус Христос, недаром поместил в действительно *божественной*, заветной нам молитве, такое обращение к Отцу Небесному, как: «Не введи нас во искушение, *но избави нас от лукавого*». А молитва – единственный, заметьте, щит для каждого против ада. Обращаясь к интересующему нас случаю, вот мое мнение: ваш несчастный друг пал жертвой *оккультного* убийства и душа его несомненно покинула свою смертную оболочку. Злой человек, связанный с адом, совершил «аватар» и вселился в труп Тураева,

чтобы завладеть женщиной, которая ему нравилась. Но ужаснее всего то, что я считаю несчастную молодую Тураеву безнадежно погибшей...

Заметив, что я побледнел и в глазах моих отразилось глубокое отчаяние, он вздохнул и дружески сказал, утешая меня:

– Бедный друг мой. Я вижу, что эта грустная история огорчает вас и угнетает сильнее, чем я думал. Но, во всяком случае, по-моему, лучше знать истину, а она такова: кто отдается во власть ада, тот гибнет, если, конечно, он не обладает чрезвычайной духовной силой и могущественным знанием. Невежество в этих делах влечет за собою гибель чаще, чем думают; а профаны, не знающие азбуки черной магии с ее страшными законами, и легкомысленно приводящие в действие неведомые им силы, платятся за это своим здоровьем, состоянием, счастьем и даже жизнью. В назидание я расскажу вам кстати грустную историю одного из моих друзей, прекрасного, образованного человека, который заплатил, однако, мучительной смертью за свою неопытность и то преступное легкомыслие, с которым он, шутя, коснулся страшных законов черной магии, не зная даже первого слова ее. Нельзя шутить с *адам*, это – опасная забава, и мой бедный приятель, камергер Бореско познал это на собственном опыте. История эта наделала в свое время много шуму в петербургском «большом свете».

– Милейший Константин Александрович интересовался, правда, оккультными науками, но интересовался с беспечностью большого барина, который любил только «забавляться», а по небрежности, или лени не давал себе труда серьезно изучить мудреные вопросы этой темной для нас области. Константин Александрович любил собирать за «вертящимся столом» веселое беззаботное общество и в кругу хорошеньких женщин вызывать духов, украшенных непременно громкими и известными именами. Никто, разумеется, не трудился проверять, соответствовал ли ярлык содержимому; невидимые обязаны были будто бы «потешать» общество и показывать загробные фокусы. Например, считалось вполне естественным, чтобы «Коперник» проявлял себя, двигая стулья, или приносил на стол гнилой картофель; что мнимый «Ламартин», а не то особенно «Пушкин» кропали вздорные стихи, которых устыдились бы, по бессмыслице, даже наши «декаденты», «символисты», «футуристы» и т. д. На подобных пошлых сборищах праздных людей забывают справедливое, но и едкое замечание Кардека:^[4] «Попробуйте вызвать *скалу* и она вам ответит» (?), а потому принимают под личиной великих людей, или даже святых, – низших духов, часто бесов.

Но перехожу к трагическому случаю, стоившему жизни моему другу.

Константин Александрович имел постоянно болевого сына, хотя в детстве тот был сильным, здоровым и на вид крепким. Болезнь юноши между тем была *окультная*. Он одержим был нечистым духом, который мучил его, или, вернее сказать, медленно разрушал. Несомненно, одержимость эта коренилась в прошлом земном существовании этого юноши, и неизвестные нам узы связывали поработителя с поработленным. Завязка этой истории подтвердила мое убеждение. Молодой человек нашел однажды в жилетном кармане фотографию неизвестной ему голой женщины, а со времени этой находки и началась одержимость. Эта женщина стала являться ему во сне, бросалась на него и у него было ощущение, точно она сосала его кровь; причем он лишался сознания, а, пробуждаясь, чувствовал себя совершенно разбитым. Иногда вампирическое существо грозило ему, иногда глумилось над ним. Врачи, как и следует быть, объявили, что юноша страдает сильной «неврастенией» и подвержен «галлюцинациям». Естественно также, что никакое лекарство не помогало, и вот как-то Константин Александрович пришел посоветоваться со мной. А у меня в то время была превосходная сомнамбула, моя племянница. Я усыпил ее, и она объявила, что юноша – жертва сильного одержания, но она не могла указать способа излечения, так как дело очень сложное и опасное, а для благополучного окончания его необходимы особые знания и окультная сила, которыми она не обладала. Напрасно настаивал Константин Александрович, чтобы она испробовала лечение его сына; та отказалась наотрез, и он ушел очень недовольный.

Это было весной, а на лето все разъехались и я не имел сведений о моем приятеле. Прогостив осень и половину зимы на Кавказе у брата, я только к Рождеству вернулся в Петербург. На праздниках Константин Александрович заехал ко мне и сияющий рассказал, что сын его выздоровел.

– Оказалось все это пустяками, а ваша ясновидящая просто не хотела помочь мне и сделала из мухи слона.

Я подивился, однако, и по моей просьбе он рассказал, что лето проводил у себя в имении, а там, по своему обыкновению, «устраивал» спиритические сеансы, найдя в лице молодой дамы, соседки, бесподобного медиума.

– Ее устами говорил великий «Нострадамус» (?) и я поспешил, конечно, воспользоваться таким счастливым случаем, чтобы спросить алхимика о болезни сына и средствах излечить его от одержимости, если последняя существовала.

– Ничего нет легче, – ответил молодчина «Нострадамус». – Возьмите

фотографию этой загробной мерзавки, сделайте кое-какие магические манипуляции, – он предписал окуривание и что-то еще, но что именно, я теперь забыл, – а потом перочинным ножом перережьте этой девице шею, а фотографию бросьте в огонь. Молодой человек не должен, понятно, ничего знать.

В восторге от такого интересного опыта, Константин Александрович в тот же день исполнил в точности все предписания мнимого Нострадамуса.

– Вообразите, – рассказывал он, – Жорж заявил мне поутру, что видел во сне дух этой женщины. Она походила на фурию, и на шее ее зияла страшная рана, из которой ручьями лила кровь. Она грозила ему кулаками, а потом превратилась в кровавый шар, который лопнул с таким треском, что юноша проснулся.

Это произвело на молодого человека сильное впечатление, и он всюду искал фотографию, но, конечно, не нашел.

– С тех пор он совершенно здоров, и не видел более чудовища, – с довольным видом закончил мой друг.

Признаюсь, я был смущен.

– Неужели, – подумал я, – ясновидящая в самом деле просто капризничала? Или она ошиблась?

Мы решили тотчас же допросить ее.

– Вы сделали непростительную ошибку, коснувшись пружин, силы которых даже не подозреваете, – сказала она неодобрительно. – Вы навлекли сами на себя страшную опасность и берегитесь, как бы вам не поплатиться собственной шеей за такую неосмотрительную «операцию» на шее ларвы.^[5]

Слова эти заставили меня задуматься. Во время рассказа моего друга я заметил, что он как будто охрип, и спросил, что с ним.

– Должно быть простудился. Я уже несколько недель как хриплю. Но надо заняться собой; меня уже начинает бесить, что я каркаю, как ворона, – небрежно ответил он.

Когда я увидел его опять, он сказал, что доктор нашел у него нарост в горле, и, вероятно, потребует операция. Он был подавлен, утратил значительную долю своего самодовольства и стал просить меня посоветоваться с сомнамбулой. Я тотчас исполнил его желание, но ясновидящая долго молчала, а потом ответила, видимо, неохотно:

– Случилось именно то, что я предвидела. Остается посоветовать вам одно: ни под каким видом не соглашайтесь на операцию. Пока нож не коснулся вашего горла, вы еще кое-как проживете; но лишь только будет сделан хоть один надрез на шее, – вы погибли.

Константин Александрович побледнел и заволновался; он даже поклялся не допускать операции, но... ведь и ад вымощен добрыми намерениями. Семье удалось переубедить его. Больного увезли в Вену и дважды подряд оперировали. Возвратился он в Петербург уже умирающим, и когда, незадолго до смерти, я видел его в последний раз, он уже не мог говорить, но написал мне тут же в тетради: «Как вы были правы! Все верно: я умираю жертвой своего невежества и глупой неосторожности».

Адмирал замолчал и задумался на мгновение, но затем встряхнул головой и продолжал:

– Вы поймете, друзья мои, какое глубокое впечатление произвел на меня этот рассказ. Сомневаться в его правдивости я не мог, и меня страшила смертельная опасность, грозившая бедной Марусе. Я начал умолять Николая Александровича позволить мне посоветоваться с его ясновидящей; но молодая девушка вышла, оказывается, замуж и уехала из Петербурга. Я был совершенно расстроен, а полученное в то же время письмо Петра Петровича привело меня в полное отчаяние.

Он писал, что здоровье дочери внушает ему самые серьезные опасения. Молодая женщина готовилась быть матерью; но вместе с тем сильно изменилась, имела убитый вид и сделалась вообще такой странной, что мучительная тревога терзала его. О Вячеславе не было ни слова. Однако Петр Петрович счел необходимым списаться с Катей, проживавшей снова за границей, и просить ее приехать, чтобы Маруся была в обществе молодой женщины и приятельницы. В ответ он получил извещение о скором приезде Кати.

Эти дурные вести еще обострили мое угнетенное состояние. Меня неотступно преследовала мысль, что существуют, может быть, средства спасти Марусю и вырвать ее из власти убивавшего ее дьявольского существа; поэтому я приставал к полковнику, чтобы он подумал, нельзя ли разрушить *аватар*. Добрый полковник проявил в этом случае поистине ангельское терпение, и однажды вечером сказал мне с милой улыбкой:

– У меня есть для вас хорошая весть, мой юный друг. Видя ваше горе, я написал в Париж одному приятелю, оккультисту, прося его, если не поможет сам, то указать мне кого-нибудь, обладающего знанием и умением пресечь связь, подобную той, что сковала вашу знакомую. И вот его ответ: сам он бессилен в столь сложном деле, но советует обратиться к бывшему аббату Иоганнесу, величайшему магу Франции и единственному человеку, который мог бы решиться на такое лечение.

– А где находится аббат Иоганнес? – с жадностью спросил я.

– Он живет в Лионе. Если можете, добейтесь отпуска и съездите к

нему. Я дам вам письмо к моему другу, который представит вас доктору Иоганнесу.

Не буду говорить, сколько труда, просьб и интриг стоило мне, чтобы получить месячный отпуск. В конце концов, я его добыл и в тот же день с экспрессом полетел в Париж. Пропускаю неважные подробности и перехожу прямо к посещению доктора Иоганнеса, жившего в Лионе.

Иоганнес принял меня радушно, прочел письмо парижского оккультиста и затем предложил изложить мне все дело. Но по мере того, как я говорил, лицо его становилось все серьезнее.

– Да, – задумчиво сказал он, когда я окончил, – случай, о котором вы говорите, не только возможен, но встречается чаще, чем полагают. В настоящем случае дух живого вошел в тело, покинутое его законным владельцем; но бывает, что и ларвические духи подстерегают такие случаи и пользуются медленной агонией, чтобы воплотиться и оживить труп уже искусственной жизнью. Подобное роковое существо приносит несчастье всему окружающему. О, если бы люди знали страшные и опасные тайны, скрытые от нас в *невидимом*, они жили бы совершенно иначе.

Когда я нерешительно спросил, возьмется ли он спасти Марусю, он покачал головою.

– Это очень трудное дело, и я не могу, понятно, ручаться за успех. Мы должны будем помериться силами с крайне сильной партией. Видите ли, я знал этого Красинского; он ученик каноника Докра, самого страшного *черного* мага нашего времени, и был *хорошим*, очевидно, учеником. То, что он мог лично, без посторонней помощи, произвести сложную и опасную операцию подобного *аватара*, доказывает его знание и могущество. Прежде, нежели что-либо предпринять, – прибавил он, – я должен вызвать дух вашего друга. Нет ли у вас какого-нибудь принадлежавшего ему предмета?

Нося давно подаренное мне Вячеславом кольцо, я передал его Иоганнесу, а также показал медальон с портретом Маруси.

– Ага! Вот это хорошо, я сейчас узнаю, в каком состоянии находится молодая женщина, – сказал он, беря медальон.

Принеся небольшой треножник и хрустальную чашу с водой, Иоганнес зажег на треножнике уголья и бросил в них порошок, который с треском сторел, оставив беловатый ароматический дым; а в чашу он опустил три разного цвета камня, расположив их в виде треугольника. Окурился сначала медальон дымом, он держал его над водою, произнося все время формулы на незнакомом мне языке. Вода стала серой и зашипела, как шампанское, а потом сделалась совершенно мутной, грязной и

зеленоватой. Иоганнес снова покачал неодобрительно головой и произнес только:

– Она очень больна. Но посмотрим, что даст завтрашний день, когда я вызову вашего друга.

– Вы поймете, друзья мои, – сказал адмирал, – с каким жутким нетерпением ожидал я следующего дня. Вечером, в назначенный час, я был у Иоганнеса, и он повел меня в комнату, предназначенную для вызывания. Посередине, на полу, был начертан большой круг, с расположенными около него тремя жаровнями с угольями и различными травами. Доктор Иоганнес одет был в длинную полотняную тунику; на золотой цепочке висел нагрудный знак из кабалистических символов, а в руке он держал жезл со странными иероглифами. Поставив меня в углу, он очертил меня кругом, а потом окурил комнату ладаном и окропил святой водой, сопровождая свои действия пением и молитвами.

Жаровни он полил ароматической жидкостью и зажег уголья. После этого он стал перед большим кругом, окружил себя вторым и стал мерно произносить формулы, которые в волнении своем я едва тогда слышал и не понял; помню только, что он девять раз произнес имя Вячеслава.

Через некоторое время послышался треск в полу и стенах. Из треножников, где с треском горели травы, поднимались облака дыма, и комнату наполнил приятный, но тяжелый, удушливый аромат. Вдруг повеяло холодом и над большим кругом за клубились беловатые, искрившиеся облака. Постепенно облака эти сгустились и приняли форму высокой, стройной фигуры, закутанной в сероватое, дымчатое и развевавшееся одеяние; серая вуаль на голове скрывала лицо.

– Крестный, как ты не умер от испуга! – вскричала Надя, дрожа от страха. – Ведь это было настоящее привидение! Я не пережила бы такого ужаса.

– Я также, дитя мое, не хочу хвастаться храбростью, которой не обладал, – ответил адмирал с улыбкой. – Я был ни жив ни мертв, и зубы у меня стучали, как в лихорадке; а между тем это необыкновенное зрелище так околдовало меня, что минутами я забывал даже страх. Иоганнес достал между тем с груди Распятие и, поднимая его, повелительно произнес:

– Пришлец из потустороннего мира! Если ты – действительно дух Вячеслава, которого я вызывал, если ты освящен таинством Крещения и исповедуешь Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, то священное благоухание ладана не отгонит тебя и ты не исчезнешь перед великим символом искупления, а напротив, в этом Святом знамении почерпнешь силу отвечать нам.

Дух стоял неподвижно, и лицо его оставалось закрытым, но фигура делалась как будто плотнее. Вызыватель продолжал:

– Если ты не боишься открыть свои черты, сбрось покрывало, вдохни живительный аромат ладана и трав, освежи себя испарениями освященной воды и поклонись знамени искупления.

Вдруг видение озарилось мягким и голубоватым фосфорическим светом; завеса спала, и перед моим испуганным взором появился Вячеслав. На этот раз это действительно был он, с его ясным и чистым взором, подернутым в ту минуту грустью. Хорошо знакомым мне жестом поднял он руку и набожно перекрестился.

– Да будет благословен Бог, Создатель наш, и имя Его да прославится во веки веков, – благоговейно произнес Иоганнес. – Ты действительно дух христианина, которого мы вызывали, а теперь говори и дай ответ на мои вопросы.

Адмирал остановился и с минуту молчал, склонив голову на руки. Очевидно, вызванное воспоминание еще сильно волновало старика и присутствовавшие не осмеливались его тревожить. Наконец он поднял голову и отер влажный лоб.

– Не могу повторить вам по порядку все слова духа моего друга; может быть, я отчасти даже забыл их, вследствие необыкновенного возбуждения, в котором находился тогда. Минутами голова моя кружилась и все вертелось перед глазами, но я боролся с этой слабостью и старался слушать. Я не мог не узнать голоса Вячеслава, хотя он был слаб и доносился как бы издалека. Он передал подробности аватара и оккультного убийства, жертвой которого пал, прибавив, что Красинский давно разыскивал новое тело, так как его собственное уже было истощено слишком сильными и опасными магическими операциями, не говоря уже про всякого рода излишества. Но вот в чем он промахнулся: Маруся – не та женщина, какая ему нужна; он убивает ее, она же своим чистым флюидом и питаемым к нему отвращением постепенно разрушает узы, связующие его с насильно захваченным телом. Вдруг дух обернулся ко мне и, протягивая руки, крикнул:

– Ваня, Ваня, спаси Марусю! Упроси учителя вооружить тебя магическими стрелами и амулетом! О! Нет слов, чтобы описать, как я мучаюсь, видя ее страдания! Но, если тебе удастся увезти Марусю с проклятого острова и причастить, а оживленное этим демоном тело уничтожить стрелами, тогда ты освободишь ее...

Голос замолк, видение побледнело и, казалось, расплылось в туман, а потом исчезло, точно сметенное ветром. Силы мои были истощены и я от

изнеможения лишился чувств...

Когда я открыл глаза, то увидел, что сижу прислоненный к стене и Иоганнес держит передо мной стакан красного горячего вина, которое я выпил залпом. Я почувствовал себя крепче и мы перешли в соседнюю комнату, где Иоганнес еще говорил со мной по поводу сказанного духом.

– Я дам вам магические стрелы, но только через девять дней, потому что должен приготовить их; амулет же вручу сейчас, и да поможет вам Бог.

Амулет был из ароматного сандалового дерева, с вделанным в крышку золотым крестом; а внутри, по его словам, заключал в себе благословенную *остию*^[6] и частицу мощей. Через девять дней он вручил мне футляр из красного бархата, где находился небольшой золотой лук и три деревянных стрелы, которые, конечно, не могли никого опасно ранить. Лук, как и стрелы, были украшены удивительными кабалистическими знаками. Приятный и живительный аромат исходил из внутренности коробки.

– Как же мне пользоваться этими стрелами? – спросил я.

– Вы должны иметь на себе данный вам амулет и выучить наизусть формулы, написанные на этом пергаменте. Когда вам представится случай увидеть этого негодяя ночью, – если возможно в полночь, – и потом *незаметно* для него, тогда читайте заклинания и выпустите одну из стрел. Впрочем, – прибавил он, – я полагаю, что буду еще иметь случай дать вам более подробные наставления.

На следующий день я выехал обратно в Петербург, от всего сердца поблагодарив доктора Иоганнеса, который разрешил мне писать ему, если понадобится. Адмирал замолчал и, очевидно утомленный, откинулся на спинку кресла. Минуту спустя он встал.

– Довольно на сегодня, друзья мои. Признаюсь, я уста л и хочу отдохнуть, чтобы собраться с силами перед началом самой тяжелой и печальной страницы моего рассказа – смерти Маруси. Завтра я опишу вам странные и страшные явления, сопровождавшие преждевременную кончину этой невинной жертвы неуловимого и загадочного злодеяния. К тому же теперь около трех часов и всем пора спать; посмотрите, как побледнела Надя.

Молодая девушка протестовала, утверждая, что нисколько не устала и с радостью просидела бы всю ночь, чтобы дослушать конец истории, но Иван Андреевич наотрез отказался продолжать рассказ и все разошлись по своим комнатам.

IV

Когда на следующий день Надя сошла к чаю, адмирала еще не было, а слуга доложил, что Иван Андреевич встал рано, отправился в сторону надгробной часовни и просил не ждать его.

«Ага! – подумала Надя. – Он пошел помолиться на могиле Маруси. Рассказ оживил, должно быть, его воспоминания. Но неужели он остался холостым из любви к ней?»

Она еще обдумывала этот вопрос за чашкой молока, когда принесли почту, а полученное письмо мгновенно дало другое направление ее мыслям, заставив забыть и бедную Марусю, и даже крестного.

Письмо было от ее жениха, Михаила Дмитриевича Масалитинова, который извещал о своем приезде через день и просил прислать за ним экипаж на станцию. Ехал он не один, а с двоюродным братом Жоржем Ведринским, приехавшим в Киев познакомиться с новой родней. Зная неистощимую доброту и гостеприимство Филиппа Николаевича и его супруги, он решился привезти гостя без предварительного разрешения и надеялся, что ему извинят это.

Сияя счастьем, Надя немедленно передала родителям содержание письма и было решено, что Зоя Иосифовна с дочерью отправятся на станцию встречать приезжавших. Вопрос о приеме и устройстве гостей еще обсуждался, когда явился адмирал и узнал новость.

– Теперь ты не уедешь, крестный! Ведь ты *должен* познакомиться с моим женихом, ты его еще не видел, – упрасивала, ласкаясь, Надя.

– Да, да, она права, Иван Андреевич. А я приведу еще один хороший довод, чтоб ты остался, – сказал Замятин, складывая письмо, которое читал. – Катя Тутенберг, или, вернее, m-me Морель, приезжает сюда с Милой, и ты, конечно, не захочешь уехать, не повидав дочки бедной Марии Петровны.

Адмирал вздрогнул, видимо, удивленный, и спросил:

– Они едут сюда? Зачем?

– Затем, что, как пишет мне m-me Морель, Мила желает помолиться на могиле матери и взглянуть на места, где та жила и так трагически погибла.

– Правда, она никогда не была здесь, насколько я знаю, – заметил адмирал. – В сущности, я не знаю ничего ни о ней, ни о Кате. После отъезда Петра Петровича я потерял их из вида. Я ушел тогда в кругосветное плавание, а когда вернулся назад, Петр Петрович уже умер.

После этого я долго служил на Дальнем Востоке, но... дочь Вячеслава, или, вернее, Красинского, никогда не внушала мне особенной симпатии.

– Я передам тебе вкратце то, что мне известно о Миле и ее приемной матери, – сказал Замятин. – Ты знаешь, место это стало ненавистным Петру Петровичу после смерти дочери; окончив постройку склепа и часовни, где он приготовил и для себя место, Петр Петрович продал Горки моему двоюродному брату Виктору, от которого я получил имение в наследство. Так как Вячеслав с той поры исчез и все поиски оставались тщетными, то предполагали, что он погиб; ребенок же казался слабым и болезненным, а потому Петр Петрович поселился с ним на юге Франции. Там посетила его Екатерина Александровна, вышедшая замуж за некоего господина Мореля, и очень привязалась к девочке. Через год г. Морель погиб при железнодорожной катастрофе, и Екатерина Александровна поселилась у Петра Петровича, чтобы воспитывать маленькую Людмилу. Когда Петр Петрович умирал, она поклялась посвятить жизнь ребенку и быть ему матерью; очевидно, она сдержала слово, потому что они еще вместе, – закончил Замятин.

– А когда эти дамы приедут? – справилась Зоя Иосифовна. – Признаюсь, после рассказа Иван Андреевича, мне очень интересно увидеть эту Милу.

– Я телеграфирую сегодня, что мы рады их видеть, и, вероятно, надо ждать их дня через четыре или пять, – ответил Замятин.

Замятина с дочерью ушли в дом, чтобы распорядиться необходимыми приготовлениями по случаю приезда гостей, а мужчины остались на террасе, куря сигары и перелистывая газеты.

– Послушай, Филипп Николаевич, по какому случаю ты унаследовал Горки, когда твой кузен Виктор, если не ошибаюсь, имел большую семью? – неожиданно спросил адмирал.

Замятин вздрогнул и нерешительно взглянул на него.

– Правда, у Виктора было четверо детей, но все они умерли.

– А отчего они умерли?

– Старший сын был убит на дуэли соседним помещиком, за женой которого ухаживал; второй ослеп и с отчаяния повесился. Двое младших – мальчик четырнадцати и девочка двенадцати лет, – утонули в озере; по несчастной случайности лодка опрокинулась. Это печальное событие так повлияло на его бедную жену, что у нее сделался апоплексический удар и она умерла в параличе, промучившись два года. Виктор прожил после нее года три и скончался от разрыва сердца. Завещания он не оставил, и имение досталось мне.

– Славное наследство, нечего сказать! – проворчал адмирал, нервным жестом стряхивая пепел с сигары.

Замятин встал и пожал ему руку.

– Я понимаю тебя, Иван Андреевич, и, признаюсь, сам получил отвращение к этому злополучному месту, которое действительно приносит как будто несчастье всем его обитателям. Если бы это зависело от меня, я завтра уехал бы со всеми своими. К сожалению, я связал себя, созвав гостей и пригласив жениха Нади; а теперь еще приедет Екатерина Александровна с Милой. Поэтому я не могу стать посмешищем и бежать. Но клянусь тебе, что как только будет возможно, я сокращу пребывание в Горках и никогда больше не вернусь сюда.

– Дай Бог, чтоб это было поскорее, – ответил со вздохом Иван Андреевич.

День прошел в хлопотах, отправке телеграмм и т. д., а после обеда семья снова расположилась на террасе. Надя уселась на складном стуле около крестного и, по общей просьбе, адмирал продолжал рассказ.

– Я остановился, если не ошибаюсь, на том, когда из Лиона ехал в Петербург. Чего бы я не дал тогда, чтобы лететь в Горки и попробовать спасти Марусю, уничтожив мерзавца, разбившего ее жизнь и счастье. Но служба приковывала меня в столице, и я не мог даже мечтать о новом отпуске; а между тем в письмах Петра Петровича, довольно редких, правда, сквозила все возрастающая тревога за дочь. Он сообщил мне, между прочим, о рождении внучки, прибавив, что с тех пор здоровье Маруси пришло в совершенно плачевное состояние, а доктора нашли у нее изнурительное малокровие и опасались истощения сил. Я впал в отчаяние. Имея в руках оружие, которое могло бы, может быть, спасти Марусю, я был скован по рукам и ногам, как каторжник. Наконец в половине сентября счастье мне улыбнулось, если можно так выразиться.

Умерла дальняя родственница, оставившая мне небольшое имение, а устройство дел по наследству доставило мне неожиданную возможность получить двухнедельный отпуск и, понятно, я бросился в Горки. В то время плевать мне было на наследство и на все на свете, кроме спасения Маруси. Я застал Петра Петровича изменившимся, по старевшим и больным. Встретил он меня с распростертыми объятиями и тотчас поведал о своем горе.

– Кто мог предвидеть, что Вячеслав окажется таким неприятным, даже *подозрительным* человеком и сделает свою жену несчастной?

– Почему считаете вы его *подозрительным*? – спросил я, удивляясь. – Неужели, – думал я, – и он открыл роковую тайну?

– Да он уезжает неизвестно куда, пропадает по целым дням, а иногда и неделям, и я не знаю, что этот подлец делает с Марусей, мучает ее, или дурно обращается втихомолку? Она, правда, не жалуется, а между тем безумно его боится; я подметил даже панический страх в ее глазах. Но она никогда не хотела ответить на мои вопросы и упорно утверждает, что вполне счастлива. С рождением ребенка стало еще хуже. Она положительно тает на глазах, а вместе с тем они точно прикованы к этому проклятому острову, провели там даже всю зиму, и никакие мои убеждения переехать сюда не подействовали. Прежде, бывало, в отсутствие Вячеслава, а то вместе с мужем, она приезжала иногда сюда обедать, или провести со мной вечер; но с рождения Милы она не двигается с острова и мне приходится ездить туда, чтобы видеться с нею, как ни вредны для моей болезни такие разъезды по озеру. Вот уже пять дней я ее не видел из-за моей подагры, и она не приезжала меня проведать; а он, вероятно, опять исчез Бог весть куда.

Я утешил бедного старика, сказав, что немедленно отправлюсь к Марии Петровне, и если мне не удастся уговорить ее приехать повидаться с отцом, то, по крайней мере, привезу известия о ней.

Я взял своего вестового – смелого, хорошего малого, которого привез вместе с большой ньюфаундлендской собакой, купленной зимой; эта не отставала от меня, и вот мы втроем отправились на остров. К удивлению моему, собака, выпрыгнувшая уже на берег, вдруг кинулась обратно в лодку с такой поспешностью, что едва ее не опрокинула. Ни убеждениями, ни угрозами я не мог заставить ее идти со мной на дачу. Итак, я один поднялся на лестницу, направляясь к запертой входной двери, и позвонил.

Женщина, отворившая мне, спросила что мне надо. Это уже была не Груша – веселая, хорошенькая горничная Маруси, – а женщина средних лет, худая, сухая и неприятная на вид, с маленькими, пронизательными, недобрыми глазами. На вопрос мой о господах она ответила, что барин – в городе и возвратится завтра или послезавтра, а барыня на террасе. Туда я и направился, но на пороге террасы остановился, как вкопанный.

В широком кресле, обложенная подушками, сидела Маруся; но это была лишь тень ее. Исхудавшая, с прозрачным и бледным, как восковая маска, лицом, широко раскрытыми глазами и потухшим взором, она казалась умирающей. Но все-таки она была дивно прекрасна, а солнечный луч, пробивавшийся сквозь зелень и игравший на ее белокурых волосах, золотым ореолом окружал ее прозрачное личико. Боже мой, что случилось в один какой-нибудь год с свежим, веселым, счастливым и полным жизни существом, которое я тогда видел!

Заметив меня, она вскрикнула от радости и протянула мне руки, которые я целовал, а потом сел около нее и от души поздравил с рождением дочки. Выражение ужаса и страдания отразилось на ее лице, и она пугливо взглянула на меня.

Видя, что горничная не могла нас подслушать, я нагнулся к ней и прошептал:

– Я понимаю ваш ужас, Мария Петровна. Вы также узнали его... это чудовище?

Она выпрямилась, вся дрожа и широко раскрыв глаза. Радость и испуг, видимо, боролись в ней. Вдруг она судорожно схватила мою руку, нагнулась почти к самому моему уху и прошептала порывисто:

– И вы... тоже узнали его? Но вы не знаете, какой ужас пережила я. Я чувствую, что умираю... Он сосет мою жизненную силу. Папе я не могу ничего сказать, но я очень счастлива, что вы приехали; вы знаете истину и поймете меня... Пойдите. Я хочу прежде всего вам кое-что передать.

Она встала и, несмотря на видимую слабость, побежала в соседнюю комнату. Я видел, как она открыла небольшую конторку, потом нажала пружину секретного отделения и достала довольно объемистую тетрадь в красной обложке. Чуть не бегом вернулась она обратно на террасу, сунула мне тетрадь и села, успокоившись лишь после того, как я спрятал ее под сюртук.

– В отсутствие этого чудовища я записывала все происшедшее здесь... историю моих мучений. Сомневаюсь, чтобы мне удалось еще что-нибудь писать... Я убеждена, что часы мои сочтены. Только... – голос ее стал едва слышен, – я хотела бы умереть у папы и... – губы ее почти прикоснулись к моему уху, – причаст...

Но тут голос ее оборвался. Смертельно бледная, она задрожала, как в лихорадке, с испугом смотря на что-то, бывшее за моей спиной. Я стремительно обернулся и застыл.

На стуле опять сидела кошка, которую я в прошлом году видел околевающей. Взъерошенный хвост извивался точно змея, зеленоватые глаза страшно и злобно глядели на меня, а полуоткрытая пасть скалила острые зубы. Я злился, упрекая себя, что оставил в чемодане лук и магические стрелы; но зато амулет с мощами и освященной *остией* висел на груди, на двойной золотой цепочке. Иоган нес научил меня одной формуле и уверял, что амулет этот в руках верующего является оружием непреодолимым против адской силы. Настал момент испытать могущество талисмана.

Проворно достал я амулет и, подняв вверх, обращая его крестом в сторону бесовской твари, произнес заклинание. Ворчавшая и шипевшая

кошка присела уже, чтобы броситься на меня; но тут вдруг она отпрыгнула назад, несколько раз перевернулась и стала корчиться в страшных судорогах, жалобно выть и стонать голосом, удивительно похожим на человеческий. В эту минуту из внутренних комнат на террасу влетела новая горничная. Она была мертвенно бледна и дрожала, а я все еще держал в поднятой руке талисман, и глаза этой женщины впились в него с ужасом. Она позеленела, глухо вскрикнула и грохнулась без чувств на пол. Я растерянно смотрел на нее.

– Душно!.. Воздуху!.. – послышалось за мной.

И этот надорванный, страдальческий возглас сразу вернул меня к действительности. Смертельно бледная, Маруся металась в кресле, сжимая грудь руками, и, казалось, задыхалась.

А меня всецело охватило желание бежать из этого проклятого места и бежать как можно скорее. Я решительно подхватил молодую женщину, весившую не больше ребенка, и, продолжая сжимать в руке медальон, кинулся с террасы к своей лодке. Уложив в нее Марусю, бывшую точно в беспмятстве, мы проворно отчалили.

Мой лихой матрос, перекрестившись, взялся за весла и греб словно на гонке. Мы летели и в десять минут были у лестницы, которую вы отсюда видите. Прежде всего я высадил Марусю, которая хотя и открыла глаза, но была так слаба, что не могла держаться на ногах.

Мы с вестовым перенесли ее сюда, на террасу, куда тотчас же прибежало несколько человек прислуги и приплелся, ковыляя, уже уведомленный Петр Петрович.

Маруся бросилась в объятия отца, и оба плакали от горя и радости.

– Дорогое мое дитя! Никогда больше не пущу я тебя на этот проклятый остров. Мы останемся вместе, и я сам буду ходить за тобой; а как только ты окрепнешь немного, мы уедем за границу, – сквозь слезы сказал Петр Петрович.

Маруся казалась совершенно счастливой, но была так слаба, что походила на умирающую, и ее бывшая кормилица, Анисья, повела ее под руки укладывать в постель. Петр Петрович стоял растерянный. Как только молодая женщина вышла, он схватил мою руку и спросил тревожно:

– Скажите, пожалуйста, что означает такого рода *похищение* или *бегство*? Разве Марусе грозила опасность? Или вы открыли какую-нибудь подлость со стороны этого негодяя Вячеслава?

– Вячеслав пропадает по обыкновению неведомо где; а если бы я вам сказал все, что думаю и предполагаю или *что* мне удалось, кажется, открыть, вы приняли бы меня за умалишенного, – ответил я.

– Впоследствии как-нибудь я объясню вам все, и тогда думайте об этом, что хотите, а теперь предоставьте мне действовать и следуйте моим советам, которые имеют в виду исключительно спасение вашей дочери.

Вероятно, в моем голосе и взгляде было нечто столь важное и серьезное, что он смутился и просил всецело распоряжаться всем. А я прежде всего послал верхового за отцом Тимоном, чтобы звать его немедленно причастить больную. Едва уехал посланный к отцу Тимоны, как Анисья пришла сказать, что больная желает видеть меня с отцом.

Маруся лежала в своей девичьей постели, белая, как ее подушки, но, по-видимому, счастливая и довольная. Она уверила нас, что чувствует себя лучше с тех пор, как находится здесь; при нас она выпила чашку бульона и стаканчик вина, а потом попросила отца послать за священником. Узнав, что это уже сделано, Маруся успокоилась было, но вдруг снова встревожилась.

– Папа, не пускай *его* в мою комнату, если он приедет; пусть он хоть даст мне по крайней мере умереть спокойно... И еще одна просьба, – продолжала она, заметно волнуясь. – Если бы ночью я пыталась вернуться на остров, не пускайте меня, *употребите силу*, но не пускайте ни за что на свете... О! Хоть бы священник приехал скорее!..

Петр Петрович обещал исполнить ее желание, и мы вышли. Он был смущен и встревожен, не понимая ничего, но инстинктивно чувствуя между тем, что вокруг него разыгрывается неведомая драма.

К великому нашему огорчению, посланный вернулся с известием, что отец Тимон уехал на потребу в дальнюю деревню; но дочь его писала, что как только отец вернется, то немедленно поедет в Горки и, во всяком случае, к двум часам ночи, наверно, будет у нас.

Тяжелое предчувствие сжимало мне сердце. В полном отчаянии пошел я к Анисье, сообщил ей о случившейся задержке и приказал *не спать* до прибытия священника. Кроме того, я приставил к постели больной еще двух здоровых баб, которые могли бы силой удержать ее, если бы та сделала попытку вернуться на остров. Анисья сказала, что Маруся поживает, но тяжелым и, вероятно, тревожным сном, потому что все время стонет. Старуха поклялась мне не спать со своими помощницами и не выпускать молодой женщины из комнаты, если бы даже пришлось в крайнем случае связать ей руки и ноги.

Петр Петрович и я расположились в бывшей маленькой гостиной Марии Петровны, отделенной от спальни только библиотекой, которая служила в то же время мастерской.

До половины двенадцатого мы потихоньку разговаривали, но затем на

меня напала невыразимая усталость и непреодолимое желание спать. Петр Петрович тоже признался, что чувствует себя утомленным и что у него голова кружится.

– Я думаю, мы могли бы соснуть часик до приезда отца Тимона. Я позову Савелия и прикажу ему разбудить нас, когда тот приедет, или во всяком случае в два часа.

Он позвонил, отдал приказание и потом улегся на диван, а я остался в кресле. Через пять минут мы оба покоились мертвым сном.

Хотя я спал крепко, но сон этот не давал покоя и не укреплял; меня мучил отвратительный кошмар. Я видел, что меня окружила целая стая крыс; с мерзких животных струилась вода, они карабкались на меня, стараясь укусить, и гнались за мной, когда я, дрожа от страха и холода, бежал прочь... Но вдруг я проснулся.

Старый Савелий, мертвенно бледный и дрожавший от страха, изо всех сил тряс меня.

– Слава Богу, что вы хоть наконец проснулись, Иван Андреевич! Барин спит, как убитый; а между тем ведь у нас беда стряслась.

Я вскочил на ноги, и первой моей мыслью было, что Маруся умерла.

– Что? Что случилось? Да говори же! – кричал я. Старый слуга все еще дрожал, как в лихорадке, и не мог произнести от волнения ни слова.

– Мария Петровна... утопились! – с усилием наконец проговорил он упавшим голосом.

Меня точно обухом по голове ударило, и я зашатался, с глубокой скорбью глядя на несчастного отца, покоившегося мирным сном. Конечно, я не стал будить его: успеет еще узнать о своем горе. Прежде надо было узнать, что случилось и нельзя ли еще спасти несчастную.

– Где Анисья? – спросил я, выбегая из комнаты.

– На берегу, – ответил Савелий, ковыляя за мной и стараясь не отставать, насколько позволяли ему старые ноги.

Весь дом уже поднялся. Подходя к террасе, я слышал доносившийся смутный гул голосов и крики. Люди бегали растерянные, а по озеру разъезжали две лодки: в одной сидел мой вестовой с садовником, – молодым и сильным малым, а в другой – двое слуг. Они освещали факелами воду, щупали баграми дно и осматривали берег. Внизу лестницы стояла Анисья с непокрытой головой и растрепанная. В отчаянии она рвала на себе волосы; лицо у нее было землисто-бледного цвета, а глаза дико блуждали, как у безумной.

– Анисья! – крикнул я, с силой тряс ее руку. – Как случилось это несчастье? Уснула ты что ли?

– Ой, батюшка, нет... нет! Не спала я... И в толк не возьму, что с ней сделалось, – с рыданьем кричала преданная Анисья.

Не без труда удалось мне успокоить ее, и вот что она мне рассказала. Маруся спала; пробила полночь, и она проснулась, а потом поспешно села на постели и широко открытыми от ужаса глазами пристально смотрела на что-то невидимое. Вдруг она начала отбиваться и кричать: «Оставь меня! Поди прочь! Я не пойду, я не хочу!»

– Я думала, бредит она, – продолжала Анисья, с плачем, – и обняла ее, стараясь успокоить. А она как закричит, да в сторону метнулась, и рукой за плечо схватилась, будто кто больно ударил ее. Потом залилась она слезами и хотела сойти с постели. Я вцепилась в нее изо всех сил и стала кликать Груню с Федосьей, а те обе лежат, как колоды, и храпят себе вовсю; Мария же Петровна отбивается меж тем ровно бешеная. Николи не поверила бы я, что у такой хрупкой да худенькой, как она, силища явится, что у доброго мужика. Толкнула это она меня так, что я наземь повалилась, а сама, как была в одной сорочке и босая, ровно ветер буйный мимо меня пронеслась. Вскочила я, да за ней следом, и ну кричать; а догнать уж не могла. Так вихрем пролетела она по коридору и прямо на террасу. Одначе крик мой услышали. Прибежал Савелий и хотел было схватить ее, да она и его в грудь кулаком ударила так, что он к стене отлетел; опосля прибежал дворецкий Дементий и со всех концов стали сбегаться люди, которые не спали, поджидая отца Тимона. Светло ведь теперь, потому – луна, и видим мы, как Марусенька с лестницы сбежала, а потом одним прыжком, да в воду. Только и видела я, как взмахнула она ручками в воздухе, а затем, словно камень, ко дну пошла. Недалеко и тело быть должно, где-нибудь у лестницы; а между тем, все обшарили баграми и крюками, а не сыскали, – заливаясь слезами, закончила кормилица.

Теперь я был почти уверен, что несчастную женщину живой не найдут. Неведомая, страшная и таинственная сила, разбившая ее судьбу, уничтожила также и жизнь этого молодого существа, рожденного, казалось, для счастья. В мрачном отчаянии смотрел я на озеро, ожидая каждую минуту увидеть на конце багра безжизненное тело горемычной Маруси; но все поиски были тщетны, и озеро точно поглотило тело.

Давно уже приехал отец Тимон, а Петр Петрович, пробужденный шумом в доме и узнавший о происшедшем, плакал, как ребенок; между тем лодки все еще шныряли по гладкой поверхности озера, продолжая поиски.

Наступил день, а с ним исчезла последняя надежда спасти молодую женщину; более пяти часов пробыла она под водою. Но мы хотели найти во что бы то ни стало ее труп, чтобы похоронить, по крайней мере. Отец

Тимон не покидал нас и старался утешить бедного Петра Петровича, твердившего одно, что хочет увидеть дочь, хотя бы мертвую.

Добрый священник глубоко ему сочувствовал и, видя отчаяние несчастного отца, заметил после некоторого размышления:

– В народе существует поверье, что если утопленника не отыщут, то надо взять ящик или глиняный горшок, положить в него икону, вставить освященную зажженную свечу и пустить на воду. И будто бы свеча остановится безошибочно над тем местом, где находится тело.

– Ах, это правда! Спасибо, батюшка, что напомнили, – обрадовался Савелий. – Сейчас же и сделаем.

– Я дам свечу из Иерусалима от гроба Господня, – прибавила Анисья.

– А пока вы будете продолжать поиски, – сказал отец Тимон, – я пойду в комнату Марии Петровны и отслужу по ней панихиду.

По окончании службы я уговорил Петра Петровича прилечь, обещав известить, когда будет найдено тело. Он согласился, потому что действительно дошел до полного истощения сил, и отец Тимон обещал мне не покидать его. Я же вернулся на озеро, где еще толпились люди; на этот раз я тоже хотел принять участие в поисках.

В ту минуту как я подошел к берегу, мой вестовой с тревожным видом доложил мне, что свеча долго носилась по воде, а потом ее отнесло течением на середину озера, где она остановилась неподалеку от острова и стоит неподвижно минут десять. В момент моего прихода он с дворовыми собирался сесть в лодку, и я сказал, что еду с ними. Мы сели втроем в большую лодку и направились прямо к тому месту, где огонек свечи блестел, как звездочка. Молча закинули мы багры, и не прошло минуты, как Никифор, мой вестовой, сказал:

– Зацепил что-то тяжелое. Гляди, осторожней теперь, как бы шлюпку не опрокинуть.

Прижав руки к груди на том месте, где находился медальон, я стал горячо молиться, не спуская глаз с воды, откуда медленно поднималась тяжелая масса. Один из людей бросился даже в воду поддержать тело, опасаясь, чтобы оно не ушло снова на дно. Наконец, на уровне воды показалась белокурая головка Маруси и скоро она лежала уже на дне лодки, а я прикрыл ее шалью. Сердце мое сжималось при виде ее мертвого личика и слезы лились ручьем. Выйдя из лодки, мы положили тело на матрац и внесли в комнату Маруси, а я затем пошел к Петру Петровичу и застал его в полном отчаянии.

Не буду говорить о раздиравшей душу сцене, разыгравшейся у трупа. И священник, и я думали, что несчастный Хонин лишится рассудка;

наконец, его унесли в обмороке.

Когда мы привели его в чувство, он со слезами просил меня распорядиться погребением. Исполнив необходимое, я отправил посланного в город и пошел наконец в свою комнату, чтобы немного отдохнуть.

Я был разбит душевно и телесно, лег на диван и закрыл глаза. Вдруг с шумом отворившаяся дверь и резкий голос разбудили меня.

– Барин!. Барин!.. Иван Андреевич! Мертвенно-бледная и с блуждавшими глазами Анисья рассказала, что должно быть дьявол повинен в смерти Марии Петровны, потому что когда стали обмывать тело, то нашли ясно видимый отпечаток рук с когтями, от которых остались даже кровоподтеки.

– Ровно кто ее тянул... Пожалуйте, барин, я покажу вам этот знак. Никого нет, Груша и Федосья убежали и не хотят обмывать покойницу, боятся, – закончила старуха, вытирая глаза.

Машинально последовал я за ней и когда она приподняла край покрывавшей тело простыни, я своими глазами увидел у локтя черноватый отпечаток руки, ногти которой глубоко вошли в тело и оставили на коже кровавые знаки.

– На другой стороне такой же знак, – сказала старуха.

– Горемычная ты моя, Мария Петровна! Никто не хочет даже помочь одеть тебя; обе негодные девки сбежали. Ну, да справлюсь и одна. Голубушка моя, она даже потеряла крест, но я надену ей материнский, который мне подарил барин.

Я перекрестился, помолился над усопшей и ушел к себе, сильно взволнованный и вновь мучимый страхом и предчувствием новой беды.

Прежде всего я поднял шторы и открыл окна; мне хотелось света, а темнота пугала меня.

В возбужденном состоянии ходил я взад и вперед, и в первый раз горевал о своем невежестве в законах оккультного мира. Люди только глумятся обыкновенно над «сверхъестественным»; смеются с высоты своего мнимого умственного величия над деревенским знахарем, который умеет «отнять» у коровы молоко, наводить «порчу», гадать или фабриковать любовные зелья. Нас учат «наукам» и множеству вещей, без которых легко можно обойтись, и оставляют в полном неведении относительно невидимого мира и окружающих нас злополучных, таинственных сил, против которых можно было бы обороняться, если бы мы знали их и понимали их проявление. А вместо того, нас отдают во власть невидимых врагов слепыми, невежественными и беспомощными,

уча даже *не верить* в них и делая нас тем самым вдвойне беззащитными.

Все эти мысли толпились в моей голове, порождая негодование и сожаление. Сам я не мог более сомневаться в силах ада и подавляющие доказательства убеждали меня в его могуществе, а потому надо было ожидать, что подлый колдун, жестоко разбивший жизнь молодого, невинного существа, произведет еще новое покушение на ее прах. Я перечитал уже достаточно книг по оккультизму и знал, что труп представлял драгоценную добычу для «черного мага», и смерть Вячеслава подтвердила это.

А что Маруся также пала жертвой оккультного убийства, – тоже не представляло и тени сомнения. Но как огра дить мертвую от какого-нибудь покушения злодея?

В моем глупом неведении я не мог даже себе представить, какого рода покушение было возможно. Может быть, новый «аватар», а может быть, какое-нибудь иное мерзкое кощунство? И я принужден был допустить это, потому что не знал, как предупредить и помешать ему. Ах! Если бы Иоганнес был здесь! Он научил бы меня и помог; но он далеко, и нет никого, кто посоветовал бы мне.

В отчаянии и усталый от всех этих волнений, я бросился в кресло; думать я не мог более, все кружилось в моем мозгу. Приход моего вестового несколько рассеял меня. Он принес письмо и объемистый пакет.

– Письмо и пакет заказные из Лиона, – доложил он.

– Из Лиона?

Я вскочил, письмо могло быть только от Иоганнеса. О, если бы он знал мои мучения!

Я поспешно вскрыл конверт. Письмо было на самом деле от Иоганнеса и, пока я пробежал первые строки, меня охватила суеверная дрожь.

«Молодой друг мой! – писал доктор. – Если предвидение меня не обманывает, то письмо это придет в такую минуту, когда вам очень понадобятся помощь и совет. Готовится большое дьявольское злодеяние, и, может быть, оно будет уже совершено, когда до вас дойдет моя посылка; последнее возможно. Потому посылаю вам свои советы, как помешать Красинскому проделать какую-нибудь новую мерзость относительно его несчастной жены. А что он будет пытаться, это несомненно. В пакете вы найдете все необходимые вам вещи и также пергамент, где записаны магические формулы, которые вам следует знать и потому выучить наизусть. Прежде всего возьмите полотняную простыню, которую я посылаю, и прикажите обернуть ею тело умершей под платьем. На шею наденьте эмалированный крест на красной цепочке, а под голову положите

металлическую пластинку и в гроб насыпьте ладана; когда же тело будет выставлено, очертите катафалк красным мелом. Надеюсь, что этих предосторожностей будет достаточно, чтобы оградить усопшую от демонских нападений. В третью ночь, накануне погребенья, надо принять особенные предосторожности. Наблюдайте, чтобы весь день горели лампы и свечи, окропите комнату крещенской водой, а перед полуночью спрячьтесь сами за изголовьем гроба. Вы должны иметь наготове лук и стрелы, данные мною вам. В полночь он придет. Как только часы начнут бить, произносите формулы. Он не заметит вас, и когда будет около красного круга, вы пустите стрелу».

Далее следовали некоторые менее важные указания и, под конец, добрые пожелания успеха.

Счастливый и признательный, сложил я письмо. С сердца моего свалился точно тяжелый камень: я был предупрежден, научен и вооружен. С почтительным любопытством я открыл пакет и осмотрел находившиеся в нем предметы. Простыня была тонкая, как батист, и покрыта разноцветными кабалистическими знаками, а посередине находился большой красный крест. Распятие было старинное, драгоценной работы, и главу Христа окружали лучи, а висело оно на тонкой золотой цепочке с красной эмалью. Металлическая же пластинка была яйцевидной формы и на поверхности ее были выгравированы две переплетавшиеся пентаграммы в виде звезды, окруженные кабалистическими знаками.

Вы поймете, что я в точности исполнил предписания доктора Иоганнеса. Слабость Петра Петровича не позволяла ему часто находиться около умершей и самому наблюдать за приготовлениями, а это облегчало мне дело, тем более, что мнимый Вячеслав не появлялся.

По моему приказанию Анистья завернула тело в магическую простыню; я сам надел цепочку на шею покойной Маруси и скрыл крест в складках платья, а пластинку сунул под голову. Бедная покойница стала снова прекрасной, а выражение страдания и ужаса, застывшее на ее лице с тех пор как ее вынули из воды, сменилось выражением покоя. Гроб утопал в цветах и окружен был редкими растениями и кадками с цветущими померанцевыми деревьями.

В течение дня, предшествовавшего страшной ночи, которой во всю жизнь не забуду, я старался спать, чтобы запастись силами, но вместе с тем и твердил формулы. Я хотел быть уверенным, что не ошибусь, произнося их, когда понадобится. С приближением же ночи смелость моя начала таять и невыразимый ужас охватывал меня; но решимость все-таки не ослабевала. Меня поддерживала жажда мести и страстное желание

уничтожить чудовище.

После вечерней панихиды я увел отца Тимона в свою комнату, рассказал ему все и умолял его бодрствовать вместе со мной, но он наотрез отказался.

– Бросьте, Иван Андреевич, не связывайтесь с «нечистым», – сказал он с видимым опасением. – Помоли-73 тесь усердно, да и оставим все на волю Господню. Ничего больше сделать мы не можем и не должны.

– Нет, – ответил я решительно. – Любя Марусю, я докажу ей свою любовь, охраню и огражу ее прах от убившего ее чудовища.

Если бы мы действительно умели молиться с той силой, которая побеждает демонов, – другое дело; но молиться *так* мы не можем. Будь какой-нибудь схимник, угодник Божий, например преподобный Серафим Саровский, или отец Иоанн, я упросил бы их прибыть сюда; а в данном случае оставалось следовать предписаниям доктора Иоганнеса.

Таким образом, я подготовил все: возобновил мелом круг у катафалка, взял лук со стрелами и спрятался у изголовья гроба в густой зелени, между кадками с растениями. Меня утешало и поддерживало сознание, что все-таки я был не один, так как читальщик читал псалтырь.

Никогда еще время не тянулось так мучительно долго, а тоска моя росла с каждой минутой, которую отмечали висевшие против меня часы. Минут за десять до полуночи я с ужасом заметил, что голос читальщика становился все невнятнее, нередко прерывался и наконец совсем замолк, а затем слабый храп возвестил мне, что он уснул. Неиспытанный до той поры ужас обуял меня; волосы мои вставали, казалось, дыбом, потому что вокруг меня происходило нечто страшное.

Стены трещали и по комнате проносились порывы ледяного ветра, которые качали деревья. Большой олеандр около меня трещал, словно горел, и в эту минуту часы начали бить двенадцать.

Нечеловеческим усилием воли поборол я страх и начал произносить формулы. Через минуту дверь отворилась, в залу вошел мнимый Вячеслав и, как тень, шмыгнул к гробу. Он был мертвенно бледен и впалые глаза фосфорически блестели; а так как в то время он не боялся обнаружить себя, то сходство с Красинским, несмотря на обличье Вячеслава, бросалось в глаза. За ним плелась с взъерошенным хвостом и глухо рыча мерзкая кошка. Они быстро приближались, но вдруг Красинский остановился и затрясся, а кошка жалобно замыкала... они наткнулись на магический круг.

Страшное бешенство обуяло сатаниста. Он дрожал, глаза метали словно искры, а на устах показалась кровавая пена. Произнося заклинания, он схватил отбивавшуюся кошку за шею и хотел бросить в круг, махая

жезлом в другой руке и чертя им кабалистические знаки; кольцо на его пальце сверкало, и из камня лились словно снопы зеленоватых лучей. Однако попытка войти в круг ему не удалась; с пеной у рта он отступил и приподнял корчившуюся в его руке кошку. Но в это мгновение я кончил произносить формулы, натянул лук и выстрелил. Стрела была спущена и пронизала воздух точно красная молния; в ту же минуту послышался раздирающий, но вполне человеческий крик.

Я видел, как Красинский зашатался; между тем стрела поразила не его, а кошку, которую он поднял именно для того, чтобы бросить, и теперь она грохнулась на пол. Мне следовало бы выстрелить вторично; но силы мои истощились, вероятно, или какая-нибудь уловка колдуна воздействовала на такого неопытного ученика, каким я был в то время. Голова моя внезапно закружилась, я почувствовал острую боль в голове и лишился сознания...

Очнулся я только уже недели через три. Нервная горячка держала меня на волоске от смерти. От отца Тимона я узнал, что произошло после моего обморока.

Он стоял на молитве в одной из соседних комнат, когда услышал сильный грохот. Опасаясь, не случилось ли со мной несчастья, он вооружился смелостью, перекрестился и с крестом в руке бросился в залу. Она была пуста и тонула в полутьме, потому что горели лишь три свечи у катафалка, огражденные магическим кругом. Священник знал, что я намеревался спрятаться между кустами у изголовья гроба и направился прямо туда. Он нашел меня замертво распростертым с лежавшими возле луком и стрелами. Он взял эти вещи, спрятал и затем вернул мне лишь по моем выздоровлении.

На его зов прибежала прислуга, которая подняла меня и осветила комнату. Тогда перепуганные люди с ужасом увидели лежавший около круга труп трехлетнего ребенка, а неподалеку от него разлагавшуюся, вонючую падаль огромной черной кошки. Никто раньше не видел этого ребенка; не было возможности доказать, откуда он взялся и отчего умер. На трупе не было никакой раны и только на месте сердца чернело небольшое пятно. Пришлось ограничиться тем, что похоронить неизвестного малютку.

Я поправлялся медленно, но Горки внушили мне такой ужас, что при первой возможности я уехал в Петербург и выхлопотал разрешение вернуться на судно; мне необходим был свежий воздух и новые места, чтобы опомниться от такого страшного потрясения...

Адмирал закрыл тетрадь и встал.

– Покойной ночи, друзья мои; всем пора спать. Вижу, что рассказ мой взволновал вас. Признаюсь, и я хочу побыть один, пережив снова в душе

все это печальное прошлое.

Действительно, слушатели находились словно под давлением кошмара; никто не возражал адмиралу, и все молча разошлись по своим комнатам.

V

Адмирал занимал не ту комнату, где жила во время описанных им трагических происшествий; ему отвели помещение внизу, состоявшее из спальни и гостиной с окнами в сад.

Утром встававший очень рано Иван Андреевич только что вернулся с прогулки и, сидя у открытого окна, читал и курил, как вдруг услышал из сада звавший его голос.

– Это ты, Надюша, и так рано встала? Но что с тобою, крошка? Как ты бледна. Не больна ли?

– Нет, крестный, но я много думала о том, что ты вчера рассказывал нам, и долго не могла уснуть, а потом видела такой дурной сон, что и теперь даже дрожу при одном воспоминании.

– Ты должна описать мне его!

– И ты скажешь мне откровенно, что думаешь о нем, не правда ли? А могу я прийти к тебе поговорить немного? Раньше часа мы не сядем завтракать.

– Конечно, приходи.

Через несколько минут Надя уселась в кресле против крестного, но вместо того, чтобы рассказывать свой сон, принялась с любопытством расспрашивать его о различных эпизодах его рассказа, бывших для нее не совсем ясными. Ей хотелось знать, сохранились ли еще у адмирала медальон и стрелы, данные Иоганнесом; кроме того, она живо интересовалась неизвестным ребенком и, наконец спросила:

– Разве ничего решительно не известно о Вячеславе, или, вернее, об *аватаре* Красинского? Умер он, или, может быть, его убила рикошетом твоя магическая стрела?

– Ничего не могу сказать тебе по этому поводу. Во всяком случае, уже более двух десятков лет он не показывался и тело его тоже нигде не было найдено. Возможно, что он и живет где-нибудь, потому что подобные ларвические существа могут жить долго и путем преступлений поддерживать это свое мерзкое, воровское существование.

– В таком случае, если он и живет где-нибудь, то, конечно, не в здешних местах, так как мне говорили, что дом простоял запертым более двадцати лет, еще по распоряжению покойного Петра Петровича, и дядя Виктор не хотел никогда ни отворять, ни даже посещать его.

В эту минуту послышалось хлопанье крыльев, и на подоконник сел

ворон, зорко глядя на разговаривавших. Надя вскочила, испугавшись в первую минуту, но, будучи смелой и храброй, тотчас подняла зонтик, прогоняя птицу; однако та не шевельнулась, хлопнула крыльями и три раза каркнула. Иван Андреевич побледнел и встал, нахмутив брови; он поднял руку с угрожающим жестом и прошептал несколько непонятных слов. В ту же минуту ворон взлетел, пронзительно прокричав: «Ха! ха! ха!» – и исчез, как показалось Наде, в густой листве росшего перед окном дуба.

– Должно быть, его приручил какой-нибудь деревенский мальчишка, – заметила Надя. – А все-таки пойдем, крестный, в сад; эта противная птица неприятно подействовала на меня и мне жутко оставаться в комнате.

Адмирал своего мнения не высказал, а молча взял шляпу и пошел в сад за крестницей.

Стояло восхитительное утро, небо было безоблачно, а воздух тепел и ароматен. Чудная погода манила на прогулку, почему Надя, к которой вернулось хорошее расположение духа, повела крестного в свой любимый уголок сада, – на площадку, посредине которой вековой дуб широко раскинул свои могучие ветви и густую листву. В тени этого великана стояли изящные бронзовые стулья и стол; от раскинутых возле цветников, засаженных гелиотропами, резедой, нарциссами и розами, несся дивный аромат.

– Не правда ли, здесь хорошо? Солнце не беспокоит и со всех сторон мы окружены цветами и приятным запахом, – сказала Надя, усаживая крестного отца на диван.

В эту минуту она увидела мальчика-садовника, несшего несколько корзин со свежесобранной земляникой; она побежала за ним, взяла одну корзину и вернулась к адмиралу.

– Кушай, крестный. Говорят, что натошак земляника особенно здорова, а я в это время расскажу свой удивительный сон. Но теперь, днем, он не кажется страшным и, вероятно, приснился мне после твоего ужасного рассказа.

Иван Андреевич улыбнулся, принялся за ягоды и сказал, что ждет рассказа сновидения. Надя на минуту задумалась, а потом облокотилась на стол и начала:

– Я уже говорила тебе, что долго не могла вчера уснуть; меня мучила тревога и смутная тоска. Наконец я уснула и вижу, что все мы, т. е. папа, мама, мы, трое детей, и Михаил Дмитриевич, сидим на террасе, выходящей на озеро, вокруг роскошно сервированного стола. Тебя, крестный не было, но мы все были веселы. Меня радовала окружавшая нас роскошь и стоявшие на столе мои любимые блюда. Вдруг я заметила, что на голубом

небе появилось густое черное облако, которое мгновенно заволочло весь горизонт и стало совсем темно; тучи почернели, а затем разразилась страшная гроза. Яркие молнии бороздили небо; раскаты грома без перерыва раздавались один за другим, а на острове был точно пожар, кровавым заревом освещавший воду. Я перепугалась и крикнула:

– Идемте в дом... да ступайте же! Что вы сидите, точно пни.

– Я хотела бежать к двери, но в это мгновение раздался страшный удар грома и такой грохот, словно весь мир рушился, а я потеряла сознание. Странно, не правда ли, ощущать что-нибудь подобное во сне? Между тем я отлично помню, как упала в обморок и затем очнулась... Кругом было тихо, и все заливал белесоватый полусвет; но когда я огляделась, безумный страх овладел мною. Насколько хватало глаз, всюду виднелось разрушение. Сад был разорен, деревья вырваны с корнем, и дом представлял одни развалины. Страннее же всего то, что дом наш в Киеве и здешний точно слились воедино и рушились вместе, так как среди груды мусора я видела кариатиды с фронтона киевского дома. Но во сне это обстоятельство нисколько не удивило меня, а я думала лишь об одном – разыскать своих, которых нигде не видела, и в отчаянии силилась разрывать мусор.

Вдруг я нашла папу, но мертвого и в крови. Я кричала и старалась оживить его; но тут из-под развалин стали выползать мама, бледная и худая, вся в черном, а за нею и брат с сестрой. Дети цеплялись за меня; пока я старалась утешить маму и малышей, все быстро изменилось вокруг. Мы очутились на узкой, извилистой дороге, изрытой глубокими ямами и усеянной камнями, а вдали виднелся густой темный лес. Мне сделалось панически страшно, и я стала звать своего жениха; но он не при ходил, а я все звала и плакала.

Вдруг я увидела, что параллельно с нашей, скверной дорогой пролегла другая – широкая и торная, отделенная от нас глубоким рвом, а по этой дороге ехал Михаил Дмитриевич, верхом, с амазонкой, которую я не могла рассмотреть. Они ехали рысцой, и Мишель повернул голову в мою сторону, но взгляд его скользнул по мне с ледяным равнодушием; отвернувшись затем, он стал весело болтать и смеяться со своей спутницей, и наконец оба скрылись за поворотом дороги. Должна заметить, крестный, что в эту минуту в душе моей проснулось жестокое, злое и враждебное чувство, какого в действительности я никогда не испытывала. Своим же я сказала: «Ждите меня здесь; я схожу поискать вам чего-нибудь», и углубилась в лес. Шла я по узкой, поросшей колючим кустарником тропинке, а над моей головой развесистые деревья сплелись ветвями, образовав зеленый свод, и внизу царил полумрак. Вдруг, точно из земли,

вырос передо мной черный человек, державший в руке мешок с золотом.

– Возьми, – сказал он.

Я с жадностью схватила мешок и побежала к своим. Не знаю, что случилось с корзиной, но помню, что я очутилась снова в лесу и тот же черный человек дал мне еще полный золота мешок, да такой тяжелый, что я едва могла тащить его. А черный человек все шел за мной и нашептывал на ухо, что даст мне впредь много, много хорошего, но для этого я должна остаться с ним, быть его женой и, при этом, грубо схватил меня за руку. Мне стало страшно, и я хотела бежать, а он держал меня, точно клещами, и я видела, что он тащил меня к мрачной, казавшейся бездонной, пропасти... Сначала я дрожала от страха; но по мере того, как мы приближались к бездне, чувство это ослабевало. На меня напали слабость и апатия, и я не выказала ни малейшего сопротивления, когда он приподнял меня и кинул в пропасть. Упала я в бесплодную долину, усеянную огромными каменными глыбами и опоясанную остроконечными скалами; выхода не видно было нигде.

Я была точно разбитая; но, несмотря на это, почему, я не знаю, была довольна и думала только, как бы мне отомстить, но кому – не помню. А воздух мало-помалу сгущался до того, что я дышала с трудом, и меня охватило такое жгучее желание бежать из этого места, что я кидалась во все стороны, ища выхода, и нигде не находила его. Во время этого безумного метанья я вдруг очутилась у гранитной глыбы больше других, а посередине этой скалы находилось высеченное и никем не занятое сиденье.

Пока я с любопытством разглядывала это подобие трона, скала с шумом раскрылась, из земли мелькнули огненные языки и, окруженная этим огненным ореолом, показалась огромная мужская фигура с изогнутыми рогами и зубчатыми крыльями. Он был прекрасен, но красота его веяла чем-то зловещим; от его пристального взгляда и резкого голоса я вздрогнула.

– Не борись, строптивая, борьба твоя напрасна; ты – наша и останешься нашей. Кто раз вошел сюда, уж никогда не выйдет обратно. Живее! Слуги! Сковать ее!

В эту минуту, не знаю откуда, появились черные и отвратительные, с лицами животных чудовища, которые схватили меня и цепями прикрутили к каменному стулу, на котором теперь сидел и насмешливо смотрел на меня человек с изогнутыми рогами и зубчатыми крыльями. Я испытывала страшный ужас, вскрикнула и проснулась вся в поту; сердце сильно билось и заснуть больше я не могла.

– Неправда ли, крестный, это очень глупый сон? – неуверенным тоном

спросила Надя, испытующе смотря на адмирала. В первую минуту по пробуждении мне было страшно этого сна, а потом я сказала себе, что, вероятно, «чертовщина», о которой мы говорили целые три дня, подействовала на мое воображение и вызвала такой отвратительный кошмар.

– От всей души желаю, милое дитя, чтобы твое странное сновидение оказалось только кошмаром, а не предвестником какой-нибудь грозящей тебе беды, – ответил внимательно слушавший адмирал.

– Но какая же опасность могла бы угрожать мне, и что я могу сделать, чтобы предотвратить ее, если она действительно надвигается? – возразила Надя тревожно, но недоверчиво.

– Жизнь и судьба человека крайне не прочны, и подчинены стольким превратностям, что очень трудно предвидеть, с какой стороны может явиться угрожающая ему опасность, – серьезно ответил адмирал. – А против ударов судьбы и злых сил мы имеем одно оружие – молитву. Видишь ли, Надя, молитва является напряжением воли, порывом души к источнику добра, к Богу и Его светлым служителям. Порыв этот, подкрепленный *верой* служит нам поддержкой в испытаниях и щитом против нападения злых духов. Мы живем в очень тяжелое время, когда злые силы поглощают тысячи душ, вера колеблется и всюду развивается атеизм, а страшные психические эпидемии свирепствуют с возрастающей силой. Самоубийства, помешательства, слабоумие производят ужасные опустошения, не считая к тому еще одержимости, которую не желает признавать присяжная *наука*; а между тем этот факт остается фактом, как бы его не отрицали. Против этого церковь и особо избранные люди, именуемые *святыми*, с незапамятных времен победоносно боролись. Надя слушала, задумчивая и озабоченная.

– Конечно, я буду молиться, крестный, и не могу сомневаться в том, что ты сам видел или испытал, но как согласовать мне все это, когда я буду замужем? Михаил Дмитриевич ни во что не верит и будет безжалостно глумиться надо мною, если почует, что я верю в «одержимых», «демонов», «колдовство» и т. д. Я даже боюсь думать об этом!..

– Что делать, дитя мое! Принудить его верить мы не можем, но и он не может отнять у тебя твои убеждения. Как знать, может быть, будущее на нем самом докажет ему, что существует многое, чего даже не подозревает его «просвещенная мудрость», а для убеждения людей нет ничего лучше собственного опыта.

Приближалось уже время завтракать, и они медленным шагом направились к дому.

– Кстати, какого это молодого человека везет с собой твой жених? – неожиданно спросил адмирал.

– Его двоюродный брат, Жорж Ведринский. Это богатый молодой человек, он нигде не служит и, ради удовольствия, изучает археологию. Я знаю его мало, потому что он больше живет за границей вообще. Ведринский очень мил и любезен, но такой же закоренелый неверующий, как и Михаил Дмитриевич.

Они подходили к террасе, и Надя побежала вперед, увидев мать, хлопотавшую у стола с завтраком. Иван Андреевич проводил ее грустным, задумчивым взором.

«Бедное дитя! Да хранит тебя Бог от дьявольских козней; твой сон предвещает дурное. Не на радость злополучный случай привел тебя в это проклятое место», – думал он.

Когда встали из-за стола, Надя предложила адмиралу сходить с ней на могилу Маруси и помолиться за невинную жертву прихотливой необыкновенной судьбы. Иван Андреевич, конечно, согласился, и они направились по тенистым аллеям к надгробной часовне, воздвигнутой на окраине парка на искусственном пригорке.

Неподалеку от дома им пришлось проходить мимо живописных развалин, поросших мхом и ползучими растениями.

– Папа намерен снести все это, а мне жаль их. Посмотри, какой таинственностью веет от этой залы с большим стрельчатым окном в глубине; ни дать ни взять развалины феодального замка. Сохранилась еще даже часть плит и небольшая дверца в стене, выходящая на лестницу. Жаль, нельзя узнать, куда она вела, так как остальная часть здания обвалилась. Бог весть, что это было.

– Да, это интересный остаток прошлого, – ответил адмирал. – Если не ошибаюсь, это развалины странноприимного дома, принадлежавшего католическому монастырю на острове.

– Как! На острове был монастырь? Но что же с ним случилось? От него не видно ничего! – возразила заинтересованная Надя.

– В лесу, покрывающем остров, как раз против вашей террасы, сохранились еще остатки старого Бенедиктинского аббатства, занимавшего прежде всю площадь острова во времена польского владычества и помещавшего своих посетителей в доме, развалины коего мы сейчас видели. Я осматривал их как-то с Марусей. Были видны остатки церкви и некоторые следы монастырского кладбища с очень древними надгробными памятниками. Впрочем, если это тебя интересует, спроси отца Тимона; он любит разбирать старину, собрал замечательную коллекцию разных вещей

и может рассказать тебе подробно о монастыре, его обиходе и разрушении.

– О! В первый же раз, как увижу его, непременно расспрошу, а потом схожу осмотреть развалины. Вообще ведь церковь и монастырь – это места благочестивой молитвы; туда не может проникнуть никакой демон и принести несчастье, – убежденно сказала Надя.

Грустная, загадочная улыбка скользнула по губам адмирала, но он ничего не сказал, тем более, что они подошли уже к часовне.

Это было небольшое строение из белого мрамора, с голубым куполом и золотым крестом наверху. Входная дверь была из массивного резного дуба. Внутри, перед большим образом Воскресения Христова, стоял аналой, и мягкий свет лился сквозь три узкие окна с синими стеклами. У одной из стен была дверь, выходившая на витую лестницу, которая вела в склеп, освещенный в эту минуту висевшей на потолке лампадой. Посредине склепа виднелись две гробницы: большая черного мрамора плита с именем Петра Петровича и саркофаг белого мрамора, работы итальянского художника. Этот саркофаг, – копия с древних саркофагов первых времен христианства, – представлен был открытым и там, словно на подушках, покоилась восхитительной красоты молодая женщина; руки ее были скрещены на груди, а в изго ловье стоял в натуральную величину ангел, который склонялся и держал над спавшей крест, точно благословляя ее или защищая от всякого невидимого врага. В данное время саркофаг был украшен свежими цветами; розы грудями покрывали его, и белая лилия была воткнута между каменными пальцами.

– Как она была прекрасна и молода, а погибла так печально, – в волнении проговорила Надя.

– Это, чтобы сделать мне приятное, ты украсила так могилу Маруси? – спросил тронутый адмирал.

– Да, крестный. Видишь, там, деревья в цвету; так я приказала садовнику менять цветы каждые два три дня, пока мы здесь; а я ежедневно прихожу сюда молиться за бедную покойницу.

Иван Андреевич молча поцеловал Надю. Потом они помолились и вышли из часовни.

На другой день, утром, сиявшая счастьем Надя, очаровательная в розовом платье и шляпке, отправилась с матерью встречать жениха. Филипп Николаевич и адмирал, с сигарами и газетами, устроились на балконе, откуда по длинной липовой аллее видно было приезжающих.

– Мне очень интересно узнать твое, Иван Андреевич, мнение о Михаиле Дмитриевиче. Не знаю, почему, но я не могу искренно полюбить его.

– Что же тебе не нравится в нем? И почему в таком случае допускаешь ты этот брак? – спросил адмирал.

– Надя безумно любит его и, в сущности, я ни в чем предосудительном не могу обвинить его. Правда, он средствами большими не располагает, но ты понимаешь, это – не помеха, так как Надя богата за двоих. Человек он корректный, очень красив и, кажется, серьезно любит мою девочку; а между тем в нем есть и неприятное. Во взгляде его таится нечто высокомерное и холодное; он, должно быть, эгоист, а возможно даже, что и кутила, хотя искусно скрывает это. Затем мнимое «свободомыслие», или безверие, которым он щеголяет, указывают на узкий ум и тоже мне не нравятся. Но в глазах влюбленной девушки все это не важные причины; он достаточно красив, чтобы пленить женское сердце, это бесспорно. А кто мне действительно нравится и кого я желал бы иметь зятем, – так это его двоюродного брата, Жоржа Ведринского. Какой это славный молодой человек, умный, прямой, честный, но... видно, не судьба.

Адмирал улыбнулся.

– Что поделаешь! Дети редко разделяют вкусы родителей и надо примириться с этим.

– Ах, забыл тебе сказать, что сегодня я получил письмо от m-me Морель и во вторник, значит, через четыре дня, она приедет с Милой. Вообрази, она просит разрешить ей поселиться с приемной дочерью на две или три недели в доме на острове. Она надеется, что я, как человек «просвещенный», не придаю, конечно, значения глупой болтовне, которая обратила этот прелестный и своеобразный уголок в какую-то злополучную берлогу. Во всяком случае, она совершенно чужда подобных предрассудков и суеверия, а мое дозволение сочтет за особое внимание.

Адмирал пожал плечами.

– Пускай помещается там и на своей спине испытает когти господина дьявола, который непременно возобновит свои штуки. Il n'y a de pires sourds que ceux qui ne veulent entendre. (Самые глухие – те, кто не хочет слушать). Трудно убедить неверующего; личный опыт в таких случаях – лучший проповедник истины.

– Ты прав. Пусть поселяется в этом гнезде. Но что за магнит притягивает ее туда? Я начинаю думать, что несмотря на достойного г. Мореля и более двадцати протекших годов, она все еще не может забыть своего прежнего жениха, таинственного Красинского, умершего столь загадочным образом.

– Господи, Боже мой! Опять будет обитаем этот проклятый дом. Но, к счастью, я уезжаю, – с отвращением произнес адмирал.

– Не раз уже ты говорил, что уезжаешь, но не сказал пока, где намерен водвориться. Выйдя в отставку, ты – свободен, и я надеялся, что ты поселишься близ нас, в Киеве, – заметил Замятин.

– Нет, друже, я рассчитываю ехать подальше и скажу тебе куда, если ты обещаешь не болтать. Я уеду в Индию, как только покончу с устройством своих дел, что, впрочем, почти уже готово. Еще прежде, посещая эту интересную страну, мне посчастливилось подружиться с одним старым брамином, и он обещал ввести меня в тайное общество индусских ученых. В надежде быть принятым, я много лет усердно изучал санскритский язык, английским же, как тебе известно, я владею в совершенстве. Таким образом, я буду в состоянии работать без помехи и посвящу остаток жизни изучению оккультной науки, полной удивительных тайн. Я уже не молод, конечно, но все же еще достаточно здоров телом и душой, чтобы воспринять первое *посвящение*. Познание оккультного мира всецело вдохновляет меня и, кто знает, может быть, я изучу его достаточно, чтобы изгнать поселившегося здесь демона.

Замятин слушал, видимо огорченный.

– От всего сердца желаю тебе осуществить твои намерения. Иван Андреевич, и можешь быть вполне уверен в моей скромности; но не скрою, что твой отъезд огорчает меня, – я надеялся на другое. А сколько времени ты будешь отсутствовать? – спросил он.

– Сам не знаю. Может быть, даже и вовсе не вернусь в Европу; все будет зависеть от моих руководителей, – ответил адмирал. Но, видя, что слова его огорчают друга, он прибавил: – Во всяком случае, Филипп, ты будешь иметь от меня вести; а как только я получу возможность очистить Горки, то приеду непременно.

Настало молчание, и оба задумались, а потом принялись за чтение полученных с утренней почтой писем. Окончив чтение, адмирал складывал последнее письмо и, взглянув на дорогу, увидел экипаж, мчавшийся по липовой аллее к дому. Замятин с приятелем спустились и вышли на подъезд, когда к нему подлетела коляска. Надя сияла. Сидевший против нее жених первый выскочил из экипажа.

Пока он помогал Замятиной и невесте выйти из коляски, адмирал вдумчиво рассматривал его.

Действительно, Масалитинов был необыкновенно хорош собой: высокий, стройный, с классической головой греческой камеи и густыми, черными, вьющимися волосами. Большие темные, бархатистые глаза с пушистыми ресницами не выдавали духовной стороны жизни его, а взгляд был холодный, надменный; жестокая, глумливая складка залегла вокруг

красиво очерченного рта. Но когда пурпурные уста приоткрывались, обнажая ослепительные зубы, и чарующая улыбка озаряла прекрасное лицо, а страстный огонек загорался под полуопущенными веками, тогда становилось понятным очарование, которое он производил на женщин.

Надя не спускала глаз с жениха и даже не скрывала безграничной любви своей к нему.

С неменьшим интересом рассматривал Иван Андреевич представленного ему затем двоюродного брата Масалитинова, Жоржа Ведринского. Это был тоже красивый юноша, но в совершенно другом роде. Такой же высокий, но шире в плечах, он казался олицетворением цветущего здоровья и молодой силы, а мускулы должны были быть стальными. Русые волосы и бородка обрамляли лицо, а ясные, голубовато-серые, как сталь, глаза дышали прямою и добротой. Резкий контраст составляли пушистые черные брови, сросшиеся у переносья, что придавало лицу строгое и энергичное выражение.

Адмирал тотчас почувствовал симпатию к Георгию Львовичу, но зато напыщенность Масалитинова, деланная небрежность манер и презрительное самодовольство произвели на него неприятное впечатление.

Как только вошли в залу, Михаил Дмитриевич с приятелем испросили разрешение удалиться на четверть часа, чтобы стряхнуть дорожную пыль, и в сопровождении лакея отправились в отведенные им комнаты.

– Ну, крестный, как нравится тебе мой жених? Не правда ли, он красив, как античная статуя? – спросила раскрасневшаяся от счастья и гордости Надя.

– Да, бесспорно, он очень красив! Но я желаю, чтобы тебе не пришлось обожать все только одну холодную *статую*, – смеясь, ответил ей Иван Андреевич.

– Фу, какой злой, – надувшись, сказала Надя и, хлопнув его по руке, вышла.

Обед прошел весело. Говорили о прошедшем и будущем и выпили за здоровье жениха с невестой. Потом Филипп Николаевич рассказал, что через несколько дней приедет г-жа Морель с приемной дочерью Людмилой Тураевой и прибавил шутя, что Георгию Львовичу также представится случай влюбиться.

После обеда Надя повела молодых людей в парк, показала им попутно развалины, мавзолей Маруси и вкратце передала ее загадочную трагическую историю. Михаил Дмитриевич смеялся от души и решил, что кто-нибудь умышленно подтасовал все эти «рассказни», чтобы обесценить этим имение и в конце концов, может быть, дешево купить его.

– Этот зеленеющий островок на просторной глади озера с его башенками, таинственно выглядывающими из зелени, просто восхитителен, и я хочу непременно побывать в этом очаровательном уголке. Надеюсь, Надя, у вас хватит мужества съездить туда со мной?

– Но, говорят, это приносит несчастье, – озабоченно и тревожно заметила девушка.

Жених расхохотался.

– Надя, Надя! Стыдитесь же верить в подобный вздор. Ваш милый адмирал рассказал вам просто небылицы, а вы принимаете их за святую истину. И это в наш просвещенный век!..

Надя ничего не ответила, а так как они подходили к дому, то Масалитинов заговорил о другом. Но вечером, за чаем, он снова выразил желание съездить непременно на остров, внушавший ему живейший интерес именно своей дурной славой.

– По-видимому, дом считается «непокойным», а я ничего не желаю так горячо, как увидеть хоть раз настоящего выходца с того света. Право, я буду очень благодарен такому господину, если он будет любезен мне явиться. Только боюсь, что надежда моя напрасна.

– Почему же? Может быть, ввиду вашего горячего желания, какой-нибудь дьяволенок и осчастливит вас посещением, – заметил адмирал.

– Увы! Я закоренелый скептик и предполагаю, что такое свидание не состоится уже просто потому, что не существует ни *чертей*, ни *привидений*, а сатану с призраками выдумали люди, чтобы нагнать страх на наивных. Я, например, присутствовал на многих спиритических сеансах и ни разу не видел ни одного явления, которое не оставляло бы по себе убеждение, что все это – просто грубое надувательство и мистификация.

– Ах, Михаил Дмитриевич, как можно во всем сомневаться! Что существуют демоны, злые духи и привидения, все это подтверждается Библией, Евангелием и жизнью святых! – раздраженно воскликнула Надя и, все более и более увлекаясь, продолжала: – Христос исцелял же *бесноватых*? А преподобный Сергей видел целое шествие демонов; святого Антония искушали злые силы, да и других отшельников также; отец Иоанн Кронштадтский на похоронах пьяницы видел злых духов и, наконец, аэндорская волшебница вызывала дух Самуила. Нельзя же огульно отрицать столько свидетельств святых и высоко чтимых людей, не говоря уже о Спасителе, деяния Которого выше всякого сомнения.

– Конечно, Надежда Филипповна, я не позволю себе обсуждать деяния Спасителя, только надо еще доказать, что все относительно Его передано нам согласно истине. Что же касается всех прочих фактов, то это – такие

басни, что верить им на слово нельзя. И вообще все эти «чудесные» явления никогда не были неопровержимо доказаны. Но я возвращаюсь к нашему посещению острова, невыразимо интересующему меня. Заметьте, милая Надя, вам трудно будет не бывать там, когда дамы, которых вы ожидаете, там поселятся.

– Да, г-жа Морель вроде вас, тоже ни во что не верит и пожелала жить в злополучном доме. Впрочем, ее влечет туда особое чувство, – почитание памяти ее прежнего жениха Красинского, умершего и погребенного на острове, – заметил Замятин.

– Ах, да!.. Бедный Красинский, который пожертвовал собою для спасения Вячеслава Ивановича Тураева, а его в благодарность объявили «колдуном», «вампиром» или чем-то в этом роде, – расхохотался Масалитинов. Однако хотя этот *страшный* мертвец покоится на острове, – земля не разверзлась же и не поглотила его могилу, дача не рушилась, а за двадцать лет не показывался никакой дух, и ни там, ни здесь не предъявил своей визитной карточки. А если какой-нибудь жалкий «бесенок» и водворился было на даче и осквернил этот чудный уголок в ожидании какой-нибудь жертвы, то ему наскучило, конечно, долгое ожидание, и он давно удрал. В самом деле, господа, не разумнее ли объяснить все это более естественным образом. Например, вместо того, чтобы приписывать «чертовщине» смерть бедной Тураевой, не проще ли предположить, что она бросилась в воду и утонула под влиянием маразма, вызванного болезненным состоянием. Ведь случаются же подобные вещи? – И он снова захохотал.

Адмирал молчал. Презрительная улыбка блуждала на его губах, пока он слушал молодого фата, хваставшего своим неверием, словно высшей «мудростью», и считавшего за дураков тех, кому ведомо *кое-что*, неизвестное ему. И снова в душе Ивана Андреевича поднялось чувство смутного отвращения к красавцу офицеру. Ему, много видевшему и читавшему, противны были люди, которые с пошлым смехом да прибаутками старались придать себе лоск «просвещенности» и казаться выше всяких «предрассудков» и «суеверий».

– В общем, как говорится, вы не верите ни во что, – заметил через минуту адмирал. – А факты, которые начинает изучать наука, как видение на расстоянии, телепатия, явление посмертных призраков и вмешательство отошедших в мир живых, все это вы также отрицаете? – прибавил он.

– Несомненно, – с уверенностью ответил Масалитинов. – Об этом много говорят, а потому понятно, что ученые стараются проверить такие слухи, а... если эти факты действительно существуют, то придать им

естественное и научное основание. Будущее покажет, что получится из этой попытки; но мне кажется вполне рациональным подождать пока наука произнесет свое суждение, прежде чем слепо верить явлениям, противным здравому смыслу.

– Какой вы, однако, решительный, мой юный друг. Вы одним махом зачеркиваете факты и наблюдения тысячи людей, – сказал адмирал на этот раз с настолько заметной иронией, что Масалитинов покраснел.

– Я ничего не отрицаю, ваше превосходительство, – раздраженным тоном ответил он, – а выражаю только собственное мнение, основанное также на личных наблюдениях. Так, например, я присутствовал, как уже упоминал, на спиритических и оккультных сеансах, где бесовестно плутовали; а то, что я читал о явлениях призраков, видении на расстоянии, колдовстве и т. д., – не твердо было в самом основании. Все это были только одни «говорят», или не проверенные вовсе факты, или контролировавшиеся людьми доверчивыми, если не сторонниками, и допускавшиеся на слово рассказчиками.

– Извините, Михаил Дмитриевич, вы заблуждаетесь, утверждая, что будто бы нет фактов, серьезно проверенных. Например, Эммануил Кант, – достойный ли это вашего доверия авторитет? Словом, допускаете ли вы, что он не полоумный и не лгун?

– Какой вопрос! Несомненно, Кант – серьезный ум, вполне достойный доверия.

– Так вот, этот самый Кант контролировал такое явление и подтвердил его достоверность следующими словами: «Этот факт обладает, кажется, наидоказательнейшей силой и должен бы пресечь всякого рода сомнения». Случай этот произошел 19 июля 1759 года и духовидцем был старый философ Сведенборг. Он возвращался из путешествия в Англию, высадился в Гетеборге и обедал у своего друга, знаменитого Вильгельма Кастеля... Собралось многочисленное общество, и после обеда, часов в шесть вечера, Сведенборг распрощался. Но едва сделал он несколько шагов по улице, как вдруг остановился, а затем бледный и взволнованный вернулся к Кастелю и сообщил присутствующим, что в Стокгольме вспыхнул страшный пожар и огонь свирепствует на улице, где он жил. Немного спустя, он опять вышел на улицу и, со слезами на глазах, вернулся рассказать, что дом одного его приятеля сгорел дотла, а его собственный подвергается величайшей опасности. Около восьми часов вечера он в третий раз вышел на улицу и вернулся сияющий. – «Слава Богу! – воскликнул он. – Пожар кончился, огонь остановился за три дома от моего». Слух об этом странном видении старого философа, – а

Сведенборгу было тогда семьдесят два года – разнесся по всему Гетеборгу; извещен был даже губернатор и все, имевшие в столице родных или друзей, очень встревожились. Лишь через два дня королевский курьер привез известие о пожаре и сообщил подробности, вполне подтверждавшие видение Сведенборга. Проверив этот факт, Кант, при всей своей «критике практического разума», только и мог сказать: «Что можно возразить против достоверности этого случая?» Так вот вам прекрасно установленный факт видения на расстоянии, ибо Гетеборг отстоит от Стокгольма на расстоянии более 400 километров. Теперь перехожу к случаю явления умиравшего, причем должен добавить что выбираю его на удачу из тысячи ему подобных. Агриппа д'Обиньи, известный друг французского короля Генриха IV, передает случай, бывший в минуту смерти кардинала лотарингского. Произошло это в 1574 году и король находился тогда в Авиньоне вместе с королевой-матерью и кардиналом. Екатерина Медичи легла, по нездоровью, ранее обыкновенного. Между высокопоставленными лицами, присутствовавшими, когда она ложилась, были: король Генрих Наваррский, архиепископ лионский, дамы Ретц, де Линьероль и де Сонней. Королева прощалась уже с присутствовавшими, как вдруг откинулась на подушки и закрыла глаза рукой, а потом с криком стала звать на помощь, указывая на кардинала Лотарингского, стоявшего на коленях на ступеньках постели и протягивавшего ей руку. – «Ступайте, ступайте, кардинал, вы не нужны мне! – кричала побледневшая Екатерина. Так как было известно, что кардинал болен, то все были удивлены его появлением и еще более быстрым его исчезновением. Тогда король Наваррский послал одного из своих придворных узнать о кардинале и посланный передал, что кардинал скончался в ту минуту, когда его видели у постели королевы-матери.

В заключение расскажу вам случай, когда дух умершего не только не дал доказательство своего загробного существования, но выразил участие к близким. Бывает довольно часто, что дух проявляет деятельное участие в судьбе и делах своих родных и друзей. В 1761 году г-жа де Мортевилль, – вдова голландского посланника в Стокгольме, – получила от одного из кредиторов мужа требование об уплате двадцати пяти тысяч голландских флоринов. Она хорошо знала, что сумма эта была погашена ее мужем и выплатить ее вторично значило почти разориться, а квитанции она не могла найти. В отчаянии пошла она к Сведенборгу за помощью и советом, и тот обещал подумать. Через неделю муж явился ей и указал место, где находилась квитанция, а также вещица с рубинами и бриллиантами, которую она долго и тщетно искала. Г-жа де Мортевилль очнулась и взглянула на стенные часы: было два часа полуночи. Горя нетерпением

проверить сон, она тотчас встала, побежала к указанному месту и нашла там квитанцию и потерянную вещь. Она легла, успокоенная, и проспала до утра. Едва встала она утром, как пришел Сведенборг, который рассказал ей, что ночью ему явился г-н де Мортевилль и сказал, что отправляется тотчас к жене, чтобы дать ей нужные сведения. – Вот факты. Что можете вы сказать против них? – спросил с улыбкой адмирал.

– Очень много, Иван Андреевич. Извините, но ваши факты так же мало убедительны, как и все другие в таком роде. Хотя бы, например, видение Екатерины Медичи! Совесть этой «доброй» королевы легко могла вызвать галлюцинацию, тем более, что она знала про болезнь кардинала; да и кроме того, за ней немало было грехов против Лотарингского дома. Крик ее и имя кардинала вызвали уже *коллективную* галлюцинацию, а милейший Агриппа, не имевший понятия о таких явлениях, отметил его как факт. Наименьшего доверия заслуживает случай видения на расстоянии пожара в Стокгольме; но видение это было у старого мечтателя и сумасброда, Сведенборга, а кто может разгадать, что происходит в мозгу сумасшедшего! Что касается свидетельства Канта, это тоже подлежит сомнению, ввиду того, что он все-таки судил лишь по рассказам, а не был лично свидетелем странного явления. О третьем случае я...

– Нет, нет, я избавляю вас от возражений. Я уверен, что вы побьете меня и докажете ясно, как день, что я – тоже старый доверчивый болван, не лучше любого деревенского пастуха, – воскликнул адмирал добродушно, но насмешливо. – Только, простите, вы меня так же мало убедили, как и я вас!

– А я хотел бы убедить вас и вразумить, – возразил начинавший увлекаться Михаил Дмитриевич.

В пылу спора Масалитинов случайно взглянул на своего кузена, внимательно слушавшего, но не открывавшего рта.

– Жорж, да помоги же мне! Что ты сидишь, как крот. Прежде ты был таким ярым противником всего «сверхъестественного», яростно старался разоблачать все эти предрассудки, спиритические проделки и т. д., а теперь оставляешь меня одного сражаться с таким грозным противником, как Иван Андреевич. Право, я не узнаю тебя!

Георгий Львович выпрямился и с улыбкой сказал:

– Ты прав, Миша, я был неверующим, но теперь – я не таков. Прошлым летом и у меня было *необыкновенное* приключение, а в нем обнаружались все явления, в которых я так долго сомневался. Я видел призраки и храню наглядное доказательство, что я не спал.

Михаил Дмитриевич вскочил, как ужаленный.

– Как?! С тобой было такое приключение, и ты мне ничего не рассказал? Или ты боялся моей критики? – крикнул он с таким забавным негодованием, что все рассмеялись.

Когда настало успокоение, Георгий Львович добродушно проговорил:

– Правда, я ничего не говорил тебе, но вовсе не из боязни твоей критики, – ибо явления, в которых я был и свидетелем и действующим лицом, критики не боятся; а молчал я потому, что ты не интересуешься этими вопросами. Кроме того, мы не виделись этой зимой, а в несколько дней, проведенных вместе в Киеве, перед отъездом сюда, у нас было и без этого о чем поболтать.

– Ну, а теперь, будучи окружены симпатизирующей вам аудиторией, вы расскажете, может быть, интересный эпизод, если это не секрет. Может быть, это не скромно, с моей стороны? – конфузясь, воскликнула любопытная Надя.

– Да нет, Надежда Филипповна, в моем приключении нет никакой тайны. Причина, вызвавшая странное явление, не особенно похвальна для меня; но это не важно, и я охотно расскажу вам случай, излечивший меня от моего незрелого неверия.

Георгий Львович задумался на минуту, и лицо его сделалось серьезным и грустным.

VI

– Для начала рассказа я должен упомянуть про грустное событие – смерть моей невесты, Елены Прозоровой. Она была прелестная, добрая и прекрасная девушка. Я чрезвычайно любил ее и, хотя прошло более двух лет с ее смерти, все еще глубоко чувствую горечь этой утраты. Она скончалась внезапно, недели за две до нашей свадьбы, и я сам заболел с горя. По выздоровлении, сестра моя, которая замужем за секретарем нашего посольства в Мадриде, пригласила меня пожить несколько месяцев у нее в Испании, в надежде, что новая обстановка и поездки по такой интересной стране рассеят мою грусть. Я не мог тогда же воспользоваться ее приглашением, но мысль о путешествии понравилась мне и в конце прошлого года я поехал в Мадрид. Мне чувствовалось хорошо в новом мире; я подружился с многими испанцами, особенно одним, дон Диего д’Альварес, и мы уговорились совершить путешествие по Испании. Он хотел показать мне свое отечество и удивить художественными и археологическими богатствами его. После интересного странствования по северной Испании, мы прибыли в Гренаду с намерением весело провести там несколько недель, так как дон Диего, будучи уроженцем этого города, имел там родных и множество дел. Гренада чрезвычайно понравилась мне. Чарующая красота видов, остатки дивной мавританской культуры, – словом, все занимало меня и приводило в восторг. Часами мог я блуждать по залам Альгамбры и по садам Генералифа, мечтая о том, как хорошо бы вновь оживить пустынный дворец и обставить его залы. Самым странным в моих мечтах было то, что все там казалось мне удивительно знакомым и почему-то особенно дорогим.

Дон Диего познакомили меня со многими своими друзьями и двоюродными братьями, ввел в несколько семейных домов, а так как я довольно быстро изучил испанский язык, настолько, что мог объясняться без особенного затруднения, то отношения эти были самые приятные. Дон Диего получил в наследство от старой тетки поместье вблизи города и предложил мне посетить с ним его виллу. «Неподалеку отсюда лежат развалины мавританского дворца, а так как вы влюблены в наши древности, то осмотр их доставит вам удовольствие,» – уговаривал он меня, смеясь. Мы отправились верхом и почти у самой виллы мой друг показал мне развалины стены, с торчавшей над ними старой башней, упомянув при этом, что весь этот старый хлам давно убрали бы, вероятно,

если бы суеверный страх не охранял остатки старины. «Местные жители предполагают, что будто развалины прокляты, а с тех пор, как один крестьянин, пожелавший снести башню, был убит молнией, никто не хочет приобретать это заколдованное место». Мы много смеялись над таким «глупым невежеством», а затем разошлись; он занялся с управляющим, а я пошел осматривать развалины.

Развалины заросли кустарником и оказались обширнее в действительности, чем представлялись издали. Однако, несмотря на запутанность обстановки, я довольно быстро осмотрелся. Я нашел крытую галерею с тонкими колонками и поросший кустарником с травой обширный водоем, в котором, наверно, бил некогда кристальный фонтан. То был вероятно сад или внутренний двор дворца. Дальше остатки широкой мраморной лестницы вели к сводчатой двери, и за ней открывалась громадная зала, которой небо заменяло теперь потолок; затем шли две комнаты, поменьше, со сводами и остатками скульптуры по стенам, столь же тонкой и художественной работы, как и в Альгамбре. Уцелевшие местами следы голубой или зеленой краски с позолотой указывали на былое великолепие. В глубине второй комнаты была тоже сводчатая и украшенная резьбой дверь, но обвалившаяся за ней стена лишала ее возможности дальнейшего исследования. Зато массивные стены башни могли простоять еще несколько веков; только лестница, которая вела в верхние этажи, обвалилась, и я мог осмотреть одну лишь круглую залу первого этажа; но голые, обсыпавшиеся стены не сохранили никаких следов, указывавших ее назначение. Я так поглощен был своими исследованиями, что забыл дон Диэго и весь мир. Странно, что по мере того, как я обследовал развалины, они казались мне все более знакомыми; словом, я чувствовал себя здесь, «как дома». Например, я предвидел заранее, что за маленькой сводчатой дверью должна быть галерея, устланная голубыми и белыми плитами, и у меня явилось такое страстное желание проверить это впечатление, что я едва не сломал шею, пытаюсь карабкаться по обломкам, но так и не мог все-таки достигнуть цели. Дон Диэго нашел меня в восторженном настроении, а платье мое было грязно и даже порвано. Он долго смеялся потом над моей археологической страстью. Ночью, после посещения развалин, мне снился странный сон.

Я был опять в мавританском дворце, но он не был кучей мусора, как наяву; нет, он стоял во всем своем прежнем великолепии. Вокруг бассейна раскинуты были цветники; вдоль сводчатой галереи стояли низкие диваны, покрытые парчю, и манили к отдохновению; описать же роскошь большой залы и соседних комнат я отказываюсь; это был сказочный дворец из

«Тысячи и одной ночи». Сон этот произвел на меня глубокое впечатление, а когда я рассказал его дон Диего, он подтрунил надо мною и сказал, что должно быть «дух развалин» околдовал меня.

Чтобы отвлечь от археологического бреда, он повез меня к знакомой даме, у которой мы часто бывали. Донна Розарита де Ройяс-и-Монтеро была прехорошенькая вдовушка лет тридцати, но с несколько сомнительной репутацией. Она была, по-видимому, богата, принимала много, но общество у нее было смешанное и состояло почти исключительно из мужской молодежи. У нее также много играли и преимущественно в азартные игры. Теперь-то я понимаю, что у нее был один из тайных игорных притонов, какие имеются во всех больших городах. Дон Диего был завзятый игрок; но, признаюсь, и для меня партия в карты составляла приятное развлечение, только я избегал крупной игры ввиду ограниченности моих средств. Однако понемногу я забыл осторожность и увлекся, а так как мне удавалось много выигрывать, то я становился все смелее и пагубная страсть овладевала мною все более и более. У донны Розариты я часто встречал молодого человека, внушавшего мне непреодолимую антипатию; а между тем он был почти постоянным моим партнером. Дон Евзебио Гомец был довольно красивый юноша; но в его впалых глазах таилось что-то подозрительное и лукавое, отталкивавшее меня от него. После временной удачи в картах счастье изменило мне, и я стал проигрывать. Следовало бы, конечно, остановиться; но пагубная надежда всякого игрока «отыграться» завлекла меня. Однажды вечером я вернулся домой особенно нервным и лихорадочно взволнованным, – у меня явилось подозрение, что дон Эвзебио плурует в игре, но поймать его я не мог. Я лег сильно расстроенный и приснился мне сон, еще более странный, чем первый, виденный мною.

Как и в первый раз, я очутился в мавританском дворце. Полная луна заливала светом огромное великолепное здание, которое крытой галереей со сводами, украшенными словно кружевной резьбой, примыкало к большой, уцелевшей еще башне. Сам я находился в саду, но был в мавританском одеянии. Как сейчас, вижу я на себе парчовый кафтан вишневого цвета с золотыми разводами и рубиновыми пуговицами, широкий белый шелковый пояс, за который заткнут кинжал с резной ручкой, и висевшую сбоку кривую саблю. Рука моя покоилась на рукоятке оружия, и я слышал, как ножны волочились со скрипом по песку аллеи. Но самым странным было ясно сознаваемое чувство двойственности. Я был одновременно и Ведринским и еще кем-то, чье имя ускользало от меня, но я знал, что это я же. Я медленно прохаживался, вдыхая удушливый запах

цветущих апельсиновых деревьев и роз. Выйдя из тенистой аллеи, я очутился около бассейна, как вдруг до слуха моего донесся чей-то глухой крик. Я обежал водоем, струи которого скрывали от меня дворец, и увидел человека, бегом спускавшегося по ступеням боковой лестницы. Он нес на руках отбивавшуюся женщину, голова которой была окутана покрывалом. Лица ее не было видно, кричать она не могла более, так как несший ее человек закрывал ей рот рукою, а между тем я чувствовал, что похищаемая – моя, ныне покойная невеста, *Елена*. Что она умерла, – про это я совершенно забыл в ту минуту. Я мигом бросился на похитителя, и между нами завязалась борьба. Такой ярости, такого ожесточения я никогда не испытывал в действительности. Проклятия сыпались вместе с ударами. От всех этих речей у меня сохранилось одно воспоминание, что похититель назывался Абдалла, а меня он звал Гассаном. Женщина воспользовалась нашей борьбой и убежала, причем вуаль с нее спала, и я увидел Елену, или похожую на нее; возможно, что ее наружность изменил бывший на ней мавританский костюм. Впрочем, я не имел времени рассмотреть, потому что Абдалла ожесточенно напал на меня; но я оказался, вероятно, искуснее его. Отскочив назад, я обнажил саблю и нанес ему страшный удар. Голова моего противника, срезанная как спелая дыня, слетела на землю, подскочила и застряла на ступени лестницы. Луна осветила перекошенное судорогой лицо с широко открытыми глазами, смотревшими на меня ужасающим взглядом. И это искаженное лицо было лицом... дона Эвзебио!..

Я проснулся, обливаясь холодным потом; но, как и подобает «интеллигентному» человеку и скептику, я не придавал никакого значения своему сну, уверив себя, что «вероятно» вчерашний проигрыш, в связи с подозрением против дона Эвзебио, и вызвали этот странный кошмар. Вечером, не внимая доводам рассудка, я отправился к донне Розарите. Игорный стол, как магнит, притягивал меня, но я утешал и извинял себя тем, что было необходимо разоблачить дона Эвзебио. По обыкновению он был моим партнером, и я проиграл порядочно; но в этот раз я зорко наблюдал за ним и поймал его руку, когда он сплутовал. Произошел скандал. Несмотря на очевидность плутни, он отрицал вину; а в публике одни дер жали его сторону, другие мою, и история кончилась вызовом на дуэль со стороны дона Эвзебио, объявившего, что только кровь может смыть нанесенное его чести оскорбление.

Дуэль произошла на другой день в развалинах мавританского дворца, как наиболее пустынном и отдаленном месте. По выбору дона Эвзебио мы дрались на шпагах.

Я не особенно владел этим оружием, но в тот день, – не знаю откуда, – у меня явилась замечательная ловкость, а когда Эвзебио, с бешенством нападавший, ранил меня в грудь, я неожиданно ощутил то самое бешенство, которое испытал во сне. Я проворно выбил шпагу из рук противника, и проткнул ему насквозь горло. Я видел, как его лицо омерзительно исказилось и... лицо это, перекошенное судорогой, с широко раскрытыми глазами, показалось мне лицом Абдаллы. Более я уже ничего не видел, потому что лишился затем сознания и провалялся в постели более трех недель; рана в грудь задела легкое и жизнь моя была в опасности. Но я был юн и силен, а потому оправился скорее, чем можно было думать. Расстроились только нервы: меня преследовала смутная тревога и гнетущая тоска по игорном столе.

Дон Диего и прочие приятели усердно навещали меня и рассказывали, что открылись всякого рода пакости покойного Эвзебио, и все счастливы избавиться от него, а меня ждут с нетерпением у донны Розариты. Оправившись, я решился однажды вечером съездить к г-же де Ройяс-и-Монтеро, которая еще утром прислала мне очень любезную записку.

Я кончал одеваться, как вдруг увидел стоявшего у двери... дона Эвзебио. Он держал в руке окровавленную карту, а лицо его выражало чисто дьявольскую злобу. Я протер глаза в уверенности, что это – галлюцинация. Но нет, – фигура все стояла на прежнем месте; капли крови сочились из раны в горле, а карта, которую он продолжал показывать мне, была туз пик, та самая, что я выхватил у него, когда раскрыл его шулерство. Охваченный неприятным чувством, я зажмурился, а когда взглянул снова, то видение уже исчезло. Я принял успокоительных капель и решил серьезно лечить нервы. Очевидно, слабость после болезни давала еще себя чувствовать. Мне даже не приходило в голову, что возможно действительное появление призрака... Однако, поднимаясь на лестницу квартиры донны Розариты, я вдруг снова увидел в темном углу рожу Эвзебио; он, казалось, издевался надо мной и, оскалив зубы, показывал окровавленную карту. В негодовании я отвернулся; эти «галлюцинации» становились положительно невыносимыми.

Возбужденный, как никогда отроду не бывал, сел я за карточный стол. Но о двух последовавших часах у меня сохранилось лишь смутное воспоминание. Достаточно сказать, что я играл, как безумный, словно кто-то толкал меня рисковать и зарываться все более и более. Велась адская игра, и я невероятно проигрывал. Голова моя горела, а я с непонятным упорством продолжал рисковать. Наконец, когда я поставил на карту все, вдруг увидел я против меня искаженное лицо Эвзебио, протягивавшего мне

туза пик. Мгновенье... и я узнал, что проиграл.

Со мной случился точно удар, потому что я потерял сознание, а когда открыл глаза, меня чем-то поили и прыскали водою в лицо. Многочисленная публика столпилась у нашего стола, и я заметил удивленно сочувственные взгляды. Кредитор мой был сын богатого негоцианта и оказался очень деликатным человеком. Он подошел ко мне и пожал мою руку, сказав, что, очевидно, я еще болен, а он предоставляет мне полную свободу для уплаты моего долга, понимая, что иностранцу требуется время для получения денег с родины. Я поблагодарил его и немедленно вернулся домой.

Все мое возбуждение исчезло, как по волшебству, и еще по пути к дому я обсудил свое положение. Оно было вполне безнадежно. Я никогда не мог заплатить проигранную сумму, даже пожертвовав всем своим очень небольшим состоянием. Вместе с сознанием этого ужасного положения, мною вдруг овладело мрачное отчаяние и невыразимое отвращение к жизни. Пережить унижение, признав себя несостоятельным, пережить стыд перед сестрой и другими родными друзьями?... Нет, никогда! Я решил умереть, и умереть немедленно, до восхода солнца.

Я взглянул на часы: был час пополудни. Лихорадочно и торопливо сделал я последние приготовления и написал два письма: одно своему кредитору, прося принять в уплату долга мою жизнь, а второе адресовал сестре. Ей я признался во всем откровенно, умолял простить меня, продать все мое имущество и по возможности покрыть позорный долг, сделанный мною в минуту истинного безумия. После этого я взял револьвер; но мне вдруг стало противно умирать в этой комнате, где, казалось, не хватало воздуха, и кроме того, своим самоубийством я причинил бы массу хлопот и неприятностей бедной вдове, хозяйке квартиры. Мне захотелось в последний раз полной грудью подышать свежим воздухом и увидеть звездное небо. Я решил отправиться в развалины мавританского дворца, пленившего меня своим великолепием во сне, где я убил Эвзебио, которого видение, таинственной игрой воображения, показало мне под видом мавра Абдаллы. Должно быть, мрачный рок предписывал мне умереть там, где погиб мой противник. Я вышел из комнаты, как тень прокрался в конюшню, оседлал свою лошадь и через десять минут скакал по улицам Гренады, направляясь к развалинам.

Была чудная, благоуханная, теплая ночь и полная луна заливала все ярким, но мягким светом. Медленно шел я по развалинам; а в воображении дивное здание рисовалось мне в восстановленном виде, каким я видел его во сне. Я вошел в залу, лучше других сохранившуюся, сел на кучу

обломков и, прислонившись к стене, глубоко задумался; револьвер лежал наготове подле меня. Окутывавший все бледный сумрак и полная тишина вокруг успокоили отчасти мою истомленную душу, а в памяти стало оживать прошлое.

Вставало воспоминание о матери, женщине набожной и верующей; ожил образ покойной невесты, тоже глубоко веровавшей и умершей с молитвою на устах. А по мере того, как передо мной являлись любимые лица, жгучее чувство охватило мое сердце и в первый, может быть, раз душу мою, погрязшую в неверии и отрицании Бога, осенил вопрос: что станет с тем *нечто*, которое во мне мыслит, страдает и любит? Обратится ли оно в ничто и бесследно исчезнет, подобно пене морской, венчающей гребни гонимых бурей волн, или переживет смерть и, сознательное, предстанет перед Верховным Судией?... Через несколько минут загадка разрешится... В последний раз подумал я о матери, сестре и усопшей невесте, а затем инстинктивно перекрестился и взялся за оружие.

В эту минуту широкая полоса света блеснула из бывшей против меня двери, и струя свежего, ароматного воздуха пахнула мне в лицо; голова моя закружилась так сильно, что я покачнулся и зажмурился. Когда я вновь открыл глаза, голубоватый свет по-прежнему заливал разрушенную голую залу, но теперь в двух шагах от меня стояла Елена, а из-за ее плеча глядел полным смертельной ненависти взглядом дон Евзебио, или, вернее, Абдалла, так как оба они были в мавританских нарядах. Как очарованный, смотрел я на Елену, столь похожую и вместе с тем не ту, какую я любил.

Вместо серых, как прежде, в эту минуту у нее были темные глаза; прежние золотисто-каштановые волосы спускались теперь двумя черными косами; матовая белизна лица подернулась легким бронзовым отливом. Из бывшего осталась кроткая, чарующая улыбка и любящий взгляд. Роскошный восточный наряд дивно шел ей, а украшавшие драгоценности сверкали тысячью огней при каждом ее движении. Как истукан, смотрел я на эти существа, явившиеся из какого-то неведомого прошлого, а их присутствие здесь представляло неразрешимую загадку.

В эту минуту Абдалла, или Эвзебио, сделал попытку двинуться ко мне, и в руке его сверкнуло что-то, чего я не мог рассмотреть, – а я, влекомый словно чужой волей, схватил револьвер. Но между мной и моим противником с быстротой молнии встала Елена; в поднятой руке ее блеснул ослепительно сиявший крест, который она протянула к Эвзебио. Тот зашатался, точно от удара в грудь, а потом его образ стал бледнеть, расплываться в черноватое облако и наконец исчез в тумане. Тогда Елена повернулась ко мне и повелительным жестом указала следовать за нею.

Я шел, словно во сне. Непонятно, что хотя я бодрствовал, или мне казалось только, что не спал, – но я видел снова дворец в его прежнем великолепии. Мы прошли целый ряд галерей и покоев, одни прелестнее других. Наконец, в одной из комнат, с скульптурными – голубое с золотым – украшениями по стенам, моя проводница остановилась и привела в движение пружину; кусок стеной резьбы сдвинулся, обнаружив узкую дверку в новый коридор, показавшийся мне в первую минуту тупиком.

Но моя руководительница нажала новую пружину, и часть стены, которой заканчивался узкий проход, повернулась на невидимых петлях, открыв ступени лестницы.

Мы спустились в подземелье, представлявшее крайне путанный лабиринт, и остановились наконец у массивной, окованной чеканным железом двери. Спутница моя отворила ее, и мы вошли в довольно большой подвал, где в беспорядке лежали сваленные разные разности. Тут были драгоценное оружие, золотая и серебряная посуда, целые куски затканых золотом и серебром материй, а среди этого хаоса стояло с десятков сундуков. Но все это было набросано как попало, точно впопыхах перед бегством.

Елена подошла к одному из сундуков, на крышке которого стояла большая шкатулка, и сделала мне знак взять шкатулку. Я не сразу повиновался, потому что изумленно, как очарованный, оглядывал собранные сокровища, особенно две открытые корзины, наполненные неоправленными камнями. Но тут на лице Елены мелькнуло тревожное, нетерпеливое выражение, и она опять указала мне на ларец. Я поднял его, но он был так тяжел, что я с трудом его тащил; а между тем проводница моя видимо спешила, и мы почти бежали через залы и галереи.

Наконец она остановилась, а я бессильно опустился на каменные плиты. Вдруг она нагнулась ко мне, и я почувствовал на лбу прикосновение теплых уст. Затем послышался слабый, словно издали донесшийся голос:

– Я Айша. Не предавайся никогда более постыдному пороку игры. В первый и последний раз дозволено мне спасти тебя...

Снова голова моя сильно закружилась, и я потерял сознание...

Когда я открыл глаза, рассвет сквозил из-за плюща, густо заткавшего окно. Я с неподдельным ужасом вскочил на ноги и схватился руками за голову. Как можно было спать в такую ночь, здесь, в этих развалинах, когда мне следовало давно быть мертвым, чтобы избавиться от тяготившего надо мною позора?! В ту минуту я не помнил своего видения, но не забыл тех чувствительных мечтаний, которые предшествовали сну и, может быть, его вызвали. Обозленный на самого себя, искал я свой револьвер; но, не найдя

его сразу, зажег спичку – и вскрикнул.

В углу, около брошенного там оружия стояла теперь какая-то шкатулка, но вид ее воскресил в памяти мое необыкновенное ночное приключение. Дрожавшими руками приподнял я ларец, поставил на обломки и стал рассматривать это дивное произведение древнего восточного искусства. На одном из украшений крышки висел на цепочке небольшой золотой ключ, которым я открыл ларец, и увидел, что он полон крупных тяжелых золотых монет, каких уже не чеканят ныне. Я был спасен...

Забрав этот чудесный дар, вернувший мне жизнь, я вышел из развалин и направился к своей лошади. Я спускался уже по старой лестнице, на одной из ступеней которой видел во сне голову Абдаллы, и в это время на горизонте блеснул первый луч восходившего солнца; этот луч мне показался посланцем милосердного Бога, Который по неизреченной Своей милости спас меня и избавил от мучений самоубийцы. Я опустился на колени и из души моей вознеслась горячая молитва к Отцу небесному. С этого мгновения я снова стал верующим и дал зарок никогда в жизни не дотрагиваться до карт. Одно воспоминание о страшном вечере, когда я был словно одержим бесом, приводило меня в трепет.

Вернувшись домой, я сжег оба письма и составил опись содержимого шкатулки. Кроме золотых монет, в ней находилась маленькая золоченая коробочка с неоправленными рубинами, сапфирами и изумрудами, древний женский убор с драгоценными камнями и два футляра: в одном лежали перстень и кусок пергамента, а в другом кинжал с великолепной рукояткой. Я продал, конечно, золото и необделанные камни, чтобы расплатиться с долгом, а затем уехал в Россию.

– С этого времени я навсегда излечился от своего «просвещенного» невежества. Я не имел уже более права говорить, что не существует ничего кроме *материи*, потому что я видел существа иного мира. Я испытал заступничество высших сил; я собственной особой служу доказательством, что у нас были и прошлые жизни, о которых наша душа, увы, не сохраняет понятия, но которые тем не менее существенно воздействуют на наше нынешнее земное существование.

А теперь мое самое пламенное желание – изучить эту науку, над которой пошло и тупо глумятся; а она между тем дает ключ к потустороннему миру. По-моему, ужасно, а для разумного человека даже недостойно продолжать жить полным невеждой посреди этих мировых загадок и грозных неведомых сил, окружающих нас.

– Bravo, мой юный друг! Вы – правы; но надо *много* учиться, чтобы

разобраться в темном лабиринте управляющих нами законов и, в этом отношении, *невежество* даже еще вреднее и опаснее, чем во всякой другой области знания, – заметил адмирал.

– Ну, Михаил Дмитриевич, что скажете вы теперь и чем будете оправдывать свое неверие? – спросила Надя, с лукавой улыбкой нагибаясь к жениху.

Масалитинов, несмотря на свой обычный апломб, чувствовал себя несколько неловко, но старался прикрыть свое замешательство шуткой.

– Скажу, что и я поверю, если со мною произойдет подобный случай. А ты, Жорж, вполне уверен, что не во сне все это видел?

– О, нет! Из моего приключения я вынес слишком явное доказательство случившегося в виде довольно круглой суммы, которой и расплатился со своим нелепым долгом. Да я не прочь и еще раз навестить подвал мавра Гассана, который, – я убежден, – таится где-то под развалинами, – возразил весело Жорж.

– А со шкатулкой что вы сделали? – спросила Надя.

– Она здесь, со мной. Я никогда не расстаюсь с ней и считаю, что она приносит мне счастье.

– Ах! Пожалуйста, покажите нам этот чудесный ларец, – просила Надя.

– Он его не покажет, если уж мне, своему двоюродному брату и другу, никогда ни одним словом не обмолвился о своей чудесной находке. Он побоится, что мы сглазим ее! – поддразнивал Масалитинов.

– Вовсе нет. В шкатулке есть предохранительное средство против дурного глаза и я сейчас принесу ее, так как этого желает Надежда Филипповна. А тебе я ничего не говорил, чтобы не вызывать глупых шуток, – ответил Ге – оргий Львович, вставая.

Четверть часа спустя он ставил на стол большой ларец черного дерева, оказавшийся действительно художественным произведением древнего восточного искусства. Стенки были покрыты резьбой и инкрустацией из перламутра, золота и розового коралла; а среди арабесок, необыкновенно тонкой и изящной работы и драгоценных камней, было выделано имя Аллаха и изречения Корана; золотой ключик изображал крылатого дракона и тоже был чудной работы. С любопытством и восхищением все окружили стол, а Замятин сказал, что ларец сам по себе является крупной ценностью.

– Да. Один археолог, случайно увидевший его в Париже, так как я обыкновенно не показываю мое сокровище, предлагал мне за него двадцать пять тысяч рублей. Но я никогда его не продам, разумеется, – ответил Георгий Львович, открывая ящик.

Внутренность шкатулки была покрыта золотыми полосками, а на крышке виднелась арабская надпись из жемчуга и рубинов.

– Боже, как я хотела бы знать, что там написано! – воскликнула Надя.

– Написано: «Я принадлежу Гассану, бен-Юсуфу, и подарен калифом Абу Абдалла», – ответил Ведринский.

Он снял толстый кусок красного шелка, обшитый золотой бахромой, – свежей и блестящей, словно вчера сделанной, – а потом начал доставать и показывать содержимое шкатулки. Сначала он вынул несколько золотых монет с вычеканенным именем Абу Абдаллы, или Бообдила, последнего царя Гренады, и отца его, Мульци-Гассема, а затем достал продолговатую золотую коробочку, осыпанную бирюзой, в которой находились неоправленные камни.

– А вот это более всего понравится дамам, – сказал он и вынул из шкатулки широкий золотой обруч, усыпанный рубинами и украшенный вокруг подвесками крупного жемчуга. Два широких, крайне своеобразных браслета, огромной стоимости, и ожерелье заканчивали чудные уборы.

– Эти украшения назначаются моей невесте, если я, вообще говоря, когда-либо женюсь; ну, а если останусь холостяком, его получит племянница моя – любимица и крестница, – сказал Георгий Львович, смеясь и укладывая убор в ящик. – А вот кинжал и перстень, которые я считаю охраняющими против «глаза», – объяснил он, доставая два футляра древней формы. – Прежде кольцо. Осмотрите золото и эти три бриллианта: голубой, розовый и белый; посередине треугольника точно колышется капелька, которая дрожит, отливая всеми цветами радуги. Бог знает, что это за странное вещество. Маленький кусок находящегося при них арабского пергамента, который разобрал мне один востоковед, гласит, что эти две вещи – магические, а кольцо обладает необыкновенным могуществом против сил *зла* и охраняет носящего его владельца от злополучных влияний. А так как Иван Андреевич говорит, что здесь, особенно на острове, таятся злые силы, то я надену кольцо, – прибавил Ведринский полусерьезно, надевая перстень.

– И хорошо сделаете, – ответил адмирал, беря кинжал и вынимая его из ножен.

Оружие было, очевидно, очень древнее и неизвестного, но, несомненно, восточного образца; широкая рукоятка была инкрустирована странными знаками, а на тонком блестящем клинке были выгравированы красным кабалистические знаки. Адмирал внимательно осмотрел таинственное оружие, а потом молча передал его Замятину.

Рассказ Ведринского и содержимое шкатулки служили предметом

разговора в течение всего вечера; разошлись поздно и с большим сожалением, – до такой степени все были заинтересованы таинственной и необъяснимой историей.

На следующий день, после завтрака, все общество, за исключением Замятина с женой, отправилось на остров осматривать «дьявольский» дом и подбодрить слуг, которые упорно не хотели идти туда для приведения в порядок помещения, что было однако необходимо ввиду желания г-жи Морель поселиться там с Милой. Уступая наконец настояниям Нади, сопровождать их согласился и адмирал.

– Я буду спокойнее, если ты поедешь с нами, крестный, – шепнула она ему. – У тебя талисман доктора Иоганнеса, а это гарантия от злых духов.

– Будьте спокойны, Надя, – насмешливо сказал расслышавший ее слова Масалитинов. – Между нами нет колдунов, а на таких незначительных и безобидных людей, как мы, злые духи даже не обратят внимания.

VII

Когда приставали к острову у каменных ступеней, всем стало почему-то тяжело. Кругом все было запущено, а массивное здание производило мрачное, зловещее впечатление. Густой слой скопившейся за двадцать лет листвы застилал все толстым ковром; ни аллей, ни цветников нельзя было найти, а входная дверь и ступеньки крыльца были завалены листьями, ветками и полузанесены песком. Садовникам и другим рабочим пришлось начать с расчистки загражденного входа, чтобы отворить хотя бы дверь.

Сначала они вошли в прихожую, а потом в залу, которая стеклянной дверью соединялась с террасой, упоминаемой адмиралом в его рассказе. Воздух был тяжелый и пахло сыростью, а сквозь грязные, запыленные и затканые паутиной оконные стекла еле пробивался тусклый свет. Чтобы дать доступ свежему воздуху, тотчас настежь открыли двери на балкон. На террасе стояли по-прежнему камышовые стол, стулья и кресла, сгнившие и покосившиеся; большая гранитная ваза, прежде наполнявшаяся цветами, теперь была полна мусора; пустовавший бассейн перед террасой завален был, как и все вокруг, сухой листвой и хворостом. Под таким неприятным впечатлением компания вошла снова в покинутый дом, для его осмотра.

Побывав в зале, где загадочно погиб Красинский, а Вячеслав столь чудесно ожил, они осмотрели часы, изображавшие голову Мефистофеля. Часы стояли, и мрачные глаза адского духа с удивительно злобным выражением смотрели на посетителей.

– Фи! Я попрошу папу выбросить эти отвратительные часы. Можно ли выдумать что-нибудь подобное! – заметила Надя, содрогаясь от жуткого чувства. – Даже в неподвижном состоянии эти гадкие глаза бросают в дрожь, а когда они вращаются, должно быть, еще хуже.

– Жаль уничтожить здесь что-либо. Дом утратил бы свой *демонический* стиль, который удивительно выдержан. В этом надо отдать справедливость строителю его, – заметил Михаил Дмитриевич.

– Принадлежи остров мне, я снес бы дом, – спокойно сказал Ведринский, – а на его месте построил бы часовню.

– Варвар! Уничтожать нечто столь своеобразное? Я не отрицаю, что все здесь выглядит зловеще, но тем не менее – в высокой степени стильно и художественно. Это – облеченная в мрамор и гранит мечта какого-нибудь «сатаниста» средних времен.

За разговором они посетили бывший кабинет Вячеслава и наконец

вошли в спальню Маруси. На широкой по стели с фиолетовыми бархатными занавесями и балдахинном лежали еще подушки и одеяло, а в ногах стояла колыбель; но во всей комнате был большой беспорядок.

– Смотрите, можно подумать, что отсюда спасались бегством, – заметила Надя.

На полу валялись детские рубашонки и отделанная кружевами подушечка, а на стуле был брошен батистовый пеньюар. Здесь, как и в остальных комнатах, густой слой пыли одевал все своим серым саваном.

– Вероятно, отсюда действительно бежали после смерти Марии Петровны и унесли ребенка, а все остальное бросили. Так надо полагать, ибо я, – признаюсь, – вовсе не занимался малюткой, – заметил адмирал.

Из спальни они прошли в маленькую круглую залу без окон и совершенно темную. Когда принесли свечи и осветили, зала оказалась пустой, но в глубине находилась узкая резная, дубовая, стрельчатая дверь. Тщетно пытались они отпереть ее, да и самый замок, скрытый в украшавших дверь арабесках, с большим трудом удалось наконец найти; но затем оказалось, что к замку не подходит ни один ключ. Любопытство было возбуждено; решились взломать дверь, и лишь после долгих усилий замок был взломан, и дверь отворилась, скрипя на ржавых петлях. Очутились они в библиотеке, по-видимому; комната была большая и освещалась двумя высокими и узкими окнами с разноцветными стеклами, а стены отделаны были темным деревом. Столы, стулья с высокими стенками, шкафы и стенные полки были из старого, почерневшего дуба. Вокруг виднелась масса книг, свитков пергамента и старинных книг в кожаных переплетах. На столе, посреди залы, лежала открытая большая книга, прикованная к столу чугунной цепью; подле нее стояли серебряный жбан и кубок, наполовину наполненный вином, а рядом – корзина с различными фруктами, только что сорванными, по-видимому.

Посетители были ошеломлены открытием и молча осматривали эту комнату, столь непохожую на все остальное в доме. Нигде не видно было ни паутины, ни пылинки; стекла в окнах были чисты и светлы, пол выметен, а вино и свежие фрукты довершали тайну этой запертой и покинутой, подобно всему в доме, комнаты в течение более двадцати лет.

– Черт возьми! Можно подумать, что наш приход вспугнул какого-то таинственного обитателя этой библиотеки, мирно изучавшего книгу, попивая вино и кушая фрукты.

– В таком случае, это может быть только призрак, так как дверь была крепко заперта и другого выхода здесь не видно, – заметил Михаил Дмитриевич, смеясь над собственной выдумкой поселить в этой комнате

«духа».

Один Георгий Львович подметил загадочную усмешку, скользнувшую по лицу адмирала, когда тот заглянул в открытые страницы книги, а потом осмотрел вино и фрукты. Но Масалитинов тем временем уже нашел иной предмет, занявший его, и кричал со смехом:

– Скорей сюда! Посмотрите, какой великолепный здесь камин и, вместо зеркала, портрет таинственного здешнего жильца.

Все поспешили к нему и с удивлением стали разглядывать огромный камин из черного мрамора, на котором красовалась высокая, тоже мраморная доска с высеченной в натуральную величину фигурой сидевшего козла; в каждой лапе его было по факелу и над головой возвышались длинные изогнутые рога, а между ними горело точно красное пламя.

– Козел Мендеса, царя шабаша, – хмуро заметил адмирал.

Ведринский нагнулся, чтобы рассмотреть внутренность камина, и тихонько тронул его за руку.

– Посмотрите-ка, Иван Андреевич. Этот камин – словно бездонная пропасть, и там, на стенках, какие-то странные рисунки. А может быть, эти два красные демона на корточках, одной рукой указывающие вглубь, а другой делающие знак большим пальцем вниз, – тоже скульптура. Что бы это могло означать?

– Оставьте всех этих дьяволов в покое, Георгий Львович, и уйдем отсюда. Мне страшно здесь и я насмотрелась достаточно, – вскрикнула Надя, бледнея и дрожа.

Ничего не слушая, она схватила жениха за руку и потащила прочь. Чуть не бегом бросилась Надя из дома и, только очутившись на свежем воздухе, среди людей, старательно чистивших сад, успокоилась и к ней вернулось хорошее расположение духа.

– Брр!.. Ну, я не буду частой гостьей у m-те Морель и Милы. Это действительно зловещее место и я полагаю, что они тоже убегут, когда побывают здесь. Впрочем, это их дело, а теперь пойдёмте смотреть развалины монастыря. Если ты знаешь дорогу, веди нас, крестный.

– Я был там всего один раз с покойной Марией Петровной, но остров невелик и заблудиться на нем нельзя, – ответил адмирал.

Осмотревшись, он решительно направился в густой лес. За долгие годы запустения растительность сильно развилась; кустарник и валежник буквально заполонили дорогу и путники подвигались с большим трудом. Монастырские строения были, вероятно, очень обширны, судя по тому, что развалины тянулись во все стороны. Кое-где уцелели куски стен и своды

монастыря; сохранился даже флигель без крыши, но с устоявшим все же коридором, в который выходили кельи без дверей и окон. Наконец, все вышли на площадку, и перед ними оказались стены старинной церкви. Деревья здесь были реже; небольшая часть сводов еще держалась, но плит почти не было видно, настолько пол зарос травой; а в глубине, на высоте двух каменных и уже затянутых мхом ступеней, виднелся покосившийся престол и обломки разбитого креста. Стены были покрыты надгробными плитами, изображавшими большей частью монахов; а вокруг церкви в старину было, вероятно, кладбище, потому что сквозь кустарник выглядывали кое-где покосившиеся могильные кресты и даже памятники с лежащими или коленопреклоненными фигурами мужчин и женщин в богатых одеждах.

Бродя между старыми могилами и стараясь разобрать почти стертые надписи, Георгий Львович наткнулся на скрытый за густой зарослью довольно странного вида памятник. Состоял он из трех больших камней, – два стоямя, а третий сверху, – в роде *долменов*,^[7] и на этом как бы столе, точно на корточках, стояла удивительная статуя: какой-то уродец, – не то обезьяна, не то человек, – державший в руках цепь от колокола, висевшего на врытом подле столбике. Ведринский позвал спутников, показал им странную фигуру, и все с неприятным чувством стали осматривать ее. Адмирал казался удивленным.

– Я не помню, чтобы видел здесь этот символ *шабаша*, в то время, когда мы осматривали развалины. Читал я, что в средние века сатанисты собирались на кладбищах и других тайных местах для своих кощунственных обрядов; но для меня является загадкой, как попала сюда эта поганая образина.

– Воображаю, как здесь страшно ночью! – воскликнула Надя. – Я за миллион не хотела бы остаться ночевать на острове.

– Что здесь происходит нечто, – это несомненно. Отец Тимон рассказывал, будто пастухи видят, что по дому иногда бегают огни, или слышат, как на острове рычат собаки, когда тут ничего не может быть живого, кроме птиц.

Михаил Дмитриевич принялся подсмеиваться над доверчивостью невесты, а потом прибавил многозначительно:

– Жаль, что мы не можем добыть какого-нибудь Шерлока Холмса, или сыщика вообще, чтобы осмотреть весь остров. «Дьявольский» будто бы дом построен на месте монастыря, а кто не знает, что за преподобными отцами всегда водились делишки, которые не любят света. Копались они всегда, как кроты. Кто знает, – может быть, и теперь есть подземелья, где

бравые контрабандисты завели склады, пряча здесь все, что приносят с собою, и ни один таможенный не станет, конечно, искать контрабанду в месте, находящемся во «власти дьявола». Не забывайте, что здесь мы – в двух шагах от австрийской границы, и что подземелья, – если они только существуют, – бесценное убежище для сокрытия товаров. Я думаю, что мое предположение проще и ближе к истине, нежели привидения и всякая «чертовщина», придуманная народным суеверием... Допустим даже, что существуют «сверхъестественные» явления, но они составляют, однако, редкое исключение, а ввиду этого нельзя слепо верить болтовне трусов. Не раз сам я убеждался, что разного рода «странные», и «таинственные» случаи, рассмотренные при дневном свете, теряли всякий ужас и разоблачались, будучи простыми и естественными до смешного. Надя рассмеялась.

– Насчет контрабандистов догадка крайне остроумна. Надо в самом деле поискать, нет ли подземелий? Может быть, мы найдем там сокровища.

Все пошли обратно к дому, так как Михаил Дмитриевич непременно хотел еще раз осмотреть и внимательно обыскать библиотеку.

– Не знаю почему, комната эта кажется мне подозрительной; может быть, в ней-то именно и проживает глава контрабандистов, да еще лакомится вином и фруктами.

Однако осмотр библиотеки не дал ничего нового, или хотя бы подозрительного. Масалитинов перелистал открытую на столе книгу и с огорчением объявил:

– Не понимаю ни слова. Текст писан на незнакомом языке, не то турецком, не то персидском, да и рисунки тоже совершенно непонятны. Черт знает, что означают, например, эти треугольники, вилы и черные руки с растопыренными пальцами, или эти опрокинутые кресты?

Подошел Ведринский и тоже с любопытством рассматривал странные рисунки, из которых одни были черные, другие красные или коричневые.

– Текст, несомненно, арабский, и в этом ты убедишься, если сравнишь его с тем, которым писан находящийся в моей шкатулке пергамент. А рисунки – магические символы. Это, должно быть, очень древняя магическая книга, – заметил Георгий Львович.

– Да, конечно, это – знаки черной магии, и «атаман контрабандистов», как вы говорите, оказывается колдуном высшего полета, – сказал адмирал, взглянувший через плечо Масалитинова, и в голосе его прозвучала скрытая насмешка.

Так как приближался час обеда, то все сели в лодку и вернулись домой. Замятин с женой ожидали их на террасе и стали с любопытством

расспрашивать, что они открыли. Выслушав рассказ Нади и остальной молодежи, Замятин сказал:

– По-видимому, совершенно невозможно привести в два-три дня виллу в порядок; надо у нас приготовить две комнаты для госпожи Морель и Милы. Пусть они пробудут здесь, пока все будет готово на острове.

После обеда Надя с женихом отправились гулять в парк. Им все никак не удавалось поговорить наедине, а у влюбленных всегда найдется, что сказать друг другу. Прогулка была продолжительная. Молодые люди рисовали планы будущего, толковали о предстоявшем браке, обсуждая устройство квартиры и маршрут свадебного путешествия. Занятые таким животрепещущим, интересным разговором, они не заметили, как надвинулась ночь и взошла луна. Они вышли из аллеи и перед ними открылась серебрившаяся гладь озера. На берегу, в тени старого дуба, стояла скамья и они сели отдохнуть, замороженные действительно чудным видом. Молча и задумчиво смотрели они на тихо дремавшее и окутанное голубоватой дымкой озеро.

– Хорошо здесь! Как жаль, что такое дивное место приносит несчастье тем, кто здесь поселяется, точно над ним тяготеет проклятие, – задумчиво сказала Надя, склонив головку на плечо жениха, обнявшего ее стройный стан.

– Ну, да не принимайте же к сердцу такой вздор, милая Надя. Как может быть *проклято* место, и каким образом оно будет приносить несчастье ни в чем не повинным людям? Это нелепо. Мне Горки очень нравятся, и я всегда с удовольствием буду приезжать сюда.

– Нет, нет! Жить здесь я ни за что не хочу, – это зловещее место. Вы сами испугались бы, знай вы *все*, что нам рассказывал крестный. Я только вкратце передала историю бедной Маруси, а вы еще не знаете, Мишель, что Вячеслав Тураев, отец Милы, которая едет сюда, вовсе не настоящий Вячеслав, а просто *аватар*. Колдун Красинский, то есть душа его вселилась в тело Вячеслава.

Михаил Дмитриевич смутил ее громким хохотом, и только через несколько минут ему удалось сдержать свой веселый смех.

– Надя, милая, не сердитесь на меня; но несомненно, что у вашего крестного голова не в порядке. В здравом рассудке нельзя рассказывать такие сказки.

– Нет, здесь даже в воздухе веет чем-то ужасным. С тех пор, как мы сюда приехали, я утратила свое прежнее спокойствие. Я боюсь чего-то, что не могу даже определить; мне все кажется, что должно разразиться какое-нибудь несчастье и я вздрагиваю при всяком неожиданном шуме...

– Все это очень понятно. Если адмирал рассказывает истории, от которых волосы становятся дыбом, то нервы возбуждаются, конечно, а расстроенное воображение рисует затем мрачные картины.

В эту минуту Надя вздрогнула и судорожно схватила жениха за руку. Заметив его удивление, она глухо прошептала:

– Смотрите туда, направо, в этот большой куст. Видите два горящих глаза?

Масалитинов обернулся, удивленный, и по телу его пробежала жуткая дрожь. Действительно, там, в двух шагах от них, в густой листве клубилось как будто небольшое сероватое облако, а посередине его фосфорически блестели два глаза и пристально смотрели на них. Через минуту глаза потухли и расплылись в тумане.

– Это какая-нибудь кошка выслеживает другую, – проговорил Михаил Дмитриевич, стараясь побороть тяжелое, только что пережитое впечатление. – Во всяком случае, – прибавил он, вставая, – пора домой. У воды сыро и вы можете простудиться в батистовом платье.

Надя тотчас же встала, взяла его под руку и пошла рядом молча.

– Послушайте, Мишель, – заметила вдруг Надя, – вы ужасно неверующий человек. Если даже вы считаете крестного иллюминатом или мечтателем, то нельзя же отрицать сплошь все, что он видел, и чему были достойные доверия свидетели. А приключение Георгия Львовича? Он был, как и вы, скептиком; к тому же он человек правдивый, честный и, конечно, не стал бы так бессовестно лгать. А, наконец, шкатулка с ее сокровищем? Это уже факт осязательный и неоспоримый, перед которым бессильно предвзятое мнение.

– Да, история с Жоржем странная и трудно объяснимая, – согласился Масалитинов. – Но больше всего мне нравится в ней находка шкатулки. Знаете, Надя, поедemте после свадьбы, вместо Неаполя, в Испанию? Говорят, что Боабдил, покидая Гренаду, зарыл в Альгамбре баснословные сокровища. Так как шкатулка получена в дар от того же Боабдила, то мы могли бы занять у Жоржа один из таинственных дукатов, чтобы предъявить его вместо входного билета, или рекомендательного письма, и отправиться ночью в Альгамбру – вызывать дух по какому-нибудь рецепту вашего крестного. Как знать?... Может быть, мы также получим часть сокровищ калифа.

И оба они от души посмеялись над своей выдумкой.

В эту минуту вблизи показались освещенные окна дома, и охватившее их томительное чувство, вызванное видом фосфоресцировавших глаз, окончательно рассеялось. У террасы они встретили Ведринского.

– Да где же вы пропадаете? – смеясь воскликнул тот. – Я уже искал вас, опасаясь, не напало ли на вас какое-нибудь привидение с дьявольского острова.

– Как видишь, пока мы целы и невредимы; а запоздали потому, что обдумывали один большой проект, – ответил Масалитинов.

– Да, да, Георгий Львович, – перебила Надя, – мы собираемся ехать в Гренаду, вызвать духа Боабдила и выпросить у него кое-что из его сокровищ. А так как ваша шкатулка тоже – дар калифа, то вы и одолжите нам один дукат для удостоверения наших личностей.

– Попробуйте, попробуйте, друзья мои. Дукат я подарю вам с удовольствием, а в придачу дам добрый совет. Любой ребенок в Гренаде знает предание о сокровищах Боабдила и даже место, где они скрыты, а вход в подземелье находится, как уверяют, под воротами Альгамбры, над которыми начертано имя Аллаха. Все это доподлинно всем известно; а все-таки никто не может найти вход, так как на нем лежит заклятье. Может быть, вы будете счастливее, – шутя закончил Георгий Львович.

Следующий день был воскресный. За завтраком Ведринского не было, а слуга доложил, что он рано утром приказал оседлать лошадь и отправился в церковь. Перед обедом приехали гости, богатый сосед помещик Максаков с семейством, а затем вернулся и Георгий Львович, который извинился за отсутствие, оправдываясь тем, что после обедни завтракал у отца Тимона и засиделся у него за интересной беседой.

День прошел очень весело. Молодежь играла в крокет и лаун-теннис, каталась по озеру, побывала даже на островке, где продолжали мыть и выметать. Было уже поздно, когда соседи отправились домой.

Адмирал надел халат и читал перед сном в своей комнате, когда в дверь постучали и вошел Георгий Львович.

– Простите, что беспокою вас в такое неурочное время, но мне хотелось поговорить с вами. Если же вы собирались ложиться спать, то я исчезаю.

– Нет, нет, я не хочу спать и рад вам. Садитесь в кресло напротив и поболтаем.

– Видите, Иван Андреевич, мне не дает покоя предположение, что здесь есть подземелья, – начал Ведринский, усаживаясь в кресло. – Всю ночь я не спал, все соображал, и думаю, что получил кое-какие подтверждения вероятия этого предположения.

– Слушаю внимательно, если вы хотите поделиться со мной своими открытиями. Я и сам убежден в существовании подземелий, – ответил адмирал.

– Помните вы странный камин в библиотеке на вилле, с нарисованными чертями на внутренней стенке и тот неестественной глубины очаг? Так вот, у меня явилось соображение, что там и должен быть выход, через который входит и выходит таинственный жилец, читающий книги в библиотеке, распивающий там вино и кушающий фрукты. Но это еще не все. Затем мне пришло в голову, что существует, может быть, сообщение между островом и этим домом.

Адмирал встрепнулся, видимо заинтересованный.

– На чем основывается такое предположение? И как найти этот путь, если он существует? Ведь дом, относительно, новый.

– Не весь. Флигель, занимаемый в настоящее время мной, обнесен старыми стенами, представляющими остаток древнего странноприимного дома; а другая часть, – между флигелем и развалинами, – была снесена для устройства двора, конюшен и маленького сада. По моему мнению, эта часть древних сооружений сохранена была неспроста и там находится, наверно, второй выход.

– Но в таком случае строители нового дома были посвящены в тайну подземного хода, – заметил адмирал.

– Без всякого сомнения. А теперь я расскажу вам, что узнал о монастыре, его разрушении и о последующих событиях. Все это я добыл у отца Тимона, к которому недаром съездил. Вы упомянули как-то, что у него интересная коллекция старых хроник. Так вот, в надежде найти какое-либо указание по занимающему меня вопросу, я упросил его показать мне старые бумаги. Милейший батюшка был необычайно любезен, предоставил мне все, им собранное, а кроме того, рассказал сохранившиеся в округе предания об аббатстве и его уничтожении. Вывод из этих рассказов таков, что аббатство пользовалось большим значением, было чрезвычайно богато и в монастырь съезжались издалека, даже из чужих краев, многочисленные и самых разнообразных слоев общества богомольцы. Для высоких посетителей и женщин, не имевших права жить в монастыре, вот и был построен странноприимный дом. В те далекие времена аббатства даже побаивались, считая, что оно имело сношения с тайным, столь могущественным в средние века судилищем. Надо прибавить, что настоятели монастыря всегда принадлежали к высшему дворянству, а между ними были немцы, итальянцы, чехи и поляки. Я знаю это потому, что между документами отца Тимона сохранился список аббатов, хотя и не полный. Однако с течением времени, слава монастыря омрачилась; стали носиться дурные слухи про монахов, особенно про последнего аббата, итальянца, дон Паскуалэ Ровенно. Этот дон Паскуалэ слыл за большого

колдуна, его обвиняли даже в сношениях с дьяволом и совершении всей братии. Среди документов отца Тимона находится очень любопытный журнал – «Диарий», как его называет сам автор, польский вельможа и современник разрушения монастыря. Я захватил журнал с собой, чтобы перечесть вместе с вами; но вкратце передам пока то, что мог разобрать; рукопись писана – что называется – «кухонной» латынью.

– Итак, этот пан рассказывает, что репутация аббатства и настоятеля никуда не годилась. Смутные, но недобрые слухи носились в народе, и наконец наказание свыше поразило преступный монастырь. Разразилась такая гроза, какой здесь не бывало; молния несколько раз ударяла в обитель и вызвала громадный пожар. Насколько я мог уяснить себе подробности, это было нечто вроде урагана или смерча, так как рассказчик говорит о вихре и спустившемся с неба столбе, который с грохотом сметал все на своем пути. По его словам, одно из окрестных селений было почти снесено. Подобным образом этот карающий столб настиг паром, на котором спасалась часть монахов с острова, опрокинул его и все они утонули в озере; а потом ураган пронесся вблизи странноприимного дома и уничтожил значительное число построек. Другая часть монахов погибла на острове, в том числе и преступный аббат, – так предполагали, по крайней мере. Но... вот любопытная для нас с вами вещь. Несколько монахов, в том числе библиотекарь, казначей и еще двое или трое, имен коих он не упоминает, появились на следующий день в развалинах странноприимного дома. Между тем никакого сообщения не было еще восстановлено с островом; к тому же, там были уже одни развалины. Каким образом спаслись они? Никто не знал, и верующие приписывали это спасение «чуду»; но автор «Диария» высказывает остроумную догадку, что существовал, может быть, какой-нибудь тайный ход, которым те и бежали. Этот тайный ход вел, по его мнению, в монастырскую гостиницу на берегу, куда наезжало много богатых и высокопоставленных лиц. Очень может быть, что «отцы» за ними шпионили; но кроме того, рассказывали, будто много раз и именно в странноприимном доме бесследно исчезали люди. Столь чудесно спасенные от несчастья монахи покинули страну, так как духовные власти объявили монастырь закрытым.

– Да вы настоящий волшебник, Георгий Львович. Вы знаете историю монастыря, точно были в нем настоятелем, – сказал адмирал, смеясь. – И признаюсь, ваши предположения очень походят на правду; но все-таки мы еще далеки от цели и не владем ключом к загадке.

– Подождите, я еще не досказал своих открытий. Знаете, «на ловца и зверь бежит», – весело возразил Ведринский. – В других документах

говорится, что в течение лет пятнадцати развалины, как на острове, так и здесь, оставались неприкосновенными, потому что все избегали этого проклятого места. И вдруг разнеслась весть, что земли упраздненного монастыря, в том числе и остров, куплены каким-то богатым поляком женатым на итальянской графине. Они отстроили дом, по крайней мере часть его, и поселились там; но через несколько лет оба внезапно исчезли и никто никогда не узнал их дальнейшей участи. Бог весть, какая драма разыгралась в этом роковом месте. После этого имение перешло по наследству к одному родственнику поляка, жившему в Галиции. Однако, ни наследник, ни сын его никогда не жили в Горках; но зато внучка, выйдя за русского, получила в приданое это имение, а ее сын уже был основателем дачи на острове. Вот все, что я узнал относительно генеалогии владельцев. А теперь скажите, Иван Андреевич, были ли вы здесь в старой библиотеке?

– Да нет, и даже не знал о ее существовании. Видел я только библиотеку Петра Петровича, принадлежащую теперь Филиппу Николаевичу и доставшуюся от прежних хозяев имения.

– Так вот, во флигеле существует таковая, может быть, даже библиотека странноприимного дома, пополнявшаяся, вероятно, следующими владельцами, но затем заброшенная, когда был увеличен и перестроен барский дом. Эта старая библиотека находится рядом с моей комнатой и служит теперь кладовой мебели; там стоит мой сундук. Комната запущена, разумеется, но деревянная отделка стен очень любопытна. Это все большие резные панно, изображающие то библейских лиц, то монахов различных орденов; одни из этих панно служат дверцами для шкафов, другие просто вделаны в стену, а вот одно из них заставило меня призадуматься. Изображена на нем фигура тамплиера, держащего опущенный меч с красной рукояткой, и жест его напомнил мне одного из демонов в камине виллы. Я полагаю, нам следует приняться за розыски именно там.

– Хорошо, но когда? Надо выбрать свободное время, чтобы нас не потревожили, – заметил адмирал задумчиво.

– Вчера Надежда Филипповна с родителями уговаривали Максаковых ехать послезавтра к соседям. Так как я с этой семьей не знаком, то могу извиниться и остаться здесь; а вот вы можете ли отбояриться? У нас был бы свободным весь день.

– Я тоже не знаком с ними и постараюсь не ехать. Мне чрезвычайно интересно проникнуть в тайны старого монастыря; притом я вижу в вас превосходного сотрудника и проводника. Вы одарены откровением.

– Спасибо за хорошее мнение и постараюсь оправдать его, – от души

рассмеялся Ведринский. – Итак, значит, решено. А пока желаю вам покойной ночи. Я непростительно задержал вас, – прибавил он, прощаясь с адмиралом.

VIII

В назначенный день, лишь только экипаж Замятиных скрылся за поворотом дубовой аллеи, как адмирал со своим спутником отправились в старую библиотеку.

Надя хотела непременно везти их с собой, и обоим было очень трудно отделаться от поездки к соседям; но они устояли, объявив, что предпочитают посвятить день разбору очень интересной имевшейся у адмирала рукописи по герметической науке. Масалитинов высмеял своего двоюродного брата, предсказав ему, что если тот сделается учеником адмирала, то очень скоро в любой крысе начнет видеть «аватар» какого-нибудь колдуна или демона. На эти насмешки Ведринский несколько не обиделся и даже не возражал; он был совершенно поглощен своими предстоявшими изысканиями.

Накануне еще они с адмиралом разбирали и изучали привезенные Георгием Львовичем старые бумаги и нашли даже указание, что в странноприимном доме была действительно библиотека. С любопытством рассматривали они теперь старую, покрывавшую стены резьбу. Хотя она была местами обломана, загрязнена, источена временем и покрыта пылью, а все-таки можно еще было узнать содержание изображений, и адмирал нашел, что большинство их имело оккультное значение. Прежде всего они заметили, что дубовых панно, размещенных между шкафами, было семь и на каждом различные фигуры. На одном изображался старик с остроконечной короной на голове и поднятым к небу мечом в правой руке, а в левой – со щитом, на котором нельзя уже было разобрать рисунка; на другом панно изображен был крылатый ребенок, стоящий на полумесяце, со звездой над челом и поднятым в руке факелом; на третьем красовалась фигура в сутане с ослиной головой и державшая открытую книгу; на четвертом – царь со скипетром в руке, а за ним бесенок нес хвост его мантии и т. д.

– Все это демонические фигуры, изображающие злых гениев дней недели, – произнес адмирал. – Насколько я помню, старика с мечом зовут *Намброт*, крылатый ребенок – *Люцифер*, монах с ослиной головой – *Астарот*, а это – царь Ахам.

Наконец они подошли к доске, изображавшей тамплиера. Здесь рисунок был тоже странный. Подле рыцаря стоял царь, – Соломон, может быть, – подававший ему кольцо, а над ними изображена была какая-то

особенная пятиконечная звезда, с кругом посредине, причем и каждое острие тоже заканчивалось маленьким кружком.

– Гм! – неодобрительно ворчал адмирал. – Черная, фатальная звезда... Однако полупочтенные «отцы» или их наследники были, как оказывается, заправскими сатанистами. Не знаю почему, но мне кажется, что именно за этой доской и скрывается вход в подземелья.

Маленьким металлическим молотком Георгий Львович стал постукивать по пластине, но ничто не двигалось. Он начал уже приходить в уныние и от огорчения довольно сильно ударил по звезде над двумя фигурами. Вдруг раздался треск, дубовая пластина отделилась от стены, со скрипом повернулась на невидимых петлях и открыла узкий вход, за которым зияла тьма. Горя нетерпением и любопытством, Георгий Львович зажег спичку, чтобы осветить пространство, и увидел, что перед ними был узкий коридор, пробитый, вероятно, в толще стены. У входа на железном крюке висел старинный фонарь с красной восковой свечой. С торжествующим видом Ведринский указал адмиралу на свое открытие.

– Ну-с, Иван Андреевич, разве у меня не собачий нюх? Не думаете ли вы, что нам следует произвести небольшую экскурсию в подземные владения «полупочтенных отцов»? Может быть, мы найдем там интересные вещи, которые не след показывать другим?

– Еще бы. Конечно, мы отправимся на розыски, а обстоятельства захватывающе интересны. Только нам надо предварительно подготовиться.

– Ну, вот еще. Стоит терять время на приготовления! У нас есть этот фонарь, а у меня, кроме того, мой электрический. Чего еще больше? – возразил Ведринский.

Адмирал не мог удержаться от громкого смеха.

– О, молодость! Успокойтесь, торопыга. Приготовления будут невелики, но они необходимы для нашей безопасности и успеха предприятия. Прежде всего, нам надо взять с собой пачку свечей, так как неизвестно, сколько времени понадобится освещение, а я возьму также и свой электрический фонарь. Затем мы запрем на ключ дверь вашей комнаты, которая сообщается со старой библиотекой, и унесем его, чтобы никто посторонний не вошел сюда в наше отсутствие. Наконец, надо загородить вход чем-нибудь тяжелым, чтобы не дать захлопнуться доске, иначе мы очутились бы в западне.

Ведринский оценил справедливость таких мер предосторожности и, не теряя времени, вдвинул в проход тяжелое кресло так, чтобы доска не могла захлопнуться. Взяв свечи из двух бывших в комнате Ведринского канделябр, адмирал запер дверь и положил ключ в карман, а после этого

оба смело вошли в узкий коридор.

Сделав шагов тридцать, они очутились перед крутой лестницей, шедшей вниз, и после минутного раздумья продолжали путь. Лестница казалась бесконечной, воздух был тяжелый и сырой, а стены и ступени так свежи, словно накануне только построены.

– Точно мы спускаемся в ад, – заметил Георгий Львович, тяжело дыша.

– Будем надеяться, что не так далеко, – возразил адмирал.

В эту минуту коридор внезапно уширился и по отлогому спуску они дошли до входа в довольно широкую, сводчатую подземную галерею. Через несколько шагов они заметили, что стало значительно сырее, нежели на лестнице; пол, хотя и вымощенный каменными плитами, покрывала плесень, равно и стены свода. Тем не менее, в этой обширной галерее все прекрасно сохранилось.

– В старину люди были действительно превосходными строителями, – заметил адмирал. – Знаете ли вы, что мы находимся под озером? Этот шум над нашими головами происходит от движения воды; а между тем посмотрите, ни одна капля не просачивается сквозь своды, точно на веки веков скрепленные каким-то неизвестным цементом.

– Да, эта галерея, ведущая, очевидно, на остров, чрезвычайно любопытна, и по тому, как она сохранилась, надо думать, что ее тщательно поддерживали. Если же предложение Миши основательно и здесь – гнездо контрабандистов, то нам может предстоять неприятная встреча, а мы безоружны. Хоть у меня с собой финский нож, но это довольно жалкое оружие, – заметил Ведринский.

– У меня трость со стилетом; только я не думаю, что мы встретим кого-нибудь. Пойдемте дальше, – спокойно ответил адмирал, зажигая электрический фонарь.

Медленно и осторожно продолжали они путь по скользкому полу этой бесконечной, казалось, галереи. Наконец дорога снова пошла кверху, показались каменные ступени, приведшие к арке, увенчанной пентаграммой.

– Вот мы и на острове, а здесь начнутся, вероятно, подземелья, – заметил адмирал.

Действительно, в конце небольшого коридора они вошли в круглую залу; потолок ее посередине поддерживался кирпичной колонной и отсюда несколько галерей лучеобразно расходились в разные стороны. Над входом в каждую галерею был особый лепной символ, а на большом железном крюке висел старинный фонарь.

– Исследуем галереи и начнем с той, с левой стороны, где мертвая

голова. А, посмотрите, – там, около фонаря, висит связка ключей! – воскликнул Ведринский.

– Прекрасно. Начнем с осмотра галереи смерти, – ответил адмирал, разбирая огромные, тяжелые, но изящной работы ключи, которым было по крайней мере лет четыреста.

Галерея была не особенно длинна, и по обе стороны ее выходили двери с решетчатыми слуховыми окнами наверху.

– Это удивительно напоминает камеры тюрьмы, – заметил адмирал.

– Посмотрим, что в кельях. Видите, они пронумерованы, как и ключи, – ответил очень озабоченный Георгий Львович.

Не без труда отпер он огромный висячий замок и толкнул тяжелую, окованную железом дверь. Спертый и сырой воздух пахнул им в лицо; но когда они оба подняли фонари и электрические лучи, как днем, осветили тесную камеру, у них вырвался крик ужаса.

В глубине комнаты у одной из стен виднелись две каменные скамьи и к каждой цепью приковано было по скелету. Один, склонившись на сторону, находился в сидячем положении, с прислоненной к стене головой; а другой был распростерт на земле подле скамьи и умер, надо полагать, в страшных мучениях. Руки и ноги его были скорчены, челюсти широко открыты, а охватывающая туловище цепь была натянута, как веревка. Около несчастного валялись обломки каменной кружки.

– Боже милосердный какие страшные злодеяния совершались здесь, какие разыгрывались драмы! – перекрестился адмирал, и они поспешно вышли и заперли дверь.

– Я думаю, что не стоит, по крайней мере, в настоящую минуту осматривать другие кельи; это все тоже казематы, вероятно. Отворим лучше дверь в конце коридора, – сказал Ведринский, вытирая струивший со лба пот.

Дверь эта была окрашена красным, как и подходящий к ней ключ, и вела в сводчатую залу с низким закопченным потолком. Здесь, судя по всему, заседал трибунал. На высоте одной ступени, у стены, стояли семь дубовых кресел с высокими спинками и стол, крытый некогда черным сукном, о чем можно было догадаться по нескольким висевшим лохмотьям; перед средним креслом, рядом с семисвечным шандалом и черепом, стояла большая роговая чернильница. Самыми характерными признаками являлись расставленные вокруг орудия пытки; все ужасные ухищрения человеческой жестокости имели здесь свои образцы. На очаге лежали еще кучи угольев для раскаливания клещей, а на крюках по стенам были воткнуты факелы, освещавшие некогда ужасные сцены пыток, о которых

свидетельствовали на полу черные лужицы и стоки запекшейся, по всей вероятности, крови.

Следующая дверь вела в комнату рядом, служившую для смертной казни. Там стояла деревянная плаха для отсечения голов, а многочисленные рубцы доказывали, что она в свое время послужила достаточно; на стене висели несколько топоров и два меча.

Осмотрев все, адмирал и Ведринский вернулись в круглую залу, чтобы обследовать второй коридор, находившийся рядом с первым. Очутились они в обширной зале, посредине которой на каменном цоколе возвышалась статуя сатаны. На стенах и на подстановке были кабалистические знаки. Против статуи, на высоте двух ступеней, возвышался род престола, и на нем стоял семирожковый шандал с черными свечами. Большая и очень старая книга в черном кожаном переплете цепью прикреплена была к этому престолу, а у подножия ступеней лежала каменная подушка художественной, скульптурной работы. По обе стороны престола стояли две статуи демонов с крыльями, словно у летучей мыши, и факелами в руках.

– Это храм люциферианской общины. Уйдем скорее из проклятого места. Перед этим поганым престолом совершалась, наверно, черная месса и, может быть, приносились даже человеческие жертвы, судя по темным пятнам в каменном резервуаре и семи детским черепам, лежащим за книгой, – с отвращением сказал адмирал.

Ведринский был очень бледен, и оба поспешно покинули сатанинский храм, чтобы осмотреть третью галерею. Там все носило другой характер и было более современно. Большую залу украшали масонские эмблемы: у входа стояли две статуи в фартуках, с лопаточками и молотками в руках, у стены был большой буфет с посудой, а бывший посредине залы стол окружен был двадцатью четырьмя стульями. В соседней комнате находился шкаф, полный книг, а по стенам шли полки со свитками и коробками, украшенными масонскими знаками.

– Здесь заседала несомненно масонская ложа, но я не могу объяснить себе, каким образом поместилась она рядом со средневековым трибуналом, не вычистив даже предварительно тюрем, где гнили скелеты? – заметил Георгий Львович, отдыхая вместе со своим спутником и рассматривая масонские эмблемы, украшавшие спинки стульев.

– Надо полагать, что работала масонская ложа здесь со времен Императора Павла Первого. Ведь это он разрешил франкмасонство в России и сам был, говорят, даже его гроссмейстером, хотя и фиктивным. Позднее, когда франкмасонство было запрещено, ложа закрылась,

вероятно, и члены ее рассеялись; может быть, нам удастся даже найти имена их в документах, скрытых в шкафу. Но почему они не тронули ничего в других галереях, я тоже не понимаю, – заметил адмирал.

В четвертой галерее также были кельи, которые оказались уже не тюрьмами, а спальнями, со старинными кроватями, менее поврежденными временем, чем можно было ожидать после многолетнего запустения. В одной из келий, обширнее других, стояла кровать под балдахин с занавесями, и здесь исследователи увидели первое живое существо. С кровати неожиданно прыгнула огромная черная кошка, с взъерошенным хвостом. Шипя, ворча и оскалив зубы, глядела она на них дьявольски злобным, почти человеческим взглядом своих зеленых фосфорически блестящих глаз. Испугавшись, Ведринский отскочил назад; но адмирал поднял руку, произнес непонятные для молодого человека слова, и после этого кошка, изогнув спину, поползла в темный угол, где и пропала.

– Вот животное, в которое я охотно всадил бы стрелу Иоганнеса, – сказал Иван Андреевич. – А теперь поищем выход из подземелья; он не должен быть далеко.

В самом деле, им не пришлось долго искать. Пятым коридором они вышли прямо на лестницу, а потом в узкий проход, совершенно такой, какой скрывался за входным панно с тамплиером. Здесь также было что-то вроде двери, с пружиной, ясно обозначенной металлической кнопкой. Минуту спустя широкая и высокая каменная плита бесшумно повернулась, и они очутились в камине библиотеки виллы. Адмирал снова запер отверстие и облегченно вздохнул.

– Уф! Славный уголок эта вилла с ее подземными тайнами, и я не завидую удовольствию г-жи Морель жить тут. Но вместо того, чтобы вторично проходить этими страшными галереями, – прибавил он, – пойдем через виллу. Здесь теперь много рабочих, и лодки всегда наготове; мы возьмем одну из них и переправимся на нашу сторону.

На острове на них не обратили, конечно, внимания, и прислуга сочла, что они приезжали посмотреть за работами. Как только вернулись они домой, то пошли в помещение Георгия Львовича, закрыли панно тамплиера и привели все в порядок, чтобы никто не догадался об их экскурсии, и особенно о сделанных ими открытиях.

На следующий день на вилле почти все уже было приведено в порядок, и Зоя Иосифовна предложила освятить «непокойный» будто бы дом, чтобы очистить его и сгладить неприятные впечатления прошлого. Послали за отцом Тимоном, с просьбой отслужить молебен, но он уклонился, ссылаясь на спешную работу по требам. Тогда Замятин

обратился к священнику соседнего городка, и тот обещал приехать на другой день в десять часов утра.

– Все это бесполезно и ничему не поможет, – заметил адмирал. – Это только полумеры, потому что священник сам неверующий и даже атеист.

Утром, однако, несмотря на обещание, священник не приехал и не дал о себе вести, а к вечеру стало известно от слуги, ездившего в город за покупками, что у отца Платона случился ночью пожар. Следствие выяснило, что кухарка положила в корзину не совсем погасшие уголья и огонь тлел под пеплом, пока не загорелась корзина, а потом и пол; пожар быстро распространился, и кухня с комнатами первого этажа очень пострадали. Пробужденные дымом и криками соседей, священник и жена его бросились вниз по лестнице, причем отец Платон нес ребенка, мальчика четырех лет. Но дым был уже так силен, что у него закружилась голова; он споткнулся на одной из последних ступенек и так несчастливо упал, что сломал ногу.

Ребенок, попадья и другие обитатели дома отделались испугом, а отца Платона пришлось отвезти в больницу.

Зоя Иосифовна и Надя были очень взволнованы этим случаем; адмирал воздержался от всякого замечания, а Михаил Дмитриевич явно рассердился, так как несчастье с отцом Платоном как бы подкрепляло «суеверные» идеи Нади. Когда расстроенная молодая девушка заметила, что злобная сила охраняет, очевидно, остров от всякой попытки внести туда благословенье Божие, Масалитинов гневно сказал:

– Послушайте, mesdames! Таким путем можно во всем сыскать дьявольские козни! Что случилось на самом деле? Распустиха-кухарка кладет по глупости тлеющие угли в корзинку, а сама дрыхнет, как чурбан, отчего и происходит пожар, что вполне естественно. Я полагаю, тут дьяволу нечего и вмешиваться. Затем полусонный и перепуганный священник вскакивает, спотыкается, ослепленный дымом, и падает. Что он ломает ногу, – это такой же несчастный случай, как случайно и совпадение, что пожар случился именно в эту ночь. Но при самом пылком желании я не могу найти в этом что-либо «сверхъестественное», напротив, чудом было бы, если бы от углей не загорелась корзина.

– Все это справедливо; но, тем не менее, в таком совпадении есть что-то злое, – ответила Замятина, вздрагивая.

На другой день, на целые сутки раньше назначенного времени, приехала г-жа Морель с Милой. Замятина была дома одна, а все остальные поехали кататься верхом. Она любезно приняла путешественниц и отвела их в назначенное им помещение, где они отдохнули до обеда.

Все семейство собралось на террасе в ожидании прибывших, чтобы перейти в столовую; молодые люди и даже адмирал с любопытством поглядывали на дверь, в которую они должны были войти.

Г-жа Морель вошла первая и поздоровалась с адмиралом, как старая знакомая. Прежняя Катя Тутенберг значительно изменилась и постарела. Красивой она никогда не была, а теперь это была высокая, тучная женщина с обрюзглым лицом. На ней было черное батистовое платье с белыми горошинками; сидящие и густые еще волосы ее были причесаны по последней моде.

Но в эту минуту появилась Мила и все внимание сосредоточилось на ней. Сердце адмирала забилось сильнее при виде дочери страстно любимой им женщины, и он жадно искал сходства с чертами дорогой для него покойницы. Но Мила совсем не походила на мать и, хотя была бесспорно красива, но красота ее была какая-то особая и удивительная. Очень высокая и стройная, она могла служить моделью художнику в декадентском вкусе, так тонка и, по-змеиному, гибка была ее талия, а бюст так плосок. На длинной, тонкой шее, напоминавшей лебединую, устало склонялась головка с пышной массой золотисто-рыжих кудрей. Цвет кожи был ослепительной белизны, но без малейшего признака румянца на щеках, что еще сильнее оттеняло ярко-красные губы. Что касается глаз, то трудно было определить их цвет; они оставались постоянно полузакрытыми, а длинные и пушистые ресницы совершенно скрывали их взгляд. В движениях длинного гибкого тела была своеобразная, чисто кошачья грация, а общее выражение лица имело что-то лукавое и надменное; при всем том это было чарующее, но странное существо.

Все перешли затем в столовую, и разговор вертелся преимущественно на путешествии и вилле на острове. Замятина пыталась убедить их не поселяться там, но гости не хотели ничего слушать. Мила заявила, что горит нетерпением увидеть место, где жила ее мать, а г-жа Морель смеялась над нелепым «предрассудком», тяготевшим над таким прелестным уголком. Она прибавила, что они с Милой не верят в «сверхъестественное», не боятся ни привидений, ни дурного глаза и, конечно, будут отлично чувствовать себя в доме на острове, раз хозяин так любезен, что разрешил им пожить там.

Адмирал мало участия принимал в разговоре и только пристально разглядывал Милу, стараясь найти в ее чертах сходство с ее отцом или матерью; но Мила не походила ни на одного из них. Вдруг Иван Андреевич побледнел и нервно провел рукой по покрывшемуся потом лбу. Молодая девушка улыбнулась, пурпурные губки раскрылись, обнаружив белые,

острые зубы... У нее была улыбка Красинского.

После обеда дамы вышли в сад, а мужчины остались на террасе с сигарами и за кофе.

– Ну, как вы находите mademoiselle Людмилу, господа? – спросил хозяин вполголоса, убедившись, что дамы исчезли из вида.

– Она прелестна. Настоящая хризантема в декадентском вкусе, – ответил Михаил Дмитриевич. – Но знаете ли, какое странное впечатление произвела на меня? Она похожа на молодую пантеру.

– Меня это нисколько не удивляет, – произнес Георгий Львович, – и у меня то же впечатление. В ее лице есть что-то кошачье; вообще что-то лукавое в движениях и гибком стане. Она, должно быть, страстная женщина.

– Это зловредная женщина, истинно дьявольское отродье, – заметил адмирал, уходя с террасы.

На другой день вновь приехавшие переселились уже на остров. Осмотрев дом и сад, Мила объявила, что местоположение восхитительно и она не удивляется тому, что мать ее не желала больше нигде жить. Особенно восхищалась она садом, который уже был приведен в порядок. Фонтан снова бил и сыпал серебристой пылью; розы, жасмин и полные цветов клумбы веяли дивным ароматом.

Пока г-жа Морель разбирала вещи, молодые девушки занялись клубникой со сливками на террасе, и тут в первый раз Надя заметила с удивлением, что не одной птички ни видать было в зелени, ни один воробушек не залетал клевать крошки и нигде незаметно было голубиных гнезд, а между тем в парке и в усадьбе голубей было множество.

На другое утро Надя посетила дам и справилась, не обеспокоило ли их ночью что-либо необыкновенное. Обе гостьи, смеясь, уверили ее, что спали превосходно, что ничего таинственного и тревожного не произошло, а им очень нравится тишина и безмолвие на острове; этот покой благотворно подействует, конечно, на несколько больные нервы Милы. Замятина наняла для них двух горничных из городка, и пока барыни и прислуга были одинаково довольны друг другом.

Вечером, после ужина, Георгий Львович опять пришел к адмиралу побеседовать об оккультизме и продолжавшей живо интересоваться его экскурсии их в подземелье.

– Если это не тайна, скажите мне, пожалуйста, Иван Андреевич, где приобрели вы такие серьезные познания? Признаюсь, я пламенно желаю также научиться понимать окружающие нас тайны. Конечно, я желал бы изучить белую магию, а не черную – науку зла. Располагать злыми,

разрушительными силами – опасное дело; можно увлечься местью и дойти Бог знает до чего в минуту гнева, даже до оккультного убийства.

Адмирал от души посмеялся, но потом серьезно заметил:

– Только при вашем полном неведении этой области, друг мой, можно думать, будто я располагаю глубоким знанием. Я, увы, невежда, и только невежда. Но я много читал и достаточно изучал для того, чтобы именно понять, что ничего не знаю и стою только на пороге знания. Но все же во время довольно долгого пребывания в Индии я имел счастье оказать услугу одному старому брамину индусу и мы подружились, а он посвятил меня в различные отрасли оккультной науки. Так, он объяснил мне, что серьезный адепт, желающий изучить и применять силы *белой* магии, должен предварительно пройти полный курс *черной*. Понятно, не для пользования ею, а для того, чтобы знать ее и уметь в свое время отражать ее зловредную силу; подобно врачу, изучающему болезни, которые намеревается лечить, и причины, их вызывающие. А вот что сказал он мне еще по поводу тех, кто отдается изучению оккультных наук. Заурядный колдун, познания которого крайне ограничены и отрывочны, схватывает только верхушки черной магии и становится, таким образом, адептом зла, не изучив его основательно; такой человек глубоко несчастен и погибает непременно, если его не спасет какой-нибудь особенно счастливый случай. Силы зла подчиняют его себе, и он становится их рабом, чудовищно опасной и зловредной личностью, каких средневековая юстиция справедливо преследовала и уничтожала без пощады. А между тем судьи того времени, которых столько осмеивали и осуждали, оказывались во многих случаях вполне правыми: убеждения их, – по существу конечно, а не по приемам розыска, – представляют отнюдь не плоды одного только «суеверия», по общепринятому мнению господ историков, и целью их была вполне сознательная борьба с темными силами потустороннего мира. Но, вообще говоря, пройти безнаказанно этот опасный путь может лишь тот, кто изучает мрачные тайны черной магии под руководством *мага*, властвующего над нечистыми силами; затем и он в свою очередь становится хозяином оккультных сил.

IX

В усадьбе Замятиных стало очень оживленно. Поездки к соседям, пикники и приемы следовали без перерыва. Кроме того, товарищ Замятина по Киевскому университету, а теперь сам профессор приехал на несколько недель к своему приятелю, чтобы отдохнуть на чистом воздухе от своих научных трудов.

Мила принимала участие во всех развлечениях и, казалось, веселилась. Но долгие прогулки, танцы и т. д. утомляли ее, видимо; иногда ее усталый и даже болезненный вид обращал всеобщее внимание. А на следующий день она как будто оправлялась, глаза по-прежнему блестели, губы становились кроваво-красными и тонкий стан, подавленный накануне усталостью, гордо выпрямлялся.

Адмирал был еще в Горках. Он сдался на уговоры радушных хозяев, забыв как будто свои опасения и отвращение к этому месту. Дело в том, что Мила внушала ему совершенно особый интерес к себе. Он изучал ее и следил за ней, в то же время, а дружба с покойным отцом облегчала ему возможность этих наблюдений. К тому же, самые теплые, дружеские отношения установились между адмиралом и Георгием Львовичем. Каждый вечер молодой человек приходил побеседовать с ним перед сном, а тем для разговоров было в изобилии.

Однажды у Милы снова был истощенный, болезненный вид, и г-жа Морель с тревогой следила за ней; но вот после короткой прогулки молодой девушке сделалось дурно. Не без труда удалось привести ее в себя, и – к великому изумлению Филиппа Николаевича, – г-жа Морель убедительно просила его, вместо лекарства, достать стакан крови черной овцы. Послали слугу на деревню купить овцу, а в ожидании этого странного снадобья Мила легла и от истощения уснула тяжелым сном. Убедившись, что она чувствует себя лучше и крепко спит, Екатерина Александровна вернулась на террасу, где были адмирал, Георгий Львович и хозяйка.

– Как чувствует себя Мила? – спросила Замятина.

– Лучше. Это один из приступов внезапной слабости, которой она подвержена с детства. Продолжительные обмороки ее, особенно когда она была маленькой, постоянно пугали и тревожили меня, но теперь я уже привыкла, – закончила, вздохнув г-жа Морель.

– Как жаль, что такая очаровательная девушка обладает столь плохим здоровьем. Не пробовали вы лечить ее? – с участием спросил Масалитинов.

– Перепробовано было все, что знает наука. Я советовалась со всеми знаменитыми врачами Европы, но ни одному не удалось не только помочь ей, но даже понять ее болезнь. Я полагаю, что Мила страдает чрезвычайно сильной наследственной неврастенией. Мать ее, моя покойная подруга, никогда не могла оправиться от страшного нравственного потрясения, пережитого незадолго до замужества. Она таяла в течение нескольких месяцев и вскоре после рождения дочери утопилась в припадке сумасшествия. Мила унаследовала от матери совершенно расстроенную и даже несколько аномальную нервную систему; но, на ее счастье, у нее энергичный характер и она чужда всяких предрассудков. Иначе на нее слишком сильно действовали бы и были даже опасны всякого сорта глупые истории, распространяемые необразованными людьми и вызываемые иногда ее странной экзотической красотой.

– Правда, красота Людмилы Вячеславовны совершенно особенная; она так прозрачна, хрупка, бела и притом еще с золотистыми волосами, что ее можно бы принять за фею, если бы... феи существовали, – засмеялся Замятин, и ему вторила Екатерина Александровна.

– Сравнение ваше очень изящно и лестно, – сказала она потом. – Но один старый бретонский пастух, которому, впрочем, я очень обязана указанием превосходного лекарства для Милы, дал ей менее лестное название.

– Ах, расскажите, пожалуйста! Любопытно, что мог старый дурак сказать о таком прелестном создании.

– Охотно расскажу. Вот как это произошло. Жили мы тогда в Бретани, на берегу океана, в деревне, потому что доктор предписал Миле морской воздух и полный покой. Я выбрала уединенное, малопосещаемое место, и наняла дом у одного рыбака. Комфорт был посредственный, но спокойствие полное. Мы проводили на воздухе целые дни, и Мила, которой только что исполнилось семнадцать лет, по-видимому поправлялась и крепла. Но вдруг, без всякой видимой причины, она стала опять слабеть, а когда мы отправились однажды несколько дальше, чтобы осмотреть «дольмены», Мила стала жаловаться на удушье и слабость, а затем упала в обморок. Мы были до вольно далеко от дома, и наш проводник предложил отправиться в ближайшую деревню, первые дома которой уже виднелись вдали. Надо вам сказать, что мы ехали на ослах.

– Вон там, – сказал мне проводник, – в крайнем доме с зелеными ставнями живет старый пастух Номинуа. Правда, он – колдун, а все-таки, несмотря на это, хороший человек и к тому же знахарь. Он многих излечил и поможет молодой барышне.

Я тотчас согласилась. Колдовству я не верила, разумеется, но иногда ведь некоторые деревенские средства бывают целебны. Может быть, и счастливый случай привел туда. Пастух, – высокий старик с морщинистым лицом и крючковатым носом, – был дома; он помог внести Милу и положить на постель. Долго осматривал он ее, качал головой и наконец сказал, глядя на меня недобрый, пронизательным взглядом маленьких черных глаз:

– Девочка ваша – дьявольский ублюдок, дочь вампира и живой женщины...

Взрыв гомерического смеха присутствующих прервал г-жу Морель. Масалитинов и Филипп Николаевич смеялись до слез; один адмирал ограничился слабой улыбкой, поглаживая бороду. Когда прошел веселый порыв, стали просить рассказчицу продолжать. Она также очень смеялась и, вытирая глаза, начала:

– Вы поймете, что меня ошеломило такое заявление, а кроме того, я так обозлилась, что готова была прибить старого дурака, осмелившегося оскорбить невинного ребенка. Но он нимало не смутился и сказал спокойно:

– Не сердитесь, сударыня, я говорю так, чтобы вы про то знали, а она все равно не слышит. Надо давать ей пить свежую кровь черной овцы и на ночь класть в постель морских свинок. Это придаст ей жизненную силу.

Он вышел и вскоре вернулся, неся большую кружку парной крови. Поставив ее под нос Миле, он приказал мне посадить ее. Минуту спустя та открыла глаза, с жадностью выпила кружку и действительно ожила. По возвращении в Париж, я советовалась с нашим доктором господином Бонпером и описала случай с пастухом.

Он расхохотался сначала, а потом сказал, что для людей анемичных, действительно свежая кровь очень полезное средство, но большинство больных отказываются пить ее вследствие внушаемого ею отвращения. Он прибавил, что если Мила в состоянии пить кровь, то он только одобряет это, а что цвет овцы не имеет, разумеется, никакого значения в смысле полезности крови. Что касается морских свинок, то это симпатическое, старинное средство и, во всяком случае, безобидное.

– Но почему же вы пожелали сегодня крови *черной* именно овцы? Белые и у нас есть здесь, – спросил Замятин.

– Странно, если хотите, но я убедилась, что кровь черных овец лучше действует на нее; от крови белых у нее делается тошнота, а иногда даже и рвота.

– Может быть, это тоже симпатическое действие? Ведь доказала же

наука, что цвет имеет очень сильное влияние на человеческий организм. Очевидно, белый цвет реагирует как-нибудь на чрезвычайно впечатлительный организм Людмилы Вячеславовны.

– Вот, вот. Вы угадали. Я припоминаю теперь, что Мила с детства не любила белых платьев.

Затем разговор зашел о влиянии цветов на болезни, например, красного при лечении оспы, но профессор не принимал в нем участия, видимо занятый своими мыслями.

Доктор Бибер был трудоспособный, но ограниченный немец, которого занятия «точной наукой» еще более укрепили в материалистических убеждениях; но, не довольствуясь тем, что сам ни во что не верил, он не терпел, когда другие не разделяли его воззрений; а признавал он только то, что можно взвесить и высчитать.

– Нет! – неожиданно воскликнул он, перебивая разговор. – Я не могу забыть этого идиота, британского пастуха! Кто скажет, что в конце 19-го века найдутся, – не у папуасов каких-нибудь, – а в Европе люди, которые верят в привидения, лавров, вампиров и чертовых ублюдков? Это не слыхано, невероятно, возмутительно! Когда же наконец удастся «науке» рассеять тьму непроходимого невежества и искоренить «предрассудки», позорящие современное человечество.

– Ах! Как вы правы, Франц Готлибович! – горячо отозвался Масалитинов. – Суеверие – это нечто ужасное и главное – заразительное, а это еще того хуже. Слушая рассказы о разных невероятных историях, в конце концов, не знаешь, чему верить.

– Раз навсегда надо быть уверенным в том, что кто рассказывает подобные истории – просто лгуны, а те, кто верит им, либо дураки, либо полоумные! – запальчиво воскликнул профессор.

– О! Как вы жестоки, профессор! Лгуны и полоумные?! Какой суровый приговор всякому, кто верит... не в «сверхъестественное», которое не существует, прибавлю, а в факты, еще не объясненные, наукой, и силы, столь же пока нам неизвестные, как двести лет тому назад непонятны были электричество, Рентгеновские лучи и спектральный анализ. Не говоря уже о том, что так называемые «суеверия» – стары, как мир, но в древности все общество верило этим явлениям, а между тем в среде своей оно имело таких светочей человечества, как Сократ, Пифагор, Платон, и т. д. – возразил Ведринский и прибавил: – Названия изменились, а не объекты, которые они обозначали. Тифон, – бог зла у древних, – это диавол, или, если желаете, злые духи под сим общим названием; равно как Аменти и ад представляют собой их жилище. Существование же злых духов было

признано самыми высокочтимыми святыми.

Даже в тиши своих келий, или в пустынях, во время пламенной молитвы, перед этими высшими существами являлись демоны и с такой силой и упорством искушали их, что лишь своей непоколебимой верой да могучей волей могли они изгонять этих негодных тварей.

Профессор рассыпался презрительным смехом и ответил, ухмыляясь:

– Когда вы захотите спорить на эту тему, Георгий Львович, советую вам никогда не приводить вашего последнего аргумента, т. е. видений святых. Эти великие... оригиналы, проводившие жизнь в бездействии и лени, распевая не приносившие никому пользы псалмы, были, несомненно, фанатики, которые, благодаря постоянному одиночеству, особенно склонны к галлюцинациям. Мое же убеждение таково, что человек всегда остается человеком, даже в пустыне, а насильственно усыпленные инстинкты природы, или страсти, порождают соблазнительные картины, которые, являясь им в образе искусителей, олицетворяли бушевавшие в глубине существа неудовлетворенные желания. Что же касается суеверий в древности, то они ничего не доказывают, а заблуждение не становится почтеннее оттого только, что оно старо. Наконец, скажу вам, что все эти истории о «привидениях», «призраках», «демонах» и «колдунах» пустая болтовня, потому что ни одна из них никогда не была проверена и подтверждена серьезными и достойными доверия лицами.

– В этом вы ошибаетесь, профессор. Есть много удивительных случаев видений и даже фактов черной магии, которые были не только засвидетельствованы уважаемыми лицами, но даже подтверждены протоколами, – спокойно проговорил адмирал.

– И вы можете привести мне хоть одну такую занесенную в протокол историю? – с насмешкой спросил профессор.

– Несомненно. Знаете ли вы, например, историю видения шведского короля Карла XI?

– Нет, и сознаюсь в своем невежестве, так как никогда не интересовался этими... неуловимыми темами, – улыбаясь ответил профессор.

– История этого пророческого видения Карла запротоколирована в присутствии короля и документ этот сохраняется в государственном шведском архиве. Вот он вкратце. В ночь на 17 сентября 1676 года король, будучи нездоров, лежал в постели и около него находился канцлер Бьелке. В половине двенадцатого ночи король проснулся и, случайно взглянув по направлению окна, увидел большой свет в зале генеральных штатов,

расположенной в противоположной части здания. Он указал на этот свет канцлеру и высказал опасение, не пожар ли там? Но канцлер уверил его, что виденное освещение было отражением лунного света на стеклах. Король не возражал и старался снова заснуть, но не мог; а когда, немного спустя, пришел советник Бьелке, родственник канцлера, узнать о здоровье короля, то опять увидели непонятный свет в той же зале, напротив. На вопрос, не знает ли советник чего-либо про пожар, тот тоже стал уверять короля, что это простое отражение на стеклах. Но на этот раз король уже не поверил их объяснениям, так как видел, что в зале двигались человеческие фигуры, а потому заключил, что случилось нечто необыкновенное. Король встал, надел туфли и халат.

– Господа, – сказал он, – вам известно, что кто боится Бога, тот ничего другого в мире не боится. Я хочу посмотреть, что происходит в зале генеральных штатов, и приглашаю вас следовать за мной.

Прежде всего король послал за вагенмейстером – управляющим дворцом, сказали бы мы ныне, – с приказанием принести ключи от залы. Когда тот явился, совместно с советником Оксенштиерна, то все направились к тайному ходу, находившемуся в нижнем этаже, под самой комнатой короля и рядом с старой спальней Густава Эриксона. У двери в тайный коридор король приказал одному из спутников отворить ее; но все, охваченные страхом, просили короля освободить их от исполнения этого приказания. Даже храбрый Оксенштиерна, не боявшийся ничего, ответил:

– Государь, я клялся вашему величеству пожертвовать для вас своей жизнью и кровью, но не клялся отворять эту дверь.

Взволнованный король тогда сам схватил ключи и отпер. Но лишь только бывшие у них в руках факелы осветили коридор, как они с паническим ужасом увидели, что стены, потолок и даже пол обтянуты были черным. А все-таки король, после минутного замешательства, прошел коридор и сказал своим спутникам, чтобы отворили вторую дверь, уже в залу генеральных штатов. Все дрожали от страха и не решались исполнить приказание; тогда снова отворил сам король и застыл на пороге.

Зала была ярко освещена. Посередине стоял длинный стол, а за ним чинно сидели со строгим видом человек шестнадцать, и перед каждым из них лежала раскрытая книга. Между ними сидел юный король, лет семнадцати на вид, в короне и со скипетром в руках; Карл же заметил, что юноша казался взволнованным и энергично качал головой, а все присутствовавшие каждый раз ударяли руками по разложенным перед ними книгам. Вдруг король увидел, что недалеко от стола стояли деревянные плахи, а подле них палачи; жертвы приводились одна за другой

и отрубленные головы катились на пол, заливая его кровью, которая ручьями текла к ногам короля Карла.

А тот, как упоминается в протоколе, дрожал от ужаса и страха. Осужденные же были молоды и, судя по костюму, – дворяне. Взволнованный король отвернулся и с новым ужасом увидел, будто трон уже был полуопрокинут, а около королевского места стоял человек лет сорока. Карл в испуге попятился и воскликнул:

– Боже Всемогущий! Когда же все это случится? Сжался, Господи, – научи нас, что делать.

Тогда юный король, сидя на шатавшемся троне, произнес:

– Все виденное тобою произойдет не в твое время; но когда царствовать будет шестой после тебя монарх, моих лет и наружности, случится то, что ты видел. Этот, – и он указал на стоявшего у трона, – будет моим опекуном и регентом королевства. А перед тем несколько молодых дворян чуть не ниспровергнут трон, но заплатят за это своей жизнью. Впоследствии престол займет этот самый регент и станет могущественным государем, а Швеция будет счастлива в его правление. Но прежде, чем это случится, в Швеции прольется много крови. В качестве шведского короля преподай потомству добрые наставления.

Едва только юный король, или принявший его облик призрак смолк, как свет в зале погас. Теперь постараюсь, насколько помню, передать подлинные слова протокола:

«Мы вышли в глубочайшем изумлении, – что всякий легко может себе представить, – и когда проходили по коридору, обитому перед тем черным, то обивка вся исчезла и все было в обычном порядке. Мы вернулись в мою комнату, и я тотчас же сел записать, как мог, это предостережение. И все это – истинно, я утверждаю клятвой моей; так же истинно, как Господь мне да поможет. Карл XI, король Швеции. Как свидетели, бывшие на месте, мы видели все, описанное его величеством, и утверждаем рассказ сей своей клятвой, так же истинно, как Господь нам да поможет. Подписали: Карл Бьелке, канцлер. Н. Р. Бьелке, советник. А. Оксенштиерна, советник. Петр Грауэлен, вице-вагенмейстер».

– Вот, любезный профессор, история видения короля Карла XI, как она описана и подписана им самим и удостоверена свидетелями, людьми уважаемыми, чего вы не можете отрицать. Затем, стоит лишь открыть историю Швеции, и вы убедитесь, что предсказание, сделанное в 1676 г., буквально исполнилось в 1792 г. Шведский дворянин Анкарстрем, член составившегося из дворянской молодежи заговора, убивает на маскараде короля Густава III, а затем вместе со своими сообщниками погибает на

плахе. Густав IV, лет четырнадцати-пятнадцати, наследует своему отцу под регентством дяди, герцога зюдер-манландского, который, по свержении Густава IV, всходит на трон, царствует долго и со славой.

Внимательно, хотя и с видимым недоверием, слушал его профессор. Когда адмирал кончил, тот пожал плечами.

– Сообщенный вами факт, Иван Андреевич, был бы очень убедителен, конечно, если бы можно было поверить двум вещам: во-первых, что документ не был подделан уже после совершившихся событий, – а во-вторых, что король и его четыре спутника не были жертвами коллективной галлюцинации. Они видели *что-то*, да еще ночью, и из этого неопределенного впечатления создали потом настоящее пророчество. Кроме того, их было только пять! – прибавил Бибер.

– А каким числом ограничиваете вы пределы коллективной галлюцинации? Словом, какая гарантия нужна вам, чтобы считать доказанным *окультный* случай? – спросил Ведринский – Вы ставите на вид, что видение шведского короля было ночью, так я расскажу вам случай, бывший днем, слышанный тысячами людей и имевший свидетелями двух королей и их свиту. Произошло это в Париже, через несколько дней *после* Варфоломеевской ночи. Раздиравшие душу крики, шум борьбы, стоны раненых и умирающих слышались в воздухе, встревожив всю столицу. Крики эти повторялись три дня сряду, что, надеюсь, довольно странно для *«галлюцинаций»*. И вот в один из этих дней в Лувре произошло явление, вызвавшее в присутствовавших настоящий ужас. В одной из Луврских зал играли в шахматы король Карл IX и Генрих, король Наваррский, будущий король Франции Генрих IV. И вдруг все увидели, что стол и шахматная доска покрылись каплями ярко красной крови. Карл IX побледнел и отшатнулся, а потом, откинув стол, поспешно вышел. Приближенные обоих королей, находившиеся в зале, были свидетелями этого явления. Говорит о нем Агриппа д’Обиньи в своих записках, да не раз упоминает и Генрих IV.

– Мне кажется, я читал где-то этот рассказ, – ответил профессор. – Но, признаюсь, он внушает мне очень мало веры. Все эти старинные люди были так легковерны, суеверны и необразованны, что могли ошибаться наилучшим образом. Генрих мог уколоть палец и капля крови упала на шахматную доску, а преступная совесть Карла IX представила ее уже в виде сочившейся отовсюду крови. Кто решится оспаривать, что убийцы сами находились под влиянием страха, который, в связи с нечистой совестью, наилучшим образом вызывает галлюцинации.

«Все видели», – и вот легенда создана и удостоверена. Нет, нет,

господа, не говорите мне об этих бывших сотни лет назад происшествиях; а хотите убедить меня, – ха, ха! – так расскажите какую-нибудь новейшую историю, поясненную наукой или, по крайней мере, серьезным расследованием.

– С удовольствием, профессор. Случай, о котором будет речь, произошел почти в наше время, в 1851 году; кроме того, дело рассматривалось в суде, подтверждено присягой более двадцати свидетелей и имело сотни очевидцев. На этот раз дело идет не о видении, а о явлениях, относящихся до черной магии, – ответил адмирал с своим невозмутимым хладнокровием. Профессор поглядел на него с явным недоверием.

– Процесс *черной магии* или колдовства разбирался в настоящем суде? И в XIX веке? Вы не смеетесь надо мною, Иван Андреевич?

– Избави Бог! Вы увидите сами. Вот дело во всей его простоте. Случай произошел в начале 1851 года и слушался в мировом суде в Иервилле, департамент Нижней Сены. С самого начала дело намечается весьма оригинальным, можно сказать, даже исключительным образом. Не на колдуна жалуются в суд, а сам оскорбленный колдун обвиняет в самоуправстве. Некий пастух, по имени Торель, подает местному мировому судье жалобу на священника города Сидевилля и требует вознаграждения за три нанесенные ему палочные удара. Вот вкратце факты, вызвавшие побои со стороны священника и по служившие основанием жалобы пастуха.

В Сидевилле, или его окрестностях, проживал деревенский колдун, славившийся во всей округе лечением оккультной медициной. Я забыл имя зачинщика, но обозначим его просто буквой Н., тем более, что роль его в процессе совершенно второстепенная. Справедливо или нет, но священник Сидевилля, аббат Тинель, обвинил Н. в разных плутнях, причем некоторые из клиентов колдуна поплатились даже жизнью, а Н. был приговорен к тюрьме и штрафу; тогда, взбешенный разоблачением, он грозил и поклялся отомстить. С этой минуты Н. исчезает как бы, и на сцене появляется пастух Торель.

На суде он объявляет себя только покорным, почтительным слугой и учеником Н., его оккультным поверенным, исполнителем мести и воли учителя. На мирный священнический дом обрушивается целый ураган явлений, но главным образом яростная месть Тореля раздражается над двумя мальчиками, двенадцати и четырнадцати лет, предназначенными к священническому сану и воспитывавшимися аббатом Тинелем. Прежде всего слышатся в стенах сильные удары, от которых здание дрожит до самого основания, перегородки трещат, а стены дают трещины и грозят

падением. Вмешиваются власти и в присутствии сотен свидетелей обшаривают дом и окрестности; публика ретиво приходит на помощь, но усилия остаются тщетными; даже во время наиболее сильной трескотни, когда удары градом сыплются по всей поверхности дома, факт остается необъяснимым. Явления затем быстро усиливаются, становятся все разнообразнее и сильнее. Теперь уже предметы стали приходить в движение: столы сами собой опрокидываются, стулья разгуливают по дому, со звоном бьются стекла в окнах, а ножи, щетки и молитвенники вылетают в одно окно и влетают в другое. Бывали и забавные сцены; когда, например, лопата и щипцы танцуют мазурку, или утюги отодвигаются в конец комнаты, а за ними длинной, змеевидной лентой тянется огонь очага. Но были и страшные явления: тяжелая мебель поднималась и висела в воздухе, грозя раздавить присутствующих. Раз огромный пюпитр с книгами поднялся и опрокинулся на одного из любопытных, домовладельца из соседнего города, но вдруг за несколько миллиметров от испуганного господина остановился, а затем опустился на землю легко, как перышко. Все эти факты и сотни других удостоверены многочисленными свидетелями, а между ними были люди интеллигентные, и очень уважаемые, как упоминавшийся раньше землевладелец, врач из Баневилля, священник, викарий С. Роха, наконец, мэ́р и весь состав городских властей.

Более всех страдал маленький семинарист, ученик аббата Тинеля. Мальчика мучили конвульсии и он заявлял, что постоянно видит позади себя тень незнакомца в блузе. Один из присутствовавших священников уверял, что видел ясно позади мальчика сероватый дымчатый столб, который волнообразно двигался. Затем и другие видели, как позади ребенка извивалось что-то вроде пара, который то расплывался, то сгущался, а потом со свистом исчезал в дверные щели.

Мальчик был смертельно напуган, и его нервное состояние внушало серьезные опасения. Как-то раз, когда в комнате было много людей, мальчик внезапно вскрикнул, и тотчас послышался звук сильной пощечины. Пораженные свидетели удостоверили, что на щеке бедняги виден был ясный отпечаток пяти пальцев. Ребенок, весь в слезах, рассказал, что заметил лишь большую черную волосатую руку, выскочившую из камина и ударившую его по лицу.

– И все эти басни были подтверждены на суде? – спросил профессор, заметно колеблясь, верить ли ему или смеяться.

– Как я уже имел честь вам сказать, все это было клятвенно удостоверено на суде, как *виденное* сотнями лиц. Но я продолжаю рассказ. Понятно, такие события разнеслись по крайней мере на двадцать

километров в округности; любопытствовавшие являлись отовсюду, и в доме священника постоянно заседали духовные лица. Один аббат случайно имел некоторые понятия об оккультизме. Он прочел в одной книге о колдовстве, что нечистые духи, направляемые властью колдунов, боятся острия шпаги, и предложил испробовать. Все были в отчаянии, но решили произвести опыт. Первые попытки не удались; никак не могли прикоснуться к парообразному сероватому столбу, – с такой изумительной быстротой он исчезал. Духовенство пришло в уныние и хотело уже бросить дальнейшие опыты, как вдруг последний удар произвел неожиданное действие. С резким свистом и треском блеснуло пламя, а белый дым застлал всю комнату, распространяя такое зловоние, что пришлось открыть окна. Я забыл сказать, что между лицами, привлеченными этими событиями в Сидевилль, находился также Мирвилль, известный писатель, спиритуалист. Он попробовал вступить в сношение с невидимыми силами посредством выстукивания, и попытка удалась сверх всякого ожидания. «Невидимое» ответило, причем выказало много находчивости и проявило большую осведомленность относительно всего касавшегося вопрошавших.

Теперь я возвращаюсь к тому моменту, когда присутствовавшее духовенство открыло окна, чтобы освежить комнату. В эту минуту словно издали донесшийся голос ясно произнес:

– Простите...

Все слышали и в первую минуту были озадачены. Потом один из священников вздумал заговорить с невидимым по системе Мирвилля. На этот раз опыт удался, и произошел такой любопытный разговор:

– Ты просишь прощения, – сказал аббат Тинель. – Хорошо, мы тебя простим и всю ночь будем молиться Богу о твоём прощении, но с условием: завтра, – кто бы ты ни был, – ты сам придешь просить прощения у этого ребенка.

– Ладно, но всех ли нас ты прощаешь? – спросил голос.

– Разве вас много? – спросил изумленный священник.

– Пятеро, считая в том числе и пастуха, – был ответ.

– Прощаем всем, – торжественно обещал аббат.

С этой минуты прекращаются все явления; мир и спокойствие водворяются снова в доме. В полдень является к священнику пастух Турель. Лицо его, которое он старался скрыть шапкою, покрыто было царапинами, и кровь виднелась в нескольких местах. Едва маленький семинарист увидел его, как задрожал и закричал:

– Вот этот человек преследует меня две недели. Пастух пытался объяснить свой приход каким-то пустым предлогом; но, побуждаемый

священником сознаться и просить прощения у мальчика, которого преследовал, он сознался, пал на колена и пополз к своей жертве.

– Да, да, прости! Прости! – повторяет он.

Он приблизился к ребенку и схватил его обеими руками; но вслед затем все заметили, что с этого прикосновения состояние мальчика ухудшилось, как будто, а прежние явления возобновились с удвоенной силой. Второе свидание священника с пастухом произошло в мэрии, при многочисленных свидетелях. Опять Торель падает на колена.

– Простите. Прошу вас, простите меня! – говорит он, ползя к священнику.

– В чем просите вы простить вас, Торель? Объясните! – спросил священник, отступая от него.

Между тем аббат уже загнан был в угол залы и руки пастуха почти касались его рясы.

– Не прикасайтесь ко мне, ради Бога, или я ударю! – крикнул он.

Тогда-то священник и ударил колдуна три раза по руке, что послужило поводом к процессу. Вы поймете, с каким удивлением мировой судья в Иервилле следил за дебатами этого странного процесса. Никогда в камере его не бывало подобных показаний, не разоблачалось таких фактов.

Однако множество явлений, полное согласие в наиболее важных показаниях, а также участие добровольных свидетелей, весьма почтенных личностей, не преминули произвести должное действие.

В своем приговоре судья принял во внимание единообразие свидетельств и священника оправдал, а Торелю отказал в иске, взыскав с него судебные издержки. Заседание суда в Иервилле происходило 4 февраля 1851 года. После этого прекратились все явления. – Так вот вам, профессор, – такая история, какую вы желали: новейшая, освещенная серьезным судебным следствием. Что возразите вы против этого?

Профессор с минуту молчал, собираясь с мыслями и потирая лоб, а потом решительно встал.

– Несомненно, возражу, ваше превосходительство. Сообщенный вами случай чрезвычайно любопытен, конечно, но несколько не убедительнее других, несмотря на свою современность. Прежде всего суеверие, увы, далеко не искоренено... Затем интересующий нас случай представляется мне совершенно однородным с так называемыми «спиритическими явлениями». Достаточно уже доказано, что спириты – обманщики, хотя плутни, к которым они прибегают, еще не совсем раскрыты. Согласитесь, что все эти стуки, туманный образ человека, появляющаяся из камина рука, танцующие столы, все это – копия тех «фокусов», какие проделывают

спириты на своих сеансах. Значит, кто-нибудь из этой секты отличался и в Сидевилле. С какой целью он, или они, – так как их, по собственному признанию, было пятеро, – проделывали это, я не знаю, но судья не мог поступить иначе, как признать свидетельства, которые так хорошо сходились между собой... потому что они были результатом «коллективной галлюцинации».

Адмирал от души расхохотался.

– Объявляю себя побежденным вашими доводами, а ваш скептицизм – неизлечимым, – сказал он весело.

– И я убедил вас, что вы верили нелепостям? – с большим оживлением воскликнул профессор.

– Совсем нет! Мои убеждения – так же тверды, как и ваши, только я торжественно отказываюсь обратить вас, – презрительно ответил Иван Андреевич.

Все посмеялись, и разговор переменился. Когда вечером Георгий Львович по обыкновению зашел к адмиралу, они заговорили о случаях, обсуждавшихся утром.

– Этот профессор положительно взбесил меня. Можно ли быть таким тупым? Слепой, по предубеждению, а еще называется «ученым». Если бы я не был так раздражен, так смеялся бы только над его забавными объяснениями явлений, которых он не понимает! – с негодованием воскликнул Ведринский.

– Ну, ну, не волнуйтесь так по пустякам, друг мой; такими, как профессор, свет кишмя кишит и напрасно было бы пытаться просвещать их. Мне досадно даже, что я спорил с ним.

– Потому что он сумасшедший, а с сумасшедшими не спорят! – презрительно заметил Жорж, перебивая адмирала.

– Именно, и по этому поводу я прочту вам, что говорит о людях, подобных нашему профессору, Элифас Леви, ученейший оккультист XIX века. Адмирал взял с ночного столика книгу и с минуту перелистывал ее. – В книге своей «Великий Аркан» Элифас Леви дает прекрасную характеристику болвана вообще, слушайте.

«Существуют истины, которым суждено навсегда остаться тайной для слабоумных и дураков, и истины эти можно смело говорить им, потому что они, наверно, не поймут их никогда. Что такое глупец? Нечто нелепее животного. Это человек, желающий достичь чего-то, не двигаясь с места; человек, считающий себя господином всего потому лишь, что достиг лишь кое-чего. Таков – математик, презирующий поэзию, или поэт, протестующий против математики; таков – художник, называющий

«нелепостью» теологию и каббалу, потому что не понимает ни той, ни другой, или невежда, отрицающий науку, не потрудившись изучить ее; словом – человек, говорящий, ничего не зная, и утверждающий, не пожелав раньше убедиться. Ведь глупцы убивают даже гениальных людей. Галилея осудила не церковь, а болваны, бывшие, к несчастью, членами этой церкви. Глупость – это дикий зверь со спокойным обличем невинности, и истребляет она без угрызений совести. Глупец – это Лафонтеновский медведь, который булыжником убивает друга, чтобы согнать муху; но и при катастрофе не пытайтесь убедить его, что он – виноват. Глупость – неумолима и неизбежна, как рок, потому что ее всегда направляет влияние зла. Животное никогда не бывает «глупо», действуя откровенно и сообразно степени своего развития; а человек учит глупости собак и ученых ослов. Глупец это животное, которое презирает «инстинкт» и только притворяется разумным.

Относительно животного существует прогресс, его можно укротить, приручить или научить; для глупца же его нет, потому что глупец думает, что ему *нечему* уже учиться. Он сам хочет управлять и учить других, и с ним вы всегда будете виноваты. Он в глаза рассмеется вам, утверждая, что все непонятное ему – совершенно невозможно. «А почему бы мне не понять этого?» – с изумительным апломбом говорит он вам. И ответить ему нечего. Назвать его *глупым* было бы прямо оскорблением, и хотя все это отлично видят, но *он* никогда про то не узнает. Этой правды они никогда не поймут и совершенно бесполезно раскрывать им тайну их собственной глупости».

Адмирал закрыл книгу, а Ведринский громко захохотал.

– Вы правы, Иван Андреевич. Такой удачной характеристики болвана я еще никогда не слышал; но больше всего мне нравится фраза: «Все это отлично видят, один *он* никогда про то не узнает», – закончил Ведринский, утирая глаза.

Оба посмеялись и разошлись, дав слово никогда не говорить с профессором об оккультизме.

Несколько дней прошло без всяких приключений, молодежь была озабочена приготовлениями к большому танцевальному вечеру в день рождения Филиппа Николаевича. Предполагалось иллюминировать парк, устроить фейерверк на озере, и для этого Масалитинов с Ведринским ездили в город за необходимыми покупками.

Мила живо интересовалась приготовлениями, помогая клеить фонарики и плести гирлянды; по-видимому, она чувствовала себя хорошо в обществе Нади и ее жениха, судя по тому, что открыто искала их общества.

Михаил Дмитриевич, наоборот, казался грустным и апатичным, хотя старался скрывать такое свое состояние.

Вечером накануне праздника, когда все разошлись по своим комнатам, Георгий Львович, наблюдавший за двою родным братом, пошел за ним. Тот сидел у открытого окна с потухшей сигарой в руке; глаза его были полужакрыты и он точно погрузился в тяжелое забытие. Ведринский с минуту смотрел на него, качая головой, а потом подошел и ударил мечтателя по плечу. Масалитинов вздрогнул и выпрямился.

– Что с тобой, Миша? Ты скверно выглядишь и кажешься утомленным, а не то озабоченным. Не болен ли? Или у тебя какая-нибудь неприятность?

– Нет, нет, ничего подобного, – ответил Михаил Дмитриевич, проводя рукою по лбу. – Но меня мучает странное беспокойство. Не знаю, как объяснить тебе, но эта скрытая тоска гонит меня с места на место и притом я чувствую себя усталым, точно весь день копал землю. Но самое скверное, – это преследующий меня отвратительный запах. Очевидно, я один только чувствую его, так как вы ничего как будто не замечаете; я же напрасно употребляю самые сильные английские духи, а эта вонь все не проходит.

– Но что же эта за вонь? – спросил Ведринский.

– Смешно сказать, но у меня точно под носом кусок тухлой говядины, – ответил Масалитинов, вздрагивая от отвращения.

– А давно ли у тебя появились эти нервные явления? – спросил Георгий Львович.

– Дней с десять, хотя не могу точно сказать; но только за последнее время ощущение это стало донельзя тяжело.

Ведринский снова задумался, а потом неожиданно спросил:

– Как тебе нравится Мила?

– Вовсе не нравится, – ответил слегка удивленно Масалитинов. – Я признаю, что она очень хороша, но ее странная красота и всегда прищуренные глаза действуют мне на нервы. Я еще не видел цвета глаз этой... хризантемы.

– То, что ты сказал, меня радует, потому что у меня есть основание предполагать, что ты нравишься ей больше, чем бы следовало.

– В самом деле? Но не ошибся ли ты? Я никогда не замечал даже, чтобы она смотрела на меня, – и он презрительно расхохотался.

– А я знаю, что она на тебя поглядывает, и, благодаря этому случаю, я в первый раз увидел ее глаза. То было третьего дня, на террасе. Ты курил в качалке, а Надежда Филипповна с Милой расставляли только что оконченные фонарики. Невеста твоя что-то уносила с террасы, когда,

случайно подняв голову, я увидел прикованный к тебе взор Милы. Иван Андреевич сравнил ее с *пантерой*, и слово это в ту минуту вспомнилось мне. Впервые зеленоватые глаза ее с фосфорическим, как у кошки, блеском были широко открыты и смотрели на тебя загадочным взглядом. Не то страсть, не то какая-то алчность виднелась в них, – определить не могу. Но этот ее взгляд обдал меня холодом.

– Фу! Противное создание, – с отвращением сказал Масалитинов. – Во всяком случае, это – напрасно, потому что, как я сказал тебе, – она мне *вовсе*, *вовсе* не нравится, и я никогда не променяю на нее своей восхитительной Нади.

– Дай-то Бог! – вздохнул Ведринский.

На следующий день собралось большое общество. Приехали соседние помещики с семьями, а также офицеры ближайшего полка. Звуки военной музыки наполняли залы и сад, а молодежь танцевала с присущим ей увлечением. Надя была очаровательна в белом платье и с красными розами, украшавшими ее чернокудрую головку. Живая и грациозная, она порхала, как бабочка; но, занятая исполнением обязанностей хозяйки дома, не замечала, что жених ее больше всего танцевал с Милой.

Демоническая красота Тураевой сияла особенно ярко в этот день. На ней было платье из зеленого газа, цвета морской воды, с букетами водяных лилий в волосах и корсаже. Нити чудного жемчуга украшали шею и вились в золотистых, пышных волосах. Она была удивительно обаятельна, как русалка, с бледным и прозрачным лицом, зеленоватыми глазами и кроваво красными губами, за которыми блестели ослепительно белые зубы. Несмотря на оживление танцев, на ее щеках не было и признака румянца и только сильнее выдавалась почему-то кровавая краснота губ. Минутами зеленоватые глаза ее широко раскрывались и жадно впивались в Михаила Дмитриевича, точно этот жестокий, фосфорически блестящий взгляд проникал в самую глубь души молодого офицера, завораживая его, как глаза змеи. А, мгновение спустя, тот ощущал еле заметную дрожь, машинально подходил к Миле и приглашал танцевать. Но едва только он приближался к ней, лучистые глаза точно прятались, прикрываясь тенью пушистых ресниц. И каждый раз Масалитинов танцевал долго и с таким увлечением, точно его толкала какая-то посторонняя сила.

Так, протанцевав, наконец, с Милой, Михаил Дмитриевич посадил свою даму; он казался необыкновенно бледен и по лицу его струился холодный пот, а влажные волосы прилипли ко лбу.

– Боже мой! Миша на что ты похож! Ты истощен, словно таскал дрова на пятый этаж. Пойдем, выпей стакан шампанского, это подкрепит тебя, –

проговорил Георгий Львович, беря приятеля за руку и увлекая в буфет.

Михаил Дмитриевич отер мокрый лоб.

– Не хочу я больше танцевать с этой Милой, – ответил он, тяжело дыша. – Никогда я не испытывал такого истощения, танцуя даже с иной полновесной и толстой дамой, а эта, между тем, легка, как перышко!

Выпив стакан вина по совету приятеля, Масалитинов вымыл лицо и вернулся в бальную залу, твердо решив не танцевать больше, кроме котильона с Надей. Он удалился в угол залы, где из кустов олеандров, померанцев и других растений устроен был уютный и благоуханный уголок, снабженный низким и мягким диванчиком. Масалитинов уселся там, смотря сквозь листву деревьев на происходившее в зале.

А Георгий Львович отправился разыскивать адмирала, который отказался от карт и бродил среди гостей. После долгих, бесплодных сначала поисков, он нашел наконец Ивана Андреевича на террасе. Тот сидел у балюстрады и не спеша ел мороженое, задумчиво глядя на озеро. Встревоженный и озабоченный Ведринский сообщил ему о странном состоянии двоюродного брата.

– Он совершенно изнурен после того, как танцевал с Милой. Не думаете ли вы, Иван Андреевич, что тут какая-то «чертовщина». Может быть, старый пастух действительно был прав, назвав ее «дьявольским ублюдком», – прибавил он.

– Гм! Она дочь Красинского, а потому неизбежно должна быть существом ларвическим, – ответил задумчиво адмирал и минуту спустя встал. – Пойду понаблюсти чуточку за нашей «пантерой», – многозначительно подмигивая, прибавил он.

Бродя будто без цели, он прошел несколько комнат и вдруг увидел Милу одну в танцевальном зале. Был перерыв, и танцующие разошлись. Адмирал спрятался за портьерой и стал внимательно следить за молодой девушкой.

Та, вытянув шею и наклонившись вперед с широко открытыми глазами, устремила пристальный, жгучий взгляд на кусты олеандров и померанцев, за которыми была скамейка, что было известно Ивану Андреевичу. Спустя минуту, она скользнула своей легкой, вкрадчивой, словно кошачьей, походкой к кустам и скрылась за ними. Адмирал также проворно очутился около кустов и сквозь листву увидел, что Михаил Дмитриевич крепко спит на диване. Сигара валялась на полу, а лицо его носило страдальческое выражение. Мила нагнулась, пристально смотря на него, и коснулась пальцем его лба.

– По пробуждении ты пригласишь меня танцевать, *приказываю тебе*, –

властно прошептала она.

В эту минуту слышались голоса возвращавшихся в залу гостей. Мила, как тень, вышла из-за кустов, стрелой пронеслась мимо адмирала, не заметив его, и через боковую дверь скрылась из зала, а Иван Андреевич сел наблюдать за тем, что будет дальше.

Когда музыка снова заиграла, Мила в числе прочих танцующих вернулась в залу, и только что она села, как из-за кустов появился Михаил Дмитриевич. Слегка пошатываясь, с беспокойно блуждающим взором, точно еще не совсем проснулся, направился он прямо к Миле и, обхватив ее стан, увлек в быстром вальсе.

– Ах, ты негодный ублюдок!.. Вся в своего папеньку, Красинского. А вот я несколько испорчу твои махинации, – ворчал адмирал, с участием смотря на бледного, расстроенного и тяжело дышавшего Михаила Дмитриевича. Он достал данный ему Иоганнесом крест, который всегда носил на двойной золотой цепочке, и приподнял его по направлению танцевавшей пары.

– Господи Иисусе Христе. Ты, бесов изгонявший, услышь мою молитву и охрани христианскую душу, которой хотят завладеть нечистые чары. Перед Твоим чудотворным крестом да рассеются и падут адские козни.

Как бывало всегда, когда он произносил эту мольбу, от креста повеяло теплом и чудным ароматом, а потом из середины его засиял мягкий, голубоватый свет, озаривший пальцы и ладонь руки, а по направлению танцующих блеснул серебристый луч. В то же мгновение рыжекудрая головка Милы запрокинулась, а испуганный кавалер выпустил ее, и она грузно упала на паркет. Г-жа Морель бросилась на помощь, а двое мужчин подняли бесчувственную Милу и отнесли на диван.

– Скорее, скорее дайте ей воды. Она слишком много танцевала, а ей так вредно утомляться. Ах, дорогая Зоя Иосифовна! Вы такая добрая, умоляю вас, ради Бога, прикажите дать ей стакан теплой крови черной овцы; это более всего помогает ей, – просила встревоженная Екатерина Александровна, давая Миле нюхать соль.

Молодую девушку перенесли в смежную комнату, где она вскоре очнулась, но была так слаба, что не могла шевельнуть пальцем. Один из гостей, врач, Екатерина Александровна и еще две дамы остались около больной, которая была так обессилена, что походила на умирающую. Через полчаса принесли большую кружку крови и подали Миле. Та с жадностью схватила ее в руки и выпила не отнимая от губ, хотя кружка вмещала в себе около бутылки. По мере того, как Мила пила, жизнь, казалось,

возвращалась к ней, и она видимо оживала. Губы окрасились пурпуром, а землистый цвет кожи сменился ее обыкновенной прозрачной белизной. Присутствовавшие с некоторым отвращением смотрели, как она жадно глотала кровь, но Мила ничего не замечала.

– Я хочу вернуться на остров, – тихо, усталым голосом сказала она, отдавая пустую кружку. – Я очень утомлена и уснула бы с удовольствием, а здесь шумно...

Замятина старалась уговорить ее остаться на балу и не танцевать, но Мила заявила, что ей действительно необходимо побыть одной в полной тишине; присутствие же больной только смутит общее веселье. Ей принесли накидку, закутали кружевным шарфом, и она, опираясь на руку г-жи Морель, дошла до лодки, доставившей их на остров.

Когда нарушенное этим происшествием спокойствие восстановилось, танцы возобновились с прежним увлечением; только Михаил Дмитриевич не принимал в них участия по настоянию Нади, которую беспокоил его утомленный вид. Посмотрев несколько времени на танцы, Масалитинов вышел на террасу, где в ту минуту никого не было, и уселся за стаканом вина. Вскоре к нему присоединился Георгий Львович.

– Как ты чувствуешь себя, Миша? Ты был очень нехорош сейчас. Но я не понимаю, как мог ты, такой ловкий, уронить Милу и не поддержал.

Михаил Дмитриевич пожал плечами.

– Она вдруг стала тяжела, как гранитная глыба. Не понимаю, что с ней случилось? Я не суеверен, как ты знаешь, но эта девица точно какой-то кошмар, право. Слава Богу, что она уехала с бала.

– Но что ты ощущал? У тебя был болезненный вид и ты побелел, как полотно.

– Чувствовал я себя крайне изнуренным, а голова кружилась и грудь давило. Я уже думал было лечь в постель, но ко мне подошел адмирал и позвал меня в свою комнату. Там он напоил меня водой от Св. Серафима, заставил умыться ею лицо, и после того я почувствовал себя совсем хорошо, не считая небольшой слабости. Он мне посоветовал также избегать Милы, говоря, что у нее «дурной глаз». Ха! ха! ха! Иван Андреевич превосходный и очень симпатичный человек, но у него такие «нелепые» идеи, и он так пропитан суевериями, что напоминает мне нашу старую няню Неонилу. Помнишь, Жорж, когда мы были маленькие и не могли уснуть, она уверяла, что нас «сглазили», а чтобы вылечить, лизала нам лоб языком и выплевывала слюну, потому что лбы наши будто бы «соленые».

Масалитинов так заразительно хохотал, что Ведринский невольно вторил ему, а потом оба они вернулись в зал.

Грустная и нервная, с горечью в душе, вернулась Мила на остров. Она пожелала тотчас лечь спать и уговорила Екатерину Александровну вернуться на праздник к ужину. Та согласилась наконец, но не хотела уйти, пока Мила не ляжет. Так как молодая девушка оправилась наружно и сказала, что хочет только уснуть, то Екатерина Александровна успокоилась и уехала, в уверенности, что больная проспит до утра.

Но у Милы не было ни малейшего желания спать, – ей нужно было только остаться одной, и едва ушла Екатерина Александровна, как она встала, накинула пеньюар и спустилась в сад. Она прошла на небольшую террасу, вроде балкона, построенную на самом берегу озера, откуда открывался чудный вид на противоположный берег; балкон был окружен перилами, а к воде шла лестница ступеней в десять. В те времена, когда на острове жила Маруся с мужем, там была купальня, снесенная впоследствии.

Мила села на каменную скамью и мрачным взором смотрела вдаль на горевшие разноцветными огнями дом и сад. С берега слышался треск фейерверка. Озеро тихо дремало, и лишь изредка долетали аккорды музыки, нарушавшей стоявшую вокруг тишину.

Невыразимое чувство тоски и душевной муки, с примесью возмущения и затаенной злобы охватило Милу. Скрестив на коленях руки, с неподвижным взором, окутанная, как золотистой мантией, массой пышных волос, рассыпавшихся по белому пеньюару, она словно застыла и казалась прекрасной статуей «Задумчивости». Никогда еще, может быть, не ощущала она так чутко своего одиночества, как в эту минуту. Мать ее умерла, отец бесследно исчез, о дедушке у нее не сохранилось никакого воспоминания, а г-жа Морель, хотя была добра и любила ее, но все равно не понимала. В жизни Милы было много странностей, которых она никак не могла уяснить себе; а на все вопросы ребенка и затем девушки добрейшая Екатерина Александровна отвечала неизменно:

– Это нервы. Тебя мучают галлюцинации. Ты знаешь, твоя мать умерла от нервной болезни, а потому твой невроз наследственный. Чем меньше ты будешь думать об этих болезненных явлениях, тем будет лучше. Главное – тебе надо развлекаться.

Но Милу не удовлетворяли уже такие ответы. Она жаждала точного объяснения причин, которые делали ее совсем *особым* существом и вызывали странные, ею одной, казалось, испытываемые ощущения. Например, она впадала часто в каталептическое состояние и часами неподвижно лежала, вся похолодев, как мертвая. Почему это случалось всегда ночью? И почему, когда ее считали в бессознательном состоянии,

она жила какой-то иной, неведомой и мрачной жизнью! Она ясно сознавала, что уходила из холодевшего тела в виде густого, студенистого вещества, связанного с этим неподвижным телом длинной пурпурной и фосфоресцировавшей лентой, которая дрожала и растягивалась, сообразно с производимыми ею движениями. В эти минуты она видела себя в сероватом пространстве, где двигались, глядя на нее мутными глазами, похожие на нее существа с истощенными лицами, и от некоторых, теряясь вдали, также тянулись пурпурные ленты. Иногда эти странные спутники влекли ее на какое-нибудь кладбище, и она, гонимая словно ветром, летела на это место упокоения, но для нее в такое время могилы не имели тайн. Сквозь земляные насыпи или мраморные плиты она видела отвратительные, разложившиеся трупы, или те самые существа, которые когда-то жили в этих останках; а нередко там разыгрывались удивительные, ужасные сцены...

Но чаще всего она направляла полет свой к жилым местам. Проникнув в дом или хижину, она находила спавших людей и присасывалась к тому или другому, а не то и к нескольким последовательно. И когда она чувствовала, как что-то жгучее, словно живительный сок, наполняло ее ледяное тело, отяжелевшие легкие начинали свободно дышать, движения студенистой массы становились гибкими и легкими, а огненная связь с телом сокращалась с изумительной быстротой; после этого она снова входила «в себя» и пробуждалась свежая, полная жизни и сил.

С горечью замечала она, что приносит как будто несчастье тем, кто с ней сталкивался. Ей вспомнилось, что г-жа Морель рассказывала как-то доктору, что у Милы были три кормилицы, которые все таяли, как воск, и умирали от странного истощения, так что пришлось наконец кормить ее козьим молоком.

Мила спрашивала себя, не страдали ли ее кормилицы какой-нибудь неизвестной в медицине болезнью, которую вместе с молоком передали ей?...

Зачастую видела она также, что около нее скользят черные с искаженными лицами тени, которые вдруг неведь откуда появлялись и также быстро исчезали. Может быть, это были действительно галлюцинации; но далеко не все, испытываемое ею, могло быть объяснено болезненными явлениями. Нет, здесь крылось что-то, чего еще никто не объяснил ей.

Тяжелый вздох вырвался из ее груди, и в ее памяти воскресло вдруг мучительное воспоминание о самом жестоком эпизоде ее молодой жизни...

Мила была слишком хороша собой, чтобы остаться незамеченной, и

многие уже искали ее руки, но ей никто не нравился. Присутствие их не возбуждало в ней того приятного ощущения притока живительного тепла, которое испытывала она при встрече с некоторыми другими лицами. Ей едва минуло семнадцать лет, и вот, как-то зимой, во Флоренции, она встретила молодого итальянского графа, который понравился ей; в его присутствии она чувствовала себя невыразимо хорошо.

Граф Цезарь Висконти безумно влюбился в Милу и сделал ей предложение; она согласилась и свадьба была назначена через три месяца. Первые недели после обручения промелькнули как волшебный сон. Когда жених обнимал ее и целовал, ей казалось, что из него ключом бьет жизнь и тепло, которое вливалось в нее, возбуждая словно в ней силу, блаженство и не испытанное раньше ощущение полноты жизни. Скоро Мила не могла просто жить без него и считала дни до свадьбы; как вдруг граф внезапно заболел какой-то странной, непонятной болезнью, которую доктора не могли объяснить. Это было истощение, с изумительной быстротой разрушавшее силы молодого человека. Он бледнел и худел день ото дня; появилась ледяная дрожь, тело покрывалось холодной испариной, ему с трудом дышалось и он так ослабел, что скоро не мог уже ходить. Мила самоотверженно ухаживала за ним. Но доктора остановились, наконец, на том предположении, что у графа наследственная болезнь сердца, вероятно, и потому посоветовали увезти больного куда-нибудь на лоно природы, в надежде, что полный покой и живительный воздух восстановят упавшие силы. Действительно, через несколько недель по прибытии в родной замок граф начал оправляться как будто: тревожные симптомы изнурения исчезли, силы прибывали, а сон и хороший аппетит давали некоторую надежду на выздоровление.

Мила провела это время в лихорадочном возбуждении. Теперь она стала увядать и заявила наконец что не может жить, не видя жениха. Узнав, что граф на пути к выздоровлению, она не успокоилась, пока Екатерина Александровна не обещала, что они съездят навестить жениха. Мила говорила, что хочет сделать сюрприз выздоравливавшему, который будет счастлив увидеть невесту. Г-жа Морель наконец уступила и они отправились. Больного они нашли лежавшим на террасе, выходившей в сад, и граф был невыразимо обрадован. Они весело отобедали тут же на террасе, а потом Екатерина Александровна пошла вздремнуть и жених с невестой остались одни. Мила обняла шею жениха и осыпала его поцелуями; а тот тоже преисполнен был счастья и губы их слились в долгим поцелуе. Мила снова почувствовала то живительное тепло, то опьяняющее блаженное состояние избытка сил, которое испытывала всегда

в его присутствии. Но вдруг это дивное настроение прервал глухой, щемящий душу вопль:

– Воздуха!.. Я задыхаюсь!.. – крикнул граф, силясь сорвать с себя воротник.

Лицо его было смертельно бледно, а глаза стали мутными, точно стеклянными. Испуганная Мила сняла руки с шеи жениха; но, увидав, что голова его безжизненно запрокинулась, она стала звать на помощь. Все человеческие усилия оказались напрасны. Граф умер от «разрыва сердца, вызванного радостью свидания с обожаемой невестой» – решили врачи.

На погребение прибыл брат покойного и пожелал вскрытия, которое обнаружило весьма странное и непонятное состояние сердца умершего. В нем не было ни капли крови; оно было мягко, как тряпка, и сморщено, как выжатый лимон, словом, представляло собою пустой, вроде перчатки, кожаный мешок.

Мила обезумела от горя, но и от тех странных явлений, которые произошли вскоре после того. Ей являлся призрак жениха и даже преследовал ее, хотя не с любовью уже, а с ненавистью; он проклинал ее, требовал вернуть ему жизнь и называл ее «*вампиром*».

Воспоминание об этом эпизоде проснулось теперь в памяти Милы и не без того мучительного волнения, которое вызывал прежде образ Висконти. В ней зародилось новое чувство, а возбудил его жених Нади. С первой же минуты, как только Мила увидела Михаила Дмитриевича, она почувствовала тот же живительный ток, что исходил и от Цезаря. Словно поток жизни вливался в нее из этого красивого, здорового и, как дуб, крепкого юноши; особенно, когда тот танцевал с ней или касался руки, этот опьяняющий приток шел волнами, поднимая деятельность всего ее организма. И с каждым днем Масалитинов все более нравился ей. Его большие черные глаза, обольстительная улыбка положительно очаровывали ее, и в ней быстро созрело желание овладеть им.

Она же была красива и еще богаче Нади, так почему бы и не пленить ей сердце этого человека? Ей не приходило в голову, как нечестно такое желание. Наоборот, она говорила себе, что Надя счастлива и без своего Мишеля: у нее есть отец и мать, целая семья, и она легко найдет другого мужа; тогда как она, – Мила, – сирота, одинока в целом мире, не считая г-жи Морель, не понимавшей ее. Обладать любимым человеком она считала совершенно справедливым воздаянием.

Поглощенная своими мыслями, Мила не заметила, что небо заволокло тучами и стало совершенно темно; фонари в саду почти все погасли и вдали блестели только освещенные окна дома. Пахнувший в лицо порыв

холодного воздуха вывел ее из задумчивости. Она вздрогнула и вскочила, взглядываясь в нечто странное, скользившее, как бы по черной и гладкой поверхности озера.

Беловатая и облачная масса, над которой мерцал словно огонек восковой свечи, быстро двигалась по направлению балкона. Мила стояла неподвижно, словно застыла; чувство внутреннего холода сковало ее, и вся жизненная сила теперь сосредоточилась в глазах, прикованных к белому облаку, бывшему уже в нескольких шагах от лестницы. Здесь облачная масса стала менять свой вид; она расширилась, сгустилась, как будто приняла человеческий облик, и, скользя по лестнице, остановилась на предпоследней ступени, вблизи молодой девушки. Теперь Мила видела ясно, что появившаяся перед ней незнакомка, – молодая и очень красивая женщина. Длинные и пышные белокурые косы спускались на белую одежду; но как с волос, так и с платья точно струилась вода. На груди виднелся сиявший крест, а на голове, между цветами венка, горел небольшой огонек, мигавший словно под дуновением ветра.

Пораженная и скованная страхом Мила пристально смотрела на странное видение, привлекавшее ее к себе выражением чрезвычайной доброты и глубокой грусти, которыми дышало лицо незнакомки, и чувством любви, светившейся в ее взгляде. Вдруг послышался слабый, как бы издали звучащий голос:

– Не бойся, Мила. Я – твоя несчастная мать и пришла предупредить... нет, умолять тебя покинуть это злополучное место, где тебя стережет ад. Ты уже и так достаточно несчастна, бедная душа, вырванная из тьмы; крещение не вполне, увы, очистило тебя, а связь твоя с бездной крепка и может снова увлечь тебя туда. Повторяю, Мила, беги из этого проклятого места и не помышляй *никогда* о замужестве. Ты причинишь несчастье и смерть тому, кто тебя полюбит: а дети твои, подобно тебе, будут несчастными, отверженными Небом. Беги, беги под сень монастыря, под защиту Бога, и в иноческой рясе ты найдешь покров, который спасет тебя. Ты найдешь покой лишь там, где совершается божественная служба, звучит священное пение, а запах ладана очищает воздух. Душу свою ты можешь спасти лишь у подножия животворящего креста и с горячей молитвой на устах. Молись! О, молись, дорогое дитя мое! Да хранят и поддержат тебя силы небесные; потому что от меня ты получила частицу неба, а часть адову унаследовала от отца. Но сила Христова побеждает ад. Ищи убежища у ног Искупителя, и Он спасет тебя.

Мила слушала, как зачарованная. Страх ее исчез и, наоборот, ее неудержимо влекло к себе прекрасное, кроткое лицо и любящий взгляд той,

кто была ее матерью; ей хотелось броситься к ней. Она протянула руки, повторяя слово:

– Мама!..

Но вдруг подле нее выросла высокая, стройная фигура мужчины в черном. У него было прекрасное, но мертвенно бледное лицо, а взгляд, устремленный на женщину, все еще стоявшую на лестнице, светился недобрым огнем. Видение пошатнулось, как будто отодвинулось, а в глазах появилось выражение испуга и отвращения.

– Прочь, безумная, и не смей отнимать у меня моего ребенка. Она – моя и останется моей; *аду*, а не *небу* будет она служить! – резко крикнула мужская фигура и угрожающе подняла руку.

На пальце руки блестело широкое кольцо, а из камня за клубился черный дым, рассыпавшийся тучей темных точек, точно мошек, которые и накинудись на видение. Но в руке женщины появился крест и она протянула его в направлении гудевшего роя, который тотчас отхлынул перед великим символом искупления. Затем образ Маруси побледнел и растаял в ночном тумане.

В немом изумлении смотрела Мила на эту сцену, и когда исчез образ матери, перевела свой испуганный взор на внезапно появившегося незнакомца. Он уже не казался, конечно, «*привидением*», в нем сразу можно было признать человека из тела и костей. То был мужчина молодой и красивый, которого портила только его мертвенная бледность и злое выражение впалых глаз, горевших как уголья.

– Подними головку и смело гляди на меня, Мила. Я – отец твой и буду твоим руководителем!.. Я объясню тебе потом тайну твоего существа, – послышался звучный голос, – и буду учить тебя, а если ты окажешься прилежной и послушной ученицей, то получишь все, что пожелаешь: и человека, который тебе нравится, и громадное богатство, и силу наслаждаться радостями жизни. Но берегись следовать советам глупой женщины, сейчас являвшейся тебе. Ей я тоже предлагал счастье, любовь, здоровье и наслаждения; а она все отвергла, чтобы не изменить вере, которая, однако, не спасла ее от смерти. – Однако ты совсем расстроена. Довольно на сегодня; иди спать, но прежде возьми эту вещь: это мой приветственный подарок тебе.

Он взял ее руку и надел на палец кольцо. Почти мгновенно Мила выпрямилась, точно под действием электрического тока; струя живительной теплоты пробежала по жилам, наполняя все существо ее силой и не испытанной полнотой жизни; истома ее совершенно прошла. Она хотела взять руку отца, но он уже уходил, и она видела только, что он

быстро спустился в сад, а затем исчез во тьме аллеи.

В лихорадочном волнении вернулась она к себе, собираясь лечь до возвращения Екатерины Александровны; но, войдя в комнату, принялась рассматривать кольцо. Оно было широкое, золотое, с рубином, величиной в горошину, восхитительного блеска и цвета.

Едва только она успела лечь и потушить свечу, как вернулась г-жа Морель, но Мила притворилась спящей и Екатерина Александровна не захотела ее тревожить. А та еще долго не спала. Она чувствовала себя счастливой и как-то необыкновенно успокоенной.

Она нашла отца, и тот обещал охранять ее, просвещать и дать все, что она пожелает, а главное – любимого человека. И все это не было галлюцинацией или сном, ибо доказательством служил сверкавший на ее пальце, подобно капле крови, рубин. Она решила скрыть от Екатерины Александровны это ночное приключение; не то она снова заведет болтовню о нервах, о ее расстроенном воображении, и только обозлит ее, да и кольцо она спрячет и не покажет. На этом решении она уснула...

XI

На другой день, за завтраком, прочитав полученные письма, адмирал заявил, что должен, к сожалению, уехать ранее обещанного срока, так как неотложное дело призывает его в Петербург.

Все, кроме Милы, были огорчены; она же, наоборот, почувствовала даже большое облегчение. Иван Андреевич всегда производил на нее гнетущее впечатление; она не выносила ясного и пронизательного взгляда его серых, точно стальных, глаз. Когда он пристально смотрел на нее, ей казалось, будто ее прокалывают насквозь острой шпагой. Слава Богу, что этот странный человек уезжал; он внушал ей страх и почтение, но теперь, когда она нашла отца, он вдвойне, пожалуй, стеснял бы ее.

Мила сообразила, что у отца были, вероятно, веские причины скрываться и притом так искусно, что в течение двадцати лет никто не подозревал, что он навещает остров. Очевидно, лишь отцовская любовь побудила его открыться дочери.

Отъездом адмирала более всех огорчился Георгий Львович. Он очень привязался к старику, сходил с ним во взглядах, а их ежедневные разговоры в комнате Ивана Андреевича стали так ему дороги и необходимы, что он спрашивал себя, как жить без этих поучительных, интересных и разнообразных бесед.

Весь день Ведринский был скучен, раздражителен и не в духе.

После обеда он сильно поспорил с профессором, который прицепился к одному вычитанному в газете случаю, чтобы лишний раз восстать против всего «сверхъестественного». Дело шло о чудесном исцелении одной параличной. Ей явился Святой, а после того, как она побывала у его раки, то совершенно исцелилась. По этому поводу профессор смеялся над Святыми, над религией, вообще и над «обманом», к которому прибегают для поддержания в народе веры.

Адмирал не вмешивался в разговор и, когда спор особенно обострился, ушел к себе под предлогом укладки вещей, ввиду отъезда на другой день. Он приводил в порядок и собирал привезенные с собой книги, когда вошел весь красный от волнения Георгий Львович.

– Этот болван довел меня до бешенства своими глупостями, которые проповедует с таким апломбом.

– Вы сами виноваты, друг мой. С такими господами никогда не следует спорить! Себе только портишь желчь, а их ничем, не проймешь.

Вспомните поговорку: «Quand on est mort c'est pour longtemps, quand on est bête c'est pour toujours».^[8]

Ведринский расхохотался:

– Вы правы, Иван Андреевич. Глупо препираться с подобным человеком; да я и не стал бы спорить; не будь я теперь в сварливом настроении. А таким несносным сделал меня ваш отъезд. Что я буду без вас? Мне так хочется изучать оккультные силы и герметическую науку, и вдруг я теряю своего единственного руководителя. Я чувствую себя точно потерянным, а жизнь представляется мне совсем пустой, если у нее не будет цели – серьезной и полезной работы. Нас окружает страшный мир, невидимый для грубого глаза; тайны кишат вокруг нас, а мы, слепцы, не умеем постичь их и даже вовсе не видим!

Ведринский подошел и крепко пожал руку адмирала.

– Вы были всегда очень добры ко мне, Иван Андреевич, и это дает мне смелость, или, вернее, дерзость обратиться к вам с просьбой. Похлопочите за меня у вашего наставника, может, быть он согласится принять меня в число своих учеников. Я подчинюсь безропотно всем испытаниям, какие бы он на меня ни наложил; по вашему первому призыву я брошу все, чтобы присоединиться к вам и посвятить свою жизнь науке.

Восторженное увлечение звучало в его голосе, а во взгляде блестела непреклонная воля и решимость. Добрая улыбка осветила лицо адмирала, и он дружески ответил на пожатие руки Ведринского.

– Слова ваши доставляют мне большую радость, друг мой, ибо я вижу, что вас увлекает вовсе не пустое любопытство. Я надеюсь, что Манарма примет вас. Не могу выразить вам, до какой степени этот великий, совершенно особый человек великодушен, добр и снисходителен. В доказательство моего искреннего расположения к вам, я попробую ради вас один опыт, который доставит вам большое удовольствие, а для этого я отложу на день свой отъезд. Завтра скажитесь больным, не выходите из комнаты и поститесь; после сегодняшнего ужина и до завтрашнего вечера вы не должны принимать ничего, кроме стакана чистой воды, а в половине двенадцатого ночи придите ко мне.

Раскрасневшийся от удовольствия Ведринский чуть было не задушил в объятиях адмирала, и тот от души посмеялся при виде столь пылкой благодарности. Обсудив еще некоторые дополнительные подробности, они расстались.

На другой день, едва дождавшись условленного часа, Ведринский уже явился к адмиралу, и тот запер тотчас же дверь на ключ.

Георгий Львович добросовестно постился, провел день в уединении и

молился.

Заметив на столе не виданную им раньше шкатулку, он поспешно подошел и стал ее разглядывать. Это был сандалового дерева и с разноцветной фигурной инкрустацией ларец, выложенный внутри золочеными пластинками с кабалистическими знаками.

Иван Андреевич доставал из него целый ряд предметов: двенадцать маленьких серебряных треножников, широкую, в виде таза, золотую чашу, инструмент вроде флейты с красной эмалью, и целую коллекцию флаконов различной величины, закупоренных разноцветными пробками. Своему юному приятелю адмирал подал один флакон и маленькую губку.

– Идите в мою уборную и возьмите ванну, а после того натрите все тело этой жидкостью. Затем наденьте тунику, которая лежит там на кресле, и возвращайтесь сюда.

Ведринский в точности выполнил полученные наставления. Жидкость, при втирании, сильно щипала ему тело, точно электрическими уколами; туника же оказалась длинной рубашкой с широкими рукавами из какой-то удивительно прозрачной, как газ, ткани, слегка трещавшей, когда он двигался, и прилипавшей при прикосновении к коже. Белое, с узкими серебряными полосками, покрывало назначалось для чалмы, чтобы скрыть волосы.

Войдя снова в первую комнату, Ведринский нашел адмирала в таком же, как и у него, длинном белом одеянии и чалме; серебряный кушак опоясывал его. Иван Андреевич расстилал на полу ковер из мягкой красной материи, вышитый кабалистическими знаками. Вокруг стояли двенадцать треножников, а посередине чаша, уже наполненная густой темной жидкостью. Адмирал указал Ведринскому сесть на ковер около чаши, скрестив по-восточному ноги; после этого из трех, имевшихся в его руках, флаконов, он наливал разной густой, как деготь, жидкости на треножники и, взяв флейту, также вступил на ковер, став против Ведринского, но по другую сторону чаши. Шепча размеренным голосом непонятные для сотоварища заклинания, Иван Андреевич поклонился сперва на все четыре стороны, а потом поднес к губам флейту.

Послышалась странная мелодия, то с глубокими, то с резко вибрировавшими переливами. Но Ведринскому казалось, что флейта сама играет, адмирал же только оживляет ее как будто своим дыханием, – до того своеобразны были издаваемые инструментом звуки. И по мере того, как в пространстве разносилась эта захватывающая музыка, в воздухе сверкали огненные лучи, которые рассыпались спиральями и летали над ковром. Ведринскому пришла мысль, что это сгущались и становились видимыми

странные, производимые флейтой звуки. В то же время, огненные нити принимали иногда вид снежных, быстро носившихся хлопьев, а когда который-нибудь из них падал на треножник, на том вспыхивали разноцветные огни – красные, желтые, зеленые, синие, белые, распространяя ослепительный свет, отливавший всеми цветами радуги. Наконец загорелась чаша, а оттуда вырвалось фиолетовое пламя и повалил густой дым с острым, хотя и живительным, запахом.

Ведринский скоро почувствовал себя словно пьяным. Члены его деревенели и становились тяжелыми, как свинец; фиолетовый дым все усиливался, волнуясь и собираясь в густые облака; аромат делался все более одуряющим, флейта играла с головокружительной быстротой, а вместе с тем ощущения Ведринского принимали другой характер. Свинцовая тяжесть сменилась такой легкостью, что ему казалось, будто он носится над ковром, и его охватило состояние экстаза...

Вдруг густые фиолетовые облака рассеялись, и изумленный Ведринский увидел, что комната, где он был, исчезла, а перед ними тянулась дорога, обсаженная вековыми деревьями, и в конце ее виднелась высокая и толстая белая стена с небольшой узкой калиткой. Как будто так и следовало, они с адмиралом шли по этой дороге, и, когда приблизились к ограде, открылась калитка, а индус в белой одежде и с бронзовым лицом пригласил их войти. Они вступили в роскошный сад, наполненный цветами; всюду били фонтаны и вскоре между зеленью показались крыша и колоннады дворца. Адмиралу, очевидно, знакома была местность; он уверенно и быстро шел вперед. Затем они очутились на широкой площадке, посередине которой бил серебристый фонтан, размерами превосходивший другие. Ведринский был очарован роскошью окружавшей природы и разглядывал чудное здание. Дворец был невелик, но своими воздушными балконами, башенками, резными, точно кружево, аркадами и снежной белизной стен он казался сказочным жилищем какого-нибудь волшебника.

Адмирал со своим спутником подходили уже к обширной террасе; но вот на верхней ступеньке спускавшейся в сад лестницы показался человек, приветствовавший их жестом и улыбкой...

Он был высок ростом, худощав и в длинном широком, белоснежном полотняном одеянии; легкая чалма из кисеи покрывала голову, а шелковый с бахромой кушак опоясывал стан. Трудно было бы определить его возраст. Борода была с проседью, а глаза между тем блестели молодым огнем, и ни одной морщины не замечалось на атласистой бронзовой коже лица. Во взгляде его чувствовалась несокрушимая сила; лучистый и ясный, он проникал, казалось, вглубь души, читая самые сокровенные мысли, но

добрая улыбка смягчала общую суровость лица.

– Прости, Манарма, что я привожу к тебе без особого твоего разрешения этого жаждущего света юношу, – сказал Иван Андреевич, намереваясь опуститься на колени.

Но индус не допустил и обнял его.

– Если бы я не видел, что этот юноша обладает задатками, необходимыми для плодотворной работы, он никогда не попал бы сюда, – ответил он, улыбаясь. – Тебе же делает честь, что ты привел его, доказав этим, что не эгоист и охотно делишься светом, которым сам располагаешь. Это хорошо выдержанное испытание. А теперь, друзья, добро пожаловать под мой кров.

Он провел своих гостей на террасу, где все и расселись на тростниковых креслах.

– Тебя, друг Иван, я жду в самом непродолжительном времени, – обращаясь же к Ведринскому, не сводившему с него глаз, он прибавил: – А ты, друг Георгий, вернешься ко мне через год, – и он добродушно улыбнулся. – Я вижу по твоим глазам, что ты со страхом и нетерпением ждешь моего решения, а эта твоя скромность – хороший знак. Итак, через год я призову тебя, но остающееся время ты должен употребить на подготовку, постом и молитвой, к своему посвящению. Но и помимо того, в это подготовительное время ты, сын земли, должен воздерживаться от всякого безумства, всякой нечистой страсти и, по возможности, избегать светского шума. Счастлив тот, кто сознает блаженство одиночества и тишины: он стоит уже на первой ступени великого храма знания. Душа его начинает облекаться той светлой дымкой, которая отделяет ее от грубой толпы, кипящей нечистыми вожделениями, рвущей на части друг друга, завидующей каждому обрывку земных благ, а враждой и ненавистью отравляющей себе существование. Толпа эта не поймет отшельника, осудит его и сочтет безумным; а он убежит от ее заразного веяния и счастлив будет, потому что никогда одиноким не останется. Человек, начинающий очищаться, населяет окружающую его тишину лучезарным творчеством художественной мысли; он вызывает светлые существа, которые просветят его. Для него та пустота, которая окружает будто бы заурядное человечество, населена и живет; мозг его, освобожденный от липких флюидов, создаваемых злобным, развращенным и низменным обществом, становится восприимчивее к пониманию чудес природы и величия Всемогущего в их истинном свете. В мозгу человека-отшельника, вырвавшегося из вихря людского, загорается как бы костер, который распространяет во круг него широкую область света, являя ему живым и

движущимся то, что он считал неподвижным и мертвым. Не забывай же, сын земли, что одиночество и удаление от толпы – первый шаг к сокровенному миру...

Как очарованный, смотрел Георгий Львович на прекрасное лицо умолкшего мага, ясные глаза которого любовались, казалось, каким-то далеким видением.

– Вижу, друзья мои, что будущее готовит вам страшную борьбу с адскими силами, но зато велика будет заслуга того, кто спасает душу и вырывает ее у слугителей зла, – сказал минуту спустя Манарма.

Он положил руку на голову Ведринскому и тот почувствовал будто его коснулась горящая головня; потом у него явилось ощущение, точно та же огненная рука легла ему на грудь и толкает куда-то. Сначала ему казалось, что он несется в пространстве, подобно уносимой бурным порывом ветра снежинке; потом они полетел словно в мрачную бездну и потерял сознание...

Когда Ведринский очнулся, то увидел, что лежит на своей постели. С удивлением и конфузом заметил он, что было уж четыре часа дня; значит, он проспал чуть не весь день. Для него было непонятно, каким образом очутился он в кровати?... Они отлично помнил странную церемонию, происходившую в комнате адмирала; ему слышались еще захватывающие звуки флейты и чувствовался как будто одуряющий аромат. Он сознавал свое необъяснимое посещение индусского мага и помнил слова этого таинственного человека. Но как вернулся и лег он в постель? В этом он не мог дать себе отчета...

Позвонив слуге, Ведринский стал спешно одеваться.

– Встал ли адмирал? – спросил он лакея.

– Его превосходительство уже уехали в одиннадцать часов, а вам оставили большой пакет книг и письмо. Все это у них в комнате.

Ведринский огорчился известием, но затем сошел вниз.

На террасе все были в сборе и встретили его градом насмешек. Замятин и особенно Масалитинов дразнили его ночными похождениями, с которых он вернулся так поздно, что проспал весь день; а Михаил Дмитриевич рассказал, что делал все возможное, чтобы разбудить его: тряс, даже обтер ему лицо холодной водой, но ни что не помогло и он все спал, как чурбан.

Ведринский пил поданное по его просьбе молоко и отшучивался, как мог. Надя передала ему последний привет крестного. У нее в глазах стояли слезы, и бедная девушка была так грустна, что даже жених не мог развеселить ее.

Как только представилась возможность незаметно скрыться, Ведринский отправился в бывшую комнату адмирала. На столе лежала большая связка книг, которые он с жадностью осмотрел. Книг было много, на английском, французском и немецком языках, а к ним приложены рукописи и переводы с арабского, санскритского и еврейского. Тут же рядом стояла шкатулка из сандалового дерева, средних размеров, и на ней лежало письмо. Открыв его, он нашел ключ от ящичка и несколько листков подробных наставлений, а на первом листке стояло:

«Никогда, ни под каким предлогом не следует давать читать или одолжать книги и рукописи, предназначенные для личного употребления; они не должны быть в руках профанов. В шкатулке находится красный флакон, и каждый день следует принимать по три капли содержащейся в нем жидкости. Темно-красные капли в зеленом флаконе следует принимать только раз в неделю, тоже по три капли. Бесцветной мазью из алебастровой баночки надо натирать лоб и виски перед началом чтения. Вторую, маленькую шкатулочку, с фигурой сфинкса, сохранять, не прикасаясь к ней; когда наступит время, будет указан и способ употребления ее содержимого».

Обрадованный Ведринский мысленно благодарил за оказанную ему помощь Ивана Андреевича и мага, учеником которого он также становился. Горя нетерпением начать чтение, он сел, подвинул к себе одну из рукописей и открыл ее. Над текстом была приклеена бумажка с надписью красными чернилами:

«Кто начнет читать эти страницы, не подготовившись предварительно уединением, сосредоточением и молитвой, т. е., кто приступит к изучению, выйдя прямо из флюидического хаоса, создаваемого людской толпой, тот будет читать лишь, буквы и слова, но ничего не поймет в них. Глубокий и тайный смысл учения останется сокрытым для него, как для профана».

Ведринский закрыл рукопись, и по лицу его скользнула улыбка. Невидимая сила, взявшаяся править его жизнью, оказывалась удивительно предусмотрительной, и с первой минуты твердо подчиняла его душу. Но это оккультное подчинение ни мало не стесняло его и не вызывало в нем неудовольствия; наоборот, душа его была спокойна при мысли, что у него был отныне руководитель и покровитель.

– Я почитаю вечером, помолившись и сосредоточившись, – подумал он. – Это называется, если не ошибаюсь, очистить свою ауру от посторонних влияний.

Вечером Георгий Львович ушел раньше обыкновенного в свою комнату под предлогом головной боли и, заперев дверь, вынул из ящика рукопись, которую смотрел днем. Перед началом чтения он долго и усердно молился, а потом сосредоточился и ушел мысленно в свое прошлое.

Какими странными путями Провидение незаметно привело его к порогу посвящения и нравственного совершенствования. Вспомнилось ему то роковое, гибельное положение, в котором он очутился, когда им овладел демон азарта, от которого его спасло чудесное приключение в Гренаде; а потом следовала случайная встреча с адмиралом, решившая окончательно его дальнейшую судьбу. Он схватил рукопись и прижал ее к своей груди.

– О, чудесный мир, сокрытый от взоров невежд! Счастлив тот, кто может переступить твой порог, проникнуть в твои тайны, исследовать твои бездны и созерцать чудеса твои.

В то время как эти пламенные, восторженные мысли наполняли его душу, ему показалось, что с плеч его вдруг спадает какая-то тяжесть, а из старой рукописи, которую он все еще прижимал к своей груди, раздается мелодичная музыка. Он вздрогнул, не будучи в состоянии дать себе отчет в этих ощущениях, но в ту же минуту ему послышался слабый, как дуновение, голос, шептавший ему:

– Порыв души твоей, жаждущей знания, уже создал невидимую связь между тобой и светом, к которому ты стремишься.

Взволнованный Ведринский сел и обхватил голову руками. С ним совершалось нечто, никогда раньше не испытанное. В мозгу нарождались новые идеи, а казавшиеся прежде непонятными вопросы разрешались с невероятной быстротой и ясностью. Столько новых мыслей приходило в голову, что мозг его казался ему слишком малым, чтобы вместить их. Он уже не сомневался; в нем свершалась таинственная, астральная работа, а в душе разгоралось чувство благоговения и благодарности к тому неведомому, которое проявлялось вокруг него; его охватил мистический трепет, ощущаемый верующим перед почитаемой святыней.

У него явилось могучее и непобедимое желание молиться. Он преклонил колени и воздел руки к той невидимой силе, которая управляет нашими судьбами; волна горячего чувства вырывалась из его сердца и из глаз потекли слезы.

Молитва его не выражалась словами, или даже определенными мыслями, а между тем он чувствовал, что из всего его существа изливалось

то истинное, великое моление, которое является священным союзом и соединяет неразрывной связью Творца с Его созданием. А этот священный союз – прекрасен и велик, как сам Бог, будучи воплощением абсолютной гармонии, отражение которой нисходит на несовершенного человека, чтобы поддержать его и возвысить. Изучающие высшую, светлую магию и переживавшие внутренний восторг в тот момент, когда трепещут и развертываются духовные крылья, естественно чувствуют, как их влечет в однородную им среду, и вполне поймут только что высказанную мысль...

Одни аскеты и гении в состоянии постичь все упоение подобного состояния души. Поэтому-то гений и творит непрерывно и неустанно, не ожидая даже награды, где-нибудь на убогом чердаке; голодный, мечтает он о бесконечности, и для него ни в каком виде красота не остается незаметной, он воспевает всю природу, он прославляет могущество Божие, и все служит материалом для его труда. Упоенный этим восторгом, он забывает свою земную нищету и создает великое, ибо видит одно прекрасное, а для существования ему достаточно счастья творить, жить в лучезарном свете его мечтаний и подниматься в сферы божественной гармонии. Истинный гений никогда не жаден на золото... Равно и отшельник в своей жалкой норе, не имея ничего, кроме рублища, а пропитанием – корку хлеба и коренья, не променяет своего логовища на царский дворец, и воды своего источника на стол миллионера. Он упоен окружающей его сферой чистоты и гармонии; его прозорливому оку являются небесные видения, а утонченный тишиной слух внимает музыке сфер. До него не доходят ни бестолковый шум, ни зловонные испарения людских страстей и преступлений. Будучи чистым и легким, он в состоянии развернуть крылья своей души и вознестись в таинственные области, запретные для обыкновенного смертного, который сладко ест и пьет, живет с удобствами и взращивает все низменные инстинкты плоти. Человек толпы ненавидит то, чего не понимает, подобно тому как нищий ненавидит богатого, не смея в своих отрепьях переступить порог его дворца. Волшебный круг, отделяющий толпу от человека избранного, ясно ощущается с обеих сторон: одна невольно чувствует преграду и раздражается, а другая сознает приближение пошлости и бежит от нее. А в результате высший человек остается гордым и сдержанным в своем одиночестве, тогда как яростная, горящая ненавистью толпа обрушивается на него, пытаясь столкнуть его в грязь, а не то, если возможно, и уничтожить...

Время после отъезда адмирала шло без особых перемен. Замятины много принимали, да и сами часто ездили к соседям, так что прогулки,

поездки, пикники и всякого рода деревенские удовольствия шли своим чередом. А между тем прежняя беспечная веселость исчезла как будто в семье, и точно что-то тяжелое витало в воз духе.

Филипп Николаевич часто бывал озабочен и даже встревожен; Надя грустила и ее преследовали дурные предчувствия, а кроме того, беспокоило то, что Михаил Дмитриевич видимо бледнел и худел, казался усталым, а иногда до странности апатичным. Мила была ежедневной гостьей и принимала участие во всех сборищах молодежи. Она замечала, что Масалитинов, почти не стесняясь, избегал ее и, в такие минуты, злая усмешка кривила ее алые губы, а острый, как жало, взгляд ее зеленых глаз провожал непокорного.

Надя поймала раз один из таких взглядов, и в сердце ее родилось враждебное чувство презрения. Это отнюдь не была ревность, да у нее и не было повода ревновать, ввиду едва скрытого отвращения Михаила Дмитриевича к Миле; но ее просто возмущало это упорное преследование человека, уже связанного словом с другой, да притом еще в доме, где ей оказывалось столь широкое гостеприимство. Ни малейшей тени дружбы не было между Надей и Милой; обе оставались друг к другу холодны и сдержанны, прикрывая лишь светской вежливостью взаимную антипатию.

Ведринский уединялся теперь более прежнего и проводил половину ночей за чтением и изучением. Эта новая работа увлекла его, а пошлые разговоры и светская болтовня стали казаться ему настолько нелепыми и скучными, что он старательно избегал их, насколько мог.

В это время Филипп Николаевич был вызван телеграммой в Киев и в тот же день вечером покинул Горки, видимо озабоченный. Екатерина Александровна воспользовалась этой поездкой и просила Замятина найти для нее в Киеве просторную и красивую квартиру, предполагая провести там зиму, чтобы повеселить Милу, так как доктора настоятельно предписали ей как можно больше развлекаться. Замятин обещал поискать подходящую квартиру, к большому, однако, неудовольствию Нади, которой вовсе не улыбалась перспектива постоянно сталкиваться с несимпатичной парой. Легко было предвидеть, что Екатерина Александровна всунет в их общество свою приемную дочку.

Да и Надя стремилась скорее покинуть Горки; ей все чаще и чаще вспоминались теперь слова крестного, умолявшего их бросить злополучное место. В первых числах ноября предстояла свадьба Нади, а надо было еще много сделать для приданого, и молодой девушке хотелось вернуться в Киев. Но большое празднество, готовившееся у Максаковых, рассеяло ее тревожные мысли и она вся ушла в хлопоты о своем туалете. Надя была

слишком молода, чтобы столь важное обстоятельство не привлекло ее внимания.

Максаковы были очень богатые помещики; жили они широко, принимали много и не упускали случая повеселить молодежь. На этот раз, они праздновали производство в офицеры старшего сына и одновременно, день рождения единственной дочери, которой исполнялось семнадцать лет. По мнению молодежи, это двойное торжество должно было и праздноваться вдвойне. На первый день был назначен костюмированный бал, с иллюминацией, фейерверком и т. д.; а на следующий – предстоял большой обед и обыкновенный бал. На маскараде все дамы должны быть одеты цветами, бабочками, феями или ундинами; предстояло танцевать балет, а Мэри Максакова, как виновница торжества, должна была изображать царицу цветов.

Приглашены были не только все соседи, верст на двадцать в округности, но и офицеры соседнего полка с женами и дочерьми. Многие приехали еще накануне, другие поутру в день праздника, а все дальние должны были провести там ночь между обоими праздниками. Дом Максаковых допускал такое широкое гостеприимство. Это был настоящий дворец, построенный одним из вельмож Екатерины II, который затем дал его в приданое дочери, а впоследствии имение досталось по наследству Максаковым. Громадный дом походил отчасти на Версаль, а окружавший парк был разбит и подстрижен во вкусе рококо.

Понятно, что такое торжество взволновало весь дамский мир и ни о чем другом не было разговоров, как о бале; все еврейки соседнего городка были на ногах и рыскали, доставая газы, шелка, стеклярус и цветы. Все модные магазины были опустошены, а портнихи, не покладая рук, работали день и ночь, и то не могли еще исполнить всех заказов.

Надя также была вся поглощена заботами о наряде; она избрала костюм феи родников, потому что в парке Максаковых был железистый источник, над которым, был устроен особый грот, который должны были иллюминировать; а так как он находился совсем близко от дома и виден был с большого балкона, то она желала показаться там, прежде чем явиться в залу. Вокруг будут сгруппированы цветы в виде живой картины, освещенной бенгальскими огнями, а после этого весь кортеж, под звуки музыки, должен был пройти в большую залу. Зрителями служили, конечно, родители, пожилые и прочие не костюмировавшиеся гости. Платье Нади было из голубоватого газа с серебряными блестками, длинное, развевающееся, охваченное в талии поясом из водяных цветов, и с широкими распашными рукавами; шею украшали великолепные нити

горного хрусталя, спускавшиеся на грудь. На голове среди водяных цветов должна была сиять маленькая остроконечная корона, также из горного хрусталя, а крошечные электрические лампочки, скрытые в зелени, придавали хрусталу волшебный блеск.

Посреди этой суеты и приготовлений одна Мила бездействовала; у нее уже был костюм из цветов, сделанный в Париже для одного бала, быть на котором ей помешала болезнь, и платье она привезла с собой. Но в душе она бесилась, негодовала и приходила в отчаяние. Страсть ее к Михаилу Дмитриевичу все росла; она пылала желанием завладеть им, лишилась сна и аппетита, а между тем, несмотря на все ее кокетство и гипнотическую силу, направленную против него, она ни на шаг не подвинулась к победе над любимым человеком. Видя, что тот сторонится от нее, избегает говорить с ней и даже смотреть на нее, она инстинктивно чувствовала, что внушает ему отвращение; а сознание это хотя и бесило Милу, но не привело в отчаяние. Недаром была она дочерью Красинского, как и он, – упорной, жестокой и бессовестной.

За несколько дней до праздника, под предлогом усталости, она осталась на острове и отказалась пить вечером чай у Замятиных. Когда уехала Екатерина Александровна, Мила позвонила горничную и приказала открыть картоны с костюмом, чтобы примерить его. Костюм изображал мак и сделан был с необыкновенным вкусом и неподражаемым изяществом парижских мастеров. Юбка представляла опрокинутый цветок; большие листья фиолетового газа были красиво подобраны, длинный гибкий стебель опоясывал талию и от него свешивались две головки мака, – одна зеленая, другая темная, уже спелая. От талии поднимался другой конец стебля, который поддерживал большой цветок на голове в виде убора. На этом чудном темном фоне красиво рисовались пышные золотисто-рыжие волосы Милы, образуя вокруг ее тонкого личика золотистый ореол. Лиф представлял бутон мака, а листья цветка – рукава и отделку, очень открытого, однако, корсажа, обнажавшего ее лебединую шею во всей ее классической красоте. Из драгоценностей предполагала она надеть нить черного жемчуга, найденного в шкатулке матери. Довольным взглядом разглядывала Мила в зеркале свой пленительный облик. В ее демонической красоте было что-то действительно восхитительное, и огонь ее больших зеленоватых глаз мог легко очаровать сердце мужчины.

– Да, – говорила она себе с чувством удовлетворенья, – я красивее Нади с ее ребяческим, ничего не выражающим лицом, а Мишель должен безумно полюбить меня, – я того хочу и достигну; но надо спешить. Через двенадцать дней кончается его отпуск, и я должна теперь же покорить его.

И с горделивой усмешкой на устах, с блестящими торжеством глазами, наклонилась она вперед, чтобы лучше видеть себя...

Но одного не заметила Мила, а именно, что своим длинным, тонким, гибким телом и зеленоватыми, русалочьими глазами, под фиолетовым убором, она удивительно напоминала пресмыкающееся, которое вытягивает любопытную голову из травы, готовое при малейшем шуме снова спрятаться в темноту. Когда она покачивалась, повертывая из стороны в сторону свою чуть склоненную на слишком длинной шее головку, невольно являлось представление, что под волнами газа скрывалось гибкое тело змеи, готовой обвить и задушить свою жертву.

Мила развертывала большой веер из страусовых перьев, когда вошла г-жа Морель и пришла в восторг от ее красоты. Рассказав затем свежие подробности о празднике, о том, как они отправятся туда, и предсказав ей самые блестящие победы, так как ее дивная красота не могла остаться незамеченной, – Екатерина Александровна ушла.

Миле спать не хотелось. Присмотрев за укладкой костюма и поужинав куском холодной дичи со стаканом молока, она ушла в свою спальню, бывшую комнату покойной матери. Там она закуталась в шелковый пеньюар, уселась и принялась за французский роман. Вдруг она почувствовала странную сонливость и хотела встать, чтобы пройти к постели, но ноги и руки налились словно свинцом и отказывались служить. В глазах завертелся точно фосфоресцировавший шар, голова закружилась и перед нею опустилась будто черная завеса. Одну минуту у нее мелькнуло ощущение, что она висит над пропастью, а затем она потеряла сознание.

XII

Когда Мила открыла глаза, она с ужасом вскрикнула.

Место, где она очутилась, было ей совершенно незнакомо. Это была низкая комната со сводами, по-видимому – подземелье, потому что окон нигде видно не было, а сама она полулежала в большом кожаном кресле. Неподалеку от нее стоял стол и на нем в канделябре горели красные восковые свечи; большая старинная книга лежала открытая перед кожаным с высокой резной спинкой стулом. Через небольшую, узкую и стрельчатую дверь виднелась вторая комната с кроватью под балдахином. Недоумевавшая Мила со страхом рассматривала странную обстановку, но в эту минуту на пороге показалась высокая мужская фигура, направлявшаяся к ней с протянутыми руками.

– Не бойся, Мила, тебе не грозит ни малейшей опасности, потому что ты находишься у отца, – сказал он, нагибаясь и целуя ее в лоб.

– Папа, ты живешь здесь, в этом подземелье? Как же мне сказали, что ты умер? Где же ты был все время? И зачем тебе скрываться? Ведь ты – такой молодой и красивый, – воскликнула Мила, обнимая его за шею и целуя.

Красинский улыбнулся.

– Есть многое, о чем нельзя говорить, но что имеет очень серьезные основания. Со временем, дитя мое, ты узнаешь все, а пока скажу тебе только, что я установил сношения между нами с целью заняться несколько твоим воспитанием. Ты живешь, бедное дитя, непонятая, в неведении и без защиты, окруженная недоброжелательством, и даже внушая собой страх или отвращение. А между тем вокруг и вблизи тебя, – стоит только тебе протянуть руку, – есть все, что ты можешь пожелать. Ты молода, красива, богата и будешь еще богаче; ты хочешь быть любимой, – что очень понятно, – а нелепые препятствия преграждают тебе путь к счастью. Так хочешь ли ты стать моей ученицей, чтобы научиться управлять оккультными силами, которые дадут тебе все, что пожелаешь?

Мила смотрела на него в немом очаровании. Отец казался ей обаятельно прекрасным, несмотря на смертельную бледность и странный огонь в его впалых глазах; бывшая на нем длинная, черная бархатная блуза и широкий белый отложной воротник придавали ему сходство со средневековым алхимиком.

– Папа, ты – точно доктор Фауст, – нерешительно сказала она.

Красинский засмеялся.

– Не совсем, хотя в сущности, я – потомок тоже великого колдуна, пана Твардовского. А так как ты тоже производишь от него, то тебе не подобает быть невеждой в магии. Видишь это кольцо.

Он протянул свою белую как воск руку, на пальце которой было надето волшебное кольцо, и Мила с суеверным страхом оглядела его.

– Папа, если ты – волшебник, дай мне средство, чтобы меня любил Масалитинов, жених Нади. Только я не хочу его смерти. Говорили, будто от моей любви умер Цезарь Висконти, жених мой, о котором я так горевала.

– Он будет твоим, дорогая моя, и не умрет. Но ты еще не ответила мне, хочешь ли быть моей ученицей?

– Несомненно. Само собой понятно, что я хочу научиться всему, что ты будешь добр мне преподавать.

– Отлично, и для начала я научу тебя пользоваться кольцом, которое подарил тебе в тот раз.

Он взял кольцо, повернул его и показал Миле, что если слегка нажать камень, то с противоположной рубину стороны высовывается крошечная, тонкая и острая иголочка.

– Когда ты будешь пожимать руку мужчины, любви которого пожелаешь, нажми слегка на камень. Укол будет едва чувствителен, а тем не менее состав, находящийся в золотой иголке, войдет в тело данного лица. Кровь загорится в нем и им овладеет настоящее любовное исступление. Но ты должна быть осторожна и лишь изредка прибегать к этому средству, потому что частое применение его к одному и тому же лицу может довести до бешенства. Поняла ты меня?

– Да, папа, благодарю, и буду осторожна. Но скажи мне, – я не могу понять, – как живешь ты в этом подземелье, без воздуха, без света, без пищи! Чем ты питаешься?

– Успокойся, у меня здесь все необходимое. А воздух ведь хорош здесь?

– Правда. Пахнет сосной, точно здесь уголок леса, – заметила Мила, с любопытством озираясь кругом.

– Вот мой лес, – сказал Красинский, указывая на один угол подземной залы, где на низком столе, стоял расширенный кверху сосуд, в котором бил небольшой фонтан зеленоватой воды. – Кроме того, ты забываешь, что целые годы я жил один на острове единственным хозяином дома; значит мог, когда вздумается, выходить дышать воздухом и греться на солнце.

– А где вход к тебе? Я не помню, как вошла. Я уснула наверху в своей комнате, а проснулась здесь. Мне хотелось бы знать этот путь.

– Ты узнаешь его, дорогая, но только потом, когда получишь посвящение, произнесешь обет и примешь благословение магическим мечом. По твоим блестящим глазам я узнаю в тебе свою дочь. Твоя мать была слабая, нерешительная женщина; она оттолкнула истинное счастье. Послушай она моих советов, уступи моим просьбам, она жила бы и теперь, полная сил и красоты. Ты будешь благоразумнее и вступишь в нашу громадную, могущественную общину, разветвления которой покрывают весь мир. Многие из наших сочленов, мои друзья, посещают меня здесь; да и ты сколько раз встретишься в обществе с нашими братьями и сестрами. Одинокой ты не останешься, но ты одна будешь знать, что эти, иногда очень и очень высокопоставленные лица с безупречной репутацией, – братья по Люциферу. Ха! ха! ха! О, как свет глуп! Еще одна вещь. С этого дня ты не должна ходить на могилу матери. Ее строптивая и мстительная душа хочет вырвать тебя у меня и встанет между нами. Потому берегись и не давай увлечь себя на указываемый ею путь; там тебя стережет медленная и мучительная смерть от истощения твоей жизненной силы; а тебе нужно много жизненности и свежих сил для того, чтобы жить, любить и наслаждаться; если тебе будет не хватать этого живительного сока, ты погибнешь. А теперь, дитя мое, тебе пора вернуться к себе.

Он поднял руку, и Миле показалось, что пальцы его быстро вертели блестящий шарик. Но она не могла ни-188 чего рассмотреть, потому что мгновенно у нее закружилась голова. Словно во сне, слышала еще она повелительный голос, приказывавший ей вернуться в ее комнату, а потом она окончательно потеряла сознание.

Открыв глаза, Мила оказалась сидевшей по-прежнему в кресле, а книга, которую она читала, валялась около нее на полу; она ощущала такое утомление, что не в состоянии была соображать. Мила дотаскилась до постели, кое-как разделась и, едва только опустилась на подушки, как забылась свинцовым сном.

Проснувшись она поздно. У нее сохранилось ясное воспоминание о посещении подземелья и свидании с отцом, хотя в первую минуту она не могла дать себе отчет, – сон это был, или действительность? Вдруг вспомнила она про секрет, который показал ей отец. Она спешно сняла кольцо и осмотрела его внутреннюю сторону. Сначала простым глазом она не могла найти маленькую иголку и только в лупу увидела ее, нажимая на камень. И Мила с довольной улыбкой надела опять кольцо; значит она не спала.

Наконец настал день бала. Выехали до полудня, так как предстояло два часа пути и следовало отдохнуть прежде, чем начать одеваться.

Мила бесилась, потому что холодность Масалитинова и упорство, с каким тот ее избегал, глубоко возмущали ее и в душе ее закипало жгучее желание мстить. Наружно она старалась скрыть свои чувства и искусно, с мнимой наивностью, принудила даже некоторым образом Михаила Дмитриевича пригласить ее на мазурку, которую тот танцевал превосходно, по ее мнению.

С наступлением вечера все костюмированные дамы собрались вокруг маленького грота, занятого феей источника и озаренного голубоватым светом. Когда бенгальские огни начали заливать потоками разноцветного света прелестную группу живых цветов, перед собравшимися на террасе зрителями развернулась действительно волшебная картина. Затем шествие, с царицей цветов во главе и под звуки военной музыки, направилось в танцевальную залу, устроенную на просторной лужайке, где был настлан пол, а в виде крыши натянут полосатый тик. Люстры, канделябры и бесчисленные фонарики освещали залу и окружающие кусты, где расставили буфеты и беседки для отдохновения. Ночь стояла чудная, благоуханная и было тепло, как днем.

Масалитинов был совершенно очарован красотой своей невесты; но он заметил тоже и Милу, эксцентричная красота которой произвела сенсацию между молодежью, хотя та ему по-прежнему не нравилась.

– Она вырядилась маком, а следовало бы просто дурманом, это больше было бы ей к лицу, – заметил Ведринский. – Есть что-то зловещее в этой женщине с зелеными глазами и гибкими, словно у тигрицы, движениями. Уж очень она на тебя поглядывает, не нравится мне это, – прибавил он.

Масалитинов презрительно пожал плечами.

– Не бойся, она не опасна для меня, а стрельба ее зеленых глаз – впустую. Ты прав, но она больше похожа на ящерицу, и хоть это не будет вежливо, но я не думаю танцевать с нею, ничего кроме мазурки, которую и то она у меня чуть не насильно вырвала.

Мила не замечала как будто вовсе, что Михаил Дмитриевич не танцует с ней; кавалеры осаждали ее и она не могла даже принимать все приглашения, но уже в глубине души ее кипела затаенная злоба. Когда Масалитинов пришел за ней перед мазуркой, она встретила его улыбкою и тотчас встала. Но едва начали они танцевать, как она сдернула одну из своих зеленых шелковых перчаток, которая оказалась разорванной, и бросила ее.

– Дыры эти действуют мне на нервы, – проговорила она, смеясь. – И доказывают только, что в Париже также хорошо обманывают, как и здесь.

В одной из фигур танца Масалитинову показалось, будто что-то

кольнуло его в руку, хотя ощущение было крайне слабо и он почти тотчас же забыл его. Но затем, незаметно для него самого, по жилам стал разливаться сильный жар, сердце забилось сильнее, точно от крепкого вина, и понемногу стал дрожать каждый фибр его существа, а кровь горячим потоком ударила в голову.

– Боже, как вы разгорячились, Михаил Дмитриевич, – заметила Мила, когда по окончании фигуры, он намеревался вести даму на место. – Мне тоже очень жарко; и не худо бы выпить стакан лимонада, – прибавила она, направляясь к буфету.

Там была толпа и все стулья заняты.

– Возьмите бутылку и пойдете распивать ее в сад; там найдется свободная скамья, – предложила Мила с самым невинным и наивным видом.

Ничего не подозревая, Масалитинов достал бутылку лимонада и последовал за своей дамой; а та чуть не бегом бросилась в дальние кусты, где действительно оказалась скамья и фонарики красноватым светом озаряли уголок.

Мила налила стакан и подала его кавалеру. Зеленоватые, фосфорически блестящие глаза ее были теперь широко раскрыты и смотрели на Масалитинова жадным, полным откровенной любви взглядом... И странно, но Масалитинов не почувствовал на этот раз отвращения. Он сам пожирал глазами стоявшую перед ним молодую Цирцею, стройную, гибкую, воздушную, как бабочка, с головкой, увенчанной пышной короной волос, которые выглядели золотом из-под фиолетовых лепестков и зеленых листьев, а от света электрической лампочки на голове вспыхнули словно аметисты и изумруды.

В Миле бушевала та же безумная страсть, которую внушал ей некогда Цезарь Висконти. Ее охватило непреодолимое желание прильнуть к устам молодого богатыря, дышавшего здоровьем и силой. И вдруг с удивлением, но и со страхом увидела она, что из всего организма Масалитинова вырывались словно потоки красноватого пара и запах этот опьянил ее. С жадностью вдыхала она живительное веяние, которое производило на нее действие вина и точно всасывался во все ее существо.

Масалитинов был под властью очарования; он забыл Надю, забыл весь мир, а видел лишь обаятельную женщину, склонявшуюся над ним, как олицетворенное искушение. Все описанное длилось несколько мгновений; Мила протянула своему кавалеру стакан лимонада, а тот оттолкнул стакан и, задышавшись, страстным шепотом проговорил:

– Мила, вы безумно хороши.

Он порывисто схватил ее и уста их слились в поцелуе. Как змеи обхватили белые руки Милы шею молодого человека, чуть не душившего ее, прижимая к себе. Но она не чувствовала и не видела ничего, а в полном смысле слова пила горячее дыхание своей жертвы. Мила не заметила даже, что Масалитинов вдруг побледнел, зашатался от головокружения и опустился на скамью; она же продолжала целовать его, упиваясь жизнью, которую высасывала из него.

Михаил Дмитриевич чувствовал себя дурно; голова его кружилась, появилась смертельная слабость, а ноги и руки налились точно свинцом, но оторваться от кроваво-красных губ молодой девушки не хватало сил; его приковали к себе и парализовали ее широко раскрытые, зеленые глаза.

Вдруг он лишился сознания.

– Безумная! Ты убьешь его, – раздался неожиданно тихий, но повелительный голос.

Черная тень выделилась из темной листвы деревьев и высокий, худой человек, схватив Милу, оторвал ее от Масалитинова, который в то же мгновение безжизненно опрокинулся на скамью, а затем свалился на землю и лежал неподвижно, обливаясь холодным потом.

Мила точно пробудилась от сна. Теперь она дышала полной грудью, щеки ее горели, глаза блестели, и все существо трепетало жизнью и силой.

– Отец, это ты?... Как попал ты сюда? – спросила она с удивлением.

В эту минуту, словно впервые, увидела она замертво распростертого на земле Масалитинова и испугалась.

– Отец, помоги ему. Что с ним?

– Ты чуть не убила его. Нельзя так злоупотреблять. Кто хочет долго наслаждаться, должен быть умерен, – строго сказал Красинский. – А теперь уйди и вернись в общество, чтобы не заподозрили твоей безумной выходки, – прибавил он.

Мила исчезла, как тень.

Тогда Красинский опустился на колени перед Масалитиновым и влил ему в рот жидкость из флакона, который достал из кармана. Затем он приподнял молодого человека, посадил на скамью, оперев головой о ствол дерева, и приложил руку к его лбу.

– Ты проспишь десять минут, а потом проснешься и уйдешь в свою комнату, чтобы выспаться. Забудь все, предшествовавшее обмороку, – строго и повелительно сказал он.

Он разжал стиснутые руки Михаила Дмитриевича, погладил ладони, натер их сильно ароматной эссенцией и затем снова спрятался в куще деревьев, высматривая, что произойдет. Минут десять спустя Масалитинов

открыл глаза, но его мутный, потухший взор не видел, казалось, ничего. Машинально встал он, потянулся, расправляя руки и ноги, а потом, шатаясь, пошел к дому, прямо во флигель для гостей, где он занимал одну комнату с Ведринским. Придя к себе, он растянулся на постели и тотчас крепко заснул. А Красинский дождался его ухода и проводил глазами, когда тот, точно лунатик, выходил из беседки.

– Хорошо еще, что ты из неверующих, иначе Миле плохо пришлось бы с тобою, – прошептал он, также уходя и дьявольски злобно ухмыляясь.

Идя как автомат, Масалитинов не заметил встретившуюся ему Мэри Максакову, дочь хозяев. Молодая девушка заговорила с ним и не получила ответа; но, увидав неподвижный взгляд его мутных глаз, ничего словно не видевших, и его мертвенную бледность, она перепугалась.

– Вы больны, Михаил Дмитриевич? – повторила она громко. Но Масалитинов опять-таки не слышал вопроса и даже не видел ее как будто, потому что задел проходя мимо. Мэри проводила его глазами. Что с ним? Только что видела она его танцующим с Милой, да еще с таким увлечением, а теперь он похож на призрак и едва двигается. Добрая, милая девушка тотчас сообразила, что необходимо предупредить его друга. Она пошла в толпе искать Ведринского и найдя сообщила, в каком странном состоянии встретила его двоюродного брата.

– Боже мой! Что с ним случилось? Я видел, – Миша танцевал с Людмилой Вячеславовной, а потом исчез; но он был здоров и я заметил даже, что очень веселился, – заметил Ведринский, охваченный дурным предчувствием. – Сейчас найду его. А не заметили ли вы, в какую сторону он пошел?

– Да, я видела, что он шел во флигель.

Ведринский горячо поблагодарил ее за предупреждение и побежал в отведенную им комнату. Если Михаил вернулся, то мог быть только там и Георгий Львович нашел Масалитинова крепко спавшим на постели. Но при свете лампы он положительно испугался его вида. Лицо было смертельно бледно, глаза обведены темными кругами, губы посинели и казались бескровными, а руки были влажны и холодны. В душе Ведринского пробудился и страх и негодование; второй уже раз подобный случай происходил с его двоюродным братом и снова после того, как тот танцевал с Милой.

– Проклятый чертов ублюдок! – проворчал он.

Он решил достать для больного бульону и стакан теплого вина, а предварительно натер ему руки и виски одеколоном. Когда он вернулся с вином, то Масалитинов проснулся и сидел на краю постели с тем же

болезненным видом.

– Ты болен, Миша. Надо посоветоваться с доктором. А пока выпей теплого вина. Ты право похож на привидение. Что с тобой?

– Ничего. Чувствую только необыкновенную слабость и непобедимое желание спать. Беспокоить из-за этого доктора было бы смешно. Дай вина; я выпью, это поможет мне и все пройдет. Второй раз это со мной, странно!..

– Очень странно, и всегда после танцев с противной Милой.

– Какой вздор! При чем она тут? Просто нервное состояние; может быть, я слишком много танцевал.

– Это ты говоришь вздор. Такой Голиаф, как ты, разве может утомиться от нескольких туров? Нет, тут причина иная. Теперь ложись и спи, – сказал Ведринский.

– Нет, я пойду успокоить Надю. Ее встревожит мое отсутствие, а потом я извинюсь и уйду спать.

Когда Масалитинов появился в танцевальном зале, все были поражены его смертельной бледностью. Надя очень испугалась и хотела немедленно уехать домой, так что жениху с трудом удалось убедить ее, что это пустяки, он чувствует себя много лучше, примет успокоительных капель и уснет, а это успокоит его гораздо скорее, нежели двухчасовое путешествие в коляске. Но Надя все-таки была грустна и непокойна.

Старый врач, друг дома, предложил осмотреть его и пошел за Михаилом Дмитриевичем в его комнату. Внимательно выслушав больного, доктор покачал головой.

– Не понимаю, отчего могло произойти столь быстрое истощение жизненной силы.

Он предписал больному немедленно чашку мясного сока, затем несколько яиц всмятку и стаканчик хинного вина. На ночь он приказал приготовить и поставить у постели большой кувшин молока с коньяком, на случай, если появится жажда, и велел больному тотчас же раздеться и лечь в постель. Уходя с Ведринским, который шел за предписанными больному средствами, доктор заметил чрезвычайно серьезно:

– Должен сказать вам, Георгий Львович, что состояние вашего двоюродного брата не безопасно; деятельность сердца так удивительно ослаблена, что понадобится известное время для ее восстановления. Я дам вам капли из своей походной аптечки, к счастью оказавшейся со мной, и они оживят сердечную работу; кроме того, я рассчитываю также на крепкое сложение Михаила Дмитриевича. Но признаюсь, подобного случая не встречалось в моей тридцатипятилетней практике.

Озабоченный и грустный Ведринский обратился с просьбой к

Максаковой достать мясной сок и, к его удовольствию оказалось, что сестра хозяйки дома тоже лечилась мясным соком, а потому в доме имелся пресс, в мясе же не было недостатка ввиду бала.

Через четверть часа Масалитинов с необыкновенным аппетитом выпил большую чашку сока и маленький стакан вина, да съел три яйца всмятку, после чего объявил, что чувствует себя много крепче.

Приняв еще, по настоянию друга, капли доктора, Михаил Дмитриевич уснул крепким, здоровым сном.

Когда ушел жених, Надя отказалась танцевать и веселье было для нее совершенно испорчено. Враждебным взглядом смерила она Милу, танцевавшую без передышки и казавшуюся свежее и оживленнее обыкновенного. Надя взяла свою мать под руку и увела на балкон, который в эту минуту был почти пуст, и только в дальнем углу двое гостей, попивая вино, играли в шахматы. Замятина с дочерью присели у маленького столика на противоположной стороне террасы.

– Мама, прошу тебя, уедем отсюда завтра утром, – сказала Надя, видимо волнуясь. – Я не хочу оставаться на второй бал. Но этого мало: я хотела бы также вовсе уехать из Горок. Они мне положительно опротивели, да и видеть эту гадкую Милу я больше не желаю. Я чувствую, что она приносит несчастье. Дважды она танцевала с Мишелем и каждый раз ему делалось дурно. Я не хочу больше видеть ни ее, ни госпожу Морель. Обе эти особы никакого значения для нас не имеют, они даже не близкие знакомые наши, а между тем забрались в нашу семью и с неслыханной бесцеремонностью вот уже целые недели не двигаются с места. Уедем, мама, умоляю тебя; папу очень обрадует наше возвращение. Он пишет, что ему грустно и скучно без нас, да и, кроме того, у него какие-то неприятности по делам.

Зоя Иосифовна слушала, задумавшись.

– Ты права, Надя. Мне самой хочется уехать отсюда. Завтра я напишу отцу и попрошу привести в порядок нашу подгороднюю дачу. Это всего полчаса езды от Киева и, значит, отцу будет очень удобно, да и нам не надо сейчас же закираться на зимней квартире.

– Конечно, мама. Благодарю, благодарю. Там превосходно, и можно прожить до октября. А когда мы едем? Профессор, к счастью, уехал, и мы свободны.

– Думаю, что в конце недели, то есть дней через пять, если успеем уложить вещи, мы можем уехать, – отвечала Зоя Иосифовна. – Рассказы Ивана Андреевича действуют на мои нервы, – нерешительно прибавила Замятина. – Теперь, с наступлением длинных темных вечеров, меня стра

берет в этом огромном доме. Последние ночи я все слышу, что в коридоре, ведущем в прежнюю комнату Маруси, кто-то ходит, или даже бежит босиком...

– Ах, мама, и мне чудилось то же самое; ведь моя комната в конце коридора, – перебила Надя. – Я также слышала беготню босыми ногами, а потом такой странный шум, точно тащили что-то тяжелое, вроде узла с мокрым бельем. Потом, накануне нашей поездки сюда, в Марусиной комнате выла собака и затем с лаем пронеслась мимо моей двери. Не могу высказать, как я перепугалась. А старая Анисья, живущая в доме чуть ли не тридцать пять лет, рассказывала, что у Маруси был пудель, которого она очень любила; собака эта ушла за нею на остров, и незадолго до ее смерти, придя с островной дачи, не хотела возвращаться туда и была очень беспокойна, бегала по берегу озера и выла. После смерти бедной Тураевой собака не покидала ее могилы, да так там и околела. Еще Анисья рассказывала мне, что с наступлением времени этого грустного происшествия в доме начинаются странные явления, и особенно непокойно бывает в той комнате, откуда Маруся бросилась топиться. Там слышны вздохи, рыдания, лай и вой собаки, а запертая комната освещается и видны бегущие тени. Ах! Хотела бы я завтра уехать, и готова помогать тебе укладываться, чтобы вместо пяти мы уехали через три дня.

Разговор их прервался приходом Ведринского, сообщившего им, что Масалитинов поел, спит и очевидно чувствует себя лучше.

– Странно, что с ним это случается вторично и всякий раз после того, как он танцует с mademoiselle Милой. Но почему именно на него это так действует? Я же танцевал с ней и ничего особенного не ощущал. Очевидно, вампирическая натура этой барышни не на всех так скверно влияет, – сказал Георгий Львович.

– Это ужасно, что могут быть такие зловредные особы, – вздрагивая, заметила Надя. – Хоть это эгоистично и может быть даже бесчеловечно, но я молю Бога, чтобы этот вампир выбрал себе иную жертву, а не моего Мишеля, и вообще оставил бы его в покое, – добавила она после минутного раздумья. – Скажите, Георгий Львович, кто этот юный офицер, что так ухаживает за Милой? Он не отходит от нее и, кажется, та поощряет его ухаживания. Я вижу его в первый раз и мне представили его, да только я забыла его имя.

– Это граф Адам Бельский. Он только что переведен в здешний полк, и я тоже вижу его в первый раз, – ответил Ведринский. – Он окончил пажеский корпус и собирался служить в гвардии; но так как у его матери три больших имени в этой стороне и она почти постоянно здесь живет, то

он предпочел служить в местном полку. Заметили вы даму в лиловом платье с такими чудными кружевами и в диадеме из аметистов с бриллиантами? Это графиня Бельская, мать графа Адама, – пояснил Ведринский, вставая и предлагая руку Замятиной, так как пришли звать к ужину.

На другой день, несмотря на просьбы Максаковых, Замятины после завтрака уехали с Ведринским и Масалитиновым, а г-жа Морель с Милой легко сдались на уговоры хозяев и остались на второй бал.

Михаил Дмитриевич поправился и ел с необыкновенным аппетитом, но все-таки был бледен и расстроен; доктор нашел, что деятельность сердца не совсем, но уже восстановилась.

Вернувшись в Горки, Зоя Иосифовна и Надя с лихорадочной поспешностью принялись за укладку вещей, сторя от нетерпения уехать, а Надя чувствовала такое отвращение к Миле, что ей было положительно противно ее видеть.

Только через два дня вернулись Екатерина Александровна с Милой, и обе в блестящем расположении духа. Г-жа Морель, казалось, была на седьмом небе и захлебывалась от счастья, рассказывая Замятиной, что Мила совершенно покорила молодого графа Бельского.

– Он без ума от нее, да и его мать тоже в восторге от Милы. Мы, по настоянию графини, ездили к ней и провели там день. Имение у них великолепное, дом – настоящий дворец, а полковой командир сказал мне, что Бельские – миллионеры. Это конечно, не помешало мне намекнуть графине, что у самой Милы сорок пять тысяч дохода, что делает ее очень подходящей партией даже для ее сына.

– От души поздравляю вас, милая Екатерина Александровна, с такой прекрасной партией для Милы; вы будете покойны за ее будущность, потому что она наверно найдет счастье с таким красивым и обожающим ее мужем, – заметила г-жа Замятина.

Затем разговор перешел на перемену в хозяйстве, вызываемую отъездом хозяев дома.

– Само собой разумеется, что вы останетесь здесь сколько вам будет угодно; а дом на острове и усадебный оба в вашем полном распоряжении, – сказала Зоя Иосифовна. – Я отдала нужные распоряжения, чтобы вы имели все удобства. Старая Анисья – превосходная кухарка, и вы будете заказывать ей, что пожелаете.

– Благодарю вас, благодарю, вы – сама доброта, но мы останемся на острове. Я прекрасно чувствую себя там и, правду говоря, удивляюсь, почему вы так спешите уехать? Погода отличная, местоположение

великолепное, соседство тоже очень приятное, и вы могли бы остаться здесь, по крайней мере, еще месяц, а вы чуть не бежите.

– О, мне вовсе не нравится здесь, и я рада уехать, – ответила Замятина.

Екатерина Александровна лукаво усмехнулась.

– Знаю, знаю, кто внушил вам отвращение к Горкам, – адмирал. Но что за охота слушать всякий вздор, который он рассказывает? Ведь он же невропат, и я даже слышала, что Иван Андреевич несколько времени был в каком-то спиритическом санатории, что равнозначаете дому умалишенных.

– Во всяком случае, на этот счет вы плохо осведомлены, сударыня. Мой муж – друг детства адмирала и знает всю его жизнь. Никогда и ни одного дня он не лечился ни в каком санатории, так как здоровье его всегда было в цветущем состоянии.

– Возможно, что я и ошибаюсь на этот раз; что же касается слухов о событиях, сопровождавших смерть бедной Маруси, то им нельзя верить. Прежде всего должна сказать вам, что Иван Андреевич сам был влюблен в Марусю и ревновал ее ко всем. Вячеслава он не мог открыто ревновать, конечно, а потому изливал свою желчь, скопившуюся против Тураева, на первого попавшегося, между прочим и на бедного Казимира, то есть доктора Красинского, моего несчастного жениха. Он возненавидел его и, прости Господи, приписывал ему всевозможные преступления; вообще и тогда уже он был суеверен как старая баба. Когда, после того ужасного происшествия, Вячеслав ожил, благодаря знанию и преданности Красинского, Иван Андреевич также без всякой причины возненавидел и его. Не знаю, что произошло между ними, но отношения их стали холодными, а когда он вернулся, вскоре после рождения Милы, то устроил целый скандал и, в отсутствие Вячеслава, похитил с острова бывшую в обмороке молодую женщину. Должна сказать, что Маруся была безумно влюблена в мужа; притом, в то время она была больна и может быть вследствие стыда и испуга, ввиду столь беспричинного бегства, хотела вернуться домой, где оставался ее ребенок. Каким образом она утонула, навсегда осталось темным: оступилась ли она, хотели ли ее схватить, была ли она в лихорадке и утопилась во время бреда – один Бог знает. В одном для меня нет ни тени сомнения: во всей этой грустной истории и особенно в смерти Маруси виноват адмирал.

Замятина слушала довольно холодно и, видимо, была задета обвинениями против их старого друга.

– Вы очень строги к Ивану Андреевичу, – заметила она. – Много и

темного в этой истории: хотя бы исчезновение, например, Вячеслава Тураева. Куда он делся? А между тем ведь не адмирал же украл его, потому уже, что он был в это время при смерти.

– Кажется, я обидела вас? Право, это мне неприятно, потому что я не имела, клянусь, ни малейшего злого умысла, – оправдывалась г-жа Морель. – Что касается исчезновения Вячеслава, то я убеждена, что он был убит. Петр Петрович говорил в то время, что зять его поехал в Харьков получать большую сумму денег; вероятно, на обратном пути его ограбили, убили и похоронили, а преступление так и осталось не открытым. Но если адмирал ни при чем в смерти Тураева, – и она громко рассмеялась, – то он очень виновен в дурной славе Горок и, особенно, прелестной дачи на острове, которую он ужасным образом опорочил своими рассказами. Вот уже более трех недель как живу я там и, право, ничего особенного не слышала, не чувствовала и не видела хотя бы кончик чертова хвоста. А чего бы я не дала, чтобы увидеть его! – Она опять засмеялась и продолжала, утирая глаза: – Прислуга удивительно забавна в своем паническом ужасе. Представьте себе, старый Аким только по утрам приходит служить, а вечером непременно уходит обратно и ни за что старый упрямец не останется ночью на острове. Как-то, под вечер, слышу я собачий вой в кустах, зову Акима и велю ему прогнать собаку, которую, вероятно, привел кто-нибудь из садовников и забыл на острове. Так знаете, что ответил мне этот чудак? – Что он не может прогнать собаку потому, что это не живая скотина, а призрак сдохшего пуделя Маруси, и что пес этот всегда является перед чьей-либо смертью. Право, я уже не знала, смеяться мне или сердиться на такие глупости и решила, что старик пьян. Впоследствии я видела, однако, эту собаку уже собственными глазами. Это был действительно черный пудель; бежал он вдоль террасы, понунив голову, словно что-то вынюхивая, и опустив хвост между ног. Неподалеку от меня он остановился, стал царапать землю лапами и завыл; но это была совершенно обыкновенная собака, а когда я бросила в нее книгой, она убежала и я не слышала ее более. Но здесь очевидно суеверие – в воздухе; самые простые вещи превращаются в таинственные, каждая собака – в призрак, каждый ворон – в переодетого черта! Ха, ха, ха! К счастью, мы с Милой люди здравые и видим все в настоящем свете.

– Несомненно, многое в этих рассказах и преувеличено, но раз вам обеим здесь нравится, то и оставайтесь, пожалуйста, как можно дольше, – приветливо сказала Замятина.

– Мы непременно воспользуемся вашей любезностью, потому что здешний воздух приносит огромную пользу моей бедной Миле. Я не

помню ее такой свежей и веселой, как тут, а обмороки ее, которые всегда так пугали меня, почти совершенно прошли. Но в октябре мы уже будем в Киеве, чтобы поспеть на свадьбу Нади и остаться там на зиму. Я хочу, чтобы Мила повеселилась. Молодежи необходимо движение и развлечения, а до сих пор она вела слишком однообразную жизнь и долго горевала по своему женихе, графе Висконти.

В течение оставшихся дней, предшествовавших отъезду Замятиных, Мила была настороже и заметно избегала Михаила Дмитриевича. Масалитинов же, хотя и не помнил, что произошло с ним тогда в саду Максаковых, но был встревожен и не в духе, не понимая своего состояния. Образ Милы положительно его преследовал, и в нем боролись два чувства: одно – отталкивающее и почти враждебное к ней, а другое – притягательное, смешанное с глухой, но чисто животной страстью. Бывали минуты, когда он страстно желал обладать этой стройной и хрупкой женщиной с русалочьими, фосфорически горевшими глазами и золотой гривой, метавшей иногда точно искры. А затем вдруг у него являлось отвращение: гибкость ее тела напоминала ему змею, зеленые глаза – не то пантеру, не то другое какое-нибудь хищное животное, а волосы казались рыжими и противными. Такая двойственность чувства невыразимо его мучила. И все замечали, что с последнего обморока он сделался мрачным, задумчивым и малообщительным.

Наконец настал день отъезда, и после плотного завтрака все сели в экипажи, чтобы отправиться на станцию. Мила с Екатериной Александровной непременно желали проводить уезжавших, и, к большому удивлению Замятиной, на станции их ожидало многочисленное общество. Приехали проститься семейство Максаковых и много других соседей, а в числе прочих и молодой граф Бельский, привезший г-же Морель с Милой приглашение матери провести у них день-два вместо того, чтобы тотчас возвращаться в опустелый за отъездом хозяев дом. Так как багаж был отправлен накануне, путешественники не были ничем связаны и провели приятно целый час в веселой болтовне. На станции Ведринский ревниво следил за Михаилом Дмитриевичем, не давая Миле возможности остаться с ним с глазу на глаз. Он наблюдал за ней и подметил, что минутами зеленые глаза ее широко раскрывались и застывали неподвижно, – как стоялая вода в пруде, впиваясь в Масалитинова, когда тот этого не замечал. Ведринский обратил также внимание, что лицо Масалитинова становилось сразу сонливым, взор делался мутным и он нервно проводил рукою по лбу. Тогда Георгий Львович тотчас же заговаривал с ним и заставлял ходить, обрывая таким образом действие чар; раз он мрачным взглядом смерил Милу, и та

поняла, что молодой человек напал на след ее махинаций. Наконец счастливые путешественники вошли в вагон, и, когда поезд тронулся, Надя перекрестилась.

– Слава Богу, что мы выехали наконец из этого проклятого места, – проговорила она. – Клянусь, никогда ноги моей тут больше не будет; я даже попрошу папу продать Горки. Может быть, Мила их купит; имение нравится ей и madame Морель, так пусть и они живут тут. Можешь себе представить, мама, – прибавила она, поворачиваясь к Зое Иосифовне, – эта бессердечная девушка не ходит уж больше на могилу матери. Вчера я была там, чтобы проститься с бедной Марусей и помолиться за ее душу. Я принесла венок и вдруг увидела на памятнике несколько сухих, увядших букетов и венков. Я позвала садовника и выбрала за то, что он не убирает старых, а он сказал мне:

– Людмила Вячеславовна всегда приносили и сами меняли цветы на могиле, так я и не смел тронуть последние, ими положенные; а они вот уже неделю, либо дней десять как не жаловали сюда.

– Да, эта особа антипатична во всех отношениях. Я очень рад не видеть ее более, да и Горки тоже. Несмотря на мой скептицизм, место это стало мне противно, – весело заметил Михаил Дмитриевич.

К нему вернулось, по-видимому, его прежнее, хорошее расположение духа; он смеялся, шутил и выказывал нежное внимание очаровательной невесте. Надя была совершенно счастлива и рассказала кстати, как тревожило ее странное болезненное состояние жениха.

– Правда, я не хорошо чувствовал себя последнее время и постоянно ощущал, точно у меня на лице паутина. Я с трудом дышал иногда, а минутами даже зрение мутилось, – отвечал Масалитинов. – Теперь же мне кажется, что с меня свалилась точно какая-то тяжесть, – прибавил он.

С наступлением ночи кавалеры ушли в свое купе, рядом с купе Замятиных; расположились удобно и скоро заснули. Но во сне Ведринский увидел вдруг расталкивавшего его адмирала и потому проснулся. Впечатление было так живо, что он сел на постели и стал озираться кругом, ища Ивана Андреевича. Вид купе мгновенно вернул его к действительности, он хотел было лечь, но вздрогнул, услышав тяжелый, болезненный вздох. Он взгляделся в лежавшего напротив него приятеля и заметил, что тот беспокойно ворочается и глухо стонет.

– У него кошмар, должно быть, – подумал Ведринский, вставая, чтобы лучше рассмотреть кузена, так как синяя занавеска на фонаре затемняла свет и в отделении был полумрак.

Масалитинов спал, лежа на спине; он был бледен и видимо страдал.

Сквозь полуоткрытые губы со свистом вырывалось сдавленное дыхание, рука была влажна и холодна, а лоб в поту. Георгий Львович встревожился и поднял голову, чтобы откинуть немного занавеску фонаря, мешавшую ясно видеть, но в это мгновение заметил в глубине купе, над головой спавшего, две светящиеся точки, окутанные черноватым дымом. Он чувствовал, как у него волосы зашевелились на голове, а на теле выступил холодный пот. Теперь он ясно видел, что эти две блестящие точки были не что иное, как два хорошо знакомых зеленоватых и фосфорически горевших глаза, а черная дымка волновалась, принимая розовато-серый оттенок. Как очарованный, смотрел Ведринский на это странное видение, но новый стон спавшего друга отрезвил его. Он вспомнил, что на пальце у него таинственное, найденное в шкатулке мавра кольцо, которое он считал талисманом.

Арабскую надпись вокруг камня он выучил наизусть по совету адмирала. В эту трудную, мучительную минуту он решил прибегнуть к силе кольца и поднял руку, повернув камень в сторону таинственного видения; арабскую фразу, считавшуюся магической формулой, он говорил, не понимая даже ее смысла. Но едва произнес он неизвестные ему слова, как зеленые глаза мгновенно потухли, образовался красный шар с чем-то вроде хвоста и с минуту заколебался; а потом он прошел сквозь стену и исчез. В то же время Масалитинов снова застонал и прижал руки к груди. Ведринского охватила нервная дрожь, но он открыл несессер, достал туалетный уксус и стал растирать виски и руки приятеля. Еще минуту спустя тот открыл глаза и сел.

– Ах, Жорж, как я благодарен тебе, что ты разбудил меня. Ты, наверно, слышал, как я стонал, потому что меня мучил отвратительный кошмар.

– Конечно, стонал, от этого-то я и проснулся. А что ты видел такое страшное во сне?

– Да глупость какую-то. Мне казалось, будто надо мной вертятся два зеленые шара, а из них исходят лучи, которые пронизывают меня, как иглами. Я задыхался, а в сердце чувствовал ужасную боль и думал, что умираю; собственно говоря, точно что-то сосало сердце. А теперь я слаб и разбит. Дай мне стакан вина; бутылка лежит в дорожной корзине, которую дамы предоставили в наше распоряжение.

Георгий Львович открыл корзинку, дал ему полстакана, мадеры и предложил жареного цыпленка, которого Масалитинов съел с большим аппетитом.

– Послушай, Миша, – сказал Ведринский, отрезая ему хороший кусок пирога, – обещай мне посоветоваться с доктором в Киеве. Нельзя допускать

подобные припадки. Подумай только, ведь ты собираешься жениться. А может быть, у тебя начинается какая-нибудь нервная болезнь, которую можно остановить в самом начале.

– Ты прав, Жорж. Как только приедем, я съезжу к доктору Иванову, специалисту по этим болезням. Сам не знаю, что со мной делается. Никогда в жизни ничего подобного не бывало. Здоровье у меня всегда было превосходное, и доктор наш сравнивал меня с молодым дубом. Да, да, непременно буду лечиться.

В Киеве Замятин встретил свою семью на станции и все тотчас отправились на дачу, уже вполне устроенную. Но заметно было, что Филипп Николаевич похудел, осунулся, был чем-то, видимо, озабочен и не так весел и общителен, как обыкновенно. Несмотря на это, жизнь на даче сразу пошла оживленно, как всегда у Замятиных; знакомых из Киева наезжало много, а собрания и пикники шли без перерыва. Кроме того, и приготовление приданого заняло Надю, которая сразу повеселела, когда очутилась в привычной обстановке. Масалитинов оправился, и тревожные явления не повторялись, а поселившийся у него Ведринский следил за его здоровьем с братской любовью.

XIII

Оставшись вдвоем в Горках, Екатерина Александровна с Милой тоже жили превесело, часто бывали у соседей и принимали у себя. Дача на островке никогда не видела такого оживления за все время своего существования. Граф Бельский был частым гостем, и г-жа Морель принимала его с распростертыми объятиями, пламенно желая, чтобы он женился на Миле; но та не разделяла ее вкуса, хотя относилась очень благосклонно к молодому графу и любила его общество, потому что он в избытке обладал тем же живительным током, который Мила так любила вдыхать.

Бельский был очень красивый двадцатидвухлетний юноша, высокий, сильный, белый и румяный, как деревенская девушка; словом, он олицетворял силу и здоровье. Мила очень ценила эти свойства, охотно беседовала и танцевала с ним, но граф Адам не был героем ее мечтаний. Она жаждала Масалитинова. И не потому только, что находила его красивее, но ее манило особое наслаждение отнять его от Нади, которую она ненавидела и не могла ей простить, прежде всего, что она именно его невеста, да еще притом любимая; а во-вторых она не могла забыть ее равнодушие к себе и холодность.

Дней десять спустя по отъезде Замятиных, как-то вечером Мила сидела одна в своей комнате; у Екатерины Александровны была мигрень, и она рано легла в постель. Мила пробовала читать, но мысли ее были в Киеве и она с ревнивой злобой раздумывала, как весело в интимной беседе проводят, вероятно, время жених и невеста. Отец обещал посвятить ее, помогать ей, наконец, дать любимого человека, и все это как только уедут Замятины; между тем прошло больше недели, а от него нет ни слова. Злобное чувство охватило ее и, поглощенная своими недобрыми мыслями, она не заметила, как у ней появилась сильная сонливость, а затем она потеряла сознание...

Открыв глаза, Мила увидела себя снова в подземелье; около кресла, на котором она полулежала, стоял отец, держа на ее челе свою холодную с тонкими пальцами руку.

– Вот ты и проснулась, крошка. Сперва выпей, а потом поговорим, – сказал Красинский, подавая стакан с розовой, ароматной жидкостью.

Мила выпила, и приятная теплота разлилась по ее жилам.

– Благодарю, папа. Твое лекарство облегчило меня, и я очень рада тебя

видеть: а я уже думала, что ты забыл меня.

Красинский улыбнулся.

– О, нет! Я не забуду тебя; но я наблюдал издали, и могу сказать, что доволен тобой: ты осторожна и неболтлива. Ты ничего не сказала о нашем свидании Катрин и хорошо сделала. Но вместе с тем, я пришел к убеждению, что из тебя никогда не выйдет большой колдуньи: у тебя нет того, что для этого нужно... Ну, да это не беда. Высшая черная магия, дочь моя, наука сложная и мудреная; она требует много труда и тяжелых испытаний. Для тебя это не важно; но все же ты можешь многое сделать, потому что я дам тебе деятельных и толковых пособников, которыми тебе стоит только распорядиться. Для получения, однако же, всего обещанного ты должна послужить нашему братству; иначе я не могу ничего дать тебе. Понимаешь? *Услуга за услугу.*

– Понимаю, папа. Даром никто ничего не дает. А что я должна делать, чтобы служить братству и получить его покровительство?

– Услуги твои потребуются по мере надобности, но об этом после. Теперь скажи мне, любишь ли ты и умеешь ли молиться? Горячая ли у тебя вера?

– Нет! – равнодушно ответила Мила. – Меня никто не наставлял в вере. Моя приемная мать не верит в Бога и отрицает всякое божественное участие в жизни человека. Молиться она никогда не учила меня, хотя не мешает мне, правда, соблюдать внешнюю, обрядовую сторону; но для меня все это не имеет никакого смысла и интереса. Я ничего не понимаю и не умею молиться. От запаха ладана меня тошнит, а от крестного знамения и обращения к Богу кружится голова.

Мила не заметила, что всякий раз, когда она произносила слово *Бог*, отец ее вздрагивал и лицо его искажалось судорогой.

– Я прошу тебя, Мила, *никогда* не называть по имени... Того, Кому поклоняются в церкви. Он враг моего властелина и разрушает наши предприятия. Тот, чье имя я не хочу слышать, не даст тебе ничего кроме тяжелых страданий, чтобы «испытать», видишь ли, твое мужество, и нравственных пыток для «укрепления твоей веры». Мой властелин даст тебе все и не потребует многого взамен. Ты должна только поклясться верно служить ему и беспрекословно исполнять все его повеления.

– О, конечно, я готова повиноваться, только бы его требования не были слишком страшны. Знаешь, я всегда боюсь, когда вижу или слышу что-нибудь необычайное, особенно из мира оккультного.

– Не бойся ничего; я ручаюсь, что тебе страшно не будет. Страх – это слабость нервов, а у нас есть средства от этой болезни. Запомни, кстати, –

Катрин никогда не должна знать о наших свиданиях. Она ничего не понимает и ничему не верит, так зачем смущать ее покой? Это баба хорошая: она много сделала для тебя и любит искренно; значит, мы должны быть ей благодарны; а ее ограниченный умишко все равно не в состоянии постичь что бы то ни было из оккультной науки, или хотя бы даже понять *меня*. Вот флакон, – продолжал Красинский, подавая дочери небольшую продолговатую темную скляночку с металлической пробкой.

Он вынул пробку и показал Миле, что отверстие сосуда закрыто пластинкой с мелкими, как у перечницы, дырочками.

– Каждый раз перед тем как идти сюда, попрыскай немного из этого флакона на ковер в комнате Екатерины Александровны, что не причинит ей вреда; эссенция эта – довольно сильное, но совершенно безобидное снотворное снадобье. Она будет спать, и не станет беспокоить тебя нескромными расспросами. Никто не заметит твоих отлучек, так как нам нужно только ночное время, с полуночи до первых петухов.

– До первых петухов? – задумавшись, повторила Мила за отцом. – Разве ты немножко колдун? – нерешительно спросила она, поднимая глаза на Красинского.

– Именно. *Немножко* колдун, *немножко* волшебник, – ответил тот, усмехаясь и подмигивая.

– А правда, что колдуны бывают на шабаше? Вот где должно быть очень весело и интересно.

– Правда. А ты желала бы там побывать?

– Даже очень, если возможно.

– Твое желание осуществимо, и мне приятно, что у тебя склонность к темной науке. Следуй только моим советам, и все будет хорошо. Я буду давать тебе уроки и научу пользоваться различными вещами, которые тебе понадобятся, а затем представлю тебя нашему главе. Ты дашь обет, и – будь что будет – карьера твоя обеспечена.

В эту минуту вдали раздался дрожащий звон колокола. Красинский вскочил и сделал такой жест, точно бросал что-то в лицо Милы. Та откинулась на спинку кресла с закрытыми глазами, словно получила удар по голове. Потом, послушная наказу отца, сказанному тихо и отрывисто, она встала и, словно тень, исчезла в коридоре, ведущем в верхние комнаты дома, а Красинский торопливо зажег электрический фонарь и вышел.

Он знал, что этот звон возвещал прибытие членов братства, искавших приюта или приехавших по делам. Быстро прошел он старинную часть подземелья, где находились темницы и комната пыток, а в комнате древнего судилища нажал пружину. Отворилась скрытая в нише дверь, и показался

длинный узкий коридор, которым он прошел в старый монастырский склеп, совершенно заполненный памятниками: даже стены покрыты были каменными и бронзовыми плитами. Сзади большого памятника, изображавшего во весь рост одного из бывших настоятелей, Красинский отворил еще одну потайную дверь, поднялся на лестницу и приподнял подполицу.

При лунном свете видны были развалины старой церкви, а в двух шагах от подполицы, скрываясь в тени, стояли два человека в темных плащах.

– Люцифер, – прошептал Красинский.

– Цербер, – ответили незнакомцы, вступая на ступени лестницы.

Пожав Красинскому руку, все трое спустились, дверь захлопнулась, и Красинский тем же путем повел посетителей в свое подземное жилье. Надо полагать, что это были знатные и важные члены общины, судя по тому, что Красинский выказывал им особое почтение.

– Не можешь ли ты, брат Ахам, дать нам кое-что перекусить, чтобы подкрепить наши силы? Мы устали и проголодались после долгого странствия, – сказал один из гостей, пока Красинский снимал с него плащ.

– Разумеется, брат Уриэль. Я сейчас прикажу подать ужин. Он ударил в находившуюся в углу металлическую доску и тотчас появился невзрачный и тщедушный карлик, которому он отдал приказания.

Посетители уселись и беседовали вполголоса, а Красинский придвинул тем временем к ним стол, накрыл его скатертью, поставил две бутылки вина, – судя по густому слою мха, очень старого, – и три золотые чаши с вычеканенными на них посохом и митрой, принадлежавшие, вероятно, к сокровищам аббатства.

Красинский, – или брат Ахам, как его называли гости, – заканчивал уже свои приготовления, а в это время вошел карлик с большой корзиной. Он вынул тарелки, ножи и вилки, а потом поставил на стол блюда с холодным мясом, паштетом, яйцами, плодами и вареньем. Путешественники были очень голодны, очевидно, и отдали честь ужину, так что вскоре остались пустые блюда, которые карлик и унес; а гости с хозяином остались за столом, не торопясь попивая густое, как мед, вино, наполнявшее их чаши.

– Теперь, брат Ахам, – сказал тот, кого Красинский называл Уриэлем, – я сообщу тебе, какой неожиданный случай привел нас. Мы обращаемся к твоему знанию и помощи.

– Вы знаете, друзья, что то и другое всегда в вашем распоряжении.

– Община наша понесла большую утрату: умер брат Баалберит, –

сказал Уриэль, вздыхая.

Красинский даже привскочил от изумления.

– Он... он умер!.. Возможно ли? Человек с такими огромными познаниями, сильнейший чародей и вызыватель, какого только я видел. Ничего не понимаю! Не замешан ли в этом несчастье Буллан, я хочу сказать, проклятый Иоганнес?

– Нет, на сей раз этот мерзавец тут ни при чем. Наш несчастный брат сам виноват в своей неосторожности. Вот что случилось, – продолжал Уриэль. – Ты знаешь, покойный брат наш был редкой красоты, именно сатанинской; к тому же он любил приволокнуться, особенно за молоденькими, наивными девочками, которых завлекал в общину. Так вот, одна из таких девчонок оказалась сильнее, победила его и убила.

– Ты не шутишь, Уриэль? – с некоторым недоверием спросил Красинский.

– К несчастью, не шучу. Вот как произошло это невероятное дело. Молодая девушка, о которой идет речь, обаятельно хороша собой, и брат Баалберит серьезно влюбился в нее. Это глупо, конечно, но случается; тем более, что это была недотрога, что еще более возбуждало страсть. Но это не все. Главная беда в том, что девушка оказалась племянницей одного старого монаха-аскета и... ясновидящего, имевшего на нее огромное влияние и внушившего ей фанатическую набожность. Он сразу понял, с кем имела дело племянница, и открыл ей, что тот – чародей и служитель ада, потребовав, конечно, чтобы она прервала всякие с ним сношения. Но девчонка сама была влюблена и задумала смелый план... «спасти душу» любимого человека...

Уриэль остановился, громко захохотав, и остальные вторили ему.

– Началась ожесточенная борьба, – продолжал он, нахохотавшись вволю. – Баалберит тянул ее в ад, а она его на небо и оба старались совершенно напрасно, разумеется. А он, ослепленный страстью, не подозревал, что зрело в душе глупой фанатички. Словом, она вбила себе в голову, что лучше ей видеть его мертвым, чем «отверженным», в качестве служителя дьявола. И она сумела раздобыть себе оружие положительно ужасное для любого из нас: кинжал, который ухитрилась трое суток продержать на престоле, затем смазала его освященным маслом и окунула в святую воду. Окончив эти приготовления, она заманила Баалберита в уединенный дом за городом и там вонзила оружие ему в грудь. Удар был весьма слабый, и рана сама по себе не смертельна; но столкновение с противной силой так ужасно, что астрал был как бы поражен молнией и, чтобы избежать жестоких страданий, так стремительно вырвался из

физического тела, что жизненная нить порвалась, а унесенный в пространство дух не мог уже вернуться в свое тело. Оружие пробыло в ране круглые сутки и только тогда потеряло силу. За дорогую цену мы добыли-таки это покрытое его кровью оружие и известным тебе магическим способом могли вызвать покойного на последней черной мессе. – Необходимо теперь достать новое живое тело для Баалберита; он слишком полезный член братства, чтобы оставлять его в пространстве, где он притом чувствует себя прескверно.

– А в этом затруднительном случае мы вспомнили тебя, брат Ахам, – заговорил второй посетитель, до тех пор молчавший. – Мы знаем, что познания твои в искусстве *аватара* громадны.

– Спасибо за добрую память и лестное мнение, брат Бифру. Правда, я много изучал этот вопрос и надеюсь помочь несчастному брату Баалбериту. Скажите, однако, что в общем требуется? – возразил Красинский.

– Надо дать ему молодое и крепкое тело для того, чтобы хорошо перенести страшное потрясение; затем, по возможности, лицо это должно быть богато и хорошо поставлено в обществе, чтобы и нам быть полезным, – ответил тот, кого звали Бифру.

– Условия не из легких... Надо сообразить, – задумчиво заметил Красинский, облакачиваясь на руку; но через минуту он уже весело поднял голову и глаза его заблестели, а торжествующая усмешка озарила лицо.

– Дело в шляпе, друзья мои. Личность, у которой я намереваюсь конфисковать тело в пользу Баалберита, называется графом Бельским. Это – молодой человек, лет двадцати двух, крепкий, как дуб, и обладатель, по крайней мере, трех миллионов, не считая имений и домов в Киеве и Петербурге. У меня же здесь дочь вампиричка, и с ее помощью я могу легко произвести операцию. Таким образом, мы дадим нашему брату положение еще лучше прежнего.

– Вот это чудесно, и мы искренне отблагодарим тебя, брат Ахам, – заметил весело Уриэль.

– А когда ты можешь приступить к исполнению? – спросил Бифру.

– Понадобится все-таки несколько недель для подготовки внешних обстоятельств. Надо, во-первых, спровадить отсюда мать этого молодчика, а потом просветить слегка и привести к присяге моего медиума. В этих видах, мы могли бы даже устроить небольшой ночной пир в развалинах. Надеюсь, друзья, вы не откажетесь остаться здесь до этого торжества. Как видите, я недурно устроился и пребывание здесь вам не грозит большими неудобствами, а вы между тем отдохнете и наберетесь сил.

– Принимаем с признательностью твое приглашение. Наше

странствование по Америке было утомительно, а потом всех нас взволновало это происшествие с Баалберитом, – ответил Уриэль.

– Значит, решено, вы – мои гости. А брат Бифру, действительно, нехорош на вид, и я постараюсь, чтобы он вполне отдохнул.

– Да, я устал и стремлюсь вернуться в невидимый мир; да вот все никак не могу найти себе заместителя, и это тяготит меня, – и Бифру тяжело вздохнул. – Да, жизнь тяготит меня, и я не предполагал, однако, как трудно найти себе преемника.

С этой ночи в подземелье пошла совсем необычная жизнь. По ночам неизвестно откуда приходили и куда-то уходили разные люди.

Мила хотя приходила не раз к отцу, но, понятно, не видела никого. Разговаривали они как всегда. Красинский посвящал ее в теорию оккультизма и магии, показывал ей различные явления, хотя и не особенно важные, но зато интересные, которые возбуждали внимание и любопытство молодой девушки. Между прочим, она рассказала отцу, что ее поклонник, граф Бельский, очень огорчен болезнью матери. Старая графиня внезапно почувствовала себя дурно, появились сердечные боли, и доктор отправил ее на два или три месяца в Ментону. Граф хотел было сопровождать ее, но графиня, зная как он влюблен в Милу, не хотела разлучать сына с его «идолом» и поехала с компаньонкой. Мила очень смеялась, рассказывая это, и забавлялась наивностью графа Адама, не умевшего скрывать любовь и рассказывавшего ей все. Красинский назначил ей лечение, давал капли для внутреннего употребления и мазь для наружного; а молодая девушка в точности исполняла предписания отца, потому что тот сказал, что эти лекарства разовьют ее астральную силу.

Однажды утром Мила нашла в своем бюроаре следующую записку отца: «В полночь приходи в библиотеку и надень плащ на случай холодной погоды. Все будут спать и никто не потревожит тебя; не забудь полить эссенцией у г-жи Морель».

Очень заинтересованная, Мила с нетерпением ждала ночи.

После обеда она легла немного уснуть, чтобы быть свежее ночью; потом, под предлогом усталости, она рано ушла к себе, позаботившись сделать пульверизацию в комнате Екатерины Александровны, чтобы та не беспокоила ее приходом не вовремя. Незадолго до полуночи она отправилась в библиотеку и там ждала отца, – ни жива, ни мертва от страха и любопытства. Ровно в полночь внутри камина бесшумно раскрылась дверь, на пороге которой она увидела Красинского с фонарем в руке.

– Ага, ты пришла! Это хорошо, что ты исправна. Идем же скорее.

Он взял ее за руку и повел через лестницы и коридоры в залу древнего

судилища. К глубокому удивлению Милы, там собралось человек тридцать обоюбого пола: все были в длинных темных плащах с надвинутыми на глаза капюшонами. Висевшая на потолке старинная масляная лампа озаряла комнату красноватым светом, от которого на голые стены ложились странные, причудливые тени. Смущенная Мила пугливо оглядывала окружавшую обстановку.

Присутствовавшие образовали круг, а посреди стали три человека в красных мантиях с шейными звездами на голубых лентах; то были очевидно главари. В ту же минуту Мила увидела, что отец ее одет в черное трико, короткий черный бархатный камзол средневекового фасона, а на груди его, на металлической цепочке, висел красный эмалевый треугольник острием вниз; один из присутствовавших подал ему пурпуровый плащ взамен черного, в котором тот пришел.

Красинский достал из ящика и надел на шею дочери голубую ленту с висевшим на ней, тоже острием вниз, черным треугольником; затем, взяв ее за руку, он подвел к женщине, лицо которой скрывал опущенный капюшон.

– Держись сестры Демении, так как мне некогда будет заниматься тобой. Ты позволишь, милая сестра?

Женщина утвердительно кивнула головой и взяла в руку поданный ей одним из мужчин факел.

Все присутствовавшие вооружились зажженными факелами, и шествие двинулось в путь, во главе с Красинским и тремя лицами в красных мантиях. Пройдя разными извилистыми коридорами подземного лабиринта и миновав склеп, Красинский отворил дверь, скрытую каменным столом в развалинах маленькой, стоявшей в глубине роции капеллы. Оттуда аллея вела в аббатство. Толстый слой сухих листьев и валежника хрустел под ногами, а красный и дымный свет факелов терялся под непроницаемым сводом густой листвы вековых дубов. Наконец дошли до развалин; шествие проследовало под уцелевшими еще сводами монастыря и вступило в костел. В высоких стрельчатых окнах не было рам и внутри свистел ветер, крутя палые, усеявшие пол листья.

Пройдя покинутый костел и окружавшее его кладбище, шествие обогнуло густую чащу, за которой открылась небольшая поляна, а посредине ее при слабом свете луны на ущербе виднелся *долмэн*.

Мила молча шла рядом с назначенной ей отцом спутницей. Эта ночная церемония чрезвычайно занимала ее, и она с большим любопытством смотрела на приготовления. К великому изумлению увидела она, что несколько человек отделилось от процессии со свертками в руках, которые положили у памятника; а еще двое тащили за рога черного козла. Факелы

были воткнуты в виде круга по окраине поляны в приготовленные уже камни. Площадка и памятник теперь озарены были красноватым светом. Из одного узла распорядители вынули треножник и корзину с углями, которые зажгли, поставив треножник под камнем долмэна, а трое главарей в красных плащах бросали на горевшие угли травы, порошки и что-то лили в огонь. Повалил дым густыми клубами, и воздух наполнился едким, неприятным запахом.

– Падите и преклонитесь перед нашим властелином, дарующим нам земные сокровища, материальные радости и всевозможные в жизни наслаждения, – звучным голосом провозгласил Красинский.

Все опустились на колени и склонили головы до земли, а люди в красных плащах затянули странную, пронзительную и неблагозвучную песнь; в ту же минуту колокол, помещенный над долмэном, прозвонил три раза. Тогда все поднялись на ноги и взялись за руки, образовав цепь вокруг памятника, и вторили пению главарей, стоявших посередине круга. Хор получился могучий, но удивительно не гармоничный, точно к человеческим голосам примешивалось и звериное рычание. Ледяная дрожь пробежала по телу Милы, когда она увидела, что отец ее резал черного козла и выпускал его кровь – частью в громадную и широкую чашу, а частью в глубокий таз под долмэном.

– Приидите, братья и сестры во Люцифере, и разделите эту чашу, наполненную соком жизни; он навсегда соединит нас друг с другом, – звонко крикнул Красинский, поднимая чашу.

Все подходили один за другим и с видимым наслаждением пили горячую кровь. После этого цепь снова сомкнулась, и вокруг памятника заплясал безумный хоровод, сопровождая пляску дикими окриками и беспорядочными прыжками. Мила пила кровь вместе со всеми; шум, пение и фантастическая обстановка опьянили ее. Она не могла отвести взора от сидевшей на корточках на долмэне фигуры Бафамета, и ей казалось, что глаза истукана были живые, а из-за полуоткрытых губ демона блестели белые и острые зубы. Общий пляс закончился взаимными братскими поцелуями всех присутствовавших, после чего наступила новая церемония.

Принесли второй треножник, меньше первого, и поставили его перед долмэном, а когда зажгли на нем угли и ароматические травы, то Уриэль, Бифру и Красинский с трех сторон разместились вокруг дымившегося треножника в виде треугольника. Тогда сестра Демения схватила руку бледной и смущенной Милы и подвела ее к трем главарям.

– Эта молодая девушка – моя дочь, – произнес Красинский. – Она желает вступить в нашу общину и поклоняться нашему владыке, а теперь

принесет клятву. Она не годится для «великого посвящения», но послужит братству, по мере своих сил, и с послушанием будет пользоваться только теми средствами, какие мы предоставим в ее распоряжение. А теперь, дочь моя, повторяй за мной:

– Я отрекаюсь от веры, в которой родилась, и буду избегать церкви с ее религиозными церемониями; но так как я не получила «великого посвящения», то могу, в случае крайности, чтобы не возбуждать подозрения обыкновенных смертных, присутствовать на церковных торжествах и входить в христианские храмы, принимая, однако, для этого указанные мне предосторожности. Приняв же посвящение, я буду в уединении моей комнаты совершать тайные обряды. Клянусь служить братству с усердием и покорностью, а каждому из членов нашего со юза, братьям моим и сестрам во Люцифере, помогать по мере сил. Клянусь также служить и членам нашим из потустороннего мира.

Словно наэлектризованная поднимавшимся от треножника и бившим ей в лицо запахом, Мила произнесла эту клятву громким, ясным и решительным голосом.

– Хорошо, – сказал Уриэль. – Братство принимает тебя в свою среду. С этой минуты имя твое между нами будет *Лилита* и запишется так в списки ордена. А теперь, сестра Лилита, положи свою руку на наши.

Они держали руки над треножником в виде треугольника ладонями кверху.

Но едва Мила положила на их руки свою, как у нее вырвался сдавленный крик; она почувствовала, будто руки ее коснулись раскаленным железом, но боль прошла так же быстро, как и появилась.

– Хорошо, – заметил Уриэль, – ты получила печать ордена, а братство, в награду за верность и послушание, даст тебе все, что ты пожелаешь: богатство, наслаждения, слепую страсть всех мужчин, которые тебе понравятся, и жизнь, полную радостей и превосходства над прочими женщинами. Отец твой будет твоим учителем и просветителем.

По окончании церемонии все вернулись в разрушенное старое аббатство, унося с собой треножники и большой таз с кровью. Полуразвалившийся костел осветился красным огнем факелов. Каменный престол накрыли малиновой скатертью с вышитыми черными каббалистическими знаками; из принесенных пакетов достали статуэтку Бафамета и семирожковый шандал с черными восковыми свечами, который поставили на престол, а спереди положили старую книгу в кожаном переплете. Всем присутствовавшим раздали черные свечи, а на треножниках снова горело одуряющее, тошнотворное курево. Большой таз

поставили на полу перед престолом, зажгли треножники, и все сгруппировались вокруг. Тогда Бифру вошел на ступени и, обернувшись к собранию, звучным голосом сказал:

– Друзья, один из наших братьев, вследствие гнусного предательства, был вырван из своей земной оболочки. Мужественная, жаждущая деятельности душа его страдает и, взывая к нам, требует помощи. На нас лежит обязанность вызвать его и оказать ему утешение. Мы совершим нужные обряды, а потом брат Ахам приступит к вызыванию.

Два человека принесли священническое облачение и митру, которые надели на Бифру; дали ему посох и стали около, изображая собой служек; по толщине золототканой парчи, по рисунку и форме посоха и митры можно было судить о их древности и о принадлежности к ризнице монастыря, если не допустить, что они были похищены из могилы какого-нибудь старого аббата. Затем началась кощунственная церемония.

То не была *черная месса*, со всем ее циничным ужасом, а нечто вроде погребальной службы. Дикое пение сопровождало гнусный обряд, и сама природа словно вторила нескладному хору. Поднялся сильный ветер, который гнул деревья и ледяными порывами носился под сводами; вдали гремел гром, и молнии огненными зигзагами рассекали воздух. Тем временем, пока свирепствовала эта нежданно налетевшая буря, Красинский стал перед наполненным кровью чаном, зарезал трех черных петухов и столько же летучих мышей, и выпустил кровь их в таз. После этого он достал из-за пазухи кинжал с лезвием, покрытым пятнами, и начертал им в воздухе круг.

– Твоей собственной кровью черчу я магический круг и заклинаю тебя явиться среди нас. Баалберит! Баалберит! Баалберит! – кричал он резким голосом, который покрыл собой вой ветра и дикое пение.

Он поклонился на все четыре стороны.

– Помогите, духи стихий, и будьте благосклонны к нам, равно и к духу, который хочет здесь проявиться. Дайте ему возможность быть видимым и выразить свои желанья. Огонь, вода, земля, воздух, служите нашим владыкам! Духи стихий, приведите и пособите духу Баалберита!

Он прибавил несколько заклинаний, а потом нагнулся и стремительно вонзил кинжал в землю. В ту же минуту из земли вырвался сноп огня, и в пределах магического круга, сверкавшего в воздухе фосфоресцировавшей нитью, появились туманные фигуры: красные, серые, синеватые и зеленоватые; эти облачные фаланги словно плясали хоровод вокруг чана, то сбиваясь в кучу, то поднимаясь спиралью вверх. Над кадкой же стало образовываться черноватое, испещренное искрами облако; с минуту оно

кружилось, точно подгоняемое ветром, а потом из него выросла, как живая, фигура еще молодого и бесспорно красивого человека; но на смертельно-бледном лице его застыло, казалось, выражение ужаса, а взгляд был мутный и блуждающий. Он был наг и на месте солнечного сплетения виднелась большая открытая рана.

– Дайте мне живое тело, верните мне возможность наслаждаться. Я заслужил эту награду моими услугами братству, а больше ничего не прошу. Но жить, жить я хочу, чтобы не страдать больше, не задыхаться в атмосфере, которая давит и жжет меня! – прокричал он глухим и свистящим голосом.

– Желание твое будет исполнено. Живое тело, которого ты жаждешь, подыскано, и очень скоро, как только позволят обстоятельства, ты будешь воплощен в него. Успокойся же, жди и рассчитывай на наше обещание! – в один голос ответили Уриэль, Бифру и Красинский.

Минуту спустя видение растаяло, и все рассеялось. Проворно все бывшие в употреблении предметы были сложены, прибраны, запрятаны в мешки и корзины, и вся ватага вернулась в подземелья. Теперь все отправились в ту именно их часть, где помещалась некогда масонская ложа; а в столовой было все приготовлено для пира. Столы уставлены были серебром и хрусталем, пирогами, громадными рыбами, холодными мясными блюдами, фруктами, конфетами и целыми батареями старого вина во мшистых флягах. Но общество остановилось в смежной зале.

Там, на возвышении в несколько ступеней, стояло в виде трона кресло с высокой спинкой, на которое сел Уриэль. Когда все стали против него полукругом, он произнес краткую речь. Одних из членов он благодарил за оказанные услуги, других ободрял, а некоторых бранил за излишнюю щепетильность и недостаточное рвение в уничтожении векового врага – христианства – и в работе по расширению царства сатаны, – их царя и покровителя.

– А теперь, – сказал он, заканчивая речь, – пусть подходят по очереди те, у кого есть жалоба, заявление, право на получение награды, или кто хочет высказать желание. По мере возможности все будут удовлетворены.

И потянулось довольно странное шествие просителей. Одни хвастались своими злодеяниями и кощунствовали, требуя в награду кто доходного местечка, кто просто денег, а кто содействия для скорейшего получения большого наследства; другие просили спасти их от наказания за кражу, подлоги, убийства; двое жаловались на недостаточную поддержку со стороны членов ордена; какая-то женщина требовала освободить ее от стеснявшего мужа, другая хотела непременно выиграть на свой билет,

третья добивалась получить любовный напиток, четвертая, гневно сверкая глазами, настаивала на содействии братьев, чтобы отделаться от соперницы, и т. д. Почти все просьбы обещано было удовлетворить и, покончив дела, общество перешло в залу пиршества.

Мила была точно во сне; с одной стороны страх, а с другой – надежда на удовлетворение ее мечтаний боролись в ней. Но, должно быть, ее не хотели еще посвящать во все наслаждения братства, потому что во время ужина она вдруг уснула. Подействовало ли на нее вино и усталость, или воля Красинского, но глаза ее закрылись. Как автомат, пошла она в свою комнату и не видела дикой оргии, которой закончился этот пир...

XIV

Десять или двенадцать дней прошло с описанного в предыдущей главе сатанинского сближения, а на островной даче ничего особенного не произошло. Почти каждую ночь Мила виделась с отцом и проводила часа по два в подземельях, все более и более проникаясь убеждениями и идеями Красинского, имевшего на нее почти безграничное влияние.

Молодой граф Бельский наезжал очень часто, всегда с цветами и конфетами. Страсть его к Миле дошла до апогея; а в общем, юноша был грустен и встревожен письмами матери, приносившими все неутешительные вести. Он голову ломал над загадкой и даже высказал Екатерине Александровне свое недоумение, откуда взялась болезнь сердца у его матери, всегда отличавшейся здоровьем. Он прибавил, что в случае, если ожидаемое с минуту на минуту письмо не принесет утешительных известий, то он уедет немедленно к больной. В ночь после этого разговора Красинский сказал дочери:

– Послезавтра приедет Бельский. Ввиду грозы или даже бури, которая разразится, он не будет в состоянии уехать обратно и останется ночевать на острове.

– Как ты можешь знать, папа, что граф приедет послезавтра, когда он сказал мне, что будет в четверг, т. е. через три дня? В особенности, как можешь ты знать, что в тот день будет гроза? – спросила удивленная Мила.

Красинский улыбнулся.

– Плохим был бы я «чародеем» и астрологом, если бы не знал столь простых вещей. Но дело не в этом. Скажи, ты не любишь графа?

– Нет, нет,нисколько. Я люблю Масалитинова, и не то что люблю, а обожаю; за его любовь не знаю, что бы я не дала. Но ты ведь обещал, папа, что отдашь мне его. Почему же ты заговорил со мной про графа? – с тревогой спросила Мила.

– Будь спокойна, глупенькая. То, что я обещаю, так же верно, как то, что за ночью следует день. Масалитинов полюбит тебя, женится на тебе, будет жить, и ты будешь счастлива. Об этом не может быть и разговора; я же хотел только узнать, не питаешь ли ты чувства дружбы к графу и не пожалела ли бы ты его, случись с ним какая-нибудь маленькая неприятность.

– Нет, нет. Я к нему совершенно равнодушна, и не стану жалеть его, что бы с ним ни случилось.

– Отлично. Значит, дитя мое, ничто не помешает нам исполнить великое магическое дело. А теперь слушай внимательно мои наставления. Завтра мы не увидимся, я буду занят в другом месте; но послезавтра ты начнешь с того, что польешь из этого флакона вечером в комнатах Екатерины Александровны и прислуги; весь дом должен спать, *крепко* спать, – и Красинский многозначительно улыбнулся.

Затем он встал, принес из соседней комнаты большую шкатулку и открыл ее. В ней лежал большой сверток кружев.

– Это платье, вроде пеньюара, и кружева очень дорогие. Дарю его тебе. – Ты наденешь его послезавтра вечером, натерев предварительно все тело ароматической эссенцией из плоского флакона, который лежит на дне ящика. Затем приди в библиотеку и трижды ударь по пластинке внутри камина. Это будет сигналом, что ты готова и ждешь меня. Последнее указание: когда придет граф, ты не только будешь *очень* любезна с ним, но еще дашь ему деликатно понять, что разделяешь его любовь. Хорошо ли ты поняла меня? Необходимо, чтобы Бельский думал, что ты любишь его так же, как и он тебя.

– Я понимаю, папа, что ты от меня требуешь, и исполню в точности твои приказания, – ответила Мила, прощаясь.

В указанный день настала удушливая жара, точно это был июль, а не половина сентября. Около четырех часов лодка с графом подошла к острову, и Мила приняла молодого человека с необычайными радушием и теплотой. Время прошло весело; молодая пара каталась по озеру и играла в лаун-теннис. Никогда еще Мила не была так любезна, как в этот день, и с наивной отзывчивостью принимала ухаживания молодого графа. Обедали на террасе и кончали кофе, как вдруг г-жа Морель, подняв голову, взглянула на небо и заметила с тревогой:

– Смотрите, как хмурится. Эти черно-сизые облака не предвещают ничего хорошего.

– Может быть, и соберется гроза; уж очень жарко было сегодня, – сказал Бельский, оглядываясь.

Свинцовые тучи заволакивали небо, а вода на озере точно почернела и как-то странно шумела.

С той памятной грозы, когда едва не утонул Вячеслав, а его спасение стоило жизни Красинскому, бывшая Катя Тутенберг ненавидела грозу, а здесь, на острове, она была ей особенно неприятна.

– Пойдемте в дом, – сказала она, вставая и беспокоясь. – Я прикажу зажечь в зале лампу и опустить шторы.

Едва успели они устроиться в зале, как прокатились первые удары

грома и затем вскоре разразилась настоящая буря. Ветер свистел и выл, деревья гнулись и трещали, раскаты грома потрясали дом до основания, а озеро совсем почернело и словно кипело, вздымая высокие волны, которые бешено налетали и с грохотом разбивались о берег, заливая его на далекое пространство. Несмотря на опущенные шторы, молния озаряла залу ярким светом, пред которым бледнел свет лампы.

– Вам придется сегодня воспользоваться нашим гостеприимством, Адам Витольдович, и ночевать на острове. Ехать в такую бурю совершенно невозможно, – заметила Екатерина Александровна.

Граф начал было протестовать, не желая причинять им столько беспокойства; он говорил, что гроза, наверно, не продлится всю ночь, а люди его ждут в доме Замятиных, на том берегу, и он может ехать; но когда Мила с заметной тревогой стала просить его не подвергать себя без нужды возможной опасности, граф был так счастлив ее вниманием, что сдался. Гроза между тем продолжалась, а когда, наконец, стихли молния и гром, хлынул проливной дождь.

Екатерина Александровна распорядилась приготовить постель гостю на большом диване в бывшем кабинете Вячеслава, а пока она с горничной занималась необходимым устройством, Мила вышла из залы и проворно, как тень, обежала комнаты г-жи Морель и прислуг, везде поливая наркотической эссенцией с легким, пряным запахом ландыша.

Разошлись все рано, вскоре после чая, так как погода была по-прежнему отвратительна, а хозяйки и гость чувствовали себя утомленными. После одиннадцати весь дом спал уже мертвым сном, и Мила приступила к своему туалету. Она достала из шкатулки кружевной пеньюар, оказавшийся платьем *princesse* из старых брюссельских кружев, на чехле из чудесного мягкого и легкого крепа; от него сильно пахло розами.

Натерев тело эссенцией из большого плоского флакона, лежавшего на дне ящика, Мила переоделась в кружевное платье и зажгла свечи перед зеркалом, чтобы полюбоваться собой. Мягкое и легкое одеяние изящно и красиво облегалo ее высокую, стройную фигуру; открытый корсаж и длинные, широкие, распашные рукава обнажали перламутровой белизны руки и шею. Она распустила роскошные, золотистые, с бронзово-красным отливом волосы, волнистой массой рассыпавшиеся по плечам.

– Боже, как я хороша! – прошептала она, подхватывая свою шелковистую гриву черной лентой. – Если бы Мишель видел меня такой, то, конечно, полюбил бы. – И огонек затаенной, страстной неги блеснул в ее зеленоватых глазах.

Она была права, – чарующее исчадье бездны, – Мила была обаятельна

и опасна, как дьявольское видение, как русалка, которая завлекает, чтобы задушить неосторожного, рискнувшего полюбить ее и ответить на ее коварный призыв.

В эту минуту маленькие часы на туалете пробили три четверти двенадцатого, и следовало спешить. Она потушила огонь перед зеркалом, взяла в руки свечу, вышла из комнаты и побежала по коридору, ведущему в библиотеку. Свеча в ее руке слабо освещала длинный и темный коридор.

На дворе буря опять усиливалась, но и в доме тоже происходило что-то недоброе. Стены трещали, в старой деревянной резьбе слышались глухие удары, а по коридору проносились порывы сильного ветра, точно со всех сторон были открыты окна и двери. Жуткая дрожь охватила Милу, и она заторопилась, чтобы скорее добраться до библиотеки; но, подходя к двери, увидела бледный луч голубоватого света, который пересек ей, дорогу. Она остановилась, с удивлением смотря на беловатое, клубившееся в нескольких шагах облако, которое становилось все плотнее, и вдруг из этой туманной кучи сверкнул сноп искр, облако раздалось, а в светлой газообразной массе явился торс женщины с закрытой белой вуалью головой. Мила вздрогнула и попятилась, было; но она узнала свою мать и страх ее почти мгновенно исчез.

Большие светлые глаза видения смотрели на нее с такой любовью и тоской, что Милой овладело странное чувство влечения, а когда послышался мелодичный и ласковый голос, она вполне поддалась очарованию.

– Мила, несчастная моя девочка, – раздался кроткий и тихий шепот. – Беги отсюда и не ходи к нему. Он уже связал тебя со своей преступной шайкой, а теперь хочет заставить совершить гнусное убийство молодого и невинного человека. Не марай своих рук в этом подлом злодеянии, придуманном адом! Не давай поработить свою душу. Спрячься до зари, а потом беги с этого проклятого острова; беги и спасайся под сенью креста. Сила его в руке верующего громадна; он – страшное оружие, которое низвергает слугителей ада. Беги! Любовь моя и молитвы поддержат тебя.

Мила слушала, как очарованная. Голос и взгляд матери заставляли биться ее сердце и вызывали слезы на глазах; странное, никогда не испытанное, но необыкновенно могучее чувство влекло ее к матери, которой она никогда не знала. Ей захотелось вдруг ее любви, как величайшего счастья, и она готова была броситься в ее объятия, чтобы найти там убежище, тихую пристань.

– Мама! – с рыданием вырвалось у нее, и она протянула руки к привидению.

В это мгновение дверь библиотеки с шумом распахнулась, и на пороге появился Красинский. Он был мертвенно бледен, глаза злобно сверкали, а лицо искажало истинно сатанинское выражение.

– Прочь! Как смеешь ты перечить мне, жалкое создание! – прошипел он.

Светлое видение вздрогнуло; но, подняв затем руку, оно протянуло к нему светлый крест, который держало на груди, и укоризненно, презрительно глядело на сатаниста, который попятился с чудовищным кощунством на устах. Затем видение побледнело и расплылось в легкий туман, а Мила отшатнулась и прижалась к стене.

– Отец, – закричала она, – я не хочу делать то, что ты мне приказываешь. Мама говорила, что через меня ты хочешь совершить страшное преступление – убийство, которое погубит мою душу, Я не хочу, не хочу!.. Отпусти меня уехать отсюда!..

Звонкий смех был ей ответом.

– Глупая. Ты забыла, что дала клятву братству?! У тебя нет другой воли, кроме воли ордена, а я раздавлю тебя, как червяка, если ты осмелишься мне противиться.

Рука его тяжело опустилась на голову молодой девушки, и Мила согнулась точно под ее тяжестью. Но вдруг она выпрямилась с широко раскрытыми глазами и неподвижным взглядом.

– Ты пойдешь немедленно на стеклянный балкон, а он теперь там. Ты будешь вся любовь и страсть; ты дашь целовать себя в губы и позволишь увести себя в его комнату! – проговорил Красинский своим металлическим голосом, отчеканивая каждое слово, и дал ей понюхать вынутый из кармана флакон.

– Теперь проснись и выполни то, что я приказал. Нервная дрожь пробежала по хрупкому телу Милы. Она открыла глаза и смотрела на отца изумленным, смутным взором; очевидно, в эту минуту *она* не помнила ничего из того, что произошло.

– Я заставила тебя ждать? – прошептала она.

– Нет, нет. А все-таки поди немного освежись, гроза временно стихла.

Мила молча повернулась и направилась прямо на стеклянную террасу, откуда сквозь просеку открывался вид на озеро. У одного из окон стоял молодой граф и задумчиво смотрел на бурные, пенистые волны. Легкий шелест шелковых юбок заставил его обернуться:

– Людмила Вячеславовна, вы здесь? – удивленно сказал он. – Вы не можете спать, вы боитесь бури? Вы совсем замерзли, – прибавил он, беря ее ручку и поднося ее к губам.

– Я там одна, а все спят. Воздух показался мне удушливым, и так как эта терраса единственная стеклянная, то я хотела посмотреть, что делается на дворе, – тихо ответила Мила.

– Я понимаю вас. Эта ночь как-то удивительно зловеща, – сказал граф. – Я, слава Богу, ни нервен, ни суеверен, ни робок, а вот не запомню, чтобы когда-нибудь был так взволнован. Я не в состоянии был читать: мне казалось, что в комнате витают темные тени, а порывы ледяного ветра били мне в лицо, и даже как будто слышались глухие стоны. Разумеется, это ветер выл в камине, да и все остальное имело также естественные причины; тем не менее, меня обуял страх, словом, что-то настолько неприятное, что я не мог оставаться дольше и вышел из комнаты. Я не подозревал, – прибавил он, – что меня ожидало здесь счастье увидеть вас.

С минуту оба молчали, а граф пожирал ее глазами. При слабом свете принесенной им свечи она представлялась ему небесным видением; ему казалось, что никогда он не видел ее такой прекрасной. Исходивший от нее аромат одурял его, сердце готово было разорваться от сильного биения, и кровь огненным потоком разливалась по телу, а неожиданная встреча с глазу на глаз кружила голову.

Мила была, по-видимому, смущена, но не отняла руки и не сопротивлялась, когда граф вдруг обнял ее стан и притянул к себе, шепча дрожащим от страсти голосом:

– Мила!.. Я до безумия люблю тебя. Я кладу к твоим ногам свое сердце и жизнь... Скажи, обожаемая, принимаешь ли мою любовь? Я с радостью отдам все на свете, лишь бы услышать от тебя слово надежды, благоприятный ответ.

Мила подняла голову и взглянула на него. Она была бледна, и только губы все краснели, приобретая кровавый отлив, а широко раскрытые глаза смотрели на графа загадочным, фосфорическим взглядом. Такой взгляд бывает у змеи, чарующей свою жертву. Вдруг она обняла шею графа.

– Я люблю тебя, – прошептала она и прильнула к его устам.

С радостным криком граф прижал ее к себе. Он ощущал невыразимое счастье, но вместе с тем и какую-то непонятную слабость; по телу его струился обильный пот, все существо точно растворялось или превращалось в пар, и у него явилось почти болезненное ощущение.

Оба они не замечали, что буря заревела с новой силой; опять грохотал гром, и дождь с градом колотил в стекла. Вдруг от яростного порыва ветра зашатались оконные рамы, стекла разлетелись вдребезги, и на террасу ворвались потоки дождя с градом.

Граф молча увлек Милу и привел в занимаемую им комнату. В

сильном возбуждении он не обратил внимания на свинцовую, охватившую все тело тяжесть и, как пьяны й, сел или, скорее, упал на диван. Но тотчас же гибкие, белые ручки снова обвили его шею и алые губы прижались к его устам, словно железо к магниту. Он уже начинал страдать и колющая боль давила его сердце, точно жизнь уходила из него. Теперь он и хотел бы, но не имел силы оттолкнуть пленительное и роковое создание, которое своими страстными лобзаниями словно высасывало его. Слабое усилие порвать сковавшую его волшебную цепь не привело ни к чему. Вдруг у него потемнело в глазах, все завертелось перед ним, голова запрокинулась и глаза закрылись. А Мила не замечала ничего. Ослепленная, она всецело упивалась живительным дыханием, огненными потоками разливавшимся по ее жилам, и, как в тумане, продолжала она свое убийственное дело, поглощая до последней капли жизнь несчастного.

В эту минуту бесшумно отворилась скрытая драпировкой дверь, и вошел Красинский. Он осторожно внес и поставил посреди комнаты широкий таз, наполненный черноватым, парившим веществом. Как тень, шмыгнул он опять в секретный коридор и принес оттуда шандал с семью черными восковыми свечами, книгу заклинаний, которую положил на стол, и треножник. Теперь Красинский был в черном трико, голову его плотно облегал шапочка с парой красных рожков, у пояса висел длинный меч, а с шеи, на металлической цепочке, спускался треугольник. Выхватив меч с кабалистическими знаками на лезвии, он начертил им магический круг, который замкнул его, вместе с тазом, наполненным кровью, и столом с шандалом. Затем Красинский поклонился на четыре стороны и запел тихим и размеренным тоном, вращая мечом над своей головой. А буря продолжала бушевать: гром гремел без перерыва, ветер ревел, а дождь вместе с градом грозил разбить стекла. Но заклинатель не обращал на это никакого внимания. На конце его магического меча загорелся зеленоватый огонек, который затем сорвался с острия, мелькнул в воздухе и зажег все семь свечей, а потом наложенные на треножник травы и угли. Комната наполнилась облаками дыма и одуряющим запахом.

– Духи стихий, – заклинал Красинский, – приветствую вас и призываю на помощь! Образуйте непроницаемый круг космических сил хаоса, за который не мог бы проникнуть ни один луч света со стороны сил враждебных. Помогите мне, поддержите, дабы могло совершиться дело высшей магии, которое даст достойному и полезному духу новое оружие для его деятельности. – Баалберит! Баалберит! Баалберит! Явись на мой призыв.

Бледный, с горевшими глазами Красинский вычитывал по книге

магические формулы колдовства, а затем окунул магический меч в горячую жидкость.

Точно гром потряс стены, а из таза с кровью появилось человеческое существо страшной красоты. Это была та самая личность, которую вызывали во время ночной церемонии последнего сборища. Тело его дрожало и колыхалось, словно сдуваемое ветром, и теперь ясно было, что это плотное с виду тело представлял лишь студенистую мягкую массу. Вдруг кровавая влага сразу закипела, точно и из нее вынырнула стая омерзительных уродов, которая окружила первого показавшегося человека. Ларвы эти, у которых одни лишь головы имели определенное очертание и были окружены, точно гривой, фосфорическими лучами, облепили Баалберита и, как змеи, обвились вокруг, силясь повалить его и опять втянуть в таз. Началась страшная и отвратительная борьба: Баалберит защищался, электрические искры и лучи летели во все стороны и раздавался свист, как будто над тазом кружился клубок змей. Одна из ларв проявила особенную силу и упорство; голова ее, выделявшаяся отчетливее других, дышала умом и адской злостью, а глаза сверкали, как два красных огня; тело ее, начиная с туловища, оканчивалось серым хвостом. Обвив Баалберита, как спрут, она боролась с ним грудь с грудью, отталкивая в то же время других ларв, мешавших ей свободно действовать.

Красинский махал магическим мечом, произнося заклинания, которые изгоняли адских тварей, и часть ларв с ревом отстала, рассеявшись в воздухе; упорная же гадина, о которой только что говорилось, держалась твердо и лишь чуточку отделилась от Баалберита. Воспользовавшись этим мгновением, Красинский с невероятной быстротой вонзил свой меч ей в место солнечного сплетения; омерзительное существо, – получеловек, полурыба, – выпустило свою добычу и со стоном корчась повисло на конце меча. Затем, проткнутая магическим мечом ларва была утоплена в тазу, содержимое которого снова на миг вскипело, а в кругу остался лишь красный, точно налитой кровью и дрожавший призрак Баалберита. Красинский отер струившийся по лбу пот и сказал:

– Скоро ты можешь вступить в обладание своей новой «квартирой». Я только покончу с прежним жильцом.

Выйдя из круга, он подошел к дивану, где лежал граф с запрокинутой на спинку головой. Мила по-прежнему прижималась к его устам и густая фосфоресцировавшая сетка окутывала молодую девушку, находившуюся словно в каталепсии. Произнося формулу, Красинский начертал над ней кабалистический знак, и Мила мгновенно выпрямилась, а потом порывисто откинулась; лицо ее было сине-багровое и глаза блуждали, а покрывавшая

ее светившаяся сетка соскользнула и взвилась в виде красного облака, которое огненной нитью соединялось с телом молодого Бельского. Произнеся новое заклинание, Красинский одним ударом магического меча перерубил эту огненную ленту, после чего та свернулась и вошла в пурпурное облако. В тот же миг прозвенел крик, а потом раздалось точно хрипение умирающего; светлая красноватая масса быстро сгустилась, а между Милой и безжизненным телом встал призрак – астральное тело Бельского; туловище было нагое, а на месте солнечного сплетения зияла огромная, открытая, кровоточивая рана. Глаза призрака выражали безумный ужас, лицо искажала невыразимая мука, и горький укоризненный взор его остановился на Миле; но, спустя несколько минут, из пространства налетели словно порывы ветра, увлекшие видение, которое побледнело и скрылось с треском, напомнившим треск сухих листьев под ногами.

Теперь разыгрался последний акт адской драмы. Притягиваемый, как магнитом, острием магического меча, призрак Баалберита двинулся к телу Бельского, студенистая масса вытянулась в виде тонкой ленты, скользнула в широко открытый рот еще теплого тела и мгновенно скрылась в нем, а Красинский читал тем временем по книге заклинание на непонятном языке. Произошло нечто ужасное и отвратительное. В диких судорогах тело Бельского скатилось с дивана на пол, а изо рта потекла темная слюна, вперемешку с зеленоватой пеной. Красинский взял красную простыню, расшитую кабалистическими знаками, прикрыл ею тело и опрыскал необыкновенно ароматичной, живительной эссенцией.

Мила замерла, глядя на то, что происходило перед ней. Сердце ее учащенно билось, голова была тяжела, а душу угнетало жуткое чувство – смесь страха, отвращения и угрызений совести. Мила стояла еще лишь на пороге жестокого, преступного пути, на который ее толкали, и в душе ее укоризненно звучали слова видения матери: «Через тебя собираются совершить гнусное преступление». Охваченная холодной дрожью, она отвернулась и бегом направилась в свою комнату.

Красинский видел, как исчезла за дверью белая фигура, и проводил ее насмешливым взглядом. Затем он запер дверь кабинета на ключ и вышел потайным ходом, унося таз и остальные, применявшиеся им вещи, а после того принес другие предметы и поставил их около тела. Судороги тела стихли, и, сняв простыню, он увидел просто лежавшего либо в обмороке, либо крепко спавшего человека. Красинский совсем раздел его, натер тело мазью с сильным запахом фосфора, а потом открыл шкатулку с электрическим аппаратом, направив ток сначала на место сплетения нервов, а после на голову. Спустя четверть часа глаза спавшего открылись,

пристально взглянули на оператора мутным и безжизненным взором и снова закрылись. Затем Красинский стал усиленно стегать его по всему телу до тех пор, пока слабый стон не возвестил ему о восстановлении обмена ощущений между плотью и новым астралом. Еще четверть часа употреблял он в действие электричество и тогда новый Бельский заснул, казалось, уже крепким, здоровым сном. Красинский снова одел его, поднял бесчувственное тело мнимого графа Бельского с силой, которую трудно было в нем предположить, и перенес на посланную постель. Отворив окно, чтобы рассеять стоявший в комнате неприятный запах крови и разложения, он взглянул на часы.

– Два часа, а в шесть я вернусь, – проговорил он, заботливо укрывая спавшего.

Окно он оставил открытым, так как гроза прошла и моросил только мелкий дождь, а воздух был теплый и влажный. Пробило шесть утра и снова отворилась потайная дверь. Появился Красинский, неся большую фарфоровую миску, а в ней было, по крайней мере, литра два парной крови. Он поспешно подошел к дивану и растолкал все еще крепко спавшего Бельского. Тот вздрогнул и поднялся.

– Здравствуй, милый граф Бельский! Как ты чувствуешь себя? Но, прежде всего, выпей-ка эту маленькую порцию жизненного сока, – сказал он полунасмешливо, полудружески.

Новый граф схватил сосуд и с жадностью осушил его, а потом так же покорно выпил содержимое довольно большого флакона с темным веществом, густым, как мед, и очень ароматным. После этого он встал, потянулся, прошелся по комнате и закрыл окно.

– Что ж? Пока все идет сносно. Новое «платье» сидит еще не совсем ловко, но гораздо лучше, чем я предполагал, – сказал он глухим голосом.

– Скоро привыкнешь. Помнишь ли ты все? – справился Красинский.

– Да, мое собственное прошлое помню хорошо, а вот жизнь *того*, к несчастью, совсем темна для меня.

– Вот тетрадь с подробной биографией покойного графа Адама. Она послужит тебе путеводной нитью. Кроме того, ты найдешь в замке дневник, который он имел обыкновение вести, что еще ценнее; ну, а потом у тебя в руках будет еще его переписка. Немного потрудившись, ты скоро все узнаешь. Завтра же ты получишь телеграмму с известием о смерти графини от разрыва сердца и тотчас поедешь на похороны, а за границей останешься до тех пор, пока совсем не освоишься с новым положением и не войдешь в свою роль. А теперь поговорим о главном – о приказах нашего главы, которые я должен передать тебе.

– Заранее подчиняюсь всему, что бы он от меня ни потребовал, – ответил новый Бельский.

Пока говорил его сатанинский брат, он успел умыться, а затем встал перед Красинским.

– Взгляни-ка на меня хорошенько, Ахам, и скажи, надо ли бояться, что кто-нибудь заметит происшедшую перемену?

Красинский долго и пытливо рассматривал его. Черты лица чуточку изменились будто, так же как жесты, улыбка, движения; но особенно изменилось выражение глаз. Открытый, веселый взгляд сменился холодным и острым, как сталь; да и самый цвет глаз стал несколько иным, каким-то неопределенным и темнее прежнего.

– Да, – заявил он минуту спустя, – очень внимательный наблюдатель мог бы заметить, конечно, перемену в личности графа Бельского; но тебе нечего опасаться!

Ни кто из этого тупого людского стада не предположит, и ни у кого не явится даже подозрения о возможности подмены. Перед простофилями все будет та же самая личность; ну а если бы даже кто и заметил в тебе перемену, то припишет ее нервному состоянию, дурному расположению духа, – словом, совершенно простым и естественным причинам. – И Красинский залился своим легким, но глумливым смехом.

– Благодарю, брат Ахам, – ответил лже-Бельский, – ты успокоил меня. А теперь, прошу тебя, передай полученные на мой счет приказания и вообще все, что от меня требуется.

– То, что мне надо тебе сказать, можно подразделить на две части: вопросы материальные и нравственные. Нач – ну с последних, как немногочисленных. Ты откажешься решительно от всяких, даже внешних сношений с церковью: ни ксендза, ни часовни, никаких религиозных обрядов в твоём замке быть не должно. Я знаю, что этот пункт самый трудный для выполнения: покойный Адам был человек религиозный; но ты сам понимаешь, что переступить порог костела для тебя значит рисковать мгновенной смертью. Твое дело придумать благовидный предлог для такой перемены «религиозного мировоззрения».

– О, уж я устрою! Посмотрел бы я, кто сможет мне запретить сделаться «свободомыслящим» и «либеральным».

– Это твоё дело, повторяю. Теперь перехожу к материальным условиям. Прежде всего, ты должен передать братству миллион чистыми деньгами, который возьмешь из банка. Тебе останутся два, не считая великолепных поместий и пяти, а не то шести домов в Киеве и Петербурге. Как видишь, требования братства очень скромны. Для себя же лично, в

виде вознаграждения за оказанную тебе услугу, я требую триста тысяч рублей и дом в Петербурге, по твоему выбору. Мне нужно устроить себе положение, потому что я хочу переменить имя и снова явиться в общество. Наконец, я полагаю, что ты найдешь справедливым уделить моей дочери часть бриллиантов... твоей мамы, ха, ха, ха! Лично ты в них не нуждаешься, а бедной девочке это приключение стоило каталепсии, которая будет отзываться довольно долго.

– С удовольствием, брат Ахам. Выбери сам, что найдешь достойным твоей дочери. Я ведь еще не знаю, что у меня есть в этом отношении; но несомненно, такое очаровательное создание, какое я видел в эту ночь, не знаешь чем и украсить, – все будет недостаточно красиво. Но вот вопрос, – неизвестно где хранила графиня свои бриллианты, а спрашивать будет, может быть, неудобно...

– Не беспокойся, я знаю, где находятся драгоценности. Вечером я приеду к тебе, и мы все устроим. Кстати, предупреди прислугу, что к тебе прибудет поверенный и ночует в замке. Остается дать тебе некоторые указания насчет режима, которому ты должен следовать, а он довольно строг. Каждый день – свежая кровь, много молока, не менее двух литров в день, побольше соленого и вообще удвоенное питание. Только таким путем ты можешь молекулярно связать крепко свое астральное тело с твоим новым организмом. Кроме того, тебе необходимо, разумеется, много двигаться, ходить, ездить верхом и брать фосфорные ванны, для которых я дам тебе рецепт.

– Я предвижу, что у меня будет неслыханный аппетит. Представь, я еще голоден, несмотря на то, что ты мне принес.

– Вот тебе еще угощение, – сказал Красинский, вынимая из кармана пакет с большим куском сырого мяса, которое Бельский положительно сожрал. – Теперь ляг и усни еще немного. Потом ты простишься с госпожой Морель, а Мила нездорова. Затем отправляйся домой, а вечером увидимся.

Красинский сделал прощальный жест рукой и ушел потайным ходом. Новый граф лег и почти мгновенно уснул.

Проснулся граф довольно поздно и не без некоторого опасения отправился к завтраку по приглашению г-жи Морель. Но добрейшая Екатерина Александровна не заметила ничего необыкновенного в своем госте; к тому же она была озабочена и встревожена нездоровьем Милы, о чем и сообщила графу. Это был прекрасный предлог, чтобы откланяться тотчас по окончании завтрака, и через час молодой граф возвращался домой, где он проводил свой двухнедельный отпуск.

Прибыв в свой дом, новый граф прошел в кабинет за лакеем; а тот, видя своего барина пасмурным и молчаливым, заподозрил какую-нибудь неудачу в любовных делах с хорошенькой панной из Горок. Новый граф, однако, был осторожен, боясь сделать какой-нибудь промах, пока не войдет в свою роль. Переодевшись, он принялся, не теряя времени, за чтение данной ему Красинским тетради, которая в его новом положении была ему путеводный нитью. Кроме биографии ограбленного и убитого графа, его матери, а также перечня родственников, товарищей по полку и плана замка, дававшего полное знакомство с расположением комнат, приложен был еще полный список прислуги с указанием их имен и должностей; не были забыты даже названия любимой верховой лошади графа и его большой собаки, ньюфаундленда Перуна.

Но если люди были слепы и видели лишь внешнюю оболочку, то безошибочный инстинкт животного почувствовал *подмену* и не поддался на обман. Когда граф вошел в кабинет, спавшая на ковре у письменного стола собака подняла голову и побежала к хозяину, но вдруг остановилась и с ворчанием стала пятиться. Шерсть встала дыбом и, спрятав хвост между ног, она опроретью кинулась вон из комнаты. Во время обеда слуга заметил, что пан-граф оглядывает комнату, не подозревая, что тот изучает обстановку.

– Ваше сиятельство, ищет, вероятно, Перуна. Не знаю, что с ним сделалось сегодня. Я не мог его дозваться, а когда хотел привести его силой, он оскалил зубы.

– Надо послать за ветеринаром, чтобы тот осмотрел, не болен ли он, – ответил граф, садясь за стол.

Плотно пообедав, он пошел уснуть, но предварительно распорядился накрыть чай и ужин в маленькой голубой зале, примыкавшей к кабинету, да приказал приготовить комнату и постель для поверенного, который приедет вечером и уедет на заре. Проспав несколько часов, он встал, прошел в кабинет и начал осмотр письменного стола, ключ от которого нашел в кармане. Тщательно разобрал он обширную переписку, сосчитал ценности и осмотрел документы; нашел он и связку ключей, но надо было еще узнать их назначение. Он не знал также, где лежат бриллианты графини; впрочем, это было известно Красинскому, а тот действительно был чрезвычайно осведомлен обо всем, касавшемся Бельского.

Около девяти часов вечера приехал верхом щегольски одетый господин и был с распростертыми объятиями принят хозяином замка. За чаем они говорили о делах так, чтобы слышала прислуга. Приказав затем прибавить к поданному уже ужину несколько бутылок шампанского во

льду и показать гостю его комнату, Бельский отпустил слуг, разрешив им лечь спать.

– Мы будем поздно заниматься и разденемся сами, – сказал он своему лакею. – Приятель мой собирается ехать на заре и позвонит, чтобы оседлали его лошадь, – прибавил он.

Оставшись наконец одни, сатанисты расположились в кабинете. Красинский достал из дорожного несессера два довольно объемистые флакона и дал нужные наставления, как пользоваться лекарствами для ванн и втираний. Бельский поблагодарил и спрятал флаконы.

– Здесь великолепно, – сказал он, улыбаясь. – Мне даже тут больше нравится, нежели в моей прежней «квартире». Спасибо за такое прекрасное устройство моей скромной особы. Об одном вот сожалею я из моего прошлого, это – о библиотеке: ее трудно заменить, – вздохнул он.

Насмешливая улыбка мелькнула на лице Красинского, когда тот благодарил его за хорошее «помещение»; но это было мгновение, а потом он ответил спокойно:

– Не горюй о потере библиотеки. Наиболее ценные экземпляры были искусно отложены в сторону и будут тебе возвращены. Ты можешь потом привезти их из-за границы, как вновь купленные.

– Спасибо, спасибо. Вы действительно думаете обо всем. Теперь я очень хотел бы вручить украшения для твоей прелестной дочери, но, право, не знаю, где находятся бриллианты моей... матери, – и он громко рассмеялся.

– И в этом затруднении могу помочь. Я знаю, где спрятана шкатулка графини и знаю даже потайной ход в ее спальню, чтобы никто нас не мог видеть. В этой именно комнате и должен быть вход в секретный коридор.

– Ты в самом деле необыкновенный волшебник! Ты знаешь этот замок, где, конечно, никогда не был, так же хорошо, как свою собственную квартиру! – изумился Бельский.

– О, в моем знании нет ничего «волшебного», – весело возразил Красинский. – Должен тебе сказать, что в подземельях на острове находится чрезвычайно интересный архив, и притом очень древний. Там еще старые аббаты сохраняли свои секретные бумаги и документы, боявшиеся нескромных глаз, а я занимался разбором этих бумаг, где отмечены многие преступления и приключения, о которых никто в свете и не подозревал. По этим документам можно проследить частную и скрытую историю всех знатных родов страны; а так как Бельские всегда считались в числе самых богатых аристократов, то все касавшееся их обихода было особенно тщательно отмечено. Есть множество планов как этого, так и двух

других замков, а некоторым из них по 300 лет. Таким образом я мог хорошо изучить местоположение, и знаю тайны этого старого гнезда лучше, чем законный Бельский, твой предшественник. Таким же путем я узнал, что в начале восемнадцатого века у графини Агнессы Бельской был молодой и очень красивый духовник, даже слишком красивый к несчастью, для нее и спокойствия ее мужа, графа Казимира, который был много старше ее. Должно быть, добродетель ее потерпела крушение совместно с добродетелью красавца-духовника, жившего в комнате, где мы в настоящее время находимся. Чтобы навещать кающуюся в неположенные часы, или чтобы ей дать возможность приходить к нему, они пользовались секретным коридором, проходившим по подземельям; одна дверь находится тут, а вторая в комнате графини Агнессы, которую занимала нынешняя графиня Бельская. Какая драма разыгралась здесь в конце концов, я не знаю, да и в рукописи нет никаких указаний; но есть рассказ о том, что графиня Агнесса и отец Бонифаций бесследно исчезли в один и тот же день, или вернее в одну и ту же ночь, и никто никогда не мог узнать, что с ними случилось; затем в рукописи начертан крест и слова: «Почивайте в мире». Отсюда я предполагаю, что они были убиты или, может быть, заточены мужем, который через несколько дней после таинственного исчезновения своей прелестной супруги умер от апоплексии, с горя, как предполагали.

– Так мы по этой дороге влюбленных и пойдем искать бриллианты? – засмеялся Бельский.

– Именно. Я сейчас же попробую, действует ли хорошо пружина?

Он подошел к шкафу, очевидно, древнему, вделанному в стенную нишу и запертому тяжелым дубовым, чудесной работы створом; вся эта дверка была, точно рамой, окружена богатой и тонкой, как кружево, резьбой. Красинский с минуту искал что-то, потом взялся за резную, рельефной работы голову собаки, несколько раз повернул и сильно нажал на нее. Послышался треск: шкаф отошел от стены, отклонился и обнаружил узкую дверь, за которой открывался темный коридор.

– Все в порядке. Очевидно наследники твоего прадеда ничего не знали более об этой дороге. Да это и неудивительно. Сыну Агнессы минуло всего десять лет, когда умерли его родители, а он невзлюбил этот замок и никогда не жил в нем; так и затерялась эта тайна. Теперь поужинаем и подкрепимся хорошенько, – для тебя это особенно необходимо, – а потом отправимся на розыски. Надо надеяться, что выход в комнату графини также доступен.

Поужинав с большим аппетитом, оба сатаниста приготовились к своей экспедиции. Несмотря на значительное количество выпитого шампанского, оба были спокойны и уверены в себе, будто пили простую воду. Заперев на

ключ дверь кабинета изнутри и приняв меры к тому, чтобы шкаф не захлопнулся, они вооружились фонарями и вошли в тайный ход. Это был узенький коридор и через несколько шагов кончался лестницей, крутой и очень длинной; за последней ступенью коридор шел горизонтально, а вымощен он был каменными плитами, покрытыми густым слоем пыли.

– Видно, что давненько не пользовались этим путем сообщения, – заметил Красинский, поднимая фонарь и осматривая голые, но совершенно целые стены.

Тяжелый воздух, пропитанный едким и неприятным запахом наполнял подземелье.

– Вероятно, мы первые за сто лет пришли сюда, – прибавил он, указывая на густой слой пыли, покрывавшей пол.

Несколько минут шли они, как вдруг Красинский, шедший впереди, остановился. В толстой стене коридора виднелась дверь, которая, будучи затворена, вероятно, была бы неприметна, но теперь она стояла широко открытая и тот, кто выходил последним, не затворил ее.

– Надо посмотреть, что там, за этой дверью. Замковые подземелья имеют, по-видимому, тайны, неизвестные даже хронике, – сказал Красинский, знаком приглашая спутника следовать за ним.

Подняв фонари, они вошли в небольшую круглую залу; низкий потолок поддерживала кирпичная колонна и влево от входа виднелся альков. Посреди комнаты стоял убранный серебром и хрусталем стол, а на нем – два больших канделябра с восковыми свечами. Красинский достал из кармана коробку спичек и зажег свечи, выгоревшие только наполовину.

– Какая-нибудь драма произошла здесь, – заметил Красинский, рассматривая остатки ужина, вынутого, должно быть, из открытой корзины, стоявшей около одного из стульев.

Бельский взял один из канделябров и поднял его в одной руке, а в другой держал фонарь и ярко осветил темный угол. Там, на высоте двух ступеней, стояла кровать под балдахином, обитым розовой парчой с кружевами, насколько можно было разглядеть под слоем пыли.

– Взгляни, Ахам, вот и ключ к загадке. Это герои ужина, остатки которого мы только что видели! – закричал со смехом Бельский.

Осматривавший залу Красинский поспешно подошел со вторым канделябром.

– А! – произнес он. – Вот куда исчезла графиня Агнесса и красавец-духовник. Во всяком случае, теперь он вовсе не красив, – прибавил он, нагибаясь, чтоб лучше рассмотреть тело человека, ничком лежавшего на ступенях.

На нем была сутана, а из спины его торчала рукоять кинжала чудной работы; огромное черное пятно вокруг тела свидетельствовало, что он истек кровью. На подушках постели, широко раскинув руки, лежала женщина, по-видимому, задушенная; концы красного шелкового шнурка, обвивавшего ее шею, свешивались вместе с длинной и густой черной косой. Скорченное тело, раскрытый во всю ширь рот и судорожно сжатые руки указывали, что агония должна была быть ужасной. Тела, по странной случайности, совсем не разложились, а обратились в мумии и съежились; но были гадки и страшны. На руке женщины виднелся браслет, на почерневших пальцах блестели кольца, а на шее висели две нити жемчуга.

– Покойный граф Казимир основательно расправился с изменниками. Но оставлять тут прекрасные вещи, которыми бедная женщина украшала себя ради своего достойного духовника, было бы глупо, – сказал Красинский, – тем более, что для некоторых сортов колдовства такие предметы, которые носили лица, погибшие насильственной смертью, неоценимы, как тебе известно, друг Баалберит, если ты это не забыл.

Тот ответил громким хохотом.

– Я ничего не забыл и, несмотря на неоспоримые права на наследство моей прабабки, хотел бы только сохранить кинжал из спины черноризца, а тебе уступаю остальное.

– Ладно, – ответил Красинский, снимая без всякого отвращения жемчуг, браслет и кольца со скрюченных пальцев трупа, которые он должен был сломать, чтобы завладеть вещами. – Ну, вот. А теперь бери свое добро, друг Баалберит, – сказал он, опуская в карман драгоценности.

Тот нагнулся и вырвал кинжал. Оружие было по всей вероятности восточного происхождения. Длинное и тонкое лезвие покрывала запекшаяся кровь, а перламутровая рукоять отделана была изумрудами и рубинами. Затем, спихнув ногой тело со ступеней, он перевернул его и осмотрел руки, покрытые словно перчатками свернувшейся кровью; на одном из пальцев было кольцо с огромным солитером. Баалберит снял его и подал Красинскому, а тот, не моргнув и глазом, спровадил его себе в карман. Окончив свое страшное дело, сатанисты вернулись в круглую залу.

– Этот старинный каземат влюбленные обратили в уютное гнездышко, которому суждено было, увы, послужить им усыпальницей, – смеялся Красинский. – Видишь каменные скамьи вокруг колонны и два металлических вделанных в кирпичи кольца? К ним прикрепляли цепи, надетые на пленников. О, любовь – плохая советница! Ты по себе знаешь это, а?

– Да, но *она* была прекрасна, как... олицетворенное искушение. Она

пленила меня и коварно победила... Кто знает, может быть я еще вновь найду ее и тогда мы сосчитаемся, – отвечал Баалберит, и лицо его исказилось, каким-то странным выражением страсти и ненавистной злобы.

Красинский многозначительно поднял палец.

– Брось! Не пробуй вторично, потому что та женщина сильнее тебя. Забудь ее и помни, что уже на следующий *подмен*, нет никакой надежды. А теперь пойдем кончать дело, которое привело нас сюда.

Они вышли, заперли опять дверь, которая вошла в стену бесследно для глаза непосвященного в тайну, и продолжали путь.

Второй выход, тоже скрытый вделанным в стену шкафом, привел их в комнату графини, запертую со времени ее отъезда.

Графиня хранила свои драгоценности в небольшом несгораемом шкафу и, после некоторых усилий, Красинский нашел секрет открыть дверцу. Там лежало много футляров и несколько ящичков.

– Здесь не все драгоценности Бельских и графиня, вероятно, прячет их где-нибудь в другом месте. Нет, например, исторических рубинов, несравненного кольца из розовых бриллиантов и много других вещей, – заметил Красинский, осмотрев футляры.

Он выбрал для Милы роскошный убор из бирюзы, второй – бриллиантовый с изумрудами, и нитку розового жемчуга. В картонках хранились драгоценные кружева. Из них он взял очень дорогие платья, вуаль *point d'Angleterre* и старые венецианские кружева, а себе – булавку для галстука с большим солитером и несколько дорогих брелоков. После этого они заперли шкаф и вернулись в комнату графа. Войдя в кабинет, Красинский с удовольствием сказал:

– Хорошее дело мы обделали. А завтра ты будешь хозяином всего и никто ни в чем не потребует у тебя отчета. Теперь прощай. Я отдохну немного и уеду до зари, а ты хорошенько ухаживай за собой и следуй точно моим наставлениям. Ты еще бледноват, но это припишут твоей печали о кончине матери.

Баалберит еще раз высказал ему свою признательность и радость за то, что снова занял видное место в обществе. Они условились встретиться зимой за границей и после горячих объятий достойные сатанисты расстались.

Красинский вошел в отведенную ему комнату и уложил драгоценности; но, вместо того чтобы отдохнуть, он приказал оседлать лошадь и уехал домой, в подземелья на острове, где протекало его темное существование...

XV

Точно пьяная вернулась Мила в свою комнату после того, как убежала из кабинета. Она упала на стул и закрыла глаза рукой. Состояние опьянения и сильный жар, который она перед тем ощущала, очнувшись от своего забытья, начали проходить и сменяться чувством утомления. Но происшедшее ясно сохранилось в ее памяти и рисовалось теперь отчетливо, во всей его ужасающей правде. Прежде всего представилось видение матери, и ее кроткий, полный любви голос, предупреждавший, что ею хотят воспользоваться, как орудием преступления. Затем вспомнился приход отца, явившегося, как черная туча, прогнавшего светлое видение и обдавшего ее ледяной струей, которая сковала волю и толкнула к Бельскому. Того она не любила и он внушал ей даже некоторое отвращение. Мила вздрогнула, вспомнив мгновение, когда губы ее прижались к устам графа, и то смутное, хотя ясное в то же время сознание, что этот побледневший, как восковая маска, человек, который медленно холодел в ее объятиях, был умиравшим существом, которое она убивала, не желая, однако, его смерти, но от которого не могла уже оторваться сама, впадая постепенно в бессознательное состояние. Потом наступил заключительный акт страшной драмы и ужасное – существо, не то человек, не то видение, – змеей проскользнуло в окоченевшее и неподвижное тело. А что значит пурпурный шнур, перерезанный отцом? Наверно, жизненная нить несчастного Бельского? Призрак его скользнул мимо нее, бросив такой взгляд, который до сих пор приводит ее в трепет... Да, сомнения нет! Совершилось гнусное преступление, и *она* была орудием убийства...

Ах, зачем родилась она особенным существом, роковым и губительным для всего, что прикасалось к ней? В эту минуту Мила была гадка самой себе и с глухим стоном схватилась руками за голову. Но тут же она вскочила с места под влиянием чувства отвращения и брезгливости. Ее распущенные волосы были покрыты точно чем-то клейким; теперь только она заметила, что от платья ее и от нее самой идет трупный запах. Дрожавшими руками сорвала она с себя платье, завернулась в фланелевый халат и побежала в ванную комнату. Теплая вода имелась всегда; она поспешно наполнила ванну, влила в нее флакон ароматической эссенции и с блаженным чувством облегчения окунулась с головой. Освежившись, она вышла из ванны бодрая и легла в постель. Но сердце ее чуть не разрывалось от сильных ударов. Что бы это значило? Несмотря на ее

кошмары, которые объяснялись нервами, Мила заимствовала порядочную дозу скептицизма от своей приемной матери; но тут очевидность оккультного мира, полного мрачных тайн, бросалась в глаза, а потому может быть и дурная слава острова имела какие-нибудь основания. А что ждет ее в будущем? Каков-то будет этот «новый» граф Бельский, так как прежний ведь умер? Она не знала, что думать. Но тут словно черная завеса опустилась перед глазами, невыразимая слабость охватила ее, и она лишилась чувств.

Екатерина Александровна проснулась поздно; голова ее была тяжела, а ноги удивительно ослабели. Но так как в доме был гость, то она сделала усилие над собой и занялась распоряжениями по хозяйству. Было уже более одиннадцати часов, а Мила не выходила. Тогда она отправилась в ее комнату и с тревогой нагнулась к спавшей, с ужасом увидав, что у Милы новый припадок каталепсии, которой та бывала подвержена. Она знала, что в подобных случаях никакая медицинская помощь не приносила пользы и единственное средство в случае такого обморока, длившегося обыкновенно несколько дней, это – класть в постель морских свинок, а когда они околевали, их заменяли другими. Екатерина Александровна всегда имела под рукой животных, и теперь было их несколько штук в конюшне, а потому она решила тотчас послать за верным средством. Укутав бледную и неподвижно лежавшую Милу, она вышла из комнаты, запретив входить без ее разрешения. Озабоченная, она почти не обратила внимания на молодого графа во время завтрака и была довольна, когда тот уехал.

Вернувшись от Бельского, Красинский с наступлением ночи отправился к дочери ему одному известным потайным ходом.

Ему стало совестно, что он отпустил молодую девушку, не освободив от флюида разложения и ядовитых токов, которыми она была пропитана. Во время производства серьезной и опасной операции он был так поглощен, что забыл это обстоятельство, и теперь хотел убедиться, не имела ли его небрежность дурных последствий.

Мила все еще лежала в состоянии тяжелой каталепсии, когда отец склонился над ней; она была мертвенно бледна и видимо изнурена. Красинский вынул из кармана имевшийся всегда при нем футляр с флаконами, налил воды в стоявшую на ночном столике рюмку, и влил несколько капель красной жидкости из флакона. Вода закипела, точно на огне. Тогда магнетическими пассами он разбудил Милу и дал ей выпить содержимое рюмки. Щеки молодой девушки почти мгновенно вспыхнули румянцем, но глаза снова закрылись и она тотчас уснула. Помагнетизировав ее еще некоторое время, Красинский ушел.

Мила проснулась свежая и здоровая; она смутно помнила, что видела как будто отца, и что тот давал ей, очевидно, какое-то лекарство, восстановившее ее силы. Чтобы обрадовать Екатерину Александровну, Мила быстро оделась и вышла в столовую, а когда через несколько минут вошла г-жа Морель, то застала ее за столом веселой и свежей.

– Как я счастлива, что ты оправилась, дорогое мое дитя, – обрадовалась Екатерина Александровна, обнимая Милу. – Это гроза, вероятно, подействовала на тебя; ведь ты такая впечатлительная, нервная. Хотя и страшная же была ночь; даже у меня болела голова и ноги точно свинцом были налиты.

В веселой беседе г-жа Морель рассказала, что Бельский уехал очень огорченный ее нездоровьем. Позднее приехали гости, и день прошел весело.

Проводив гостей, Мила с Екатериной Александровной оставались еще в столовой, перетирая и убирая в ящики дорогой чайный сервиз старого севрского фарфора. Было, может быть, половина двенадцатого, как вдруг обе вздрогнули от дикого, но как бы заглушенного расстоянием крика.

– Это в кабинете, – решила горничная, убиравшая посуду в буфете, и бросилась из комнаты.

Через минуту она вернулась белая, как полотно.

– Это граф Бельский кричал, – бормотала она. – Должно, он болен, потому что руками махал, ровно мельница, и задыхался.

– Ты, Акулина, либо сошла с ума, либо клюкнула, – недовольная возразила Екатерина Александровна. – Как может быть граф в кабинете, когда он уехал в третьем часу, после завтрака и, насколько известно, не возвращался.

– А все же это он, потому что я его видела, как вот вижу вас! – убежденно настаивала горничная.

Мила побледнела и ухватилась за кресло, около которого стояла, чтобы не упасть. Зубы ее стучали и на лбу выступил холодный пот. Она-то понимала, что горничная права, и что дух несчастного бродил около места совершенного над ним злодеяния. Увидев ее волнение и смертельную бледность, г-жа Морель встревожилась. Она старалась успокоить Милу, трунила над ее легковерием, а чтобы совершенно успокоить, приказала позвать сторожа, старого матроса, совместно с которым обыскала дачу, – не забрался ли вор.

Екатерина Александровна совершенно не допускала существования потустороннего мира с его особыми законами и тайнами, хотя и не могла подыскать «естественного» объяснения слышанному ею крику. Наконец,

все уголки на даче были обысканы и осмотрены.

– Дозвольте спросить, сударыня, верно ли, что граф Бельский жив? – спросил матрос, почесывая затылок.

– Конечно, жив, так как только вчера утром он уехал отсюда и даже завтракал со мной. Почему это вы задаете мне такой нелепый вопрос?

– Потому, что в эту самую ночь, должно быть, около полуночи, обхожу это я дозором дом и вдруг слышу крик, будто кого убивают. Подивился я этому, однако насторожился и вижу: выбегает, значит, молодой граф из дверей террасы, бледный такой да расстроенный, а голова всклокочена и одежда в беспорядке. Перекрестился я и дивлюсь, откуда мол он взялся, а он, знаете, вдруг пропал, ровно в землю провалился. А сегодня вот Акулина видела его, а опосля того и все слышали, как он вопил. Все это не к добру; а коли граф еще и жив, значит ему грозит большая беда.

Екатерина Александровна не ответила ничего. Она растерялась и отпустила сторожа. Мила же, более осведомленная в деле, поняла, что беспокойная душа несчастного, внезапно вырванная из полного жизни и сил тела, тщетно искала облегчения своего мучительного состояния.

Ее томили страх и тоска. Надо было переговорить с отцом и попросить его изгнать духа, которого он лишил его телесной оболочки; будучи великим чародеем, он, наверное, сумеет это сделать. Но до тех пор, пока еще удастся увидеть отца, страждущий дух может показаться и ей, а этого она ужасно боялась. Под этим жутким впечатлением она упросила г-жу Морель разрешить ей провести ночь в ее комнате, где был турецкий диван, на что та охотно согласилась и, побеседовав еще немного, они улеглись.

Екатерина Александровна уснула очень скоро; Мила же ворочалась на своей постели с боку на бок, но сон не приходил. Наконец, уже после полуночи, она впала в дремоту, нечто вроде оцепенения, среднее между сном и бодрствованием. Вдруг она вздрогнула и от испуга волосы зашевелились на голове. В соседней комнате раздался предсмертный крик, дверь внезапно отворилась, порыв холодного ветра пронесся по комнате, ударив ей в лицо, и в ту же минуту в нескольких шагах от нее явился Бельский. Он был ужасен. Его окружал ореол красноватого с зеленоватым отливом света; мертвенное лицо было искажено, а в широко раскрытых и пристально смотревших на нее глазах горела такая ненависть, такая отчаянная злоба, что Мила собралась бежать, обезумев от ужаса; но ноги ее отяжелели и отказывались служить.

– Верни мне жизнь... Верни все, что ты у меня отняла, презренная тварь, проклятый дьявольский ублюдок! – сдавленным голосом крикнул он, бросаясь на Милу, и холодные руки призрака схватили ее за шею.

Мила отбивалась и глухо хрипела, надеясь разбудить Екатерину Александровну, но та спала мертвым сном. Она думала, что умирает; цепкие, ледяные пальцы призрака-мстителя как железными щипцами сжимали ей горло, а грудь придавила точно тяжелая скала.

– Папа, спаси меня, – подумала она, а уже все темнело вокруг нее.

Послышался вдруг шум, а между нею и призраком появился пурпурный треугольник, который с треском лопнул; пальцы привидения мгновенно разжались, давившая тяжесть свалилась с груди, а призрак Бельского отступил, превратившись в большой и дымный кроваво-красный шар, который прошел словно сквозь стену и исчез. В изнеможении Мила закрыла глаза.

Ее пробудило чье-то легкое прикосновение; она выпрямилась, опираясь на локоть, и узнала склонившегося над ней отца.

– Папа, спаси меня! – прошептала она, обнимал его шею, и почти тотчас же лишилась сознания.

Красинский поднял ее, как перышко, и скрылся со своей ношей в библиотеке.

Очнувшись, Мила увидела себя в лаборатории отца. Он растирал ей виски и руки ароматичной эссенцией, а потом напоил теплой и сильно пряной жидкостью. Она почувствовала себя лучше и спокойнее, а страх исчез.

– Благодарю, папа. Но, умоляю, прогони его! – шептала она, выпрямляясь.

– Успокойся, дитя мое, он не подойдет больше к тебе и ты не будешь бояться, – произнес Красинский, проводя рукой по ее лбу. – Я дам тебе талисман, который охранит тебя.

– А когда ты дашь мне его? – обрадованная, спросила его Мила.

Красинский улыбнулся.

– Сейчас, милая моя, нетерпеливая крошка.

Он прошел в спальню, а оттуда принес большой металлический диск и положил его в виде коврика на пол. Тогда Мила увидела, что он весь покрыт странными, выгравированными на нем черными и красными знаками. Отец приказал ей встать на этот металлический диск и, взяв в руки небольшой черный треугольник на серебряной цепочке, направил на Милу конец его, напевая при этом размеренным темпом заклинания на непонятном для нее языке. По мере того как он пел, кончик треугольника краснел, словно раскаливаемый на огне; когда же тот накалился, Красинский начертал им три круга, надел талисман на шею Милы, а потом накрыл ей голову куском красного сукна и зажег на нем три шарика какого-

то вещества, которое с треском вспыхнуло всеми цветами радуги, распространяя приятный и живительный аромат. Когда Мила сошла с металлического диска, все существо ее наполняло чувство спокойной силы и энергии.

– Ах, папа, как мне хорошо! – сказала она, вздыхая полной грудью. – И страх совсем прошел. Я думаю, если бы гадкий Бельский показался мне в эту минуту, я не моргнула бы глазом. Тем не менее я предпочитаю, чтобы он не показывался.

Красинский не мог удержаться все-таки от смеха при ее наивном заключении.

– Возьми еще вот это, – сказал он, передавая дочери кусок картона с начертанными, крупными буквами, тремя словами. – Выучи наизусть эти три слова, – и он произнес их громко и внятно, а Мила повторила за ним. – Если он или кто другой явится тебе, произнеси эти слова. Это, так сказать, – *пропуск* или условные слова, по которым адские духи распознают, что такой-то мужчина или женщина принадлежат к оккультному миру. Ни один призрак из *наших* не посмеет ослушаться. Духам из *другого* лагеря я не имею сил приказывать или запретить им показываться тебе, но власти над тобой они не будут иметь.

Мила поблагодарила его, но в ту же минуту вздрогнула. Оказалось, что она была в одной батистовой сорочке и холод давал себя чувствовать. Красинский принес широкий мягкий плащ и закутал ее.

– Согрейся, крошка, и сядь в это кресло. Мне еще надо поговорить с тобой, – прибавил он, подавая ей меховые туфли.

Когда Мила удобно уселась в большом кресле, Красинский принес и поставил перед ней объемистую шкатулку с роскошной отделкой.

– Вот тебе награда за оказанное содействие и воздаяние за страх, пережитый в ту ночь, – проговорил он весело, открывая шкатулку и вынимая несколько футляров. – Вот, во-первых, бирюзовый убор, который чудесно пойдет к твоим золотистым кудрям. Вот – бриллиантовый с изумрудами, который также будет очень к лицу тебе; а вот самое красивое. Посмотри: нитка розового жемчуга с фермуаром из розовых бриллиантов. Вещь очень ценная.

При виде драгоценностей Мила забыла все; в эту минуту она была только женщина. Небо и ад потеряли всякий интерес, а счастье обладать прелестными вещами заслонило все остальное.

– Как жаль, папа, что у тебя нет зеркала, – с сожалением и досадой сказала она.

– Как же, у меня есть зеркало для бритья, – ответил Красинский.

Он принес ей средней величины круглое зеркало, и она смотрелась в него с невыразимым удовольствием, примеряя драгоценности. Красинский задумчиво наблюдал за ней, а на бледном лице его мелькнуло грустное и горькое выражение. Кто мог сказать, какое забытое чувство зашевелилось в темной душе мрачного колдуна при виде этого наивного, невинного счастья?...

– Больше всего мне к лицу бирюза, – заключила Мила, закрывая футляры. – А что еще в коробке? – с любопытством спросила она.

– Кружева, – ответил Красинский, вынимая убор венецианской работы. – Это тоже очень дорогая вещь; а эти платье и вуаль английского шитья для знатоков просто неоценимы. Это твой подвенечный наряд.

– Какой ты добрый и великодушный, папа! – воскликнула Мила, обнимая его и горячо целуя. – Ты говоришь – подвенечное платье, а кто будет мой жених? Я не пойду ни за кого, кроме Масалитинова; но, увы, Надя никогда его не уступит, – с негодованием и грустью сказала она.

– Уступит, беспрепятственно уступит, даже принуждена будет уступить, и очень скоро, потому что там готовятся такие события, которые коренным образом изменят жизнь и будущность Нади.

– А ты дашь мне средство, папа, чтобы Мишель не умер от моей смертоносной, опасной любви? Я люблю его и не хочу потерять.

– Я дам тебе бальзам и капли, которые ты будешь употреблять по моему указанию всякий раз, как заметишь, что отняла у него слишком много жизненной силы.

– Благодарю, папа. Но уверен ли ты, что Надя не сделает скандала? Я не желала бы открыто компрометировать себя, отнимая у нее жениха.

– Будь спокойна, все устроится к твоему полному удовольствию. Притом я надеюсь, что буду недалеко от тебя, и ты всегда можешь прибегнуть к моей помощи. Кстати, должен предупредить, что если встретишь меня в обществе под другим именем, то не должна выдавать, кто я для тебя, а тем более, что видела меня раньше. Также, если увидишь в свете графа Бельского, то тоже не должна выказывать подозрения, что *тело его оживляет другая душа*.

– Какая страшная и непостижимая тайна – такой подмен души, – содрогаясь проговорила Мила. – Значит, все-таки совершено убийство: жестокое и преступное деяние. Признаюсь, это лежит у меня на совести, – добавила она тихо, заметив, что лицо отца нахмурилось.

– Ты касаешься вопросов, которых не понимаешь. Борьба за существование связана с неизбежной жестокостью, а тайна смерти далеко еще не сказала своего последнего слова. Умирать никто не хочет, это верно,

а приобрести новое тело – бесспорно самое надежное и лучшее средство продлить свое существование. Видишь ли, тела все созданы по одному образцу, как часовой механизм. Возьми тысячу часов; все будут ходить одинаково, только бы заводили их. Почему же душа, вышедшая из отжившего тела и поместившаяся в новое, не может воспользоваться этим организмом так же, как бы паровой машиной, налаженной и готовой быть пущенной в движение. До сих пор умение производить аватар составляло тайну *черной* магии, жестоко побиваемой *белой*, но придет время и оно уже не так далеко, как кажется, когда способ этот будет открыт и им широко воспользуются избранники судьбы. Богатые старики будут покупать молодые и сильные тела, чтобы бросать свои старые квартиры и поселяться в новых. Случаи, подобные убийству Бельского, учащаются, а судить их ведь очень трудно, потому что, как может *профан* разглядеть своим грубым глазом, что произошел подмен души.

– Значит, ты предвидишь, отец, что в будущем убийства будут еще чаще? – смущенно и с тоской спросила Мила.

– Они будут в ином роде; теперь же, тебе и другим профанам, они кажутся такими страшными и непонятными потому, что вы не понимаете самого способа его совершения, а для невежд все непонятное кажется невозможным. О! Эти полужайки, то есть невежды, воображающие себя «очень учеными» потому только, что одолели университет. Что это за ужасное отродье! Такой господин с гордостью именуется «доктором» химии или медицины, а в сущности он еще только понюхал науки, не углубляясь в нее.

Как лечат врачи? Следуя рутине своих предшественников; вылечат насморк или простое воспаление при пособии своей латинской кухни и считают себя великими. Но как только они очутятся лицом к лицу с какой-нибудь из нервных и психических болезней, где скальпель бессилен, они становятся в тупик, потому что видят и лечат *одно* тело, упорно не желая даже допустить существование чего-либо кроме плоти, а тем более понять, что именно в этом-то *ничто* и заключается ключ к тайне.

Истинная наука – это оккультная, ибо в ней таятся корни великих истин и причина всех вещей. То, что изучают с открытыми глазами, видя одну только материю, не имеет большого значения; настоящим же ученым становишься тогда, когда, закрыв глаза на видимое, погружаешься в пучину *невидимого мира* и изучаешь духовную жизнь.

Для того, чтобы быть *действительно* врачом, в полном значении этого слова, надо изучить астральное тело так же хорошо, как и физическое, понимать могучее влияние одного на другое, и уметь управлять

невидимыми силами, как например флюидические токи, силы: солнечная и лунная, огромное влияние красок и запахов. А слепец, не замечая, проходит мимо сокровищ, расточаемых перед ним природой, а по своему невежеству совершает, конечно, больше убийств, чем мы – черные кудесники. В лаборатории вселенной имеется все, необходимое животному или растению; потому что одно дополняет другое и невидимая магнетическая цепь объединяет все три царства, – минеральное, растительное и животное, – с человечеством. Нет ничего мертвого, нет ничего бесполезного, потому что мудрая хозяйка, называемая «природой», умеет пользоваться всем. Пепел, например, кажется ни к чему не годным, а между тем сколько в нем полезных и чудесных веществ. На пепле и костях угасшего человечества зарождаются и развиваются новые творения и у настоящего врача всегда наготове неистощимый запас лекарств, ибо в великой кухне природы он найдет все, потребное ему.

На себе самой, Мила, ты видишь подтверждение сказанного мной: ни один врач не понял настоящую причину твоего болезненного состояния, и все называли его «неврастенией». Прекрасно, но ведь «неврастения» – это слово, прозвание, которое они не умеют объяснить, т. е. *икс*, который существует, но они не могут определить его, чтобы подвергнуть радикальному лечению. Они не знают или не хотят видеть, что в каждом существе находится неистощимый запас жизни и сил, которые надо только уметь поддерживать. Дуб или пальма могут жить сотни лет; жизнь попугая, да и других животных также бывает очень продолжительна; один человек редко, за немногими исключениями, достигает ста или ста двадцати лет. Это только «случай», но для того словно и созданный, чтобы доказать, что существует возможность и основание для такой долгой жизни, а от человека зависит упрочить это основание и найти средство создать новую породу, способную жить сотни лет. И средство это найдут, потому что оно *должно быть* так же просто, как и все в природе. Мое же убеждение – таково, что искусство продлить жизнь состоит в сохранении сил в клеточках, из которых состоит человеческое тело, и в питании организма веществами, потребными ему для существования без увядания; причем необходимо уничтожать такие, которые вредят, точат его. Ежедневно люди умирают тысячами; сколько тружеников мысли погибает от слабости, истощения жизненных сил или паралича мозга, а почему? Потому что полуученые не знают *окультурного* корня болезни, лечат паллиативами, а когда микстуры им не помогают то, они со спокойной совестью решают, что болезнь «неизлечима», а смерть – «естественный результат известных причин». И так будет продолжаться до тех пор пока, как всегда и случается,

какой-нибудь *профан* не сделает великого открытия на изумление патентованных «ученых».

Я не настолько сведущ, чтобы утверждать, что смерти не должно существовать, и что если она продолжает терзать человеческое сердце, то только потому, что люди терпят ее по своему невежеству; этого сказать я не могу. Но что *воскрешение* мертвых существует, а что астрал может быть вызван и водворен в материю, это – факт бесспорный.

Ведь воскресали же Лазарь, дочь Иаира и так далее; пророки и многие великие служители *белой* магии тоже воскрешали умерших. Есть, значит, средства, существуют токи, которые возобновляют ткани и восстанавливают деятельность сердца, этого великого двигателя, соединяющие в себе все проводники жизни в человеческом механизме.

Удивительный и таинственный орган! Первым начинает он действовать и последним кончает работу, управляя всем организмом, контролируя все в нем происходящее и в то же время являясь восприимчиком, так сказать, всех чувств, движений души; он в постоянном общении с миром, и я подозреваю, что в нем-то и таится великая тайна борьбы со смертью.

Великие *посвященные*, те таинственные мудрецы, которые скрываются в своих недоступных Гималайских дворцах, *они-то* знают эту тайну, но никогда ее не выдадут, особенно нам, которых они презирают и уничтожают при всяком удобном и неудобном случае...

Красинский замолчал, поглощенный видимо своими мыслями. Случайно подняв глаза, он встретил прикованный к нему взгляд дочери, и зеленоватые глаза Милы выражали смутные чувства. Красинский провел рукой по лбу и выпрямился.

– Я увлекся, дорогая, и заговорил о сложных, непонятных предметах, которые, полагаю, даже мало занимают тебя; я же, видишь ли, живо интересуюсь окружающими тайнами и забыл, что для тебя понимание слишком трудно.

– Ты ошибаешься, папа. Все, что ты говорил, крайне любопытно; я все отлично поняла, и очень желала бы изучить эти таинственные, увлекательные науки. Только я боюсь этих неведомых сил.

– Страх, милая моя, – это надежный запор, который накрепко замыкает перед профаном врата оккультного мира. Тот, кто *боится*, никогда не перешагнет грани *невидимого*. Там на страже стоит дракон входа – *страх*, а стережет он одинаково, как *белую* дверь, так и дверь туда, что люди называют «адам». Первое достоинство ученика науки – это мужество и смелое сердце, умеющее побороть страх, который вырастает со всех

сторон, чтобы смутить его.

– Папа, умоляю тебя, научи меня никогда не бояться! – воскликнула Мила, сверкая глазами.

Красинский улыбнулся.

– Это трудно и надо много энергии, чтобы владеть собой, – ответил он. – Увидим, хватит ли у тебя необходимой твердости.

Одно могу указать тебе теперь же: для того, чтобы побороть свои слабости, надо стать выше заурядного человека; необходимо огромное напряжение нервов, род экстаза.

Достоверно известно, что во время сильного волнения человек забывает страх, а все обыденное, мелкое в жизни бледнеет и сглаживается. Духовные силы работают одни, и в такие минуты человек становится смел, пренебрегает всякой опасностью и внутренняя сила толкает его вперед. Доказательства сказанного мною имеются издавна; известно множество фактов, когда, ввиду грозящей опасности, у человека неизвестно откуда являются силы. Бесстрашный и отчаянный, он пренебрегает всякой опасностью; весь его телесный аппарат работает с невероятной силой, а проворством он может превзойти иной раз акробата; мощь увеличивается во сто раз, и соображение быстрее молнии. А придя в нормальное состояние, тот же человек недоумевает, как он мог все это совершить, и почему голова его не закружилась над этими безднами, при одной мысли о которых он уже дрожит? Каким чудом прошел он такие изумительные пространства, поднимал тяжести, которые должны были бы по-видимому, раздавить его? Случалось видеть, что женщины, своими слабыми руками ломали железные решетки в минуты подобного возбуждения, когда астрал властвует над плотским телом, комкает и словно из воска делает из него по-своему, что хочет. Такое высшее напряжение наиболее часто и сильно бывает с людьми нервными и с виду слабыми, а не с крепкими, которые кажутся олицетворением силы; но дело в том, что у тех астрал обременен материей. Одним же из главных условий приведения себя в такое высшее состояние признается *уединение*, т. е., отсутствие прочих живых существ, которые во все стороны разливают свой сильный, животный флюид; а в обществе человек постоянно сталкивается с *аурой* всякого сорта. Чем более человек упражнялся, в добре или зле, тем развитее его аура, тем пространнее она и исполнена динамической силы. Все, *посвященные* в белую или черную магию, избегают обыкновенно толпы, которая гнетет и душит их *ауру*. По этой причине на всех умственно работающих, на *истинно* ученых толпа производит тягостное и подавляющее впечатление; аура их сжата, и им кажется, что не хватает воздуха, словно они стоят под

стеклянным колоколом. По твоим глазам я вижу, что сказанное мной не совсем ясно тебе и ты только смутно понимаешь меня. Поэтому я объясню в нескольких словах, что такое человеческая аура: это отражения его мыслей, чувств и деяний, которые образуют мало-помалу вокруг него яйцевидной формы ореол, а состав его, цвет и запах, соответствуют химической сумме образующих его излучений. Дальше, всякая умственная работа, всякое нервное напряжение производит, подобно динамо-машине, более или менее светлые токи, до огненных и искровых лучей.

Чем напряженнее мозговая деятельность и потому сильнее пламенные взрывы мысли, тем более расширяется аура, становится восприимчивее, а человек, занимающий по-видимому так мало места, становится чем-то громоздким и ему нужно большее пространство, иначе он задыхается в толпе.

– Значит, для достижения такого высшего состояния необходимо жить в уединении, избегая общества? – спросила Мила, слушавшая отца с напряженным вниманием.

– Это один из наиболее важных способов, но не единственный. Для того, чтобы подавить в себе плотского человека и придать большую гибкость астральному телу, существуют разные средства: питье, мази, специальные ванны; вообще, разнообразные приемы, уничтожающие бесполезный кожный жир и способствующие астральному телу отделяться, чтобы производить магические действия. Волшебные сказки, дитя мое, например «Тысяча и одна ночь», вовсе уж не такая нелепость, как об них думают. Это пересказ в восточной форме магических действий, совершать которые способен тот, кто обладает их секретом. Я сам испытал на себе благотворное влияние одиночества.

Вот уже более двадцати лет, как я живу в этом подземелье, провожу в нем наибольшую часть времени и, по совести могу сказать, не знаю, что такое «скука». Я учился, копался в умственных сокровищах собранных здесь; а тут существуют весьма интересные записи, под стать любому потрясающему роману. Как в волшебной панораме оживали передо мной события, а древние подземелья населялись людьми минувших веков. Каменные изваяния на могилах и в склепах говорили, становились вновь живыми, с их любовью и ненавистью, с их преступлениями и страданиями. А наука, хотя бы то и наука зла, как зовут ее болваны, – все равно. Какие горизонты открывает она, и какую чудодейственную силу дает! Время прошло у меня, как сон. А ты видишь, Мила, что годы и труд не истощили моего тела; я разумно поддерживал его необходимыми для него веществами, и кто теперь скажет, что мне столько лет.

Красинский встал, улыбаясь, а Мила с восхищением и любопытством смотрела на него. Высокий и стройный, он походил на молодого человека.

Затем он научил ее, какое благовидное объяснение дать г-же Морель относительно полученных от него драгоценных подарков. В занимаемой ею спальне, бывшей прежде комнатой Маруси, был потайной шкаф, и Красинский указал Миле, как найти его и открывать; туда она должна спрятать шкатулку и рассказать, что случайно нашла шкаф и ящик.

– Мы увидимся только через неделю, потому что я уезжаю по неотложному делу, – прибавил он. – Но устрой так, чтобы остаться здесь до моего возвращения, потому что мне надо еще раз поговорить с тобой перед отъездом вашим в Киев.

Мила обещала и, веселая, собралась уходить.

– Я донесу до библиотеки ящик, а то он тяжел. Не бойся призрака Бельского, если он даже и появится, – говорил Красинский, – пока они проходили подземными коридорами. Он не властен более над тобой и не может причинить тебе вреда; запретить же ему бродить по этим местам я не могу. Он приходит сюда черпать силы в человеческих испарениях и до тех пор будет пользоваться ими, пока астральное тело его, еще перегруженное жизненным флюидом, не очистится достаточно для того, чтобы подняться во второй и более чистый сравнительно с первым слой, доступный духам умерших; но первое время ему настоятельно необходимо оставаться среди живых.

У двери в библиотеку они расстались.

На следующий день гонец от Бельского привез письмо Екатерине Александровне, в котором граф сообщил, что его постигло страшное несчастье, и обожаемая мать его скоропостижно скончалась от разрыва сердца, как телеграфировала ее компаньонка. Он прибавлял, что немедленно уезжает и извиняется, если не успеет приехать проститься, но надеется на разрешение повидаться с ними в Киеве. При письме были два великолепных букета.

– Бедный мальчик, – сказала госпожа Морель с сожалением, – он так любил мать. Для него – тяжелый удар потерять ее неожиданно. Кто мог думать, когда мы видели графиню на балу у Максаковых, что этой красивой и молодой еще женщине, цветущей на вид, оставалось несколько недель жизни? – Заметив, что Мила задумалась и молчит, она прибавила: – Послушай, дитя мое, я уверена, что граф приедет в Киев просить твоей руки; он до безумия любит тебя. Горячо советую принять его предложение, – это блестящая партия. Он молод, красив, очень богат и устроит тебе счастливую жизнь. Чего лучшего можно желать?

– Я не говорю «нет», но надо подождать, пока он сделает предложение, а тогда увидим, как будут обстоять дела.

XVI

Появление Бельского продолжало пугать людей, и сама Екатерина Александровна, несмотря на свой скептицизм и претензию на вольнодумство, начала чувствовать себя очень нехорошо, не будучи в состоянии отделаться от суеверного тоскливого настроения. Каждую ночь, всегда в один и тот же час, в кабинете раздавался сдавленный крик; но никак не могли открыть, откуда он исходил и кто мог кричать в пустой комнате, запертой теперь на ключ. Кроме того, прислуга клялась, что с наступлением ночи начиналось что-то ужасное: по коридору с жалобными воплями сновала тень, убегавшая в сторону озера, мебель с шумом передвигалась, в стенах слышались удары и треск, а удивительнее всего было то, что лица, видевшие призрак, уверяли будто, это – граф Бельский. Екатерина Александровна хотела уехать и не понимала странной прихоти Милы, настаивавшей на том, чтобы остаться, трунившей над ее доверчивостью к глупой болтовне людей, и смеясь уверявшей, что она ничего не видела и не слышала, не боится ничего и не желает уезжать с острова, где ей так хорошо. Напрасно убеждала ее г-жа Морель, что становится холодно и сыро, что соседи разъезжаются и что они останутся наконец одни на острове, так как напуганная прислуга не хочет жить, а горничная и кухарка уже сделали скандал и объявили, что ни за что не останутся в доме, где «бесчинствует нечистый». Только на ее убедительную просьбу и удвоенное жалованье те наконец сдались.

Но Мила ни за что на свете не тронулась бы с дачи, не повидав отца; может быть то, что он хотел ей сказать, касалось Мишеля, к которому она питала упорную и горячую страсть. Как истинная дочь Красинского, она даже не задумывалась о том, что удовлетворение ее желания разобьет счастье Нади, так глубоко любившей своего жениха. Закованная в свой дикий эгоизм, Мила решила, что красивая и богатая Надя может найти другого мужа, Масалитинова же она ей не уступит. Не даром это странное и роковое создание вышло из подонков духовного мира, и нечистые токи влекли ее к плоти.

Чтобы отвлечь Екатерину Александровну от мыслей об отъезде, Мила показала ей шкатулку, будто бы найденную в потайном шкафу, и они обе тщательно его осмотрели. Там оказалось несколько писем Вячеслава и разные женские вещи, которые г-жа Морель признала за Марусины, а содержимое шкатулки привело ее в полный восторг.

– Твоя мать никогда не показывала мне эти чудные вещи и прелестные кружева. Это английское шитье должно непременно пойти тебе на подвенечное платье, – решила она.

Мила ожидала свидания с отцом с лихорадочным нетерпением, так как в душе и она стремилась уехать. В Киеве она увидит Мишеля; кроме того, призрак Бельского, виденный ею несколько раз, отравлял дальнейшее пребывание на острове. Привидение, правда, не приближалось к ней, но тем не менее, блуждая в нескольких шагах, оно пристально глядело на нее страшным взглядом, полным такой смертельной ненависти, что Мила холодела до костей. Наконец, как-то утром, она нашла под подушкой завернутую в ее носовой платок коротенькую записку, вызывавшую ее ночью в подземелье.

Красинский действительно уезжал и был очень занят. Он наметил большой план полной перемены жизни: покинуть остров и вернуться в общество под другим именем. Даже близко знавшие Вячеслава не заподозрили бы ничего, потому что Тураеву было бы теперь за пятьдесят лет, а Красинский оставался молодым человеком не старше тридцати.

Он намеревался, прежде всего, побывать в Париже, потом проехать в Австрию, чтобы купить там имя и титул, а затем решил поселиться в Петербурге и разыгрывать в большом свете роль второго Калиостро. Он был великий ученый, настоящий чародей, и мог совершать чудесные исцеления, и даже «воскресить» мертвого, вселив в него ларву. При этой мысли на лице Красинского мелькнула глумливая усмешка. В успехе он был уверен, а *тайна* привлекает толпу, как огонь – неосторожную бабочку. Притом, в обществе он непременно встретит многих братьев по союзу, из которых одни поддержат его, а другие даже обязаны ему повиноваться.

Красинскому еще хотелось заняться Милой и понаблюдать за ней: он привязался к девушке, насколько способна была к тому его мрачная, холодная душа. Она была молода, в ней сталкивались и боролись два противоположных принципа, а в жилах текла строптивая кровь матери – женщины, безумно любимой им когда-то, которая оказала непобедимое упорство.

В телесной оболочке Вячеслава та узнала Красинского, человека ей ненавистного, и никакие мольбы не дали ни прощения, ни любви.

При одном воспоминании о страшных сценах, происходивших между ними, об отвращении и ужасе, которые она даже не скрывала от него, вся кровь прилиwała к его мозгу и сердце отчаянно билось.

С непоколебимым упорством отказалась она вступить в секту сатанистов, и сколько неприятностей, сколько физических даже страданий

причиняла она ему своей «глупой» верой, молитвами, призыванием Бога и святых! До самой смерти цеплялась она за это Небо, которое он отринул. Потом родилась Мила, и между ними произошла самая ужасная из всех бывших до того сцен.

Несмотря на его прямое запрещение, Маруся воспользовалась отсутствием мужа и окрестила Милу так, что никто не мог даже подозревать ее намерений. Однажды утром она взяла ребенка, а преданный ей матрос Агафон, бывший тогда на острове, перевез ее на другой берег и затем проводил в сельскую церковь, где Мила была окрещена. Ребенок чуть не умер во время обряда, и Красинский, по возвращении домой, нашел его при последнем издыхании; потребовалось все его знание, чтобы спасти девочку. На его негодование и яростные упреки Маруся отвечала ледяным равнодушием, чем всегда бесила его, и наконец выговорила слово, неслыханное в устах этого юного и прежде столь кроткого, любящего существа: «Я предпочитаю видеть ее лучше мертвой, чем во власти дьявола».

Все эти воспоминания вставали в памяти Красинского в тот самый вечер, когда он, в ожидании дочери, приготавливал для передачи ей разные вещи.

Болезненное состояние Милы и разлад в ее душе, – все это происходило от розни в убеждениях ее родителей.

Два одинаково могучих, но противоположных тока сталкивавшихся в ней, давили на ее существо и могли в будущем причинить серьезные осложнения. Без сомнения, не виноват был в своей двойственности бедный ребенок, которого небо и ад оспаривали друг у друга, но Красинский предвидел предстоявшую ей тяжелую, жестокую борьбу, так как он решил бороться до конца, не желая уступать Марусе, бывшей первой зачинщицей борьбы. Победа оставалась нерешенной, но Красинский надеялся одолеть и для этой цели хотел вооружить дочь.

В большой шкатулке он расставлял целый ряд склянок, коробочек с порошками, маленькие занумерованные мешочки и положил тетрадь. Когда пришла Мила, отец подробно объяснил ей, как пользоваться этими снадобьями, и в виде руководства указал на тетрадь с заметками.

– В ящике двойное дно, и там лежит вторая тетрадь, вместе с несколькими особыми средствами, которые ты будешь употреблять только в крайних случаях и, если возможно, советуясь со мной.

– Конечно, я всегда предпочту твой совет, – ты такой великий ученый. Но как мне говорить с тобой, если ты будешь в отсутствии, или нам нельзя будет видаться, особенно когда ты поселишься под другим именем? –

озабоченно спросила Мила.

Красинский достал из ящика небольшой аппарат и поставил его перед дочерью.

– Видишь, при помощи этого инструмента я буду общаться с тобой и передавать свои советы и приказания. Затем я покажу, каким образом ты можешь говорить со мной, или, вернее, спрашивать моего совета и помощи. Начнем с этого аппарата, рассмотри его хорошенько.

Мила нагнулась и с любопытством разглядывала оригинальную машинку. На бронзовой, или иного какого металла ножке поднималась стальная спираль с пластинкой из какого-то странного вещества в виде перламутра, а из центра шел тоненький стальной стержень и вверху был привешен крошечный хрустальный колокольчик. Внизу прута помещалась длинная, загнутая игла, очень тонкая и гибкая, как волос, и кончик ее касался пластинки.

– Когда колокольчик зазвонит, это будет значить, что я хочу говорить с тобой; если тебя не будет на месте, ты почувствуешь укол в пальце, на котором будешь носить это кольцо. Получив предупреждение, постарайся освободиться и приди в свою комнату, чтобы привести в действие аппарат. Прежде всего ты снимешь пластинку и минут на пять опустишь ее в эссенцию, находящуюся в этом синем флаконе с пентаграммой; а после употребления, перелей эссенцию опять во флакон и положи пластинку на спираль. Прodelай это сейчас, на пробу, при мне.

Мила повиновалась и с лихорадочным нетерпением принялась за указанные манипуляции. Когда она вынула из жидкости пластинку и положила ее опять на аппарат, с верхушки стального стержня стрелой сверкнул огненный зигзаг вроде молнии, и тонкой, светлой полосой потянулся прямо к Красинскому, который тотчас отошел в конец залы и сказал:

– До меня дошло извещение, что аппарат готов, а расстояние не играет здесь никакой роли.

Он достал из кармана маленькое металлическое зеркало, из середины которого выходила тонкая спираль вроде той, что поддерживала пластинку. Подняв зеркальце на высоту своего лба, он закрыл глаза и, видимо, сосредоточился, потому что жилы на висках вздулись под напряжением его воли; Миле показалось, что голову его окружал фосфоресцировавший пар, а из волос сыпались искры. Минуту спустя колокольчик опять зазвонил, точно по хрусталу ударяли чем-то металлическим. В то же время стальная игла начала дрожать и шипеть, как кипящая вода, а конец ее раскалился до бела; пластинка же быстро завертелась, точно на граммофоне. Красинский

все продолжал стоять с закрытыми глазами и в глубокой задумчивости. Вдруг игла и пластинка остановились, и колокольчик затих, когда Красинский открыл глаза и отер лоб.

– Теперь возьми кусочек ваты, смочи ее в этом белом флаконе № 1,ними пластинку и осторожно вытри.

Эссенция почти мгновенно испарилась, и Мила онемела от изумления, когда увидела вырезанные на пластинке красные круги мелких знаков, сделанных точно красной иглой.

– Это похоже на стенограмму, – нерешительно заметила она.

– Это и есть стенографии мысли, – с улыбкой ответил Красинский. – Вот в этой красной тетради ты найдешь все объяснения этих знаков. Немного потрудившись и при некотором усилии ты скоро все поймешь.

– О! Об этом, папа, не беспокойся; я стану изучать каждое слово, пока не узнаю все знаки и буду читать их так же бегло, как всякую книгу. Но ведь через этот аппарат я буду получать только *твои* советы; а как же быть, если я захочу обратиться к тебе и просить твоей помощи?

– Сейчас объясню тебе и такой способ, а прежде еще одно замечание. Пластинка, которую ты держишь в руках, может служить только один раз; но в этом кожаном мешочке их несколько дюжин и пока тебе достаточно. А теперь я покажу, как обращаться ко мне.

Он вынул из коробки металлический футляр в виде конверта и открыл его; там была пачка тонких, желатиновых словно, листков, прозрачных и светившихся. Красинский достал листик, взял из коробки маленький флакон, нечто вроде стеклянного пера и мешочек с зеленым ярлыком, наполненный белым, фосфоресцировавшим порошком.

– Напиши на листке, что хочешь, зелеными чернилами из этого флакона. Хорошо! Теперь брось на пластинку маленького треножника несколько щепоток этого порошка, положи сверху листик, посыпь немного тем же веществом и зажги. Вот зеленая свечка, которую ты можешь зажечь спичкой.

Порошок и лист мгновенно вспыхнули; с треском взвилось большое зеленое пламя, а когда оно погасло, то на пластинке конфорки не осталось ничего, даже и щепотки пепла. Тогда Красинский достал из кармана книжку, вроде записной, и показал Миле: листки книжки были металлические, очень тонкие и отливали всеми цветами радуги. На одном было начертано светившимися буквами: «Милый папа, благодарю тебя за все, чему ты меня учишь».

– Ты видишь, что таким образом мы можем всячески сообщаться без малейшего затруднения. Я всегда имею при себе эту книжечку для моей

личной корреспонденции, и легкий аромат извещает меня, что в моем кармане уже лежит послание ко мне, – весело сказал Красинский.

– Милый папа, как все это чудесно, точно сказка.

– Дорогая Мила, все, чего не знаешь и никогда не видел, всегда кажется «чудесным». Представь себе, что воскрес бы человек, умерший всего лет двести назад, а ты показала бы ему фотографический или телеграфный аппарат, паровую машину или электрическую лампу. Да он стал бы кричать о колдовстве, о магии, о черте и т. п. Еще немало чудесных открытий предстоит увидеть человечеству. Мы, и в особенности Гималайские эгоисты, уже пользуемся многими неизвестными пока профанам изобретениями, которые очень упрощают магические операции. Да, дитя мое, не входя в рассуждение о том, Кто именно вдохновитель, Кто измыслитель законов природы, но необходимо признать одно: механизм вселенной, столь сложный по-видимому, управляется изумительно простыми законами. Положительно недоумеваешь, когда убедишься в простоте дела, сравнительно с разнообразием следствий, и весь человеческий гений ограничивается только открытием простого двигателя этих исполинских сил. *Порядок и простота* – таков девиз великого неизвестного Строителя, Которому дают много имен, но Которого никто еще не изведal и не нашел Его настоящего имени. Чем невежественнее человек, тем сложнее, труднее и запутаннее его работа. Внутренний хаос сказывается в самом его труде и человек работает ощупью; он, правда, создает, но с какими страшными усилиями и непременно, минуя прямой путь, бродит по извилистым, тернистым тропинкам. Ведь что отличает высокий ум от толпы? Ясность и простота его соображений, легкость, с которой тот не только сам усваивает, но и других учит ясно постигать трудные и запутанные, по-видимому, вещи. Так «ученый», но негениальный химик перепробует нередко тысячи опытов, прежде чем найдет одно искомое вещество; а обладай он даром вдохновения, ему достаточно было бы зачастую одной реакции, чтобы получить желаемое. И в результате просветительные соображения *одного* какого-нибудь избранного духа всегда проливают больше света, чем усилия целой сотни ученых посредственностей. Но время идет вперед и все совершенствуется; мозг человеческий, как и способы передвижения. Сравни грубую и запряженную буйволами средневековую телегу с нашими теперешними экипажами, разве не пропасть разделяет их? А в будущем, несомненно, все это будет заменено воздухоплаванием, при котором излишними окажутся железнодорожные пути и дурно содержимые дороги, словом все, требующее ручного труда. Ибо рабочие руки станут все дороже, и труднее

будет доставать их, потому что со временем человек захочет жить одним умственным трудом; а в последнее время существования планеты ее населит особенное, удивительное человечество. Из скрытых архивов прошлого явится арсенал неведомых в настоящее время наук и сил, и начнется самая ожесточенная из всех борьба живого человека со *смертью*. Характер грядущих веков рисуется в виде возмущения человека против неизбежного «обречения на смерть», которая предательски, невзначай косит без разбора и ребенка, и юношу, и старика. А борьба эта будет отчаянная, и человечество примется в рукопашную биться с гидрой, отнимающей у нас жизнь. Потому ведь этот жестокий закон, причиняющий столько слез и горя, не представляет вовсе *закон природы*, так как удостоверено, что существуют исключения.

Пока мы еще не имеем ключа от этой тайны; мы бродим вокруг да около нее, а для одоления смерти должны прибегать к сложным, мудреным, зачастую жестоким и опасным приемам; но это ничего не доказывает. Простое же и быстрое средство, прямо достигающее цели, будет непременно найдено, потому что оно *существует* и это не подлежит сомнению.

– И ты надеешься, папа, найти средство победить смерть, этот бич человечества, который своим ледяным дыханием превращает живое существо в безжизненную массу и гонит душу в невидимый, полный стольких ужасов мир? – с содроганием спросила Мила.

– Я убежден, что найдут вещество, которое воспрепятствует разрушению тела смертью. Тело, видишь ли, – это скопление химических веществ; материя, образующая клеточки, и кровяные шарики заимствованы из трех царств, и все четыре стихии тоже отражаются на них. По силе роста человек и животное представляются усовершенствованными растениями, а известковый костяк является наследием минерального царства, помимо того, что в организме находятся железо и другие минералы. Повторяю, тело – это очень искусное, даже артистическое, можно сказать, сочетание различных элементов. Значит, весь вопрос в том, чтобы найти средство воспрепятствовать распаду этой массы объединенных клеточек; так как смерть – ни что иное как медленное или внезапное прекращение их деятельности. А природа всюду дает нам указания на подобное вероятие, и на примере рака мы видим, что возможно восстановление отнятых членов. Ввиду того, что наращение клеточек человеческого тела совершается на основе духовного или астрального тела, то с потерей руки, скажем, или ноги утрачивается лишь собранная материя, тогда как служившая ей основанием *форма* остается нетронутой. Отсюда следует, что когда найдут

способ накапливать частицы новой материи и закреплять их на астральной форме, то и отнятая у человека нога или рука так же легко вырастет, как и клешня у рака. А что невидимый двойник существует, то скажет и подтвердит тебе любой калека, ощущающий нередко ревматические боли в ампутированных конечностях.

– Что ты говоришь, отец? Можно ли чувствовать боль в несуществующей руке? – смеясь и недоверчиво спросила Мила.

– Как это ни странно тебе кажется, тем не менее имеются тысячи случаев, подтверждающих необъяснимые боли и упорное ощущение в отнятых руках и ногах. Могу рассказать тебе по этому поводу два случая, из которых один произошел при мне, а другой я знаю со слов знакомого американского хирурга, который был свидетелем подобного явления в 1881 году в Скалистых горах.^[9]

Вот его рассказ:

«Я осматривал с приятелями, – говорил он, – механическую лесопильню; один из моих спутников поскользнулся, неосторожно взмахнул рукой и пилой ему покалечило предплечье. Потребовалась немедленная ампутация, а до города было далеко. После операции отрезанную руку положили в ящик с опилками и зарыли в землю. Немного время спустя, уже будучи на пути к полному выздоровлению, приятель мой стал жаловаться на боль в отнятой руке, поясняя притом, что чувствует, будто рука полна опилок и что в палец всажен гвоздь. Жалобы его продолжались, а боль мучила до того, что лишила сна. Окружавшие начали опасаться за его рассудок, а мне вдруг пришла мысль побывать на месте происшествия и, – как это ни странно может показаться, – когда я обмывал потом вырытую из земли руку и очищал ее от опилок, то увидел, что гвоздь от крышки действительно вошел в палец. Но это еще не все: больной, находившийся за несколько миль от меня, говорил в это время своим друзьям: «Льют воду на мою руку и вынимают из нее гвоздь. Вот теперь мне гораздо лучше...»

– Просто непостижимо, – прошептала Мила. – А ты сам что видел, папа?

– В Париже я знал одного американца, Самуила Моргана, который служил на фабрике швейных машин Зингера. Вследствие бывшего с ним несчастья, ему отняли руку до плеча и я частенько навещал его. Не раз жаловался он на боль в плече и судороги в отсутствовавших пальцах; тогда вспомнился мне рассказанный тебе случай, и я попросил лечившего Моргана доктора приказать вырыть ампутированную руку. Тот посмеялся надо мной и отказал; но ассистент, молодой врач, добыл-таки ящик, и мы

вместе открыли его. Оказалось, что втиснутая в слишком малый ящик отрезанная рука была согнута и вообще очутилась в таком положении, которое могло бы вызывать в живой руке ощущение боли, подобной той, на которую жаловался Морган. Ассистент был поражен обнаруженным обстоятельством и просил растолковать ему это явление, что я исполнил очень охотно; а он, в ответ, описал мне бывший с ним случай, оставшийся до тех пор загадкой. Он видел рабочего с отрезанной ногой, который держался так, будто у него обе ноги были в целости.

Я объяснил ему, что находившийся в сильном волнении человек бессознательно оперся на астральную ногу, которая на мгновение отвердела под влиянием болевого импульса. Сказанное мной доказывает бесспорно существование *астрального* тела, независимого от обрастающей его плоти; а если существует форма, то на ней можно восстановить материю, и остается только найти для этого способ. Но его найдут, потому что он, бесспорно, существует. Однако довольно об этих мудреных предметах; займемся-ка лучше тем, что касается тебя лично.

Я знаю, что г-жа Морель желает уехать; не удерживай ее более и поезжайте в Киев, где ты увидишь своего милого Мишеля. Я же сказал тебе все, что хотел сказать.

– Благодарю, папа. Я жажду его увидеть, а вместе боюсь предстоящей мне борьбы с Надей. Это будет тем более тяжело, что он не любит меня, я это знаю.

Мила вздохнула и судорожно сжала руки.

– У Нади без того будет много забот и потому не хватит ни времени, ни желания состязаться с тобой, – насмешливо заметил Красинский. – Дела Замятиных очень плохи, разорение их неизбежно, и... кто знает, переживет ли его старик? А лихой Мишель наделал уже много долгов, которые ты будешь иметь удовольствие платить. Ха, ха, ха! Впрочем, ты можешь позволить себе эту роскошь, – ведь ты богата.

– У Масалитинова долги? Возможно ли? Он – такой аккуратный! – проговорила изумленная Мила.

– Да, конечно, но с моей помощью он стал игроком и притом несчастным. Помнишь ты сестру Демению? Она много принимает у себя и в ее доме тайный игорный притон. Я устроил, чтобы его завлекли туда; а так как мы располагаем множеством действительных средств всякого рода, то графиня сначала заинтересовала Мишеля своей особой, а потом заставила его играть, и тот проигрался. Теперь он надеется поправить дела Надиным приданым, а та через несколько недель будет нищей. Свадьба расстроится и тебе останется подобрать отставного жениха со всеми его

долгами.

Мила ничего не ответила и глубоко задумалась. Вдруг она выпрямилась и неожиданно спросила:

– Скажи мне, папа, к чему на свете зло, и так ли оно могущественно? Зачем совершают люди преступления, ненавидят и истребляют друг друга? Мне хотелось бы разъяснить себе этот непонятный вопрос.

Красинский лукаво ухмыльнулся.

– Зло, дитя мое, неизбежная вещь в нашем мире, который населен людьми, обуреваемыми всякими страстями и встречающими ежеминутно преграду своим вожделениям; а так как человек жаждет исполнения своих желаний, то и стремится уничтожать стоящие на его пути препоны. Отсюда и вытекают те его поступки, которые ты называешь «преступлениями», а в сущности, это – практическое осуществление во всей полноте воли человека, чтобы заставить судьбу исполнить испытываемое им желание. Таков изначальный закон: *сила* одолевает *слабость*, а потому и идет вечная борьба двух лагерей: слабого, или так называемого «добродетельного», с сильным, именуемым его противниками «злым» и «преступным». В каждом живом существе насаждены желания, только жажда удовлетворения их постоянно подавляется в душе праведного, то есть слабейшего, понятием «греха». Между тем одному грех как будто дозволен, а другому нет; а это потому, что, если природа и творит всех равными, то условия жизни создают между ними весьма большое различие. Поэтому возникает неизбежная борьба, а так как «слабому» она воспрещена, то он обыкновенно и погибает, побежденный «сильным», который уже ни перед чем не останавливается и не разбирает препятствий по пути к достижению своей цели. Он смело, не моргнув глазом, совершает такие деяния, которые слабый, напуганный «грехом», прозвал «преступлениями». Бессильный своей «добродетелью», тот глупо гибнет, и некому помочь ему, потому что в *сильном*, который один мог бы еще пособить, он усматривает «преступника», «искусителя», а не то «дьявола». Он ищет света и бежит от мрака, а ведь свет-то далек от него, и только невероятным трудом удастся ему, может быть, слиться с ним силой своих излучений, иначе говоря молитвой. Сильный же, наоборот, любит мрак, и отлично ориентируется в окружающей его тьме, которая пособляет ему и служит вместе с тем убежищем. В планетной иерархии земля наша занимает очень скромное место, и это ее несовершенство отражается на ее обитателях, которые с начала мира пожирают друг друга. Таково уж неизбежное следствие этого убожества: для существования надо питать пылающий в нас жаркий огонь желаний. Заурядный человек жаждет *всего*, что доставляет ему

благосостояние и щекочет его инстинкты; он ревниво стережет то, что дает ему наслаждение, и ненавидит каждого, в ком подозревает соперника, помеху в достижении желанной цели; а над всеми другими стремлениями преобладает одно: устранить того со своего пути, т. е. уничтожить. Он не потерпит существования другого, который мог бы лишить его уже предвкушаемого наслаждения. Зависть и ревность гложут всякую тварь на Земле, и такая обоюдная жадность замечается даже во всех трех царствах. Желание заместить собой другого является основанием, двигателем к восхождению в невидимое, потому что это стремление обостряет все мозговые функции. Чувства эти считаются низменными; но зато – это черви, подтачивающие стены, за которыми скрываются тайны великой лаборатории абсолютного знания. Слова «раздавит друг друга» кажутся жестокими и недостойными; а между тем такое явление ежедневно почти, хотя и без нашего ведома, повторяется каждым из нас. Не давит разве наша нога тысячи невинных насекомых, занятых своей мирной работой? А ведь мы остаемся совершенно равнодушными перед этими гекатомбами...

– Да, папа, но ведь это низшие животные; людей же, равных нам, если их любишь, нельзя так спокойно уничтожать, – возразила Мила.

– Если их «любишь»? Гм! Чаще всего, я полагаю, думают главным образом о своем собственном спасении. Это не значит, впрочем, чтобы я отрицал силу любви; я и сам испытал тиранию этого странного чувства, но мне кажется, что оно только следствие излучения некоего смолистого вещества, которое так сказать слепляет не только одного человека с другим, но даже и с вещами; привязываются же, например, к старой мебели, или изношенному и скверному платью, пропитавшимися мало-помалу нашими выделениями, т. е. тем клейким веществом, которое мы обрываем, разлучаясь с вещью, а потому мы избегаем этого неприятного ощущения. Все это, дочь моя, глубоко интересные предметы и в другой раз мы подробнее поговорим о любви и о зле так как мы их понимаем.

– Не правда ли, это несчастье, когда близкие люди смотрят на вещи с совершенно противоположных точек зрения. Мнения, высказанные Мишелем, совершенно не сходятся с твоими. Как согласить это? – заметила Мила, а потом, после минутного колебания, прибавила: – Между тобой и мамой также было разногласие и даже теперь вас разделяет как будто пропасть.

Выражение злобной горечи на минуту исказило лицо Красинского.

– Ты права: мы с ней принадлежим к двум враждебным лагерям; но, во всяком случае, мы снисходительнее к адептам Неба, чем они к нам. В неистощимом «милосердии» своем они принципиально преследуют нас,

воюют с нами своим символом или ладаном, и когда даже мы им ничего не делаем, они рады уничтожить нас. Но, если мы желаем наслаждаться и удовлетворять свои страсти, то это – совершенно законное чувство; право каждого – завоевывать желаемое. Кому до этого какое дело? А ведь между нами есть удивительные ученые, и мы трудимся над открытиями в неведомом плане также, как и гималайские *эгоисты*. Если они располагают огнем, так и мы тоже; и нам повинуется молния, хотя не отрицаю, что они сильнее нас. Но они – *эгоисты*, а свое знание, свою чудодейственную науку скрывают в пещерах, или недоступных дворцах, и делятся ими только со своими адептами; тогда как мы выносим на рынок свое приобретенное знание и отдаем его в общее пользование. Однако прощай, дорогая. Мы не скоро увидимся, но я буду следить за тобой, будь покойна. Может быть, и увидимся тайно, а когда встретимся в свете, я буду под другим именем. Ты же иди навстречу своему счастью.

– Я буду счастлива, если Мишель полюбит меня, но не могу представить себе, как уступить его Надя? Она страстно его любит, а ты говоришь, что она станет совсем бедной. Что же будет с ней? Она так привыкла к роскоши.

Красинский загадочно улыбнулся.

– Вижу, что тебя трогает ее судьба. По правде говоря, это слабость, которой тебе не должно поддаваться; но все равно, я скажу, что, по-моему, ожидает ее в будущем. Я думаю, что она не устоит в непосильной борьбе и сделается жертвой сатаны; а самое пикантное в этой истории то, что ее погубит, вероятно, именно ее добродетель. Надя любит своих, и ей будет тяжело видеть их страдания; во всяком случае, бедность, голод, и унижения – опасные советники. Прибавь к этому еще безмолвие Неба, которое любит подвергать своих приверженцев тяжким испытаниям, пока совсем не раздавит их, а это является могущественным содействием аду. В общем, получается такая злая ирония: любовь и преданность, то есть основы добра, губят душу человека. Такова будет, по-моему, и судьба Нади. Она не способна на мученичество, а только мученики, которые безропотно переносят все несчастия и пытки, могут пролезть в ту узкую щель, что зовется *вратами небесными*. А двери ада широко открыты, и царь его награждает своих подданных всеми земными благами, не требуя взамен ничего, кроме разрыва с Небом и его служителями, отриц...

Струя теплого и ароматного воздуха ударила Красинскому в лицо и оборвала его речь; он откинулся назад, словно пораженный в грудь. Между ним и Милой встало беловатое облако, быстро сгущавшееся и принявшее облик женщины в легком одеянии; распущенные волосы ореолом окружали

ее лицо, а в руке блестел золотыми лучами крест.

– Да, ад дает все телу, у души отнимает то, что ее поддерживает и просвещает, – послышался гармоничный отдаленный голос.

Видение приблизилось к Миле, стоявшей неподвижно со сложенными на груди руками. Но в эту минуту Красинский, с пеной у рта от бешенства, словно железными клещами схватил руку дочери, и та, слабо вскрикнув, упала в обморок.

– Прочь! Исчезни, неблагодарное создание, ненавистью заплатившее мне за любовь. А! Ты еще хочешь отнять у меня и дочь? Никогда не уступлю ее тебе!

С проклятиями и творя в то же время магические формулы, схватил Красинский с груди черный крест и протянул его, в опрокинутом виде, по направлению призрака Маруси; из пространства вырвался черный, тошнотворный дым и, извиваясь спиралью, потянулся к светлому видению, которое побледнело и отодвинулось, но не исчезло, прикрываясь, как щитом, своим лучезарным крестом.

– Ты пока еще не победил, и я надеюсь вырвать у тебя душу моего ребенка, презренный раб тьмы, – произнес благозвучный голос.

В ту же минуту донеслось откуда-то дивно могучее по звучности пение. Красинский прервал свои проклятия и заклинания, зашатался, охваченный точно головокружением, и затем внезапно рухнул на пол.

XVII

Мила очнулась на своей постели, и около нее на стуле стояла шкатулка, данная отцом. Молодая девушка чувствовала себя разбитой, но все же поспешно встала и прежде всего заперла ящик; затем она выпила подкрепляющих капель и снова улеглась, а в обычный час вышла в столовую к завтраку.

Екатерина Александровна уже сидела за столом, озабоченная и нахмуренная; она серьезно сердилась на Милу, упрямо желавшую оставаться тут, когда уже целую неделю можно было быть в Киеве. Она стыдилась настоящей причины своего нетерпения покинуть остров, так как ей неприятно было сознаться теперь, что скептицизму ее нанесено жестокое поражение. А ее действительно обуял страх. По ночам она чувствовала пронесившиеся по комнате порывы ледяного ветра, в коридоре раздавались шаги, а в пустой комнате рядом слышалась ясно ходьба и передвижение мебели. Последняя же ночь довершила ее ужас: ее разбудило прикосновение к ее лицу холодной руки, и она отчетливо видела склонившегося над ней Бельского. Его мертвенно-бледное, перекошенное лицо и блуждавшие, фосфорически блестящие глаза были ужасны, и у храброй г-жи Морель пробежал мороз по коже. Мила, прихлебывая молоко, наблюдала за ней и спросила, почему у нее такое сердитое лицо? Тут глухое раздражение ее прорвалось наружу.

– Меня бесит твое упрямство. Зачем сидим мы здесь? Погода испортилась, начались дожди и вот уже три дня настоящий потоп; а хуже всего, что кто-то имеет дерзость мистифицировать нас. До сих пор можно было думать, что люди болтают вздор, а в эту ночь я *сама* видела, так сказать, призрак Бельского! Забавно, право. Привидение человека вполне здорового. Если бы я могла накрыть наглого обманщика, то засадила бы его в тюрьму. А теперь объявляю тебе, что *не остаюсь* *далее* здесь. Я уже начала укладку вещей и советую тебе сделать то же, потому что послезавтра мы уезжаем.

Мила едва удержалась от смеха. Ее чрезвычайно забавлял очевидный страх Екатерины Александровны, но она не обнаружила ничего и ответила дружески:

– Милая мама, я не думала, что тебе так неприятно жить здесь. Сама я не придавала никакого значения рассказам прислуги, тем более, что решительно ничего не видела; но, если дерзость мистификатора коснулась

даже *тебя*, то лучше уехать: потому что, как можем мы поймать плута, который, наверно, знает все закоулки и лазейки этого свиного гнезда. Я немедленно примусь за укладку.

В полном согласии дамы принялись за дело и через день покинули остров.

В Киеве Милу ожидал приятный сюрприз: при содействии Замятина Екатерина Александровна купила для нее дом, где они тотчас и поселилась. Дом был прелестный, настоящей дворец, и они посвятили первые дни меблировке его с утонченной роскошью, так как предполагали жить открыто, а зимой давать балы и вечера. Окончив предварительные дела, они справились, возвратились ли с дачи Замятины, и, узнав что те в городе, отправились к ним вечером.

Они встретили там еще нескольких гостей. По-видимому, ничто не изменилось и в доме было то же довольствие, какое Мила видела в Горках; но тайное чутье скоро указало, что изменились хозяева дома, и над семьей что-то тяготеет. Сам Замятин состарился словно на двадцать лет за эти несколько недель, и по-видимому, его угнетали тяжелые заботы. Надя побледнела и похудела, а Замятина была грустна и озабочена. Даже отношения жениха и невесты казались как будто натянутыми. Масалитинов был нервен и озабочен, а Надя раздражена и непокойна. Довольная улыбка мелькнула на лице Милы: значит, отец не ошибся. Почва была хорошо подготовлена, видимо, и окончательная катастрофа не замедлит наступить. За чаем прибыли еще гости, и разговор оживился, но настоящего веселья не было; позднее старики сели за карточные столы, а молодежь собралась в будуаре Зои Иосифовны.

Злорадно прислушивалась Мила к разговорам, вертевшимся преимущественно на традиционном бале, предстоявшем через неделю у Замятиных, которым праздновался каждый год день рождения хозяйки дома.

– Это будет твой последний бал, а потом, прекрасная Надя, ты будешь нищей, – с затаенной радостью подумала Мила, заметив взаимные улыбки и несколько беглых слов вполголоса между женихом и невестой.

Кто-то рассказал бывший в Америке процесс на основе злоупотребления гипнозом, и разговор перешел на эту новую силу, открывающую столь широкое поле для преступности. Г-жа Морель, присоединившаяся к молодежи, приняла деятельное участие в разговоре и передала несколько любопытных случаев, свидетельницей которых была в Париже, в клинике профессора Шарко. От гипнотизма перешли к спиритизму, астрологии, хиромантии и другим прорицательным наукам и,

наконец, к гаданью. По этому поводу один из молодых людей рассказал, что какая-то гадалка на картах с изумительной верностью предсказала ему смерть родственника, неожиданное наследство, путешествие по поводу этого события и случай, ожидавший его в дороге.

– И все буквально исполнилось. С тех пор я верю, что по картам можно знать будущее, – прибавил он убежденно.

– Совершенно искренно сознаюсь, что не верю ни одной из этих «таинственных» наук и делаю небольшое исключение только для карт, – сказала смеясь Екатерина Александровна. – И то потому, что Мила иногда гадает изумительно верно. Но и это может быть потому, что будучи весьма нервной, она просто предвидит иногда то, что должно наступить.

Некоторые из присутствовавших стали просить Милу погадать, и она охотно согласилась.

В тот день она была очень привлекательна вообще. Прелестное платье зеленовато-голубого цвета, с мягкими волнистыми складками, превосходно шло к ее высокой, стройной фигуре; а бархатный бант того же цвета прекрасно выделял золотистые волосы и ослепительную белизну кожи.

Увидав, как присутствовавшие восхищались правдивостью ее слов, Надя также подошла и попросила сказать ей будущее. Общее внимание отвлеч от молодых девушек жаркий спор о действительности медиумических сеансов и проявлений духов. Надя села против Милы и, склонив голову на руку, следила за разложенными на столе картами.

– Фи, какие скверные карты! Не стоит объяснять их, – сказала Мила, делая вид, что хочет смешать карты, но Надя остановила ее руку.

– Скажите мне, Мила, что вы видите? Может быть, карты и ошибаются; а если нет, то лучше знать вперед, какие несчастья ожидают меня.

– Право, я не запомню такого дурного сочетания, – отвечала Мила, колеблясь. – Неожиданный траур, денежный крах, или по крайней мере крупные потери, совершенная перемена положения и, по-видимому, даже отъезд отсюда.

– А мое замужество? – спросила Надя, побледнев.

– Оно кажется не состоится, или может быть надолго отложено, не могу сказать точно. Но все это – вздор, не верьте ничему, – прибавила она, порывисто смешав карты.

Вынув потом из колоды шестнадцать новых, она смешала и, разложив, сказала весело:

– Вот теперь совсем другое. Взгляните, несчастья все позади, я вижу вас замужем и чрезвычайно богатой.

Бледная Надя слушала страшные предсказания, но не сделала никакого замечания; только взгляд ее с странным выражением скользнул по лицу жениха, ставшего около нее и также слышавшего все. Затем она встала, коротко поблагодарила и вышла из комнаты на зов матери.

После минутного колебания Масалитинов сел на стул, где сидела раньше невеста и, нагнувшись к Миле, попросил погадать и ему. Молча Мила смешала колоду и дала ему снять, а потом, разложив карты, сказала после минутного раздумья и качая головой:

– Ваши карты тоже очень нехороши, Михаил Дмитриевич. У вас были большие денежные потери; посмотрите, вокруг вас все черно; это враги и всякие огорчения; точно разорение вашей невесты ведет и вас к несчастью. О! Вы будете очень близки к... пагубным решениям, но любовь женщины спасет вас и остальная жизнь ваша протечет блестяще и счастливо.

Она подняла голову и страстный взгляд ее зеленоватых глаз остановился на внезапно побледневшем лице молодого человека. Масалитинов почувствовал пробежавшую по телу ледяную дрожь, и ему потребовалась вся сила воли, чтобы скрыть охватившую его сердце тоску и притвориться спокойным. Он поблагодарил Милу, пошутив над ее трагическими предсказаниями. Разговор стал общим, но Надя с женихом утратили прежнее спокойствие. На душе их была страшная тяжесть и, под предлогом мигрени, Масалитинов уехал до ужина. Надя проводила его в прихожую, и слезы сверкнули в ее глазах, когда жених как-то нервно и порывисто, в несколько приемов, поцеловал ее руки.

Мила, ревниво следившая за Надей и Масалитиновым, злобно улыбнулась;

– Плачьте, плачьте, други милые! Пойте лебединую песнь своей любви. Скоро неумолимая судьба разлучит вас, а потом оба вы найдете счастье иным образом и не вместе.

Мне жаль тебя, Надя, но я не уступлю тебе любимого человека. Кто хочет успеха, должен прямо идти к цели и давить «насекомых» на своем пути. Отец сказал, что удовлетворять свои желания – неотъемлемое право каждого, и он прав. Но как удачно, что этого противного Георгия Львовича нет в Киеве; он – враг мне, я чувствую это, и противодействовал бы моим планам.

Действительно, Ведринский уехал. Говорили, что он получил большое наследство, взял отпуск и отправился устроить дела. Известие об его отъезде несказанно обрадовало Милу. Ее буквально давило присутствие серьезного и сдержанного молодого человека, а его строгий и ясный взгляд, казалось, читал в ее душе.

Мрачный, с тяжелой головой и сжатым сердцем, вернулся Масалитинов домой. Несмотря на скептицизм, устрасавшее предсказание Милы произвело на него тяжелое впечатление. Не могла она, например, знать, что у него карточные долги; а ведь если Замятины будут разорены, то он очутится в таком отчаянном положении, что останется только пустить пулю в лоб. Ну, а женщина, которая будто бы спасет его, это, разумеется, она, Мила; про то ясно говорила сверкавшая в ее глазах пылкая страсть. При этой мысли в душе его с новой силой вспыхнуло внушаемое ему Милой отвращение, при всей ее несомненной красоте. Он задрожал, припоминая, какой злостью горели ее змеиные глаза, когда она сулила ему столько бед. Если, при всем том, в ясновидение ее Масалитинов не верил, зато был убежден в злом недоброжелательстве относительно Нади, которой та от всей души, конечно, желала всех предсказанных несчастий. Какое, однако, она странное и загадочное существо: обаятельное и в то же время отталкивающее; каким опасным зловредным очарованием веяло от этого хрупкого, гибкого, как у змеи, тела и фосфоресцировавших глаз; словно особый губительный аромат, дразнивший страсть, давивший и порабощавший исходил из этого «цветка бездны».

Погруженный в такие тяжелые мысли, Масалитинов беспокойно ходил взад и вперед по комнате, не замечая, как походка постепенно замедлялась и его охватывала истома; под конец он безотчетно опустился в кресло и откинул голову на спинку. Михаил Дмитриевич не спал, а между тем все тело налилось, словно свинцом, и он не был в состоянии шевельнуть пальцем. Однако странная вещь, несмотря на такое, как бы параличное состояние, голова его работала, и он отлично сознавал, что находился в каком-то необычайном состоянии. Против него было окно его спальни, и вдруг он с изумлением заметил, что голубая шелковая штора колыхалась и вздувалась, словно от сильного ветра; вскоре на темном фоне материи появились две светлых бляхи, обратившихся в две блестящие точки, и затем пара хорошо знакомых зеленоватых глаз уставилась на него пристальным, удивительно жизненным взглядом. Вокруг глаз обозначился контур лица, и золотистые кудри, а затем обрисовался высокий стан Милы, закутанной в развевавшееся белое одеяние. Как зачарованный, смотрел Масалитинов на это странное явление; а Мила тем временем отделилась от занавеси и плыла к нему. Она вполне походила на живую, а между тем витала в воздухе и даже подол ее платья не касался пола. Достигнув его кресла, она положила руку ему на лоб и нагнулась, смотря в глаза Масалитинову взглядом такой силы, что тот ощутил острую боль в мозгу. «Я люблю тебя», как дуновение тихо прозвучало в его ушах. Минуту спустя порыв ветра

пронесся по комнате, отшел видение к окну и все исчезло, а голова Михаила Дмитриевича закружилась, и он на время потерял сознание.

Открыв глаза, он подумал сначала, что видел все это во сне; но наполнявший комнату одуряющий аромат заставил его призадуматься. Откуда он взялся? Духи ему были незнакомы. Он поспешно открыл окно, но аромат все не проходил, и, подойдя уже к постели, Масалитинов нашел, что там запах был еще сильнее. У него явилось даже намерение позвонить и приказать переменить белье, но его охватила такая усталость и сонливость, что он машинально разделся, бросился в постель и тотчас уснул.

Проснулся он на другое утро поздно, но свежий и бодрый. Воспоминание о ночном видении ослабело, и он уверил себя, что видел Милу во сне. Но, пока он еще одевался, ему непреодолимо захотелось сделать визит г-же Морель. Желание это затем усилилось и стало так мучительно, что он решил отправиться немедленно и почувствовал облегчение, лишь выйдя из экипажа у дома Милы. Встретила его Екатерина Александровна и приняла очень любезно, а немного спустя вошла Мила. Она была очень бледна и жаловалась на мигрень, мучившую ее всю ночь, хотя теперь ей стало лучше. Она была весела, оживлена, и на этот раз, впервые, Масалитинов не нашел в ней ничего неприятного; наоборот, она показалась ему прекрасной, грациозной и полной наивной прелести.

Хозяйки показали ему дом. Обстановка везде была утонченно изящна, а бальный зал и зимний сад были особенно роскошны; также очень богато и оригинально обставлен был и большой кабинет в восточном вкусе. Персидский ковер покрывал пол, а по стенам развешено было драгоценное восточное оружие.

– Какое великолепное, но оригинальное убранство для дамы. Разве Людмила Вячеславовна обладает таким воинственным духом? – спросил гость.

– Нет, она очень миролюбива, и не для нее назначила я этот кабинет, – засмеялась Екатерина Александровна. – Эта комната, видите ли, не имела прямого назначения; но я думала, что когда Мила выйдет замуж, кабинет этот понадобится ее мужу, тем более, что у меня было это оружие, собранное моим бедным покойником во время службы его в Африке.

– Счастлив смертный, который займет этот кабинет, – заметил Масалитинов с любезной улыбкой и восхищенным взором.

Да и в самом деле в ту минуту гибкая, нежная, как мотылек, а притом застенчивая и скромная, как дитя, Мила казалась ему даже обаятельной. Осмотр дома занял много времени, и, когда вернулись в гостиную

Екатерина Александровна пригласила гостя отобедать с ними, на что тот согласился охотно, потому что какая-то смутная, словно притягательная сила все более и более привязывала его здесь. После обеда Мила села за рояль. У нее был хорошо обработанный голос; аккомпанировала она сама, а пела с огоньком и выразительно. Масалитинов был сибарит, любил роскошь, хороший стол, дорогое вино, и потому начинал чувствовать себя очень хорошо в атмосфере дома, где все дышало богатством и привольем. Еще во время обхода дома в душе его шевельнулось смутное чувство сожаления, досады и зависти. Он чувствовал, что любим хозяйкой дома и мог бы обладать всем этим блеском если бы... не был женихом Нади, приданое которой было весьма скромное в сравнении с богатством Милы. Да еще дадут ли ей и это приданое? В городе про дела Замятина носились тревожные слухи. Весь тот жестокий эгоизм и страстная жажда наслаждения, которые дремали пока в его душе, словом, все дурное пробуждалось теперь. Он охотно остался пить чай, поддаваясь очарованию зеленых глаз и забывая ясный и грустный взгляд своей невесты.

А в доме Замятина деятельно готовились к обычному большому балу. Только в прежнее время между хозяевами и прислугой бывало обычно радостное оживление, а теперь всех давила какая-то глухая тревога.

Особенно Надя терзалась дурными предчувствиями. С жутким, неусыпным вниманием всматривалась она в отца и жениха; а раз в душу закралось подозрение, то она увидела многое, чего не замечала раньше. Так, она подметила, что Филипп Николаевич был встревожен и с трудом старался скрыть свое возбуждение; никогда еще отец не получал и не отправлял столько депеш, а вместе с тем он как будто с лихорадочным нетерпением ожидал кого-то, кто не приезжал. Жених тоже казался ей странным, и она еще не видывала его в таком изменчивом настроении. Надя инстинктивно, сердцем чувствовала, что в нем произошел какой-то перелом. Взгляд его не был таким открытым, как раньше, и он избегал даже смотреть ей в глаза, точно в глубине души таились мысли, которые он старался прикрыть любезными фразами.

Наконец настал день бала. С утра уже носили корзины цветов, коробки конфет и дорогие подарки от близких и друзей. Потом нахлынула толпа поздравителей; а после семейного обеда дамы отправились немного отдохнуть и заняться туалетом.

Масалитинов удержал на минуту Надю и увел ее в будуар. Он заметил грустное, почти страдальческое выражение ее глаз, и в нем шевельнулось что-то, похожее на угрызение совести.

– Надя, отчего вы так грустны? Отчего такой измученный вид у вас?

Разве случилось что-нибудь неприятное? – поспешно спросил он, привлекая ее к себе.

– Нет, Михаил Дмитриевич, не случилось ничего, но меня мучает какая-то смутная тоска; я предчувствую угрожающее нам, и в близком будущем, несчастье. Не могу сказать, когда оно разразится, но я знаю, чувствую, что оно повисло над нами, стережет нас и окутывает своей темной силой. Невыразимая мука щемит мое сердце. О, это проклятые Горки! Как прав крестный! Беда пристаёт к каждому, кто в них поживет. Там именно видела я ужасный сон, предвещавший, что неведомое горе лишит меня всего, даже вас, Мишель!

И голос ее заглушило сдержанное рыдание. Она не видела лихорадочной краски, покрывшей лицо жениха при ее последних словах; а он избегал взгляда Нади, когда торопливо отвечал ей в утешение:

– Ах, дорогая моя! Можно ли так поддаваться нервам и воображать Бог знает что. Почему без всякой причины рушится вся наша судьба? Вы сами создаете себе пугало в будущем, вместо того, чтобы наслаждаться радостным настоящим.

Что-то в тоне и словах жениха не понравилось и покорило Надю. Она стремительно отстранилась от него и смерила его испытующим взглядом.

– Вы правы. Надо всегда гнать прочь химеры. А теперь, – до свидания. Мне надо еще распорядиться относительно вечера и одеваться, – и, послав ему прощальный привет рукой, она вышла из комнаты.

Настал вечер, и залы стали наполняться приглашенными. Прелестная в белом газовом платье, с нарциссами в волосах и у корсажа, Надя носилась среди нарядной толпы, помогая матери принимать гостей. Она казалась веселой, и только лихорадочная краска на щеках выдавала ее внутреннее волнение. Она не теряла из вида отца и незаметно следила за ним; таким образом она видела, что лакей сказал ему что-то, после чего отец поспешно прошел в кабинет, куда ввели знакомого ей банковского чиновника, но ее поразил взволнованный вид того. Однако обязанности дочери хозяина дома и необходимость танцевать удерживали ее в зале и только во время перерыва она пошла к отцу.

Не находя его нигде, она побежала к матери и спросила:

– Не знаешь ли ты, что папа еще занят с Ивановым? Уже более часа они не выходят из кабинета.

– Вероятно, какое-нибудь важное дело удерживает папу, а так как большинство стариков засели уже за карты, то он и мог скрыться. Все-таки, Надя, сходи и позови его. Скоро будем ужинать.

Надя пошла прямо в комнату отца и постучала; но, не получив ответа, она отворила дверь; кабинета был пуст, и отец ушел, значит, в другой рабочий кабинет, в конце коридора, куда она и побежала.

– Отвори, папа, на одну минуту, – говорила она, стуча в дверь. – Пожалуйста, отвори, или ответь по крайней мере!

Но в ответ не было ни звука. Сердце ее замерло, и она прислонилась к стене. Во что бы ни стало хотела она знать, что там делается? Но каким образом войти. Вдруг ей вспомнилось, что в комнате секретаря, рядом с кабинетом, есть потайная дверь. Надя стремительно бросилась в секретарскую комнату, освещенную висючей лампой и, на счастье, дверь с драпировкой была отворена. Надя вошла, но и там, к удивлению ее, было темно. Разве отец ушел?... Дрожавшей от волнения рукой повернула она электрическую кнопку около письменного стола, и яркий свет озарил комнату. Письма, бумаги и телеграммы в беспорядке валялись на столе, а кресло было пу сто; но когда Надя обернулась, то вздрогнула и застыла в ужасе, мертвенно-бледная. На диване лежал распростертый отец с запрокинутой головой; галстук был сорван, жилет расстегнут, а на ковре около дивана валялся револьвер.

Неподвижно стояла Надя, не издав ни звука; она точно окаменела, и горло сжалось; одни широко открытые глаза прикованы были к мертвецу. Но если тело ее казалось бесчувственным, то мысль работала с лихорадочной быстротой. Несчастье, которое она предчувствовала за целые недели, вот оно...

Оно улеглось тут, на этом диване, а вокруг него толпились, словно глумясь, мерзкие призраки разорения, нищеты, стыда и протягивали к ней свои костлявые лапы, показывая на мрачную, открытую у ее ног бездну, которая поглотила ее будущность, любовь, счастье и довольство...

Минуту спустя Надя выпрямилась. Как автомат, вышла она из кабинета, прошла коридор, две служительские комнаты и вошла в залу, где был устроен буфет и в эту минуту находились двое: старый профессор-врач и чиновник канцелярии генерал-губернатора. С удивлением взглянул доктор на Надю, которая шла шатаясь, бледная и с застывшим взором. Вдруг она вздрогнула и остановилась: из залы донесся вальс, и эти веселые звуки ударили ее, как ножом, в сердце... Там веселились и плясали в то время, когда хлебосольный хозяин дома лежал мертвый в нескольких шагах от них.

– Надежда Филипповна, что с вами? – испуганно спросил доктор, беря ее за руку.

– Отец... – могла только прошептать она.

– Болен? Где он? Скорее ведите меня к нему! – зашепшил доктор.

И Надя, оживленная вдруг лучом надежды, повела его в комнату. Бледный, взволнованный доктор нагнулся к Замятину и осмотрел его.

– Все кончено, – сказал он, вставая, – Филипп не делал ничего наполовину, – и обернувшись к последовавшему за ним чиновнику, в нерешимости стоявшему у двери, прибавил: – Адольф Карлович, будьте добры, велите там, без огласки, прекратить музыку и танцы. Скажите просто, что Филипп Николаевич серьезно заболел. Нет надобности, чтобы тотчас же узнали про беду во всем ее объеме.

Молодой человек повернулся к выходу, чтобы исполнить поручение доктора, а на пороге появилась Зоя Иосифовна. Одного взгляда ей достаточно было, чтобы все понять. С глухим криком бросилась она к дивану; но, не дойдя до него, зашаталась и рухнула без чувств на пол.

Великодушное желание доктора скрыть на время истину не исполнилось; как электрическая искра пронеслась весть о самоубийстве Замятина и среди веселой толпы произошло смятение. Танцы прекратились, и карточные столы опустели...

Один из однополчан подошел к Масалитинову, только что танцевавшему с Милой и беседовавшему с ней в оранжерее. Узнав о случившемся, тот был ошеломлен; он бросился в кабинета и попал в ту минуту, когда уносили все еще лежавшую в обмороке Замятину.

Несколько господ, а среди них и местный полицеймейстер разговаривали вполголоса около трупа.

– Ясно, что слухи про беспорядки в делах Замятина имели основание. Если бы возможно было спасение, он не убил бы себя. Несчастливая семья! – с участием сказал один из говоривших.

Масалитинов прислонился к притолоке, и у него закружилась голова.

Волнение между гостями продолжалось, и некоторые дамы истерически плакали, но все спешили покинуть дом, где ангел смерти распахнул свои темные крылья.

«Сострадательные души» не могли смотреть на страшное несчастье, поразившее таких прекрасных людей. Охотно принимается участие в радостном событии, и очень редко, когда делят с друзьями слезы и горе; потому перед подъездом была страшная давка и экипажи быстро уносили хозяев из злополучного места.

Притаившись за кустами пальм и латаний, Мила с дрожью смотрела на этот погром. Какая лавина несчастий обрушилась на счастливую еще столь недавно и гостеприимную семью. Смерть, позор, горе во всех его видах... И на этих-то обломках разбитых, исковерканных жизнью

созидалось ее личное счастье...

– Ага! Вот она, дьявольская философия отца! Слезы и проклятия жертв будут ее свадебными песнями. Сколько преступлений скопится в эту минуту над ее головой... Хоть она знала о том, что готовилось, и согласилась, но... не представляла себе, что это тяжело. В эту минуту в ее душе говорила та частица чего-то святого, которую она унаследовала от несчастной матери. Страх и угрызения совести боролись с радостным довольством и торжеством над соперницей. Вдруг в лицо ей пахнула волна холодного воздуха и резкий голос шепнул ей в ухо:

– Если станешь хныкать над несчастием, которое вызвано только ради тебя и будет ступенью к твоему счастью, то лишишься плодов своей победы. Запомни это, безумная!

Побледнев от ужаса, Мила выпрямилась и блуждающим взором огляделась вокруг, зала была пуста, а между тем она узнала голос отца. Схватив свою накидку, она бросилась к выходу и вздохнула с облегчением только в карете.

Немного позднее вернулась домой навещавшая Замятину Екатерина Александровна и рассказала, что несчастная все еще была без сознания, а находившийся при ней профессор опасался серьезного осложнения.

Мила не ответила ничего на соболезнования г-жи Морель: сострадание было ей воспрещено...

Мрак и безмолвие окутали пораженный несчастием дом. В зале, где за несколько часов до этого танцевала ликующая толпа, стоял катафалк; подле безмолвно почивавшего плакали навзрыд двое младших детей и раздавался однообразный голос монахини, читавшей нараспев псалтырь. В спальне, на задрапированной шелковой материей постели, металась в нервной горячке Зоя Иосифовна, и сестра милосердия, наскоро вызванная профессором, меняла ей мешки со льдом; а в ногах кровати белая, как ее батистовый капот, сидела Надя. Она не проронила ни слезинки, но распоряжалась и отдавала необходимые приказания. Ее выдавал только тихий и упавший голос, с трудом выходящий точно из сжатого горла, а на прелестном личике застыло выражение безысходного отчаяния.

Масалитинов тоже уехал под предлогом сильного волнения, вызвавшего страшную головную боль. Надя молча выслушала объяснения жениха и смерила его загадочным взглядом. «Значит, и он бежит», – подумала она с горечью. Когда тот скрылся, она прижала руки к груди, которую давила страшная тяжесть, и подумала: «Одна, совсем одна... Все погибло!»

Взор ее блуждал по пустым, но освещенным еще залам, и заметил

стол, установленный серебром, цветами и хрусталем. Молча, под наблюдением экономки, убрали лакеи со стола, за который никто не садился. Перед ней тоже захлопнулись двери «жизненного пира», которого она даже не отведала. Охваченная невыразимым чувством горечи и отчаяния, Надя отвернулась и ушла; ей хотелось запереться в своей комнате, но она вспомнила о больной матери и пошла к ней.

Следующие дни были ужасны для нее, но зато служили испытанием ее характера, вдруг выросшего и поднявшегося до такой высоты энергии и силы, каких нельзя было предполагать в хрупкой избалованной и изнеженной с детского возраста девушке. А Зоя Иосифовна лежала в нервной горячке, представлявшей опасность для жизни, и Надя отходила от ее изголовья только, чтобы помолиться у гроба отца.

Но, помимо душевного горя, на Надю со всех сторон сыпались удары судьбы. По всему городу только и говорили о самоубийстве директора банка и его разорении, а ремесленники и разный мелкий люд, доверивший банку свои сбережения, охвачены были паникой. Перед домом собирались взволнованные, негодующие толпы, слышались угрозы и проклятия, осаждали контору, сторожили служащих и засыпали их расспросами.

Крики эти доходили до залы, где стояло тело, и бросали Надю в дрожь.

Когда прибыл следователь, чтобы опечатать деловые книги, Надя пожелала видеть его и заявила ему, что она с матерью, за которую ручалась, отказываются от всего личного состояния, чтобы удовлетворить по возможности кредиторов.

Похороны Замятина, очень скромные, состоялись рано утром, и посторонних было очень мало. Надя шла за погребальной колесницей с меньшими братом и сестрой; она точно потеряла способность плакать, и не одной слезинки не упало с ее сухих, горячих глаз.

Г-жа Морель и Мила также следовали за гробом; но, заметив враждебную холодность, с какой Надя приняла их соболезнования, они отошли. Масалитинов проводил невесту до дома и откланялся, ссылаясь на служебные дела.

XVIII

Вечером, в день похорон, Михаил Дмитриевич сидел в своем кабинете, и перед ним лежала куча писем и бумаг, которые он судорожно комкал. Он был смертельно бледен и губы дрожали; насупив брови, мрачным взглядом смотрел он в пространство с выражением безумного отчаяния. Минувший день нанес ему удар, который превзошел все его опасения. Как стая волков, накинулись на него кредиторы и в письмах, разложенных на столе, требовалось, с угрозой судом, немедленное погашение уже просроченных обязательств. Он хорошо понимал, что если эти шакалы и молчали до сих пор, то лишь в расчете на его брак с богатой наследницей; теперь же его не щадили, а платить ему было нечем. О, как проклинал он ныне глупое увлечение, толкнувшее его на игру! Но к чему поздние и бесцельные угрызания совести?... Он бесповоротно погиб. Будущее для него представляло одно лишь сплетение унижений и всякого рода лишений, к которым он не привык. Он любил роскошь, а гордость его была чрезмерна, и при одной мысли со стыдом выйти из полка, снять мундир, сойти с блестящей жизненной сцены и окунуться в темную, полную лишений жизнь, – кулаки его сжимались и с уст срывались проклятия. Нет, лучше – смерть!.. Замятин ведь показал же ему пример. Пуля в висок мгновенно положит конец и долгам, и ставшему невыносимым существованию.

Масалитинов решительно встал, позвонил денщика и, приказав принести две бутылки шампанского в ведре со льдом, потом отослал его. Но прежде чем исполнить окончательное решение, ему предстояло привести сколько-нибудь в порядок бумаги и написать несколько объяснительных и прощальных писем. Он сел в кресло перед письменным столом и задумался, обхватив голову руками. Душа его страдала и содрогалась от ужаса перед той неведомой бездной, куда он собирался кинуться. Молодое, крепкое и исполненное жизни тело возмущалось против уничтожения, его трясла ледяная дрожь и по лицу струился пот.

А каков был бы его ужас, имей он возможность видеть окружавшую его *невидимую* толпу, неизбежную свиту тех, кто собирается преступно кончать жизнь! Но самоубийца не видит обыкновенно и даже не подозревает о существовании омерзительных существ с неопределенными контурами, в виде какой-то студенистой массы, с бледными и злобой искаженными лицами, которые липнут к нему, пожирая его алчными взорами и внушая поскорее покончить с собой, а для этого мучают

страшными видениями позора и бедности, чтобы ослабить в нем силу сопротивления и толкнуть на злодеяние. И гадины эти с лихорадочным нетерпением стерегут минуту, когда тело самоубийцы становится наконец их добычей и они могут упиться жизненным соком, который обильно хлынет из трупа... Чудесное вдохновение древних создало образ Медузы, со змеями вместо волос, – как символ головы человека, мысли которого бывают зачастую ядовитее и опаснее настоящих пресмыкающихся... И горе человеку, прислушивающемуся к голосу гадов пространства и злополучным советам этих служителей тьмы!..

Будучи неверующим, Масалитинов не допускал даже возможности оккультного влияния. Для него было «ясно», что его толкает на самоубийство несчастье, явившееся последствием его безрассудства. Лихорадочно торопливо схватил он перо и принялся писать. Заря не должна была застать его в живых.

В тот же вечер Мила была одна в своей спальне, мрачная и недовольная, собираясь лечь. Горничную она отпустила, сказав, что сначала почитает, а потом разденется сама. Со дня злополучного бала Мила находилась в самом отвратительном расположении духа. Волнение, вызванное ужасным несчастьем Замятиных, испарилось и сменилось обычным эгоизмом; а эгоизм еще усиливался ревностью. Все эти дни Масалитинов не появлялся, и она видела его только на панихидах, а на погребении он едва говорил с ней, казался мрачным и озабоченным. С бешенством и тревогой спрашивала она себя, неужели Мишель окажется так глуп, что останется верен Наде и будет вместе бедствовать? Она только что сняла пеньюар, когда в резном и висевшем у ее постели шкафчике ясно зазвенел хрустальный колокольчик того удивительного аппарата, который подарил ей на прощанье отец. Мила поспешно открыла шкафчик, вынула аппарат и проделала все предписанное; когда же она вытерла пластинку смоченной ватой, то бегло прочла (стенографические знаки она уже знала наизусть) следующие слова:

«Прижатый кредиторами, Масалитинов решился на самоубийство; теперь настоящий момент спасти его, и он – твой. Ты ступай тотчас к нему; дверь на балкон и садовая калитка не заперты. Возьми красный бумажник, который я дал тебе в Горках в день твоего отъезда, и вручи ему; там семьдесят пять тысяч рублей. Надень сама медный браслет с свиной головой, и никто не заметит тебя, а ему кольцо с красным рубином и черными бриллиантами; с той минуты, как оно очутится на его пальце, никакая человеческая сила его у тебя не отнимет. Проходя по дому, полей наркотиком, которым уже пользовалась раньше; никто не должен

подозревать твоего отсутствия. Но поспеши, пока ларвы и вампиры не одолели его и не толкнули на самоубийство.»

Дрожащими руками закрыла Мила аппарат и быстро оделась в темное суконное платье. Завернувшись в темный же плащ с капюшоном, она надела браслет с кольцом и пробежала по дому, разливая везде наркотическую жидкость. Четверть часа спустя, она уже была на улице. Адрес Масалитинова она знала, а жил он недалеко.

Ночь стояла ненастная, дул холодный ветер и сеял мелкий дождь; но Мила не обращала на это никакого внимания, а проворно и легко, как тень, летела по пустынным уже улицам. Масалитинов занимал нижний этаж маленького дома в пять комнат с садом. Как написал Красинский, калитка была отперта, и Мила беспрепятственно вошла в сад. Одно из окон было освещено и вблизи его находился балкон. Без колебаний взбежала Мила на крыльцо, повернула рукоятку, и дверь бесшумно отворилась: дорога была свободна. Сердце молодой девушки тревожно билось; но волновала ее не девичья скромность и не стыд перед тем, что она, без малейшего права, идет в квартиру постороннего мужчины; нет, ее мучило опасение – как бы не опоздать.

Проворно и легко, крадучись как кошка, прошла Мила первую комнату и тихонько приотворила дверь другой, откуда виднелся свет. У письменного стола, боком к ней, сидел Масалитинов; он был мертвенно-бледен, и перед ним на столе лежало несколько запечатанных писем, а на полу валялась пустая бутылка от шампанского; в сжатой руке он держал револьвер. Мила стрелой очутилась около него и схватила за руку.

– Что вы хотите делать, несчастный? – прошептала она дрожащим голосом. – Расстаться с жизнью, которая может быть так прекрасна, полна счастья, славы, богатства!..

Глухо вскрикнув, Масалитинов обернулся, и оружие выпало из его руки на пол. Не будучи в состоянии говорить от изумления, он молча смотрел на молодую девушку, которая никогда еще не была так прекрасна и очаровательна, как именно в эти минуты страха потерять любимого человека. Ее прелестное, все еще бледное личико слегка зарумянилось, а пышные кудри отливали золотом на темном фоне капюшона.

– Людмила Вячеславовна! Вы здесь? Что это значит? – глухо выговорил он.

Мила опустилась на колени около кресла и взяла его руку.

– Вы хотите лишиться себя жизни, Михаил Дмитриевич? Через час она уже не будет принадлежать вам, – так по-297 дарите мне ее: для меня она самое драгоценное сокровище, – ответила Мила, поднимая на него

русалочки глаза, смотревшие с невыразимой мольбою.

Масалитинов поспешно поднял ее, провел рукою по лбу и также встал.

– Если я хотел покончить с жизнью, то потому только, что она не может уже дать мне ничего, кроме позора и нищеты, – произнес он тихим голосом. – Я несостоятельный должник, Людмила Вячеславовна, который может расплатиться с кредиторами только своей кровью. Любящей меня женщине я не могу дать даже честного имени, потому что оно запятнано.

– Я знаю все это, – ответила Мила, – и пришла спасти вас.

– Знаете? – пробормотал озадаченный Масалитинов. – Каким образом?

– Не все ли равно! Любящее сердце одарено шестым чувством, а я больше всего на свете люблю вас. Я постараюсь скрасить жизнь, которую вы подарите мне, и сделаю из нее непрерывный праздник счастья и любви. Возьмите этот бумажник: в нем семьдесят пять тысяч. Если этого окажется недостаточно для устройства ваших дел, скажите; все, что я имею, принадлежит вам и для меня имеет значение только в том случае, если будет разделено с вами.

– Мила, великодушие ваше смущает меня. Могу ли я воспользоваться им? – прошептал ошеломленный Масалитинов и словно пьяный прислонился к письменному столу.

– Великодушны будете вы, а не я, если отдадите мне свою жизнь и порвете с Надей. Разрыв этот, впрочем, уже совершился; доказательством служит адресованное ей письмо. Но каково бы ни было ваше решение, не откажите мне в одном: живите, возьмите бумажник и кольцо на память обо мне и этом часе, – и она надела кольцо с рубином и черными бриллиантами на палец Масалитинова, который не сопротивлялся.

Настало минутное молчание. Глаза Масалитинова были прикованы к очаровательному созданию, вымаливавшего его любовь. Как само искушение, стояла она перед ним, олицетворяя собой в будущем богатство с его наслаждениями, и горячая волна подступала к его сердцу. Его охватила безумная жажда жизни... А невыразимый ужас при мысли о том неведомом мире, в котором он потонет, если оттолкнет Милу, приводил в трепет. Образ Нади побледнел и, мало того, представился ему даже возмутительным препятствием. Что может он дать ей? Не будь Милы, он еще до зари был бы уже трупом. Сколько свадеб расстраивалось и по менее важным причинам. А Надя достаточно хороша и найдет другого, которому богатство позволит жениться на ней... Прочь колебания!.. Он привлек к себе Милу и поцеловал.

– Возьми мою жизнь, если она может дать тебе счастье... Любовь твоя бескорыстна, потому что ты берешь опозоренного и приговоренного к

смерти бедняка.

Мила ответила ему страстным поцелуем, а потом дала увести себя на маленький диван, где они сели.

– Благодарю, дорогой мой. В этот торжественный час клянусь посвятить свою жизнь на то, чтобы сделать тебя счастливым; а пока еще несколько слов, наскоро, так как ты понимаешь, что я должна бежать. Обещаю тебе сохранять внешние приличия. Помолвка наша останется тайной до тех пор, пока ты не выяснишь окончательно свои отношения к Наде. Я полагаю, что при настоящих обстоятельствах она сама вернет тебе слово: это натура гордая. Но будешь ли ты мне верен? И не увижу ли я на столе портрета моей соперницы?

– Возьми его себе, ревнивая, и будь покойна. Как можешь ты думать, что я забуду когда-нибудь доброго ангела, вырвавшего меня из когтей смерти и вернувшего мне жизнь! А теперь, дорогая, уходи.

Он обнял ее.

– Последний поцелуй жениха и невесты – залог нашего счастья.

В эту минуту раздался легкий, презрительный смех. Масалитинов вздрогнул и обернулся, но не видел ничего, а Мила побледнела, узнав смех отца.

– До свидания. Приди завтра в два часа, мамы не будет, – проговорила она спешно, исчезая, словно тень, в соседней комнате.

Масалитинов бросился за ней, но уже не видел ее. В задумчивости запер он калитку сада, дверь на балкон и вернулся в дом. Не спал ли он? Но нет: на столе лежал бумажник, набитый деньгами, а на пальце блестело, как капелька крови, заветное кольцо. Он сосчитал деньги, запер их и, облокотясь на стол, задумался.

Грозный призрак нищеты и смерти устранен навсегда; перед ним развертывалась жизнь, как триумфальное шествие, как бесконечный праздник. Правда, для достижения этой цели пришлось перешагнуть через разбитое, истекавшее кровью сердце Нади; но тут черствый эгоизм и жажда личного благополучия скоро заглушили робкие протесты сердца и совести. Он сжег ставшие бесцельными письма, сообразил, как лучше устроить с долгами, и решил уплачивать по частям, чтобы не обратить на себя внимания. Затем он разделся и лег в постель, рисуя себе блестящие картины будущего и не подозревая, что ад – кредитор безжалостнее всякого Шейлока. Но человек так создан, что если устранить гнет настоящей минуты, то уже воображает (и весьма ошибочно), будто остальное придет само собой.

Прошло несколько дней с этой памятной ночи. В доме Замятиных не

было ничего нового. Зоя Иосифовна лежала между жизнью и смертью, а в конторах кипела работа судебных властей, которые разбирались в делах покойного банкира; но в его доме лишь изредка появлялись действительные друзья, чтобы узнать о здоровье вдовы и поддержать участием молодую сироту, на которую пала вся тяжесть обрушившегося несчастья.

В таких тяжелых обстоятельствах Надя проявила изумлявшую всех силу духа. Она точно потеряла способность плакать: ни одна слеза не облегчила ее, а сердце и грудь сжимали словно какие-то тиски. С сухими и горящими глазами, бледная и стиснув губы, но холодная и наружно покойная, она то дежурила у изголовья матери, то ясно и твердо отдавала распоряжения по хозяйству. На другой день после погребения отца принялась она ликвидировать домашние дела и заводить новые порядки: всю лишнюю прислугу она отпустила, повара заменила кухаркой, отказала также стоившей довольно дорого англичанке и оставила одну русскую преданную гувернантку, бывшую в доме еще с ее детства. Но более всего мучило Надю поведение Масалитинова. На панихидах и погребении он был холоден и странен, а последние дни вовсе не приходил. Записка, в которой он извинялся, ссылаясь на служебные дела и нездоровье, возбудила в Наде чувство не то горечи, не то презрения.

Как-то утром Наде доложили о приезде г-жи Морель. В первую минуту она хотела отказать, но одумалась и прошла в маленькую гостиную, где ожидала гостя.

Екатерина Александровна казалась немного смущенной. Расспросив о здоровье матери и положении дел, она предложила молодой девушке денежную помощь, но та поблагодарила и отклонила предложение, на что г-жа Морель неодобрительно покачала головой.

– Напрасно отказываетесь от моего предложения; особенно ввиду того, что дела вашего жениха так же плачевны, как и ваши. У Масалитинова огромные долги, и если никто не поможет, ему придется оставить службу... Жениться и содержать семью будет невозможно. Может быть, после отставки ему удастся достать место по железной дороге и тогда моя дружеская поддержка была бы очень кстати.

Надя слушала с удивлением, нахмутив брови.

– Я не знала, что у Михаила Дмитриевича долги; скажи он это папе, тот, наверно, вывел бы его из затруднения. Очевидно, он нашел, что вы, Екатерина Александровна, или, может быть, Людмила Вячеславовна более достойны его доверия, – и горькая, презрительная усмешка скользнула по ее лицу. – Еще раз благодарю за ваше доброе побуждение. Но я никогда не

приму такой громадной жертвы от Михаила Дмитриевича; он не такой человек, чтобы мириться с лишениями. Понятно, что раз я стала нищей, брак наш не состоится: я возвращаю ему свободу и воспользуюсь своей, ввиду того, что мне предстоят серьезные обязанности: я не могу оставить бедную маму и двоих малюток. Что касается Михаила Дмитриевича, то он достаточно красив для того, чтобы найти другую невесту. Может быть, даже богаче, чем была я.

– Надя, Надя! можно ли быть так жестоко несправедливой! Вы обвиняете Масалитинова в бессердечии и не хотите понять, что «*o`u il n`y a rien le roi perd son droit*».^[10] Бедный молодой человек сознает неловкость своего положения и находится в совершенном отчаянии.

– Конечно, конечно. Это понятно: он боится, как бы я не предъявила свои права на него; как осторожен, как сдержан стал он относительно пылко любимой прежде невесты. Да, это человек без стыда. Я не отрицаю, что в переживаемое тяжелое время для меня было бы утешением доброе слово, теплое участие; с первой же минуты несчастья я поняла, что свадьбе нашей не бывать, но для меня было бы поддержкой сознание, что несмотря на неминуемую разлуку и препятствия, он все-таки любит меня и старается утешить. Он мог остаться моим другом, братом, советником, это ни к чему не обязывало бы его; а он дрожит только за себя, чтобы не пострадали его интересы. Так как вы – его поверенная, то будьте добры, сударыня, успокоить Михаила Дмитриевича. Он свободен и может быть уверен, что я никогда не стану на его дороге.

Она встала и, извинившись что должна идти к матери, холодно простилась. Надя побежала в свою комнату и заперлась. Ей осталось исполнить одну тяжелую формальность, и она не хотела терять времени, чтобы отправить Михаилу Дмитриевичу его подарки. Она стала на колени перед иконами и молилась; судорожные рыдания потрясли ее, а слез не было.

Мрачная и решительная, принесла она затем ящик розового дерева с инкрустацией из слоновой кости с перламутром и сложила в него драгоценные вещи, мелочи и другие полученные подарки, а также и портреты, за исключением бывшего в альбоме. Затем она села за свой письменный столик и написала письмо:

«Спешу вас успокоить насчет вашего положения в отношении меня. Кольцо вместе с этим письмом ясно покажет вам, что вы – свободны, и ничто не связывает вас более со мной; вы также найдете тут ваши подарки.

Увидав труп отца, я с той же минуты поняла, что дочь разорившегося самоубийцы не может быть женой такого блестящего человека, как вы. Но из всех поразивших меня ударов судьбы самым горестным для меня была ваша холодность, ваше опасение скомпрометировать себя выражением мне малейшего расположения, хотя бы показав, что вы сочувствуете, по крайней мере, моему несчастью. Мне было невыразимо тяжело убедиться, что у человека, которого я очень любила, обнаружилась до того пустая, холодная и себялюбивая душа, что все его уверения в любви оказались ложными. Впрочем, разочарование это имеет, может быть, свою хорошую сторону и излечит мою рану, потому что где нет уважения, там скоро приходит забвение. Может быть, и совершенно напрасно, но я все же хочу дать вам совет: избегайте Людмилы Вячеславовны. Это – губительное существо со змеиными глазами и темного происхождения; берегитесь дьявольского родства, оно не принесет вам счастья. Слова крестного, предупреждавшего, что несчастье постигает каждого обитателя Горок, – проклятого места, посещаемого созданиями ада, – вполне исполнилось на нас. Поэтому не смейтесь над моими словами; это – последний проблеск моей угасшей любви.

Надя».

Она положила в конверт обручальное кольцо, запечатала, сунула письмо в ящик на видном месте и отправила.

Масалитинов только что вернулся со службы, когда ему передали Надину посылку. Вид ящика и еще более содержание письма глубоко взволновали его, а сердце защемила острая боль при мысли навсегда потерять Надю. Инстинктивно чувствовал он правоту ее слов. Двоюродный брат, Жорж, тоже предостерегал его от Милы, а уж тем-то не руководил, конечно, никакой личный интерес. С тяжелым чувством вспоминал он рассказанную ему Надей загадочную историю о Марусе и непонятные затем приступы слабости, нападавшей на него после того, как он танцевал с Милой; наконец, воскресло в памяти странное видение в тот вечер, когда она ему гадала, сопровождавшееся одуряющим, незнакомым ему запахом, который расстроил его нервы. И на другой день после видения в первый

раз у него явилось непреодолимое желание пойти к г-же Морель! А внешние обстоятельства были тоже не менее загадочны. Необъяснимое, поразительное разорение Замятиных, или его собственная, внезапно вспыхнувшая и так же быстро угасшая страсть к картам! Тайна и тайна!.. Или это – работа дьявола?... Несомненно, в этом чарующем создании таится что-то злое и роковое.

Тысяча вопросов и мрачных подозрений поднялись в возбужденной голове Масалитинова, и, когда он подумал о женитьбе на Миле, внезапно ожило чувство отвращения, которое она внушала ему раньше.

Но что было делать теперь, когда западня, – если это была западня, – так крепка, что ему не вырваться из нее. Притом когда он находился с Милой, его охватывала опьяняющая страсть. И в эту минуту уже одно воспоминание о ней подействовало на него возбуждающе; у него явилось пламенное желание видеть ее. Он поспешно запер ящик с Надиным письмом и стал одеваться, чтобы ехать к невесте. Сегодня он мог доставить ей удовольствие, сказав: «Я свободен, Надя сама вернула мне мое слово».

Часть вторая

«Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской».

I, Римлян. X, 21.

«Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу. и убежит от вас».

Иоан. IV, 7.

I

Более четырех месяцев прошло со дня смерти Замятина. Зоя Иосифовна с детьми жила еще в их бывшем доме, но он был уже продан и вскоре им предстояло переехать на маленькую квартирку в отдаленном квартале, освобождавшуюся через неделю. Через два дня после их выезда должна была состояться публичная продажа всего движимого имущества, от которого Замятина отказалась в пользу кредиторов. Среди оставшихся верными Замятиным друзьями были старый профессор и их соседка по Горкам Максакова, проводившая зиму в Киеве, где служил ее сын. Горячая симпатия Максаковой удивляла сначала Надю и ее мать, так как они мало знали ее; но скоро обе очень привязались к превосходной женщине, умевшей самым деликатным образом облегчать им не одну заботу. Бледная, как тень, и страшно исхудавшая Зоя Иосифовна сидела в кресле, прислонившись к подушкам; два месяца пролежала она в постели, и здоровье ее восстанавливалось весьма медленно. На низеньком стуле около матери помещалась Надя и читала машинально Священное писание, но мысли ее были далеко. Она также очень изменилась; розовый цвет лица сменился прозрачной бледностью, хорошенькое личико сильно похудело, и глаза казались чрезмерно большими, а на маленьком ротике появилась горькая, серьезная складка. Она и мать были в глубоком трауре.

Эти последние месяцы были тяжелой для нее школой. Неделями дрожала она за жизнь матери, а когда Замятина очнулась и поняла весь ужас своего несчастья, то у нее едва не сделалось повторение болезни. Но Зоя Иосифовна была набожная и верующая женщина, а вера в Бога и материнская любовь поддержали ее; ей надо было жить, чтобы не оставить совсем одинокой свою мужественную дочь, которая с такой твердостью несла страшное испытание. Вообще сила духа и бескорыстие обеих несчастных женщин возбудили в обществе большое сочувствие и удивление; вместе с тем поспешный разрыв Масалитинова с невестой строго осуждался и репутацию его весьма поколебала разнесшаяся в скором времени весть о его помолвке с Милой.

Надя прервала чтение, чтобы дать матери лекарство, когда дверь отворилось и поспешно вошла Максакова.

– Ах, милые друзья! – радостно сказала она, поцеловавшись с хозяйками. – Наконец-то, после стольких дурных вестей, я счастлива сообщить вам хорошую новость. Вчера вечером было общее собрание

кредиторов, и они единодушно отказались от вашей пригородной дачи. Она остается за вами во всей ее неприкосновенности и с полным инвентарем. Это совершенно справедливо после тех жертв, которые вы принесли в пользу обиженных. Особенное впечатление произвело великодушие Нади, отказавшейся от капитала и Горок, составлявших ее приданое. Ах, кстати, знаете, кто купил Горки? Людмила Вячеславовна, и очень дорого заплатила.

Надя подняла голову, и глаза ее сверкнули.

– Вот действительно приятное известие. Я пожалела бы всякого другого покупателя этого злополучного места, а Людмиле Вячеславовне оно вполне подходит. Желаю ей наслаждаться всеми прелестями, которыми эти очаровательные Горки осыпают своих владельцев.

– Довольно, довольно, милая моя, не будьте злой, – заметила Максакова, обнимая ее. – Лучше поговорим о делах: я ведь еще не все хорошее выложила. В последние дни крупные кредиторы, друзья вашего покойного мужа, ассигновали в вашу пользу капитал в 15 000 рублей. Это обеспечит вам небольшой доход, а вместе с дачей, избавляющей вас от забот относительно квартиры, вы получите возможность скромно жить. Итак, советую вам, милый друг, как можно скорее переехать. Я полагаю, что завтра вы можете уложиться, а за вами я пришлю экипаж.

Зоя Иосифовна поцеловала приятельницу и со слезами благодарила за ее участие. Та отклонила благодарность и прибавила, желая дать разговору другое направление:

– А теперь я хочу сообщить вам свой проект относительно Нади. Нужно удалить ее отсюда: сватовство Милы с этим негодяем Масалитиновым только усиливает ее горе, а вдали она скорее его забудет.

– Ах, если бы я могла уехать! – воскликнула в волнении Надя.

– Это от одной вас зависит, милочка. Зоя Иосифовна, вы знаете Ростовскую?

– Я встречала ее за границей.

– Это превосходная личность, богатая и независимая; она не больна, но доктор посоветовал ей пожить в теплом климате и она отправляется за границу на семь или восемь месяцев. Ей хотелось бы взять с собой молоденькую компаньонку, девушку из хорошей семьи, с солидным образованием и знающую немного музыку, которая могла бы вести ее многочисленную переписку на английском, французском и итальянском языках. Ввиду того, что Надя говорит и пишет превосходно на этих трех языках, да притом еще и на немецком, к тому же поет и очень хорошо играет на фортепьяно, я подумала о ней. Ростовская платит очень хорошо, –

сто рублей в месяц, а я ручаюсь, что Надя будет в ее доме как родная. Я уже говорила с Анной Николаевной, а если мама и вы согласны, то дело решено.

Надя слегка покраснела. Ей казалась истинным спасением возможность не встречать на каждом шагу знакомые лица, особенно же бывшего жениха и Милу; оба были ей одинаково противны.

– Я очень желала бы принять предложение, но как мне оставить маму? Она еще так слаба, – проговорила она, колеблясь.

– Нет, нет, не мучай себя этим. В нашей милой дачке я проживу очень хорошо, а тебе необходима другая обстановка, чтобы восстановить душевное равновесие и окончательно забыть негодяя, так низко поступившего с тобой. Там ты рассеешься. Милая Александра Павловна, передайте пожалуйста m-те Ростовской, что я с благодарностью принимаю ее предложение, и Надя поедет с ней; надеюсь, она понравится.

– Без всякого сомнения. От вас я прямо лечу к Анне Николаевне; она будет в восторге, потому что любит хорошеньких. Нам остается решить только вопрос о туалете. Хотя Надя и в трауре, тем не менее, ей следует одеваться очень изящно; Ростовская останавливается в лучших отелях, везде у нее множество знакомых, а посещает она лучшие и модные морские курорты. К тому же она уезжает через десять дней, так что у нас не много времени.

– К счастью, Наде ничего не надо. Ведь приданое ее было готово и там найдется достаточно подходящих туалетов. Серебро, драгоценные вещи, дорогую посуду она отдала в конкурсную массу и все это будет продано с аукциона, ну а белье, платья и верхние вещи остались у нее.

– Превосходно! Пока прощайте, друзья мои; я лечу к Анне Николаевне, – сказала m-те Максакова, прощаясь.

Когда мать и дочь остались одни, Надя опустилась на колени около матери и, спрятав голову в ее платье, разрыдалась. После страшной катастрофы это были первые слезы, облегчившие немного ее больное сердце. Замятина ласково погладила ее опущенную головку.

– Плачь, плачь, бедное дитя мое. Слезы – небесный дар; они уносят горе...

Когда Надя немного успокоилась, мать притянула ее к себе и поцеловала.

– Надейся на милость Божью, дорогая моя, и верь, что испытания, посылаемые Им, служат нам на благо. Конечно, несчастье наше велико; но оно многому научило тебя, внушило тебе мудрость и энергию... Я убеждена, что настанет время, и ты будешь благословлять тот горький час,

который показал тебе любимого человека во всем его нравственном уродстве, открыл его низкое сердце и его пошлую жадность. Ты забудешь его, полюбишь другого и будешь счастлива. А теперь вытри свои слезы, а мне дай капель и вина. Мне нужны силы для укладки; я хочу как можно скорее уехать из этого дома, а на даче я буду спокойнее.

– Мама, каждый месяц я буду присылать тебе половину жалованья, а все-таки боюсь, как ты обернешься с такими скудными средствами. Я сумею уложиться и одна; сборы невелики.

– Совершенно излишне присылать мне денег; я отлично обойдусь. На даче папа прекрасно все устроил: и молочную, и птичник, и большой фруктовый сад, и огород; дом хорошо меблирован, и мы найдем там все удобства, к которым привыкли. Ты знаешь, ведь там полное хозяйство. Старый Афанасий, сторож, останется к нашим услугам, а дочь его Дуня очень хорошая кухарка и будет рада жить у нас с двоими детьми. О! Ты увидишь, как я хорошо устроюсь. Например, с домом: он слишком велик, так я оставлю себе низ, а верхние шесть комнат отдам на лето с частью сада; он такой большой, что можно разделить его дощатым забором. Дров у нас полный сарай; думаю, их хватит на год. Добрая Ольга Ивановна хочет остаться с нами, даже без жалованья, и мы вместе будем заниматься с детьми; а времени у меня будет вполне довольно, так как я не буду ни выезжать, ни принимать. Увидишь, как все хорошо устроится. А пока, милая моя, иди укладываться, а я немного усну. Давно не была я так спокойна; потом приду тебе помочь.

На другой день все было готово к отъезду.

Несколько сундуков и мелочей отправили на подводе с единственной горничной, которую брали. В последний раз обошла Надя роскошный дом, где выросла. Никогда уж больше не видать ей знакомые и милые предметы, китайский кабинет, ее любимый уголок, библиотеку, где отец любил читать и курить; горло ее сжали подступавшие рыдания, но она не хотела поддаваться слабости, энергично поборол волнение, отвернулась и побежала к матери и детям.

На даче их встретила приятная неожиданность. В столовой, изящной и уютной комнате, был приготовлен завтрак, кипел самовар, а на столе стояли корзины цветов, торт и коробка конфет, присланные преданными друзьями; все имело праздничный вид и благотворно подействовало на больную душу приезжих. Только что сели за стол, как прибыла Максакова с Ростовской, дочерью и сыном. Тотчас завязался оживленный разговор, так как гости хотели отвлечь семью от тягостных дум. Ростовская расцеловала Надю и заговорила об их путешествии.

Это была пожилая женщина, небольшого роста и несколько полная, – из тех которые никогда не стареют. Очень богатая, свободная и бездетная, не имевшая даже близких родственников, Анна Николаевна была удивительно добра и пользовалась за эту свою доброту общей любовью.

– Возьмите с собой свои наряды, дорогая. Я вас выдам там замуж, – шутила она, – и вы скоро забудете этого негодного Масалитинова.

Позднее, прощаясь с Замятиной, она дружески обняла ее и прошептала, крепко пожимая ее руку:

– Будьте покойны, Зоя Иосифовна, я буду смотреть за вашей прелестной дочкой, как бы за своей собственной. Я полюбила ее с первого взгляда.

Следующие дни заняло устройство на новом месте и приготовления к Надиному отъезду. Из своего великолепного приданого она выбрала все черные и белые костюмы, а между ними были шерстяные, шелковые, батистовые и кружевные; взяты были два серых платья для полутраура, а также пальто и шляпы, подходившие к платьям. Два сундука, предназначавшиеся для свадебного путешествия, были набиты до верха, и через неделю после переезда на дачу Надя садилась в вагон, уносивший ее в новую жизнь...

В тот же день, вечером, Михаил Дмитриевич был у невесты; он похудел, побледнел, хотя и был здоров, но какая-то тяжесть зачастую давила его душу. Изумрудные глаза Милы и ее кошачьи ласки положительно пленяли его и держали в своей власти, а окружавшая роскошь и мысль, что он будет пользоваться ею, чарующе действовали на него. В иные же минуты его приводила в нервное состояние затаенная, но бурная страсть странной девушки, и в сердце его шевелилось горькое сожаление, что он потерял Надю.

Они только что отпили чай и сидели в будуаре Милы, великолепном уголке, обтянутом изумрудным шелком с розами; жених и невеста разговаривали, а Екатерина Александровна молча занималась вышиванием; она казалась хмурой и чем-то недовольной. Молодые люди строили планы будущего, как вдруг Мила сказала:

– Вы еще не знаете, Мишель, что я сделала приобретение, которое доставило мне большое удовольствие. – Заметив удивление жениха, она прибавила: – Я купила Горки. Кажется, Замятин давал это имение в приданое Наде, но так как полоумный адмирал вбил ей в голову, что это место роковое, то она не пожелала, вероятно, сохранить его, и имение продали. Я узнала это случайно и купила. С меня, однако, дорого взяли, но... я не торговалась; надо же оставить ей что-нибудь, дабы легче было

поймать мужа.

Она злобно захихикала, что очень покорило Масалитинова.

– Странная фантазия покупать это «чертово гнездо», как его прозвали. Во всяком случае, Замятиным Горки принесли несчастье, – приговорил он с раздражением.

– Фи, Мишель, неужели вы так суеверны? Ведь это же глупо верить, будто такое очаровательное место может принести несчастье.

– Правда, местоположение восхитительное; но, несмотря на это, Горки мне опротивели. Не будучи суеверным, я должен все же признать, что ряд несчастий, постигавших его владельцев, может произвести неблагоприятное впечатление.

– Да и мне тоже не понравилась эта покупка; если же ты думаешь, что облагодетельствовала Надю, то ошибаешься: все вырученные деньги она предоставила кредиторам, – заметила Екатерина Александровна. – А кстати, Надя уехала из Киева, – прибавила она.

– Как? Куда она могла отправиться? – спросила с удивлением и любопытством Мила.

– Куда она едет со старой дамой, с которой сидела в купе первого класса, я не знаю; но что она уехала, я видела своими глазами. Ты знаешь, утром я ездила на вокзал проводить старушку Франк, и вдруг вижу Александру Павловну Максакову с Замятиной около вагона, а из окна Надя и какая-то пожилая дама кланялись им и прощались. В ту минуту поезд тронулся. Я подошла поговорить, но они встретили меня так холодно и затем поспешили уйти, что их нерасположение бросилось в глаза. Могу уверить тебя, что соседские отношения с Максаковыми будут не особенно приятны.

– Это не важно, положим; можно обойтись без них, – сказал Масалитинов, нахмутив брови. – Только медовый месяц мне не хочется проводить в Горках. Против этого я протестую. Здесь будет очень весело, да и по службе моей я не могу надолго отлучаться.

– Хорошо, хорошо, мы не поедem в этом году в «чертово гнездо», а в остальном программа остается прежняя. Я еду с мамой покупать приданое, а через три недели вернусь, и мы отпразднуем свадьбу. Что касается Нади, то она, вероятно, взяла место «девицы для компании», а что Зоя Иосифовна сердится на тебя за мое замужество, я понимаю; но для меня непонятно, какое до этого дело Александре Павловне? А вы, Мишель, не сентиментальничайте, иначе я буду ревновать.

В этот вечер Масалитинов ушел ранее обыкновенного; он чувствовал жгучую потребность быть одному, и голова у него болела.

Вернувшись домой, он поспешил надеть халат, бросился на диван и задумался. Лицо его нахмурилось и из груди вырвался тяжелый вздох. Вечерний разговор с мучительной ясностью воскресил в его памяти чистый, невинный образ Нади, ее скромную, преданную любовь, и часы тихого счастья, проведенные с ней. Это блаженное спокойствие исчезло, казалось, навсегда. Несмотря на бесспорную красоту Милы, ее страсть к нему и странное, чарующее действие на него, он счастлив не был; прежняя веселая беспечность исчезла, и безотчетная тоска терзала его, отнимая покой, сон и аппетит. В сумерки, когда он сидел около невесты и она, в порыве страсти, обвивала руками его шею или прижималась головою к груди, его охватывал панический ужас. Когда зеленые, фосфоресцировавшие, как у дикого зверя, глаза Милы пристально смотрели на него, а кроваво-красные уста улыбались ему, у него являлась безумная мысль, что вот-вот она кинется на него, вонзит в его горло свои маленькие острые зубы и высосет всю его кровь. Иногда ему казалось, что она догадывается о его страхе, что злой глумливый огонек загорается в ее зеленоватых глазах и она наслаждается его внутренней слабостью. В такие минуты он испытывал невыразимое отвращение и на теле выступал холодный пот; а между тем он не имел силы вырваться из-под власти загадочной женщины. Хотя днем все эти впечатления бледнели, он сам трунил над собой и приписывал свои нелепые мысли расстроенным нервам.

Веселая, подвижная и независимая, в денежном отношении, Ростовская любила переезжать с места на место. Зимние месяцы и весну провела она во Флоренции и Монако, а затем остановилась в Гаштейне. Всюду ее прелестная спутница возбуждала внимание своей красотой и изяществом, а многие принимали Надю за дочь Ростовской, которая в самом деле относилась к ней чисто по-родственному.

Надя чувствовала себя хорошо в новой обстановке. Новые места, новое общество, произведения искусства, которыми она любовалась, все это отвлекло ее от мыслей о постигшем горе, а письма матери извещали о хорошем состоянии ее здоровья и спокойной жизни на даче; все это, в связи с добротой и расположением ее покровительницы, способствовало к успокоению Нади. Образ Масалитинова значительно поблек, и даже известие о его женитьбе произвело на нее слабое впечатление.

В конце июля Ростовская с Надей очутились в Трувиле. Был чудный летний вечер и Анна Николаевна со своей спутницей, после катанья в экипаже, отправилась в сад Казино. Там шел концерт на открытом воздухе и они сели за маленький столик, потребовав мороженого. Ростовская

осматривала окружавшую их публику и вдруг радостно воскликнула:

– Вот сюрприз, Адам Бельский здесь. Прекрасный юноша, и с матерью его я была очень хороша. Бедная Леопольдина несколько месяцев тому назад умерла от разрыва сердца. Но что это значит? Он смотрит в нашу сторону и не подходит здороваться! Неужели я так изменилась за два года, что не видела его? Посмотрите, Надя, там, налево, молодой блондин разговаривает с господином с черными усами. Это он.

– Я знаю графа Бельского и несколько раз встречала его у Максаковых. Тогда он упорно ухаживал за Людмилой Вячеславовной, и все думали, что он женится на ней; но после смерти матери он уехал за границу.

Действительно, новый граф Адам был в Трувиле несколько дней, куда приехал к своему другу Красинскому, преобразившемуся в графа. Оба собрата беседовали, прогуливаясь, и только что заказали мороженое, когда появилась Ростовская. Адам не знал ее, а потому и не помнил, что она – большая приятельница его покойной матери; но, к счастью для него, Красинский в подробностях изучил биографию «воскресшего из мертвых» и тотчас же дал Бельскому необходимые сведения. Тогда тот поспешно подошел к дамам и раскланялся.

– Я уж думала, Адам, что вы не хотите узнавать меня, – засмеялась Анна Николаевна.

– О, как могли вы думать что-нибудь подобное, тетя Аня, – ответил он с укором. – Я был далек от мысли, что вы в Трувиле и потому не заметил вас в первую минуту. Я так счастлив видеть вас и m-lle Замятину. Если позволите, я сяду с вами, только извинюсь перед моим другом, графом Фаркачем.

Через минуту он вернулся, и завязался оживленный разговор. Вспоминали столь неожиданную смерть графини Леопольдины, а граф, артистически притворяясь огорченным, рассказал все, что знал от компаньонки о болезни и последних минутах матери. Разговаривая, он с большим интересом наблюдал за Надей и находил ее положительно восхитительной; ее бледное и грустное личико, большие мечтательные глаза невыразимо нравились ему. Говорили также о планах графа, оставившего службу и намеревавшегося заняться устройством своего большого состояния; а до того он собирался путешествовать и не предполагал вернуться в Россию, пока его глубокая скорбь не уляжется настолько, что он в состоянии будет переносить убийственные воспоминания, которые возбуждают в нем, конечно, места, где жила его обожаемая мать.

– Вы всегда были примерным сыном, Адам, и горе ваше так

естественно, – заметила Анна Николаевна, а потом, чтобы дать другое направление мыслям, прибавила шутя: – Знаете, друг мой, вы очень изменились: похудели и побледнели, сделались серьезнее, а выражение глаз стало строже и глубже. Я не хочу этим сказать, что перемена эта не в вашу пользу; напротив, вы чрезвычайно похорошели и стали даже интереснее.

Граф посмеялся, поцеловал ее руку, поблагодарил за комплимент, а потом заговорили о другом; но весь вечер граф не отходил от дам и проводил их до отеля.

Несмотря на любезность графа, он произвел на Надю неприятное впечатление. Потому ли, что граф был влюблен в ненавистную ей Милу, или почему-либо другому, но она с удивлением заметила, что прежняя страсть Адама совершенно испарилась. В разговоре Ростовская упомянула, между прочим, о замужестве Милы с Масалитиновым, и известие это оставило графа, по-видимому, совершенно равнодушным. С этого дня Бельский сделался тенью Ростовской и ее прекрасной компаньонки. Он открыто ухаживал за Надей, засыпал ее цветами и конфетами, и не скрывал своего восхищения.

Бельский представил Ростовской с Надей и своего друга, графа Фаркача, который очень понравился Анне Николаевне интересными, оригинальными разговорами и безупречными манерами. Граф Фаркач был человек от тридцати до тридцати пяти лет, бесспорно красивый, высокий и стройный, с густыми вьющимися волосами, большими, полными огня глазами и длинными черными усами; вся его фигура дышала энергией и силой воли. Он выдавал себя за венгерца, рассказал, что недавно получил наследство от родственницы и купит дом в Киеве, где и предполагал провести зиму для разных дел. На Надю граф произвел тоже отталкивающее впечатление; она призналась Ростовской, что граф с мертвенной физиономией и фосфорически блестящими глазами внушает ей непреодолимое отвращение.

– Он похож на труп со своей бледной рожей, – прибавила она.

Анна Николаевна посмеялась над ней и сказала с легким упреком:

– Вы несправедливы, Надя. Граф не виноват в бледности своего лица, а притом матовый цвет идет ему. Это прелестный человек, высокообразованный и великолепно воспитанный.

Так прошло несколько недель, и наконец Анна Николаевна объявила, что отправляется на два или три месяца на остров Мадеру, где никогда не была. Таким образом, компания расстроилась.

Фаркач уехал по делам, заручившись разрешением засвидетельствовать почтение дамам зимой в Киеве, а Бельский проводил

дам до портового города, где те сели на пароход, и объявил, что сделает им визит на Мадере, если разрешит Анна Николаевна, на что та с удовольствием согласилась.

Ростовская наняла чудную небольшую виллу, близ моря. Дом был в итальянском вкусе, окружен обширным садом и с роскошным видом.

Надя чувствовала себя спокойной и счастливой, как никогда не ожидала быть, и пока Анна Николаевна отдыхала после обеда, она мечтала на террасе, качаясь в шелковом гамаке и любуясь океаном.

Бельский аккуратно присылал письма и почтовые карточки, справляясь о здоровье дам.

Однажды вечером, прочитав только что полученное письмо графа, Ростовская позвала Надю, ставившую букет в хрустальную вазу, и, посадив ее около себя, дружески заговорила:

– Я только что получила письмо от Адама с извещением о его скором приезде; по этому поводу я хочу серьезно поговорить с вами, милая моя. Я очень люблю вас и была бы счастлива оставить вас при себе до самой смерти, потому что вы, как дочь, ухаживаете за мной и окружаете вниманием. Но с моей стороны это был бы чер ст вый эгоизм, потому что судьба представляет вам блестящую партию. Вы так же хорошо, как и я, видите, что граф Бельский страстно влюблен в вас и несомненно сделает вам предложение по приезде сюда. Вы должны обдумать ответ, написать матери и вообще обсудить свое решение.

Надя побледнела и с грустью посмотрела на свою покровительницу.

– Ах, Анна Николаевна, он мне так неприятен. Не знаю почему, но он внушает мне отвращение.

Ростовская покачала головой.

– Вы неправы, крошка моя. Отвращение ваше – это остаток любви к Масалитинову, которую надо вырвать с корнем. Говоря правду, при матери Адам был много симпатичнее; у него было больше прелести и добродушия во взгляде и обращении. Но все это мелочи, вызванные, может быть, переменой настроения и чувств. Подумайте хорошенько, милая, прежде, чем примете решение. Имеете ли вы право отказаться от такой блестящей партии? Адам – красив, прекрасно воспитан и образован, а кроме того, – миллионер. Брак вернет вам все, что вы утратили; да не только вам, но и вашей матери. Он обеспечит будущность сестры и брата, потому что Адам добр и великодушен. Примите все это в соображение, Надя. Легко говорить про честную, трудолюбивую «бедность», легко идеализировать ее вместе с удовольствием зарабатывать самому хлеб; но как тяжел этот кусок трудового хлеба и как дорого стоит каждая пара перчаток или башмаков,

купленных такой ценой!..

Работать без передышки, терзаться постоянной мыслью о необходимости добыть деньги на все мелочные, а между тем необходимые нужды в хозяйстве, какая это пытка! Да, тянуть вечно ляжку, быть рабой труда, который старит раньше времени, сжигает на медленном огне, истощает силы, отравляет счастье жизни, парализует все стремления и превращает интеллигентного человека в автомата, который перестает даже желать что-либо, потому что крылья подрезаны – это очень тяжелая участь! Я знавала много таких тружеников: художников, музыкантов, литераторов, людей одаренных, а кончалось тем, что они ненавидели свой талант, впадали в мрачный маразм и потому только, что... приходилось жить этим талантом.

Не смотрите так удивленно и не смущайтесь, Надя; то, что я говорю – горькая истина. Разменивать ежедневно талант на гроши ради насущной нужды, которая непрерывно терзает, как отвратительный призрак, и уничтожает одаренного этой священной искрой человека, – это ужасно. А как часто такой человек гибнет, не будучи более в состоянии работать. Но если такова, зачастую, участь гения, что же сказать про обыкновенного работника, того несчастного, которого всякий эксплуатирует и сосет до последней капли крови? Взгляните на бедных тружеников в конторах, редакциях и т. д., скудно оплачиваемых и под гнетом страха, потеряв место, очутиться на улице. Толпа равнодушна и жестока, дитя мое; она восхищается и упивается произведениями таланта, не думая даже о том, что все эти красоты созданы потом и кровью, не подозревая всех внутренних бурь, всех обманутых надежд, всей борьбы человеческого сердца. Все любят и восхищаются, а никто не подумает узнать, не нужна ли автору предмета всеобщего восторга помощь и поддержка? А уж мимо простых безработных тружеников, умирающих с голода в трущобе, проходят мимо, даже не глядя на них.

Я так говорю, Надя, потому, что все это знаю на опыте. Прежде чем стать богатой, я была очень бедна и работала из-за куска насущного хлеба. Отцу моему, – учителю музыки и пения, – человеку скромному, честному и доброму, не посчастливилось скопить копейку на черный день, и умер он в нужде, совсем не старым. Мне минуло тогда семнадцать лет, я была старшая в семье, и на меня легла обязанность содержать больную мать и двух маленьких братьев. У меня был чудный голос, и отец обработал его, развивая попутно мое музыкальное дарование. Я пробовала поступить в оперу; но, за отсутствием протекции, меня не приняли и я должна была перебиваться уроками музыки и пения. С утра до вечера, под проливным

дождем, в холод и жар бегала я по городу и возвращалась раздраженная, с чувством отвращения и ужаса к своему таланту и знанию. Одиннадцать лет тянулась эта мука, и я не в состоянии высказать, сколько булавочных уколов, надменных взглядов, пренебрежения, наглости и обид всякого сорта выпало на мою долю. Платили мне плохо; не раз и вовсе не платили. Те, от кого зависишь, – собственники так называемых «свободных рабов», не церемонятся эксплуатировать бедного работника; они вполне уверены в своей безнаказанности.

Мне было двадцать восемь лет, когда однажды я пела с благотворительной целью, – бесплатно, конечно, – и меня увидел старик Ростовский. Он восхитился моим голосом и сделал мне предложение. Ему стукнуло пятьдесят восемь, и он очень мало походил на моего героя; но он любил меня и был очень богат. Брак с ним избавлял меня от забот о квартире, платье и, главное, от необходимости бегать во всякую погоду, чтобы слушать завыванье учеников. Я вышла за Ростовского и не пожалела об этом; мы прожили спокойно, и он сделал меня своей единственной наследницей. Вы – почти в таком же положении, Надя, даже в худшем, потому что выросли в роскоши, и еще вопрос, хватит ли вашей энергии на то, чтобы всю жизнь нести бремя тяжелого труда...

Надя слушала с поникшей головой, и по щекам ее катились крупные слезы. Она понимала правоту слов своей покровительницы, внушенных горьким личным опытом. Сама испытав разорение, она понимала, что такое – бедность. Правда, она не любит графа Бельского; но, может быть, в самом деле антипатия к нему – остаток любви к Мишелю, и она наконец привяжется к человеку, который так великодушно дает ей богатство, блестящее положение в свете и возможность улучшить судьбу ее семьи. Опустившись на колени перед Ростовской, она поцеловала ее руку и прошептала:

– Благодарю вас за вашу доброту ко мне, Анна Николаевна, и материнские советы; я решила последовать им. Я понимаю, что каждое ваше слово – истина. И не каждый может пройти, не споткнувшись, весь трудовой путь жизни. Завтра я напишу маме, а если граф сделает мне предложение, я его приму и надеюсь, при добром желании, полюбить его.

– Вот прекрасное, смелое решение, милое дитя, – сказала Анна Николаевна, привлекая ее к себе и целуя. – Наверно, Адам сумеет быть любимым, а для такой, как вы, – красивой и умной девушки, – с помощью Божией, легко будет направлять вашего мужа.

В эту минуту, из густого кустарника, вблизи которого сидели собеседницы, раздался глухой, но отчетливый смех и прервал слова Анны

Николаевны. Надя вскочила и так сильно ударила зонтиком по кусту, что с него во все стороны полетели листья и цветы.

– Это, должно быть, сова! – заметила Ростовская. Но вслед за этим из чащи вылетела большая бабочка с темными крыльями и, почти касаясь щеки Нади, села на каменный стол около скамейки. При ярком свете луны Надя разглядела на спинке насекомого изображение мертвой головы. Под влиянием охватившего ее жуткого, неприятного чувства Надя опять ударила зонтиком; а бабочка, избежав удара, взвилась с резким сухим треском, и от нее шел такой сильный фосфорический свет, что она казалась окруженной красноватой дымкой.

– Фи, противная тварь! Никогда не видела такой бабочки! – воскликнула Надя.

– А ведь существуют такие бабочки с мертвой головой, и это вовсе не редкость, – заметила Ростовская.

– Знаю, что есть, но эта вдвое больше виденных мной; а когда она улетала, то и на крыле ее я заметила мертвую голову, у других же этого не бывало. Тяжелое впечатление произвела она потому, что именно теперь появилась эта бабочка, – ответила Надя, вспомнив при этом случае удивительные рассказы адмирала.

Ростовская промолчала и обе вернулись домой в тяжелом настроении.

II

В роскошном кабинете отеля графа Бельского, в Париже, сидел новый хозяин и друг его Красинский, превратившийся в графа Фаркача; на письменном столе лежала старинная книга в кожаном переплете, но они не читали, а курили и разговаривали.

– Как я тебе сейчас сказал, Ахам, память моя страшно ослабла; я чувствую себя совсем невеждой и во многом мне приходится переучиваться. В мозгу моем роятся другие идеи, впечатления и понятия, которые давят на мои мысли и причиняют страдания. Относительно Бельского, например. Он был глубоко верующий; вся кровь его насыщена благочестивыми, молитвенными излучениями, и мне приходится иногда переживать и преодолевать очень странные душевные настроения; в такие минуты я болезненно чувствую двойственность моего материального и астрального мозга. Я вошел в полное жизни и сил тело, и не раз казалось мне, что излучения его подчиняют меня себе. Несмотря на точность, с какой выполняю предписанный тобой строгий режим, я чувствую себя часто нездоровым, и работа моя по подчинению новой плоти подвигается очень медленно. Я не думал, что аватар такая тяжелая операция, а это лишний раз доказывает, что наилучшая теория – ничто перед одним днем личного опыта, – со вздохом сказал Бельский, задумался и прислонился к спинке кресла.

– Я отлично понимаю тебя, потому что сам прошел через все это, – заметил Красинский. – Собственное мое тело изнашивалось вследствие работы и довольно веселой жизни; я знал, что с минуты на минуту мог умереть от разрыва сердца и решил попытаться аватар. Для этой цели я избрал Вячеслава Тураева, такое же крепкое животное как и Бельский; но тот не был так набожен, как покойный Адам, и мозг его пропитан довольно банальными идеями. Но, при всем том, я выстрадал то же что и ты; не даром заперся я на двадцать с лишним лет в подземелья на острове и вел жизнь аскета, чтобы в тишине и одиночестве скорее восстановить все утраченное мной, в смысле знания и могущества. Теперь этот тяжелый труд окончен; все, что было отпечатано на астральном мозгу, скопировано на новом, материальном, и я полный хозяин тела, данного мне наукой.

Он встал, расправил свои гибкие руки и ноги, и улыбка горделивого самодовольства расцвела на его губах. Потом снова садясь, он прибавил:

– Впрочем, ты совершенно прав: аватар очень тяжелая, трудно

перевариваемая операция.

– И мне, вероятно, дольше, нежели тебе, придется страдать от нее; потому что, вместо того чтобы замкнуться, как ты, я собираюсь жениться. Впрочем, и ты с того же начал, – засмеялся Бельский.

– Увы! Я сделал эту глупость. А ты серьезно решил жениться на Наде? Забыл, значит, свою прекрасную «Гретхен»?

– Я помню твой совет – избегать этой полоумной; да притом Надя мне даже больше нравится. Она в самом деле восхитительна, а организму моему, для того чтобы укрепиться, необходимо соприкосновение с молодым и здоровым существом. Прежний Бельский был повеса; кровь его пропитана плотскими, но простыми и пошлыми желаниями, а я люблю изящный разврат, при котором скорее наслаждаешься больше духовными чувствами, чем телесными. Как это ни смешно, но я обожаю наивные рожицы, и зажечь в таких-то ясных, невинных глазках страстный огонек, гораздо интереснее, нежели у какой-нибудь уже опытной красавицы.

Оба рассмеялись, а потом Красинский заметил:

– Желая тебе, чтобы твоя жена оказалась сговорчивее моей и добродетель ее – менее твердой, иначе ее не хватит на два года.

– Я не намерен так скоро посвящать ее и поберегу, чтобы хватило надолго. Кроме того, я надеюсь добиться от господина, чтобы он отказался в мою пользу от своих хозяйских прав. Вспомни, что ведь именно свидание с ним и привело твою жену в исступление.

Красинский ничего не ответил; мрачный, с нахмуренными бровями, он весь ушел в воспоминания. Минуту спустя, он выпрямился и заговорил о другом. После непродолжительной научной беседы друзья расстались, а через три дня Бельский уехал из Парижа на остров Мадеру.

Ростовская приняла его с обычной любезностью, относясь к мнимому «сыну» своей покойной подруги покровительственно и нежно. Сдержанная по натуре и скромная, Надя была мила и приветливо принимала всевозможные любезности графа. Теперь Адам сделался ежедневным гостем на вилле, и страсть его к Наде росла со дня на день; а та замечала это, мужественно стараясь приучить себя и привязаться к нему. Иногда в беседах с графом Надю увлекал его живой и всегда занимательный разговор: в такие минуты он казался ей менее противным, и она утешала себя, что скоро, вероятно, полюбит его. Когда же на ней останавливался пылавший страстью взгляд, то чувство отвращения просыпалось с новой силой и по телу пробегала ледяная дрожь.

Однажды вечером, после чая, Бельский предложил пройтись по саду; днем была душливая жара, и теперь приятно было подышать свежим

морским воздухом. Анна Николаевна сказала, что предпочитает остаться на террасе, а Надя согласилась прогуляться. Сердце ее сильно билось; она понимала, что наступает решительный момент и горевший страстью взгляд Бельского не оставлял в том сомнения. Но никогда еще так сильно не поражала ее та странная перемена, которая произошла в графе с того бала, когда он так ухаживал за Милой.

Свежее, розовое и полное лицо молодого кавалериста, его открытый, ясный взгляд и крепкая, дышавшая здоровьем фигура резко отличались от худого и гибкого теперешнего Бельского, с бледным, прозрачным лицом и глубокими глазами, которые точно меняли окраску под влиянием каждого чувства. Надя вздрогнула даже под впечатлением этой разницы; но почти тотчас наплыв других чувств изменил направление ее мыслей.

Бельский предложил ей руку, и молодая пара молча шла садом, направляясь к берегу. Там стояла беседка в виде греческого храма, с колоннадой вдоль берега, и с этой высоты открывался восхитительный вид на освещенный луной океан. Бельский повел свою спутницу прямо к этой колоннаде и там вдруг остановился, схватив ее руки и шепча глухим от страсти голосом:

– Надя, я люблю вас больше жизни! Сделайте меня счастливейшим из людей, согласитесь быть моей женой. Из вашей жизни я сделаю непрерывный праздник; ваши желания будут моим законом. Не томите только меня неизвестностью, Надя, обожаемая, ответьте одним словом, скажите «да».

Он повелительно поднял руку на уровень ее головы, а из его тонких и белых как слоновая кость пальцев исходило, казалось, могучее веяние, которое дымкой окутывало голову девушки, всасывалось в ее мозг, сжимало его, как железным кольцом, и сковывало мысль.

Словно под действием чар, подняла Надя на графа глаза и прошептала:

– Я люблю вас и согласна.

Вдруг глаза ее расширились и уставились на туманный столб за спиной графа. Была ли то игра света и тени, смешение ночных образов с лучами луны, или причудливое отражение ветвей деревьев, но на белом фоне стены обрисовывались два больших зубчатых крыла, которые точно выросли из плеч графа, а над головой появилось подобие двух изогнутых рогов... Но Надя не успела проверить странное видение. Подхваченная точно порывом буйного ветра, она бросилась в раскрытые объятия жениха и машинально повторила то, что подсказывал ей голос, слов которого она не слышала, но звуки его раздавались в ее ушах:

– Я люблю вас!

Горячо прижал ее Бельский к своей груди, и она чувствовала на своих губах его огненный поцелуй; но в ту же минуту голова ее закружилась и она лишилась чувств. Со страстью прижал граф к себе хрупкое тело молодой девушки и целовал ее лицо и шею; но увидав, что она в обмороке, он поспешно достал из кармана маленький хрустальный флакон, намочил бывшей в нем эссенцией платок и дал Наде вдохнуть сильный и живительный аромат его. Та почти мгновенно открыла глаза, не подозревая, казалось, своего забытья. Впрочем, граф не дал ей времени опомниться.

– Надя, обожаемая невеста, повтори волшебные слова, которые составляют счастье моей жизни; скажи еще раз, что любишь меня, как сказала сейчас, – говорил он, прижимая ее к себе.

Надя чувствовала себя точно пьяной и не протестовала, когда он взял ее за талию и повел к дому.

– Тетя Аня, прикажите подать шампанского: я веду невесту, – весело крикнул он. – Вы, лучший друг моей бедной матери, должны первая поздравить нас.

Растроганная Анна Николаевна расцеловала жениха и невесту, а потом все сели за стол и ужин прошел весело. Бельский положительно сиял, а Надя не могла дать себе отчета в состоянии своей души. Однако в первый раз граф не показался ей противным.

На другой день утром Бельский прислал цветы и конфеты, а когда явился сам к завтраку, то с улыбкой положил на колени невесты шкатулку оксидированного серебра с бирюзой. С любопытством открыла Надя ящик и вскрикнула от восхищения. На черном бархатном фоне лежало кольцо из грушевидного жемчуга, а между каждой жемчужиной сверкало по большому солитеру. Надя была женщиной, и вид драгоценностей восхитил ее. Раскрасневшись, она благодарила жениха.

Следующие дни прошли весело. Адам был нежен и влюблен, окружал невесту вниманием, осыпал подарками и, видимо, спешил со свадьбой.

Однажды утром, с неделю после обручения, он вручил Наде письмо и документ, прося их прочесть. Письмо было адресовано его поверенному в Киеве, которого он просил засвидетельствовать дарственную, утверждавшую за Зоей Иосифовной Замятиной пожизненный доход в 3000 рублей; брату и сестре Нади он назначал каждому особый капитал, который поверенный обязывался положить на их имя в государственный банк, а проценты должны были храниться до их совершеннолетия. На глазах Нади показались слезы радости. В порыве глубокой признательности обняла она жениха и в первый раз горячо поцеловала. Она не видела, как глаза Бельского сверкнули затаенным торжеством.

Несколько дней спустя граф снова заговорил о свадьбе, которую хотел отпраздновать недель через шесть.

– Милая тетя Аня, помогите мне устроить свадьбу до возвращения в Россию. Мне хотелось бы повенчаться во Флоренции, в консульской церкви, а медовый месяц провести на хорошенькой вилле, в окрестностях. Мне тяжело быть первые месяцы своего счастья в каком-либо месте, где я жил с матерью, и где для меня все полно тоскливых воспоминаний. А Зоя Иосифовна может приехать к свадьбе с детьми, – на мой счет, конечно.

– Это фантазия влюбленного, но я постараюсь исполнить ее, – ответила смеясь Ростовская.

Надя так еще была преисполнена благодарности, что даже не протестовала против желания жениха, а... в глубине души сама предпочитала вернуться в Киев, где встретится, может быть, с Масалитиновым, уже замужней, когда привыкнет к своему новому положению.

Итак, Ростовская с Надей покинули Мадеру и, после краткой остановки в Париже, выехали во Флоренцию. Граф поднес Наде роскошное приданое, сказав, что ему ненавистно все, предназначавшееся для ее замужества с Масалитиновым, и потому он просил отослать его матери.

Замятиной не пришлось, однако, присутствовать на свадьбе. После страшной болезни у нее осталась сильная боль в ногах и чрезвычайная нервность; поэтому ей не обходима была возможно тихая, правильная жизнь, и доктор серьезно советовал ей не рисковать длинным путешествием, сопряженным с неизбежными волнениями. Таким образом, Зоя Иосифовна отказалась покинуть свое мирное убежище и только послала будущему зятю любезное письмо с изъявлением благодарности, а Анну Николаевну просила заменить ее во время венчания дочери.

За несколько дней до свадьбы Ростовская приехала с Надей во Флоренцию и поселилась в одном из лучших отелей. Бельский жил недалеко от города на великолепной вилле, где, по его словам, оканчивались приготовления к приему его молодой жены. Вилла была поместительна, роскошно обставлена и с большим садом; но, в действительности, она принадлежала не Бельскому, а сатанинской общине, хотя каждый член ее, если желал, мог жить там и, на время своего пребывания, считался ее хозяином.

Поэтому Бельский тоже с величайшим почтением был принят многочисленными слугами виллы и дворецким, так как никто из прислуги не знал и даже не подозревал, что он не настоящий хозяин; точно так же относились к каждому гостю виллы. Управитель, член общины, заведовал

содержанием ее, платил и нанимал новых служащих, и распускал, когда нужно, слух, будто имение продано.

В своем кабинете, обставленном с утонченной роскошью, у открытого окна сидел Бельский и рассеянно смотрел на веселую, окружавшую его картину.

Под окном раскинулся тенистый сад с белевшими среди зелени статуями и большим мраморным бассейном. Группы Тритонов и Наяд метали вверх струи воды, которые при свете заходившего солнца сверкали разноцветными огнями.

В нескольких шагах от графа у письменного стола сидел Красинский.

– Уверен ли ты, Адам, что не забудешь всего, что должен проделать во время церемонии: повторять навыворот слова обряда, призывать в помощь семь демонов и нашего владыку? Впрочем, я буду с тобой и поддержу тебя. Да, еще одно обстоятельство, которое поможет тебе в сем случае, благодаря покойному Бельскому. Ха, ха, ха! Ты еще так пропитан его флюидом благочестия, что не так болезненно будешь ощущать борьбу противоположных токов, а они пронизывают, как стрелы или иглы. Потом тебе необходимо снять как-нибудь крест с ее шеи!

– Не беспокойся, я не забуду ничего и уже приставил к Наде камеристку из *наших*; она удалит все, что может повредить нам. Одно меня беспокоит: до сих пор нет решительного ответа от *учителя*. Досадно, право, что я не могу сам вызывать.

– Вечером я сообщу ответ и уверен, что он будет благоприятен. А для тебя такое напряжение воли было бы опасно; надо потерпеть немного и не сразу отваживаться на него.

– Знаю, и не собираюсь вовсе рисковать, так как в восторге от своего положения, – смеясь, ответил Бельский и посмотрел на часы.

– Пора мне одеваться и ехать к невесте. Итак, до свидания, мой друг. Рассчитываю на твое обещание, – прибавил он, пожимая руку Красинского.

– Если позволишь, я напишу здесь одно письмо до возвращения домой, – сказал тот.

Оставшись один, Красинский облокотился на стол, со странным выражением и пристально смотря на портрет Нади, стоявший подле.

– Вот женщина, которая мне нравится; выражение лица ее напоминает мне Марусю, – думал он и тихо рассмеялся. – Этот болван Баалберит воображает, что он один сибарит, который может освежаться соприкосновением с чистотой! Ха, ха, ха! А вот я разделяю твой вкус. Непонятная, однако, загадка – человеческое сердце! Несмотря на все возвращаемое мной зло, я также обожаю аромат невинности непорочной

девы, наивную улыбку ясных глазок. Всем этим ты обладаешь, Надя, и прекрасна ты, как гурия. Во время своего строгого, четвертьвекового вдовства я отказался от всякого материального наслаждения. Теперь испытание кончено; я, сатанинский отшельник, вступаю снова в свои *человеческие* права, и Надя будет принадлежать мне. А для нее подмена мужа останется тайной, и будет безразлична, потому что он – такой же аватар, как и я. А Бельский!.. Ф-ю-ю! Во-первых, он тоже ничего не узнает, так как всецело в моей власти и еще надолго; а во-вторых, он обязал быть мне благодарен. Не родитель ли я его, по сатане? Не я ли вызвал его к жизни? Не дал ли я ему частицу своей жизненности, чтобы привлечь его во плоть. Несомненно, я заслужил его глубокую признательность. Надо только позаботиться, чтобы всю странность своей супружеской жизни он объяснял как следствие еще не вполне освоенного аватара. Однако следует немедленно договориться с учителем.

Он бросил сигару, встал и сошел в сад. Быстрым шагом направился он в самый его конец, где возле стены, в густой заросли, стояла небольшая каменная беседка – круглая, без окон и с одной дверью. Красинский отпер ее взятыми из кармана ключом и вошел в круглую совершенно темную залу, а когда зажег электрический фонарь, можно было разглядеть, что помещение пусто и в нем не было ничего, кроме статуи бога Приапа на широком четырехгранном цоколе. Красинский привел в действие пружину, цоколь сдвинулся в сторону и обнаружил узкую лестницу. Сатанист спустился и попал в круглый подвал с низким потолком. У одной из стен стояла черная базальтовая глыба, вроде престола, а на нем помещалась статуя сатаны, шандал с семью свечами черного воска и старинная с виду книга, в черном кожаном переплете. Посредине подвала, на широком металлическом круге лежал черный камень, а на нем – факел и молоток с кабалистическими знаками. По сторонам металлического круга были расположены три бронзовых жаровни с угольями и смолистыми травами.

Красинский встал на камень в металлическом круге и погасил свой фонарь; потом, то понижая, то повышая голос, он начал заклинания, читал формулы и концом вынутого из-под платья жезла чертил в воздухе вызывательные знаки. Через некоторое время в стенах и в полу послышались стуки, а затем взвились в воздухе фосфорические шары. Со зловещим треском вспыхнули сперва на престоле черные свечи, а потом раздался словно шелест сухих листьев и загорелись смолистые травы на треножниках. Подвал наполнился едким, тошнотворным запахом и озарился бледным красноватым светом. Тогда Красинский затянул какую-то странную песнь, прерываемую резкими вскриками, и вдруг к его дикому

пению присоединилось мяуканье и глухое рычание, а из земли точно выросли семь огромных черных кошек. Шерсть их была взъерошена, а зеленые, фосфорически горевшие глаза дьявольских тварей пристально смотрели на черного чародея полным дикой и смертельной злобы взглядом. А тот схватил затем молоток и с такой силой ударил по камню, что из него сверкнул огонь. Семь раз ударял он, произнося имя Адеса, и с каждым ударом вылетающее из камня пламя становилось сильнее и ярче; кошки же неистово вопили, точно их резали.

После седьмого удара из земли столбом повалил черный дым, а когда он рассеялся, то обнаружилась высокая и массивная человеческая фигура, зловеще и отталкивающе безобразная. Черная лоснившаяся кожа, приплюснутый нос и мясистые красные губы придавали ему сходство с негром. Туловище было нагое, а нижняя часть тела покрыта длинной шерстью; ноги походили на копыта, а длинный хвост и пара больших, крутых, как у барана, рогов дополняли сатанинское обличье; острые и длинные, точно у дикого зверя, зубы виднелись из-за полуоткрытых губ.

– Что надо, Ахам? – спросил глухой и хриплый голос.

Красинский соскочил с камня и, не выходя, однако, из круга, пал ниц.

– Владыка, прежде всего прими этих семь животных, которые приношу тебе в жертву, чтобы угостить тебя свежей кровью, а затем выслушай милостиво мою просьбу.

Схватив в каждую руку по кошке, Красинский подал их демону, а тот принял их, укусил в горло и сосал, казалось, из них кровь. Покончив с третьей, он бросил в сторону и сказал:

– Довольно! Говори теперь, что тебе надо от меня?

– Прошу у тебя, владыка, великой милости: отказаться от жены Баалберита. Она благочестива, носит знамения *Того*, и от дыхания ее слышен запах ладана. Хоть она и нравится мне, но без твоего дозволения я не посмел ею воспользоваться.

– Просьба твоя уважена, ты – верный слуга. Воспользуйся же имеющимися в твоём распоряжении средствами и займи мое место: я уступаю тебе жену Баалберита.

– Благодарю тебя, владыка. Да восхвалят тебя и да прославится имя твое во всех сферах сатанинских! – сказал Красинский, снова падая ниц.

Демон Адес сделал рукою прощальный знак и исчез, расплываясь в воздухе, подобно легкому дыму.

Тогда Красинский опять встал на камень и произнес заклинания, после чего сначала пропали дьявольские животные с визгом и рычанием, а потом потухли треножники и семь свечей шандала. Он зажег свой фонарь и очень

довольный вышел из павильона.

В день свадьбы Анна Николаевна вошла утром в комнату Нади поговорить с ней. Уже несколько дней и особенно сегодня, за завтраком, та казалась ей грустной и молчаливой. Надя сидела у окна и так глубоко задумалась, что не заметила даже прихода Ростовской. Около нее на диване уже разложено было подвенечное платье, отделанное великолепными старинными английскими кружевами. Ростовская села около Нади и взяла за руку.

– Почему вы так бледны и задумчивы, Надя, когда все огорчения кончились, и вас ожидает счастливая, спокойная будущность?

Надя вздрогнула, выпрямилась и влажными от слез, печальными глазами взглянула на свою покровительницу.

– Милая Анна Николаевна, Адам кажется мне странным!..

– Что в нем странного, дорогая моя? Я вижу только, что это самый любезный из женихов, а великодушие, с каким он обеспечил вашу семью, поистине выше всякой похвалы.

– О! Я благодарна ему от всей души и могу даже сказать, что начинаю привязываться к нему; но... бывают минуты, когда... я боюсь его. А иногда происходят такие страшные вещи, которые пугают меня и я считаю их дурным предзнаменованием. Так, после обручения я не раз видела по вечерам большую черную бабочку, вроде той, что мы заметили с вами на Мадере, и она вилась над моей головой. Я боюсь ее, а когда начинаю отгонять, она исчезает неизвестно куда. Если я одна, мне чудится, будто черные тени скользят вокруг; а всего более меня напугало непонятное видение, которое было вчера, когда я провожала Адама. Я остановилась наверху лестницы и смотрела, как он спускался, и вдруг увидела стаю кошек, собак и даже волков с открытой пастью и сверкавшими глазами, и все они плелись за ним. Я так испугалась, что вскрикнула, а он в несколько прыжков влетел наверх и, встревоженный, спросил, что со мной? Не знаю почему, но мне стыдно было сказать ему правду и я ответила, что укололась. Однако чем объяснить все это?

– Совершенно просто – галлюцинация слишком расстроенных нервов. Реакция после перенесенных вами страшных нравственных потрясений была неизбежна, – серьезно ответила Ростовская. – Надо побороть это рассудком и силой воли... и не допускать, чтобы такие глупые иллюзии портили посылаемое вам Богом счастье. Да, милая моя, гоните решительно всех этих кошек, собак и бабочек, созданных вашими больными нервами; думайте лучше об удовольствии, что вернетесь в Киев *графиней* и *миллионершей*, увидите мать спокойной за будущее детей и, наконец,

покажете Масалитинову, что его поступок пошел вам на пользу.

Надя рассмеялась, обняла Анну Николаевну, и, по-видимому, к ней вернулось хорошее расположение духа.

В шесть часов вечера в консульской церкви состоялось бракосочетание. Во время церемонии граф был бледен, как тень, а когда надевал обручальное кольцо невесте, рука его так дрожала, что и Надя заметила это, но приписала волнению. Сама она была восхитительна в богатом туалете, но личико ее было бледно и ясные глазки лихорадочно блестели.

Новобрачные сели в экипаж, чтобы ехать на виллу, и к Бельскому вернулось как будто хорошее расположение духа. Он сиял счастьем, когда ввел молодую жену в ее новое жилище. На вилле молодую чету встретило несколько лиц, так называемых «хороших знакомых» графа, а на самом деле то были члены сатанинской общины, явившиеся пировать на свадьбе брата Баалберита. Вечер закончился великолепным ужином.

Неподалеку от молодой сидел новый граф Фаркач и его страстный, жгучий взгляд часто останавливался на прелестном личике Нади. Иногда с глумливой насмешкой взглядывал он и на Бельского, которого он никогда не видел в таком счастливом настроении.

К концу ужина Надя почувствовала давящую тяжесть в груди; руки и ноги налились точно свинцом, а в общем, она была так утомлена, что обрадовалась, когда Ростовская отвела ее в спальню и простилась с ней.

Нарядная горничная с угрюмым лицом раздела ее. Надя покорно дала себя уложить, и едва голова ее коснулась подушки, как она уснула тяжелым и крепким сном.

Проводив последних гостей и простившись с Красинским, занимавшим комнату в одном из флигелей виллы, Бельский ушел в свою уборную. В роскошном плюшевом голубого цвета халате сидел он перед зеркалом и допивал последний бокал шампанского, собираясь перейти в спальню, так как была уже полночь.

Между тем позади него из-за складок портьеры высунулась рука, на ладони которой сиял желтоватый дымный огонь. Тонкая струя этого дыма, с едким удушливым запахом, поползла к графу и змейкой обвилась во круг его головы. Бельский побледнел, поднес руку ко лбу и, вздрогнув, откинулся с закрытыми глазами на спинку кресла. В эту минуту портьера раздвинулась и к спавшему тихо, по кошачьи, подкрался Красинский. На нем была длинная черная бархатная крылатка, а в руках – шкатулка черного дерева с резьбой. Тихо придвинув маленький столик, он поставил на него принесенный ящик, а затем достал и зажег курильницу. Из нее пошел

густой разноцветный дым, который широкими волнами разливался по воздуху и кольцами окутал спавшего.

Подняв затем руки, со сверкающим взглядом, Красинский мерно произносил заклинания; потом, достав из-за пояса жезл с семью узлами, он начертал в воздухе кабалистический знак, который мгновенно загорелся фосфорическим светом, и вскоре потух с легким взрывом. Дым курильницы образовал высокий и широкий столб чудного аметистового отлива; в комнате же послышался сильный аромат розы, ландыша и сандала. В этом фиолетовом облаке начала быстро формироваться человеческая фигура, и вскоре, в двух шагах от чародея, появилась женщина в белом с чертами лица Нади; только в глазах этого двойника было страстное выражение вакханки; черные распущенные волосы чуть заметно фосфоресцировали, а в грациозных кошачьих движениях хрупкого тела было что-то лукавое, напоминавшее пантеру. Иллюзия, впрочем, была полная; это несомненно была Надя. Красинский опустил палочку, и на его бледном лице расплылась гордая, самодовольная усмешка.

– Если бы профаны были знакомы с этим усовершенствованным «гашишем» черной магии, как бы они наслаждались, – прошептал он, смотря на вызванную им из пространства женщину, которая стояла неподвижно, точно ожидая его приказаний. – Хотя, в действительности, что такое наслаждение? Надежда на ожидаемую радость и упоительное воспоминание о минувшей. А настоящее – мимолетно, как искра, и еле-еле существует в действительности. Потому что даже эта самая мысль, едва успеешь ее выразить, принадлежит уже прошедшему. Да, да. Главное в наслаждении – это воспоминание, и ты сохранишь это воспоминание о супружеском счастье.

Он положил руку на лоб Бельского и тихим голосом, но отчеканивая каждое слово, велел ему быть «счастливым», помнить это, вернуться только на заре в свою спальню и спать долго, а затем не чувствовать ни сомнения, ни подозрения, мгновенно забывая все, что могло бы их вызвать. После этого он повернулся к ларвическому призраку и сказал:

– Живи и наслаждайся, пока держится этот дым, и рассейся, подобно ему, совершив свое дело.

Красинский поставил курильницу в темный угол и вышел; но, притаившись за портьерой, он видел как ларва с кошачьей легкостью подкралась к графу и обвила его шею. Бельский выпрямился; не заметив, по-видимому, что спал, он привлек к себе дьявольское существо и, покрывая жгучими поцелуями ее лицо, прошептал с блаженной улыбкой:

– Нетерпеливая шалунья! Значит, ты очень любишь меня, если пришла

сюда за мной.

Дьявольская злость сверкнула в глазах Красинского. Протянув к нему руку, он прошептал:

– Будь счастлив, Баалберит!

Прибавив еще некоторые распоряжения на будущее, он, как тень, стал красться в спальню, большую комнату, убранную с царской роскошью. Стены обтянуты были белым, затканым серебром шелком, мебель и портьеры – белого шелка и голубого бархата. Около отделанного кружевами туалета, на табурете лежала гирлянда померанцевых цветов и вуаль новобрачной. Широкая занавесь голубого бархата, подбитого белым атласом, наполовину теперь приподнятая, отделяла альков, где стояли кровати под балдахин с гербом. Подле занавеси, на колонке, стояла статуя Эроса из белого мрамора; в руке держал он лампу, прикрытую шелком, и вся комната была окутана голубоватым сумраком.

Красинский прошел прямо к кровати, где лежала Надя, и страстный взор его застыл на восхитительной головке, покоившейся на кружевных подушках.

По доносившемуся тяжелому дыханию видно было, что молодая женщина крепко спала.

После минутного безмолвного созерцания, Красинский поднял было руку с намерением вызвать у своей жертвы гипнотический сон, но в то же мгновение произошло нечто неожиданное.

Из глубины алькова сверкнула широкая полоса света, который сгустился в шар такой ослепительной белизны, что озарил, словно днем, неподвижное лицо Нади. Затем шар этот удлинился в столб, а у изголовья спавшей встала женщина в длинном, серебристо-белом хитоне. Голова ее, окруженная распущенными белокурыми волосами, точно золотистым ореолом, была чарующе прекрасна, а в поднятой руке она держала сиявший крест, из которого исходили снопы лучей.

Но все это, долгое в описании, произошло с головокружительной быстротой, и в ту минуту, когда фигура женщины ясно вырисовалась, донеслось могучее мелодичное пение и послышался гимн:

«Да воскреснет Бог и да расточатся враги Его!»

Словно пораженный пулей в грудь и вытянув вперед руки, Красинский зашатался и попятился. С искаженным злобой лицом и бормоча ругательства, цеплялся он за мебель, точно пьяный. Но, несмотря на его бешенство и упорство, светлый дух бесстрашно шел вперед, угрожая смутившемуся сатанисту великим символом спасенья. И вот послышался, словно издали донесшийся, дрожавший голос, мучительно прозвучавший

в ушах колдуна:

– Жестокий и подлый человек. По твоей вине погибла я, но мне дозволено охранять невинное существо, столь горячо молившееся у моей могилы: вы не оскверните ее, адские демоны, вы бессильны погубить ее, а я всегда буду становиться между вами и ею на защиту.

Продолжая осенять его крестом, дух Маруси отталкивал Красинского, который отступал шаг за шагом.

Он был отвратителен; из открытого рта клубилась кровавая пена, лицо было искажено, волосы стояли дыбом, и все тело корчилось, как сухая береста на огне. Он, видимо, задыхался, а вокруг него с рычанием ползали мерзкие существа, его темные пособники.

Переступив порог спальни, Красинский повернулся и убежал; опрометью влетел он в свою комнату и в беспамятстве рухнул на ковер.

Светлый призрак Маруси побледнел и рассеялся в воздухе, но над головой Нади, как верная охрана, продолжал парить крест.

В это время в уборной Бельский наслаждался с материализованной искусным чародеем ларвой. При первом пении петуха фиолетовый дым быстро рассеялся, ларва растаяла в объятиях графа, и образ ее в виде легкого пара поднялся в воздух, угасая в тумане начинавшегося дня. Но граф ничего не замечал и не слышал глумливого, звучащего издали смеха невидимой толпы. С тяжелой головой и тревожным взглядом ушел он к себе.

Прошло довольно времени, пока Красинский очнулся от обморока. С усилием, судорожно подергиваясь от ледяной дрожи, поднялся он, но тут же, вдруг ослабев, опустился на стул. Голова его кружилась и колющая боль пробежала по всему телу.

Минуту спустя он встал, схватил красный карандаш, лежавший на ночном столике, начертал на полу крест и, с омерзительными проклятиями, принялся ожесточенно топтать его. Вынув потом из шкафа флакон, он налил в стакан густой жидкости темно-красного цвета и с жадностью выпил ее; почувствовал он себя спокойнее и крепче после того, как натер лицо и руки сильно ароматичной эссенцией.

Откинув занавеску, Красинский распахнул окно и полной грудью вдохнул свежий душистый воздух сада; придвинув кресло, он сел и задумался, мрачным взглядом пристально смотря на горизонт, озаренный первыми лучами восходившего солнца.

Поток тревожных дум нахлынул на страшного чародея, и мало-помалу на лбу его образовалась глубокая складка. Он так гордился своим могуществом и «проклятой наукой», которой мастерски владел; в его

распоряжении было столько опасных секретов, он властвовал над низшими силами, повелевал целой армией демонов, которые могли, – захоти он только, – сжечь город, потопить судно, вызвать ураган. Могущество его во *зле* было громадно, и силой обладал он геркулесовской, а вот молодая женщина, которую он не смог покорить и которая умерла, не изменив своей веры, *она* обладала символом, разбивавшим его могущество, повергавшим его во прах и преграждавшим ему путь к желанной добыче. Он оказывался бессилён перед этим небесным оружием; перед ним трепещет и содрогается ад, и всюду, где появляется лучезарный крест, это священное знамение всех времен, полчища сатаны слабеют и отступают, как бы ни были они многочисленны. Никакому демону, даже из наивысшей адской иерархии, не удавалось ни победить таинственный знак, ни создать символ, достаточно сильный, чтобы противостоять *кресту*.

– Никто не сумел, а я сумею, восторжествую над крестом и покорю его! И, клянусь сатаной, Надя будет моя, – вдруг воскликнул Красинский, вскакивая с места, с сжатыми кулаками и угрожающим, вызывающим жестом по направлению чего-то невидимого.

Успокоившись, он осторожно пробрался в пустой уже кабинета Бельского, унес сундучок с курильницей и вернулся в свою комнату, чтобы лечь спать.

К завтраку Красинский вышел на большую террасу, где был накрыт стол, и нашел там счастливого графа, который прохаживался и курил.

– Сияет, как и подобает счастливому новобрачному! – ехидно заметил Красинский, пожимая руку приятелю.

– Ах, друг мог! Это самая восхитительная из женщин! Я считал ее холодной, застенчивой, бесчувственной, а она – воплощенная любовь, даже страсть, и я счастливейший из смертных! – восторженно сказал лже-Бельский, не заметив загадочной и злой усмешки, мелькнувшей на лице Красинского.

– Верю охотно, что ты счастлив. Твоя жена – настоящая жемчужина. А я пришел сказать тебе, что получил письмо, которое заставляет меня сегодня выехать в Париж, а оттуда в Россию. Надо проститься с графиней и с тобой.

– Надя сейчас придет. Но как жаль, что ты уезжаешь. Впрочем, мы скоро увидимся в Киеве, куда я намерен отправиться не позднее трех-четырех недель. Жена жаждет увидеть своих, а ты понимаешь, я – раб, и желания ее для меня закон, – заметил граф.

III

Известие о помолвке молодого миллионера Бельского с дочерью разорившегося Замятина вызвало большие толки в Киеве.

Екатерина Александровна узнала новость от Максаковой, у которой продолжала бывать, и вернулась домой вне себя от затаенной злобы. Миле стоило только руку протянуть за такой блестящей партией, вместо того, чтобы выходить за человека без титула и положения в свете, «голыша», за которого еще пришлось платить долги.

После обеда, за кофе, она принялась выкладывать новости и рассказала со всеми подробностями, как молодой граф встретил в Трувиле Анну Николаевну, бывшую приятельницу его матери, и безумно влюбился в Надю, а что в доме Бельского теперь идут большие приготовления для приема молодой графини. Свадьба назначена недели через три.

– Это всем известно, и многие поздравляли Зою Иосифовну, только мы ничего не знали, – закончила Екатерина Александровна, стараясь скрыть свое негодование.

Масалитинов вспыхнул, и рука с чашкой кофе чуть дрогнула. Зеленоватые глаза Милы ревниво следили за каждым его движением. При виде его волнения недобрый огонек сверкнул в ее лучистом взгляде. И понятно: если его больно затронуло известие об этом браке, значит, в глубине души его еще жила любовь к бывшей невесте.

– А и хитра же эта прекрасная Надя, – ядовито заметила Мила. – Она поспешила вернуть Мишелю его слово, не дождавшись даже, чтоб он ее об этом попросил, очевидно, рассчитывая, что с ее пикантной рожницей ей удастся еще выгоднее пристроиться.

Вдруг вспомнила она, что ведь настоящего-то Бельского убил ее отец, для того, чтобы ввести в его тело неизвестную личность... И Надя не знала, что ее будущий муж – выходец с того света. Мысль эта показалась ей настолько забавной, что она презрительно рассмеялась. Затронутый за живое и обиженный, Масалитинов вышел из комнаты, а жена и Екатерина Александровна злобными взглядами проводили его.

Мила была замужем уже семь месяцев и вскоре готовилась быть матерью. За это время она была постоянно нездорова и чрезвычайно слаба; в общем, она очень похудела, стала еще бледнее и прозрачнее. Ее мучила неутоли-339 мая жажда; она выпивала громадное количество свежей крови и съедала невероятные порции мяса, а тем не менее, все не могла наесться

досыта.

Масалитинов также изменился. Он заметно побледнел, похудел и казался изнуренным; слабость эта обо значилась особенно сильно после женитьбы. Но Михаила Дмитриевича озабочивало не только собственное его состояние; он наблюдал за женой и подмечал в ней много странностей. Он не был уже прежним завзятым «скептиком», и вот у него сложилось убеждение, что Мила не совсем обыкновенная женщина, потому что по ночам зачастую с ней происходили непонятные явления.

Так, иногда заставлял он ее лежавшей замертво, но затем она вдруг оживала и всегда с хриплым вздохом. Несколько происшедших за последнее время случаев возбудили в нем томительное, жуткое чувство суеверного ужаса. Совершенно неожиданно Мила полюбила вдруг детей. Сначала она привязалась к сыну швейцара, хорошенькому мальчугану пяти лет, и дочери посудомойки. Она приказывала приводить к себе обоих малышей, кормила их сладостями, делала подарки и подолгу их ласкала; а потом, когда дети стали болеть, настала очередь дочери портнихи, девочки восьми лет, которая также вскоре заболела. А самое ужасное, что в несколько месяцев все трое малюток умерли от непонятного для врачей истощения, или упадка жизненной силы. Эти три смерти произвели на Масалитинова глубокое и тяжелое впечатление. Невольно вспомнились ему припадки внезапной слабости, появлявшейся у него после танцев с Милой, и особенно тот случай, когда он чуть не умер от истощения.

Несколько недель прошло без каких-либо происшествий, и впечатление от случившегося ослабело, как вдруг произошло новое событие в доме. Подгорничная их, Варя, была молодая крестьянская девушка, свежая, здоровая и сильная. По родству с камеристкой, она спала в одной с ней комнате, и вдруг, однажды утром, девушку эту нашли умиравшей, а Ксения – камеристка – со слезами рассказала, что с вечера Варя легла совершенно здоровой, а ночью ее разбудили стоны. – Уж очень мне спать хотелось, так что я мигом опять уснула без памяти; но только в третий раз разбудили меня стоны. Соскочила я с постели и побежала к Варе, а та замертво лежит. Спросила я ее, что мол с ней? А она, бедная, шепчет: «Змей крылатый с зелеными глазами жизнь мою высосал». Потом Варя, в беспомыслие впала, – закончила горничная.

Тотчас же призванный врач не нашел ее уже в живых и не мог дать никакого объяснения столь внезапной и непонятной смерти. Вскрытие тела тоже ничего не выяснило, разве только что сердце нашли в каком-то странном состоянии; оно оказалось скомканным, точно пустой мешок, но без малейшего повреждения. Таким образом, причина смерти осталась

невыясненной. На фразу покойной, что будто крылатый змей с зелеными глазами высосал ее жизнь, «человек науки» не обратил, конечно, никакого внимания, а простые люди, в кухне, говорили, что бедная Варя видела собственную смерть.

На Масалитинова же этот случай произвел сильное впечатление; с лихорадочным волнением он обдумывал, обсуждал и сопоставлял наблюдавшиеся странные явления. Неоднократно видел он ночью, как Мила стремительно вставала на постели, мертвенно бледная, с широко раскрытыми глазами, с вздымавшейся грудью и размахивала руками, а затем снова падала, как мертвая. Сначала он пугался, но потом подметил, что после этого, на утро, Мила бывала свежее и веселее прежнего. Последний припадок такого рода произошел именно в ночь Вариной смерти и это обстоятельство тоскливо отозвалось в душе Масалитинова. Вообще он не мог отчетливо разобраться, какое чувство внушала ему Мила? Любовью это нельзя было назвать, потому что иногда она внушала ему физическое отвращение; в такие минуты он даже боялся ее, и у него являлось чувство, будто подле него труп. Тщетно отгонял он эту безумную мысль; тем не менее, волосы на голове шевелились и тело покрывалось холодным потом. И наоборот, часто она возбуждала в нем пылкую страсть, слепую и упорную, тянущую его к ней, как пьяницу к вину. Эти противоречивые чувства боролись в нем, и он не мог их объяснить, но страдал от них и всегда чувствовал себя лучше вне собственного дома, казавшегося Масалитинову невыразимо мрачным, несмотря на всю его роскошь и комфорт. Страстно ожидал он теперь рождения ребенка, который внесет новую жизнь, и на нем безраздельно сосредоточится его любовь.

Благодаря тому, что здоровье Милы несколько улучшилось, Масалитинов начал принимать у себя и устраивал небольшие собрания, которые развлекали, но не утомляли жену.

Наиболее живым предметом пересудов в обществе служило появление в Киеве иноземного графа, – не то итальянца, не то венгерца, – который купил у Бельского один из его домов. Граф должен был быть очень богат, судя по тому, что обратил дом в настоящий дворец, роскошный и оригинальный, по рассказам. Молод или стар, красив или нет был этот сказочный принц, – про то никто не знал и с тем большим любопытством все ждали его появления. Мила также очень интересовалась иноземным графом, прибывшим, однако, незаметно, без шума и с немногочисленным штатом прислуги. Позднее распространился в городе слух, что граф оригинал и любит одиночество, чрезвычайно богат и притом ученый: астролог, магнетизер и врач, совершающий чудесные исцеления. Когда же

убедились, что интересный иностранец – красивый молодой человек к тому же, любопытство дошло до высшей степени.

Одна Мила знала, что под личиной графа Фаркача скрывается ее отец, а потому с его приездом стала спокойнее. Она очень боялась, как бы не сделались слишком заметными «странные» случаи смерти в доме; он же, наверное, найдет средства другим способом придать ей сил.

Наконец, общее любопытство было удовлетворено. Анна Николаевна вернулась в Киев, где предполагала провести зиму, а так как граф Фаркач тотчас явился к ней, то в ее салоне весь городской «большой свет» познакомился с молодым иностранцем, и скоро все были без ума от него.

В живописной долине, закрытой со всех сторон высокими горами, стоит дворец Манарма, утопая в зелени окружающих его садов. Словно орлиное гнездо, одиноко и таинственно парит он над миром, вдали от людских горестей, вражды и преступлений; а внизу, под этим убежищем мира и света, далеко, далеко кипит земной ад с его густой, зловонной атмосферой, созданной пороками, нечистыми вожделениями и братоубийственной враждой, – словом, всем, что снedaет смертных. Там идет беспощадная борьба демонов с людьми, которые и в свою очередь оспаривают друг у друга обрывки плотских наслаждений и дьявольский талисман – *золото*; но не тот чистый металл, каким он достается из недр земли, а загаженный дьявольскими когтями, трудовым потом, убийством, враждой, сладострастием и алчностью.

Такая вредоносная, зараженная атмосфера, подобно наполненной болезнетворными бактериями воде, тяжело отзывается на человеке чистом, от нее задыхается *искатель света*, и она душит *мага*. Потому великие герметисты и бегут прочь от толпы и земного хаоса, потребности их доведены до минимума, а величайшую для них роскошь представляют уединение и красота природы.

Дворец Манармы отвечает всем этим требованиям. Вокруг него раскинута пышная растительность, а с высоты балконов и террас открываются волшебные виды; плеск фонтанов или шум далекого водопада только и нарушают глубокую тишину; в усеянных цветами рощах порхают колибри – эти живые алмазы природы, а по лужайкам и аллеям блещут своим великолепным оперением павлины. В обставленных по-восточному залах едва заметна немногочисленная, но достаточная вполне для скромных потребностей *мага* прислуга; как тени, мелькают бесшумно по безмолвным залам дворца босые, бронзового цвета люди, поддерживая курения на жаровнях, или подавая скромную трапезу ученому.

В эту минуту у Манармы гости; два его ученика, которых он любил и

обучал началам герметической науки; один – молодой, а другой уже зрелых лет. Снисходительно и с неистощимым терпением, но осторожно и разумно соразмерял он с их неустановившимся мышлением ту дозу знания, которую они способны были воспринять. Один из этих учеников был адмирал, прошедший уже первую ступень *посвящения*, а другой Георгий Львович Ведринский, который хотя и не знал еще ничего, но покорила сердце ученого индуса своим чистосердечием, усердием, покорностью и, наконец, своей страстной к нему привязанностью.

Вперив в учителя блестящие любознательностью глаза, он слушал его, бывало, как зачарованный, а новые, открывавшиеся перед ним горизонты опьяняли его, подобно волшебной сказке, хотя он и не признавал еще во всем объеме страшной и опасной науки, на первой ступени коей стоял.

Однажды утром все трое сидели в рабочей комнате Манармы, – большой, сводчатой круглой зале; по стенам виднелись массивные, кедрового дерева, полки с обширной коллекцией древних, как мир, папирусов или еще более ветхих свитков с разными странными письменами, старых фолиантов и новых книг. Там и сям стояли странные, непонятные профанам инструменты. У широкого открытого окна с восхитительным видом на окрестности, облокотившись на стол сандалового дерева, сидел Манарма со своими учениками. Адмирал был серьезен и задумчив, а Ведринский казался глубоко огорченным и губы его слегка дрогнули, когда он спросил:

– Так нам необходимо покинуть тебя, учитель?

Манарма склонился к нему и глубоко проникновенным, удивительно могучим и жгучим, как огонь, взором заглянул в мрачные глаза молодого человека.

– Да. На некоторое время я отсылаю вас в Европу, сын мой; но ты не должен видеть в этом изгнания. Наоборот, это – первое испытание и одновременно первая твоя миссия. Я посылаю вас бороться с адом, чтобы спасти от гибели честных, но незащищенных людей; а главное – обуздать одно дьявольское существо, которое злоупотребляет своим знанием, сея вокруг себя преступления и смерть.

– Ах! Отчего честные люди так легко поддаются демонским соблазнам, вместо того чтобы защищаться известными им началами добра и молитвой! – возразил Ведринский, видимо, борясь с внутренним негодованием.

Манарма загадочно улыбнулся.

– Они поддаются соблазнам, потому что слабы, не дисциплинированы,

дурно воспитаны и живут в зачумленной атмосфере, влияния которой могут избежать только лишь весьма закаленные люди, могущие заразе противопоставить упорное сопротивление. Насколько велико могущество *зла*, и до какой степени заражающая мозг нравственная гангрена наполняет их неудержимыми порочными влечениями, это ты сам испытал в жизни. Как тифозный больной хочет пить без конца, чтобы утолить сжигающую его жажду, так и *нравственно* больной жаждет наслаждений, богатства и сладострастия; словом, всего, что возбуждает и удовлетворяет животные страсти, до противоестественных пороков и преступлений включительно, который еще в состоянии иногда оживить их истрепанные нервы и озверелое воображение. Вот эти-то ужасные, на свободе разгуливающие полоумные, представляющие собой факелы, которые могут произвести пожар всего мира, путем создаваемой их поступками и мыслями ядовитой атмосферы, заражают людей и вызывают страшные физические и психические поварные болезни, влекущие человечество в пропасть. Примером тебе может служить свирепствующая в настоящее время *эпидемия самоубийств*. Никогда еще может быть адские когти не работали так рьяно, и горе тому, кто становится на пути этой дьявольской свистопляски или пытается крикнуть озверелой толпе: «Стойте! Вы летите в пропасть!..» Его ожидает участь Орфея, которого растерзали вакханки за то, что он проповедовал им истину. А между тем слава бесстрашному разуму, который решается провозглашать людям правду и свет среди окружающего их хаоса и мрака.

– Учитель! – воскликнул Ведринский, слушавший с блестящими от волнения глазами. – Я понимаю, что обыкновенный человек не может вступать в эту неравную борьбу; но почему *вы*, властные и мудрые, не объявите войны аду? А ведь вы можете восторжествовать, потому что свет должен же наконец победить тьму.

Манарма облокотился и, задумавшись на минуту, молчал, а потом провел рукой по лбу и сказал:

– Вопрос твой, сын мой, мне задавали не раз, и даже не вопросы, а упреки летели по нашему адресу со стороны знающих или подозревающих наше существование, потому что большинство людей считает вымыслами все, что о нас слышит. Но раз ты коснулся этого вопроса, я отвечу тебе по мере возможности и, может быть, при случае ты передашь это и другим. Ты думаешь, как и многие, что мы можем победоносно бороться с дьявольским нашествием, завоевывающим мир и заливающим землю преступлениями и кровью? Да, сила наша – велика, могущество значительно и в разных, отдельных случаях мы действительно боремся и побеждаем... Но мы

слишком малочисленны для генерального, решительного сражения с адом, и встретили бы очень мало поддержки со стороны масс, за спасение которых сражались бы. Три четверти рода человеческого, если не более, отдадут предпочтение аду и соблазнительным, сулимым им наслаждениям, взамен нашей суровой и строгой дисциплины, которая, однако, освободила бы их от демонов; а кроме того, они не верят в «оккультный» мир. Прибавлю еще, что наши очищенные силы требуют подчас и материальной поддержки в битвах такого рода; не говоря уже о том, что главное наше назначение ведь совершенно иное... Но об этом после. В миру люди, верящие даже в наше существование, воображают, что мы нечто вроде колдунов или волшебников, а знание наше должно непременно служить только, чтобы совершать чудеса; например: создать обильную жатву там, где был голод, вызвать дождь во время засухи, или умножить хлеб и корм для голодающих. Раз мы ничего этого не делаем, значит, по их понятиям, мы – просто лентяи, живущие сибаритами во дворцах с царской роскошью, и занимаемся только накоплением в наши сокровищницы золота, серебра и драгоценностей; словом, богатств, которых хватило бы для пополнения всех пустых карманов, или восполнения разных прожекторов, чтобы осуществить их изобретения, как бы нелепы те ни были. Вообще говоря, люди требуют, чтобы мы пускали золото в обращение, а не хранили его в сундуках.

– Ах, учитель, как справедливо ты говоришь!.. Я сам слышал, как поносили вас болваны, называя вас сидящими на золоте, «скаредами», или «эгоистами», занимающимися только науками, которые никому не приносят пользы. Но это надо им простить, потому что они не имеют никакого понятия о вас, – воскликнул Ведринский.

Горячность юного ученика рассмешила мага.

– Ты прав, сын мой, и упаси меня Бог сердиться на тех, кто несправедливо о нас судит; но видимость против нас. Правда, познания наши велики и мы наслаждаемся блаженством работы, не отравляя своего труда заботами о материальных благах; но для нашей тяжелой и отвлеченной работы нам безусловно необходим покой, гармония и красота природы, которые успокаивают мозг. Да и мало людей на свете удовольствовались бы тем, что достаточно нам. Роскошь наша – в девственной чистоте этого полотняного одеяния, горсти риса или плодов с нашего поля и сада; а наше развлечение – это минуты отдохновения, слушая пение сфер и любясь красивыми видами природы. А то знание, что мы собираем тяжким трудом, его назначение – служить со временем путеводной нитью целым поколениям человечества в лабиринте грядущих

веков. Наука и труды Гермесов, Зороастров и других светочей древности служили основанием первобытных культур, а нравственные, введенные ими законы руководили и поддерживали людей в течение тысячелетий. Но пыль долгих веков скрыла именно не одну ветвь колоссального знания первых законодателей, и на нас лежит задача снова найти эти научные тайны. Я не отрицаю, что каждое открытие в области герметизма раскрывает чудные горизонты и доставляет умственные наслаждения, с которыми не может сравниться ни одно «светское» удовольствие. Искатель истины забывает проходящее мимо время и не замечает его; но был ли бы он в состоянии спокойно предаваться своей работой, если бы всегда занимался тем, что делается в мире, для того, чтобы при посредстве своего знания облегчать страдания людей, которые *сами же* виноваты в постигающих их бедствиях. Было ли бы на свете столько горя, если бы среди людей царила честность и настоящее милосердие?!. Даже физическое здоровье, – разве оно большей частью не зависит от самого человека? Ведущий жизнь спокойную, без излишеств и пагубных животных страстей человек, который бережет свои телесные силы, долго остается молодым; *аура* его расширяется, становится все светлее и прозрачнее, и снопы чистого света духовного пропитывают и согревают его. Такой человек очень мало подвержен, хотя бы например, заразе, так как сам собой, благодаря чистоте своих излучений, представляет уже сильную дезинфекционную машину. О, если бы люди имели понятие, сколько силы и света выделяют они при благородной духовной работе! Умственный труд создает особый химический состав, соответственный представлениям, какие творит его мысль. Эта флюидическая материя поднимается спиралью и чрезвычайно быстро обвивает человека, оmyвая его, будто он стоит в центре фонтана. Но эти флюидические волны бывают теплы, ясны и живительны только в том случае, если работник выражает возвышенные и чистые мысли, творит картины, говорящие об идеале; обратно, эти волны – темны, холодны и возбуждающи, когда мысль писателя вызывает одни лишь циничные образы, или такие представления, которые дразнят низменные инстинкты и будят зверя в человеке. Вы помните, друзья мои, какую громадную роль играет, с этой точки зрения, обстановка человека, окружающее общество и его духовная пища. Даже для субъекта с наилучшими стремлениями – вдвойне тяжелее борьба в такой развращенной среде; ему приходится пересилить окружающую его химическую амальгаму, которая пристала к нему и пропитала его. Торжествуют одни лишь *сильные* натуры, обладающие соответственной энергией, которая способна создать противный ток; характеры же мягкие и

шатающиеся, сознавая инстинктив-348 но свою беспомощность в такой борьбе, окончательно теряют равновесие и гибнут; а не то, предаваясь разгулу или впадая в маразм, кончают самоубийством. Хорошо ли вы поняли меня?

– Да, учитель, я понимаю, что низменные страсти, – как вражда, зависть, алчность и разврат – создают заразную атмосферу, которая притягивает толпу слабых, увлекает их и еще более возбуждает извращенные влечения. Избранный же человек путем духовного очищения становится более способным ощущать такие зловередные, беспорядочные токи и отстраняет их, создавая противное течение, защищающее его флюидическую ауру, то есть окружающий человека астральный глобус, – чтобы не допускать проникновения заразных излучений.

– Именно, мой юный друг. Вот для того-то, чтобы дать тебе первый случай создать чистый флюид, который послужит тебе щитом, я и посылаю тебя на некоторое время в Европу.

Ясный взор молодого человека тотчас же омрачился.

– Ах, учитель! У меня нет, конечно, да и не может быть иной воли кроме твоей, но признаюсь, – это тяжкое испытание. Я так блаженствую здесь, в этой глубокой тишине, среди божественно прекрасной природы и наслаждаюсь счастьем слушать твои поучения, что не могу даже представить себе, как вернусь в это отвратительное «общество», с его пошлыми дрязгами, бессовестностью и затаенной злобой; словом, в этот вихрь мелочных и скучных условностей, или легкомысленных развлечений.

– Я рад, сын мой, что суровая работа мысли и уединение тебе дороже светской жизни с ее разнообразными удовольствиями; но на первой именно ступени своего *посвящения* ты и должен остерегаться заковывать себя в эгоизм собственного спокойствия. Я вооружаю и по сы лаю вас на защиту тех невинных, кому грозят развращенные, лукавые, а потому и опасные существа. Твой друг знает, что тот, о ком я говорю, мастер черной магии и преступно злоупотребляет приобретенным им знанием. Как ночной шакал, накидывается этот преступный дух на свои жертвы, овладевает ими и в трепещущее еще жизнью тело вводит какого-нибудь дьявольского ублюдка. Как я уже говорил, он – мастер по части *аватаров*; но пора положить конец его зловередной деятельности, извлечь из среды живых и водворить в сферу тьмы, где ему и место.

– Ты упоминал, учитель, что Красинский находится в настоящее время в Киеве под вымышленном именем; а все, что я узнал из дошедшего до меня письма, несказанно потрясло меня, – заметил видимо взволнованный адмирал. – Бедный Филипп, добрый и честный, кончил самоубийством

вследствие разорения. Это поистине непонятно. О, эти проклятые Горки! Я чувствовал, что они принесут им несчастье, – прибавил он, утирая слезу.

– Я могу, друг мой, дать тебе более свежие новости. Злополучное место, о котором ты мне говорил, возбудило мое любопытство, а один из наших братьев, находящийся теперь в миру, собрал по моей просьбе сведения и сообщил их мне. Ты помнишь, конечно, графа Бельского, влюбленного в Милу – вампирическую дочь Красинского? Теперь она замужем за бывшим женихом твоей крестницы, а Бельский пал жертвой одного из тех таинственных преступлений, которые не поддаются суду людскому. При пособничестве Милы Красинский вырвал астральное тело графа, обрезал жизненную нить несчастного юноши и, при посредстве своего дьявольского мастерства, ввел в его тело дух одного незадолго перед тем умершего сатаниста. Этот «новый» граф Бельский встретился за границей с твоей крестницей, которая понравилась ему, и он на ней женился. Бедная молодая девушка считает себя замужем за Бельским, а на самом деле она вышла за ларва.

– Но ведь это ужасно! Несчастливая Надя! Такая она чистая и невинная, а связана с этим чудовищем! – вне себя воскликнул адмирал, бледнея.

Ведринский тоже вздрогнул и покраснел от негодования.

– Надеюсь, мы спасем ее, – успокоил их Манарма. – Но прежде всего надо покончить с Красинским, который поселился в Киеве под именем графа Фаркача и собирается играть там роль кудесника Калиостро. Теперь, друзья, я дам вам необходимые наставления и снабжу всем, что может понадобиться в вашем трудном и опасном деле. Терять времени нельзя, и вы должны отправляться как можно скорее...

Едва улеглась сенсация, вызванная приездом в Киев графа Фаркача, как новый предмет для сплетен занял досужие языки и праздное любопытство городских кумушек, одинаково болтливых, завистливых, нескромных и злых, как в «большом», так и в «малом» свете. Этим предметом любопытства явился приезд графа Бельского с молодой женой, поселившихся в своем роскошном доме, и все с нетерпением ожидали их визита.

В первый раз увидели молодую графиню у ее приятельницы, Ростовской. Надя была еще очаровательнее, чем раньше, но холодна и сдержанна с бывшими знакомыми. Холодность эта не остановила, однако, бесцеремонных людей, отвернувшихся прежде от разорившихся Замятиных, чтобы выказать теперь самое горячее внимание молодой миллионерше и нарасхват приглашать ее к себе.

Итак, молодая чета сделала визиты и открыла двери своих салонов, где появился и граф Фаркач, в качестве друга хозяина дома.

Мила, бывшая в интересном положении, не могла появляться в свете и принимала только у себя; однако на небольшом собрании у одной родственницы мужа она встретила графа Фаркача, и тот поспешил сделать ей визит. Мила очень обрадовалась снова увидеть отца и сознавать себя под его защитой. Вдали от него она считала себя без опоры и иногда глубоко несчастной, так как отношения с мужем были совсем не таковы, о каких мечтала она; ее мучило и приводило в ярость сознание, что она зачастую внушала ему страх и отвращение.

Действительно, душевное настроение Михаила Дмитриевича было плачевное; он чувствовал себя несчастным со своей «страшной» супругой, внушавшей ему нередко положительный ужас своими странностями, которых он не мог себе объяснить; а проявлявшееся у него иногда к ней отвращение еще усилилось после встречи с Надей.

На одном вечере, где Масалитинов не мог не присутствовать, он увидел графиню и должен был подойти к ней. Бледный, как призрак, низко кланялся он ей; когда же взгляд Нади скользнул по нему с холодным равнодушием, по его телу пробежала нервная дрожь. В самом деле, Надя думала, что встреча с некогда любимым ею человеком будет для нее тяжелее и в первую минуту с удовольствием заметила, что он очень изменился, казался унылым и больным. Это был не прежний лихой Масалитинов – живой, веселый, дышавший здоровьем и жизнерадостный; теперь это был бледный, молчаливый человек с усталым и мрачным взглядом. «Он несчастлив», – подумала она и в ее добром, любящем сердце ненависть сменилась жалостью. Скоро же Немезида постигла изменника. Бог судил и наказал его...

Несколько дней после этого Масалитинов довольно поздно возвратился от товарища. Мила лежала в постели после обычной ванны, но не спала. Она была бела, как ее батистовая сорочка, а ее большие зеленоватые глаза сверкали фосфорически, как у кошки. Пожирающим взглядом уставилась она на мужа.

Увидав, что жена проснулась, Михаил Дмитриевич нагнулся поцеловать ее; но в ту же минуту она, обвила его шею, притянула к себе и, как магнит, прилипла своими губами к его. Этот поцелуй был так порывист, что он зашатался; у него сделалось головокружение и жутко забило сердце. Ему не хватало воздуха, и он чувствовал, что продлится такое состояние еще минуту, он упадет и умрет. Решительно собрал он все силы, чтобы вырваться из цепких рук, змеей обвивших его шею, но Мила одарена

была в ту минуту сверхъестественной силой, и уста ее срослись с устами Масалитинова.

Завязалась безмолвная, но отчаянная борьба. Он, как безумный, отбивался, стараясь оттолкнуть Милу, обвиняющую его шею; а та, несмотря на свою хрупкость и прозрачность, была точно стальная. У него мутилась и голова, в ушах шумело, а перед глазами завертелись огненные круги.

«Господи Иисусе, спаси меня!» – молнией пронеслось в его умиравшем сознании, и последним, нечеловеческим усилием он рванулся назад.

Руки Милы стремительно разошлись, а Масалитинов, словно пьяный, упал на ковер.

Минуту спустя он с трудом поднялся; но, сделав, шатаясь, два шага, почувствовал снова головокружение и опустился на кресло в ногах постели. С усилием протянул он руку и нажал электрическую кнопку, имевшую сообщение с комнатой Екатерины Александровны.

Через несколько минут г-жа Морель вошла в халате, удивленная и встревоженная. Увидав лежавшего в кресле с закрытыми глазами Масалитинова, задыхавшегося и с прижатыми к груди руками, она побледнела и проворно подошла. Одного взгляда, брошенного на Милу, замертво лежавшую с посиневшими губами, скрюченными пальцами и почерневшими ногтями было достаточно, чтобы понять происшедшее. Она хорошо помнила, что в детстве у Милы бывали такие «странные» припадки; тогда она бросалась то на нее, то на няnek или гувернанток, присасываясь точно пиявка к своей жертве; когда же наконец ее отрывали, у нее делался обморок и в продолжении целых часов она, вся посинев, лежала без чувств.

Поспешно схватила Екатерина Александровна с ночного столика стакан вина, приподняла голову Масалитинова, стучавшего зубами, как в лихорадке, и дала выпить, а затем смочила полотенце и вытерла его побелевшее лицо. Через несколько минут тот пришел в себя и встал, но был слаб, как после болезни, хотя и в полном сознании.

Растерянным взглядом и с отвращением взглянул он на жену, а потом, повернувшись к г-же Морель, покрывавшей Милу, спросил хрипло:

– Кажется, Екатерина Александровна, что вы как будто несколько не удивлены невероятным, только что происшедшим случаем? Разве у Милы часто бывают такие припадки... безумия?

– Да. В детстве у нее действительно бывали подобные припадки, но так как несколько лет они не возобновлялись, то я считала ее совершенно выздоровевшей. Со времени вашей женитьбы это первый случай?

– Слава Богу, первый, – коротко ответил Мишель.

– Бедная! – вздохнула г-жа Морель. – Теперь в продолжение двух или трех дней она не будет никого узнавать, и я должна буду давать ей нужные лекарства. Попрошу вас, Михаил Дмитриевич, оставить меня с ней наедине.

– С удовольствием, – ответил тот тоном, который не особенно польстил бы его супруге, и Екатерина Александровна насупила брови.

Шатаясь, в холодном поту, прошел он в кабинет, позвонил слуге и приказал немедленно подать свежих яиц, холодного мяса, молока и шампанского. Затем он зажег все электрические лампы и, несмотря на холод, открыл окно. Ему неудержимо хотелось воздуха и света. Выпив и закусив, Масалитинов отпустил лакея, затворившего окно, а затем он улегся на диване и задумался. Мила в эту минуту внушала ему отвращение, граничащее с ненавистью.

«Восхитительная особа – моя милая супруга! Бретонский пастух, очевидно, имел-таки основание назвать ее *чертовым ублюдком*. Адмирал также был прав, оказывается; а я, полоумный, чванился своим «скептицизмом» и пропускал мимо ушей рассказы Нади о таинственной истории смерти Тураева, Красинского и Маруси... Только не желаю я больше общей спальни с этой «дьяволицей». А вдруг она вздумает, пока я сплю, броситься на меня, как сегодня? Благодарю за такую смерть! Надо выдумать какой-нибудь предлог, чтобы убраться. Скажу, что доктор предписал ей теперь безусловный покой; а так как я встаю рано, чтобы идти на службу, то боюсь будить ее».

Приключение это глубоко взволновало Масалитинова, и после этого дня каждый раз, когда он заходил навестить лежавшую в постели жену, у него появлялась нервная дрожь. Когда же Мила встала через несколько дней, бледная и мрачная, то сама предложила мужу устроить ему спальню в соседней с его кабинетом свободной комнате, до ее выздоровления, но удовольствие мужа было так явно, что Мила закусила губы. Он вышел, обрадованный, из комнаты и не видел мрачного взгляда, брошенного ему вдогонку.

Вообще Масалитинов чувствовал себя несчастным и находился в угнетенном состоянии. Как устроится его жизнь с этим странным и опасным существом? Мрачное предчувствие подсказывало ему, что супружеская жизнь его будет непродолжительна и, что даже лично ему грозит опасность. Г-жу Морель он искренно благодарил за материнские заботы о Миле: это избавляло его от многих затруднений, и потому он был чрезвычайно любезен и предупредителен с ней.

Граф Фаркач был частым гостем у Масалитиновых. Так как Мила любила, видимо, его общество, а его всегда занимательный разговор развлекал и оживлял молодую женщину, то Михаил Дмитриевич хорошо принимал графа, хотя в душе ему не симпатизировал.

Однажды, когда хозяин дома был на службе, а г-жа Морель отправилась за покупками, явился Фаркач. Мила приняла его в будуаре и приказала подать чай. Но как только слуга вышел, молодая женщина нагнулась к графу и сказала по-итальянски, со слезами в голосе:

– Папа, помоги мне! Я так несчастна, Мишель боится меня; в последнее время я внушаю ему ужас. Не знаю, что со мною иногда происходит, но мне точно не хватает жизненности, и тогда я делаюсь безумной.

Она наскоро передала про случаи с тремя детьми и горничной и наконец про нападение на мужа, который с тех пор с трудом скрывал страх и отвращение.

Красинский облокотился и задумался. Несмотря на все свое знание, он не мог изменить природу Милы, – существа ларвического и вампирического, – которому требовалось жизненной силы вдвое более против обыкновенного человека, а инстинктов ее было не потушить. Кроме этих, вызванных самой природой причин, в жизни Милы бывали темные, загадочные случаи, неизвестные никому кроме Красинского и высших «посвященных» сатанистов.

В клятве, произнесенной Милой во время присоединения ее к сатанистам, сделан был намек на отношение человека к существам вампирическим, которых древняя демонология наименовала «инкубами» и «суккубами». Красинский поощрял такое слияние невидимого с живым, и Мила, скрепя сердце, терпела это пока; теперь же она вдруг порывисто нагнулась к отцу, схватила его руку и, судорожно сжимая ее, прошептала:

– Избавь меня от него и запрети ему являться. Я ненавижу его. Он высасывает мою жизненность, а я должна брать ее потом у других.

Красинский ответил ей на пожатие.

– Не волнуйся, Мила. Я дам тебе лекарства, которые возместят утраченные силы, и Мишель не будет бояться тебя. Пей также исправно траву, которую я прислал тебе в последний раз, и все будет хорошо. Я приехал сказать, что скоро ты будешь матерью. Ребенок, – мальчик, – родится раньше срока; но умоляю тебя быть спокойной, а от себя обещаю сделать все для того, чтобы упрочить твоё счастье.

– Ах, мое счастье! – вздохнула Мила. – Оно очень сомнительно... Надя – здесь, красивая, богатая, любимая, и я убеждена, что Мишель не забыл ее.

– Не бойся соперничества Нади; обещаю тебе сделать ее безопасной, – ответил Красинский с двусмысленной улыбкой. – Я думаю, госпожа Морель уже вернулась, а ты знаешь, как она меня ненавидит, – прибавила он, смеясь, на прощанье.

Действительно, единственная особа, не скрывавшая свою антипатию к Фаркачу, от которого с ума сходили городские дамы, была Екатерина Александровна.

– Он, как две капли воды, похож на мерзкого Тураева, который был причиной смерти моего бедного Казимира, а потом сделал несчастной милую Марусю и исчез после какого-нибудь злодеяния, клянусь, – говаривала она смеявшейся, как сумасшедшая, Миле.

Впрочем, г-жа Морель одна была такого мнения, а все городское общество находило графа Фаркача обаятельным. Интерес к нему усиливался с каждым днем с тех пор, как узнали, что он – не только любезный кавалер, но и сильнейший магнетизер, совершавший чудесные исцеления, а кроме того оккультист и «маг», способный вызвать необыкновенные явления. Так, например, чтобы утешить одну бедную даму, сын которой окончил жизнь самоубийством, он вызвал дух молодого человека в присутствии матери и нескольких посторонних лиц, причем тот дал несомненные доказательства своей самоличности. После этого случая графа стали осаждать просьбами устроить сеансы; он согласился с единственным условием, чтобы собрания происходили иногда у него, что и было принято, разумеется, с восторгом.

Второй сеанс состоялся уже в доме графа и был очень удачен. Невидимые руки играли на флейте и фортепиано; в закрытом ящике появлялись письменные сообщения; по комнате летала, чирикающая, птичка, а из яйца, которое граф четверть часа держал в руках, с писком вылупился восхитительный цыпленочек. В довершение же всего, на присутствовавших посыпались цветы в таком изобилии, что каждый унес на память по букету. Все разошлись совершенно очарованные и общее увлечение в городе еще более возросло. Всем хотелось присутствовать на сеансах, но, ввиду большого наплыва, трудно было получить приглашение.

Однажды граф сообщил самым пламенным своим почитателям, что мог бы и желал показать им еще более интересные и сложные опыты магии, но что это возможно только в более ограниченном кругу. Он предложил составить общество, которое собралось бы только у него, и участников он уже сам выберет, так как всего нельзя показывать толпе. Мысль эта очень понравилась избранникам, и список членов немедленно составили. Избранными оказались преимущественно самые молоденькие,

хорошенькие женщины и блестящие кавалеры; но, чтобы не обидеть людей «солидных», также горевших желанием быть принятыми, Фаркач включил в список несколько жаждавших приключений пожилых, записных кокеток, с бурным прошлым, и подходящих к ним старичков, тоже заведомо сомнительной нравственности.

Когда этот «избранный» интимный кружок собрался в первый раз, то зал сеансов оказался обставленным особым образом. На столе, окруженном стульями, стояла большая резная шкатулка, а неподалеку, около большого начертанного мелом круга, находились треножники с травами и что-то вроде пьедестала. На графе был черный плащ, поверх такого же трико, а на шее на цепочке висел магический жезл. После того как все разместились, огни потухли, и в ту же минуту на одном из треножников появилось слабо озарившее залу красное пламя. Граф произнес заклинания и вызвал целый ряд интересных явлений. С потолка стали падать восточные шарфы и драгоценные безделушки, а потом появились миражи. Стены комнаты исчезли как будто, и на их месте рисовались до того жизненные картины, что даже слышалось словно журчание фонтанов во дворе индусского дворца, или шелест листьев девственного тропического леса.

С каждым новым сеансом усиливался восторг зрителей, и однажды за ужином, после собрания, Фаркач спросил смеясь, не желают ли его друзья собственными глазами видеть пир Нерона, так как он умеет вызывать сцены прошлого, но просит тех, кто боится, заявить теперь же, потому что он не желает им причинять опасное, может быть, волнение. Ни одного «труса» не нашлось, и на следующий сеанс был назначен пир у Нерона.

В назначенный день зала опять приняла иной вид; кресла стояли не кругом, а тремя рядами, а позади них и по сторонам были треножники. Едва погасли огни, как откуда-то послышалась странная музыка, точно играли арфы и флейты, а стоявший впереди приглашенных Фаркач тоже заиграл на флейте и вертелся на месте с все возрастающей быстротой. Тем временем залу наполнял темно-фиолетовый свет, и в воздухе пронесся одуряющий аромат. Потом появились облака густого и испещренного искрами пара; аромат же стал так силен, что вызвал у присутствовавших головокружение. Постепенно усиливалась и жара; по зале носились такие бурные порывы ветра, что гости цеплялись за кресла, чтобы не упасть, и в то же время им казалось, что их задушит эта жгучая атмосфера. Все кружилось перед ними, и наконец мужчины и женщины, словно обезумев, стали срывать платья, чтобы не задохнуться. В эту минуту раздался один, а затем второй и третий удар грома; густой туман, свинцовой тучей наполнявший комнату, рассеялся, фиолетовый свет сменился красным, и

перед глазами присутствовавших развернулась поразительная картина.

В нескольких шагах от них появилась обширная, белого мрамора терраса с колоннами; всюду белели статуи, гирлянды цветов украшали фронтоны и балюстрады; широкая лестница, ступеней в двадцать, вела в сад, и там на большой лужайке возвышались высокие столбы, а на них, облитые смолой горели живые люди, – мужчины и женщины – ужасные «христианские факелы» Нерона. Через три огромные, открытые и задрапированные красным арки виднелась обширная зала, приготовленная для пира, а у входа, внизу лестницы, застыли как истуканы преторианцы. На террасе теснилась разряженная толпа с розовыми венками на головах; а впереди, опершись на балюстраду, стояла характерная фигура Нерона...

Была роскошная итальянская ночь; на темной лазури неба ярко сверкали миллионы звезд, из сада несло одурявшее благоухание роз и других цветов, а громкая музыка, вместе с пением, заглушала стоны нечеловеческих мук, которые, несмотря на шум, слышались в воздухе. Стоны эти были особенно ужасны по своему контрасту с дивным спокойствием природы. И вдруг чародей, вызвавший эту волшебную картину, опустил флейту, на которой продолжал играть и, схватив за руку ближайшую к нему даму, сказал, улыбаясь:

– Пойдемте, примем участие в пире, на который нас приглашает цезарь Нерон.

С недоумением увидели присутствовавшие, что вместо плаща на Фаркаче была тога и на голове венок из роз, а гости также превратились в римлян. Под звуки все сильнее гремевшей музыки общество перешло на террасу, а потом, в свите Нерона, – в зал пиршества, волшебным образом иллюминированный и наполненный одуряющими ароматами. Все заняли места за столами и озабоченно сновавшее всюду невольники прислуживали им, а полунагие танцовщицы исполняли сладострастные танцы.

Никогда оргия не представлялась с такой реальностью, как в этой вызванной искусственным чародеем адской фантазмагии. Такого сладострастия и прямо дьявольского опьянения никто из гостей Фаркача, конечно, не испытывал еще в жизни. Эти «римляне» и «римлянки», с вкрадчивыми кошачьими движениями, фосфорически горевшими глазами и кроваво-красными устами олицетворяли, казалось, самый бешеный разврат.

Было часа два ночи, когда вдруг, Бог весть откуда, донеслось троекратное пение петуха. Музыка вдруг резко оборвалась, со всех сторон появились густые облака не то пара, не то тумана, и все погрузилось во мрак. Порыв ледяного ветра пронесся по зале и настала минута глубокого затишья среди полной темноты. Потом вдруг вспыхнули электрические

лампы, а любезный голос хозяина объявил, что сеанс кончен и ужин ожидает их.

– Признайтесь, дорогие гости, что вы очень испугались вызванного миража; я вижу это по вашим растерянными лицам. А между тем я оживил перед вами лишь отблеск прошлого, – прибавил он, смеясь.

Изумленные гости вопросительно переглядывались, торопливо оправляя туалеты и растрепанные прически. Каждый спрашивал себя в душе: был ли то мираж или действительность? Одно было несомненно, – все пережили сильные ощущения, что доказывали блуждавшие, горевшие взоры и лихорадочное потрясение всей нервной системы.

Почти машинально пошли гости за графом в столовую, где их ожидал обильный ужин, на который они накинулись с необычайной жадностью. Все единогласно высказались, что вечер великолепен; но о своих личных впечатлениях никто не распространился, настолько удивительны и странны они были, даже для любителей сильных ощущений. Никто не обратил внимания на презрительную усмешку Фаркача; он-то знал, что кто вкусил сладострастия сатанинской любви, для тех земных наслаждений уже будет мало...

Любопытным же «избранники» рассказывали впоследствии, что сеанс был бесподобный, просто сказочный, и что граф вызвал из пучины прошлого Нерона... Мысль этих легкомысленных людей была поражена. Не понимая ничего в оккультных махинациях преступного колдуна, они не отдавали себе отчета, что в них пробудили все, дремавшие в глубине их существа, инстинкты животного, разожгли их ядовитыми ароматами и соотношениями с нечистыми тварями потустороннего мира. Все жаждали попасть на новый, обещанный в скором времени сеанс, а Бельскому было приказано привезти Надю на одно из собраний. Красинский-Фаркач решил утолить наконец свою нечистую страсть и завлечь в их дьявольский круг чистую женщину, которую до сих пор, казалось, какая-то невидимая сила охраняла от пагубного влияния обоих сатанистов.

Душевное состояние Нади было довольно странное. Она вовсе не считала себя несчастной, ибо муж был к ней добр и казался страстно влюбленным; но потому-то именно она и не могла объяснить себе странностей его поведения. В первое время неисторченность и полная наивность ограждали ее от подозрений; но она была *женщина* и поняла, наконец, что жизнь ее неестественна, хотя в глубине души Надя радовалась этому, потому что не любила Бельского и даже, – не зная почему, – боялась его; но она была слишком умна для того, чтобы не искать причин такого положения. Она начала наблюдать и тогда заметила разного рода

непонятные странности.

Прежде всего Надя убедилась, что Бельский ночью входил в спальню точно автомат; он подходил и пристально смотрел на нее с минуту растерянным взглядом, а затем ложился и чаще всего немедленно засыпал до самого утра глубоким сном. Еще более необыкновенным было то, что Надя заметила посещение мужа какой-то женщиной, причем она ясно видела ее силуэт; но откуда та появлялась и куда исчезала – разум ее отказывался понимать; одинаково не понимала она и бесстыдства Адама – изменять чуть не на ее глазах. Между тем ни за что на свете не решилась бы она задать ему вопрос, тем более, что у графа был такой невинный вид, как будто тот и не подозревал чего-либо оскорбительного в своем поведении. Впрочем, Надя и не обижалась вовсе, даже напротив – ее озабочивали иные, не менее непонятные факты.

Так, она потеряла свой крестильный крест, а затем и два других, заменивших первый; из их спальни Адам удалил все иконы, под предлогом, что он совершенно неверующий; ей же он не мешал ходить в церковь в его отсутствие, что случалось часто, так как граф уезжал то в одно, то в другое свое поместье. Но один случай особенно напугал Надю.

Она только что разговаривала с мужем в его кабинете и вдруг, проходя затем галереей, ведущей в зимний сад, увидела графа, бежавшего в одной сорочке, с блуждающим взором и с вытянутыми вперед руками, будто он искал что-нибудь.

– Адам, что с тобой? Куда ты бежишь?! – в испуге крикнула она.

Не отвечая ей, как вихрь, пронесся он мимо, словно его гнал ледяной порыв ветра; когда же она поспешно вернулась затем в кабинет, то увидела графа спокойно читавшим за письменным столом. Он заметил ее испуганный вид, а когда по его просьбе Надя рассказала ему виденное, он расхохотался и сказал, что она грезит наяву. Но в голове Нади крепло убеждение, что совершенно как в Горках вокруг нее происходит что-то необыкновенное. Однако великодушие мужа относительно ее родных, счастье видеть, что силы и здоровье матери восстанавливаются с каждым днем, внушали ей такую глубокую признательность, что она прощала графу все остальное. Она потеряла страстно любимого человека и не надеялась более на счастье, а если жизнь ее останется такою же и дальше, то переносить ее можно.

Несмотря на то, что граф Фаркач был близким другом мужа и частым их гостем, Наде он был невыразимо противен, а когда он пригласил тоже и ее на сеанс, она наотрез отказалась, отговорившись боязнью всего «сверхъестественного». Бельский пробовал уговорить ее; но ввиду ее

нерасположения уступил. Надя же, со своей стороны заметив, что мужу неприятен ее отказ, попросила дать ей прочесть что-нибудь по оккультизму, чтобы разобраться немного в этом вопросе до участия в сеансах. Фаркач сам привез ей книг, и сочинения эти очень заинтересовали Надю, а «чудеса», про которые толковали в городе, возбудили наконец ее любопытство, и она уступила настояниям Адама, убеждавшего ее не обижать без всякого повода его друга. И Надя, скрепя сердце, согласилась присутствовать на предстоявшем вскоре сеансе.

IV

Месяца за два перед тем в семье Масалитиновых произошло счастливое событие: Мила благополучно разрешилась сыном и поправилась скорее, нежели можно было ожидать. Михаил Дмитриевич обожал детей и был на вершине блаженства, когда ему подали столь нетерпеливо ожидавшегося ребенка, тем более, что тот казался сначала здоровым, несмотря на появление на свет раньше срока. Но, странная вещь, это чувство блаженства и любви почти тотчас же сменилось другим странным чувством, похожим на отвращение и суеверный страх.

Ребенок родился ночью и, в первую минуту волнения, маленький, закутанный в кружева, на голубой шелковой подушке новорожденный не произвел на отца какого-нибудь особенного впечатления. Утром же, когда Масалитинов нагнулся над колыбелью, в лицо ему пахло холодным и затхлым, словно подвальным воздухом, а на него пристально глядели большие черные, любопытные и пронизательные глаза сознательного существа, со взглядом далеко не похожим на новорожденного; Масалитинов инстинктивно откинул голову, а на устах младенца скользнула насмешливая улыбка. Когда же, часа через два, священник прочел над младенцем молитву и дал ему имя Владимира, то с тем сделались конвульсии и пришлось пригласить доктора. Мрачный, с тяжестью на сердце, ушел Михаил Дмитриевич в свой кабинет и вновь почувствовал, что стоял перед какой-то тайной, и что ребенок Милы – загадочен, подобно матери.

В последующие недели не прекращались разные неприятные происшествия. Началось с кормилиц, которых пришлось переменить три в две недели. У первой через несколько дней пропало молоко, у второй сделались эпилептические припадки, а третья умерла от разрыва сердца. Екатерина Александровна, отдавшаяся уходу за молодой матерью и ребенком, была в отчаянии. Четвертая кормилица выдержала дольше, но и у той сделалась какая-то изнурительная болезнь, молоко пропало и она пожелала немедленно оставить дом. Екатерина Александровна решила взять няньку и кормить ребенка козьим молоком.

Утром, за завтраком, когда она с горем излагала свой план, слушавший ее, насупив брови, Масалитинов заметил насмешливо:

– Правда, Володя приносит несчастье своим кормилицам. А не находите ли вы полезным, любезная тетюшка, пригласить того славного

бретонского пастуха, который однажды преподавал вам такие прекрасные советы относительно Милы? Может быть, он и объяснит нам эти «странные» факты?

Екатерина Александровна сильно покраснела.

– Господи, прости! Кажется вы, Мишель, хотите сказать мне, что ваш сын тоже «дьявольский ублюдок», и вообще я замечаю, что вы чрезвычайно равнодушный отец. Что имеете вы против этого маленького создания? Ведь он ваш ребенок.

Масалитинов встал и, убедившись что они совершенно одни, подошел к ней и сказал слегка дрожавшим голосом:

– Не знаю, действительно ли вы ничего не видите, я же замечаю, что перед нами, профанами, происходят зловещие и непонятные явления. Я был полным «скептиком»; а теперь назовите меня сумасшедшим, если хотите, но я не могу отрицать очевидное и не признавать, что в этом ребенке скрывается что-то недоступное моему пониманию. Разве вы никогда не замечали, каким взглядом смотрит он на вас?

Екатерина Александровна смущенно опустила глаза.

– Это только вам кажется; он просто нервный ребенок.

– Ах, не говорите мне того, чему сами не верите! – воскликнул раздраженно Масалитинов. – А теперь послушайте, что случилось со мной третьего дня. Я вернулся поздно с вечера от Максаковых и, прежде чем лечь в постель, хотел взглянуть на ребенка. Няня спала крепко и не слышала, как я вошел. Я нагнулся над колыбелью и увидел, что ребенок весь посинел, а глаза точно стеклянные и рот несоразмерно раскрыт. Очень испугавшись, я поспешил разбудить няньку и тут увидел, что она казалась больной, глухо стонала и точно задыхалась. Но каков был мой ужас, когда при свете ночника я увидел прицепившееся к ее груди что-то в роде летучей мыши; прозрачные, как газ, черновато-серые крылья ее трепетали, волновались словно два веера, а на месте головы сверкало как будто красное и точно дымное пламя. Смущенный этим явлением, я стал звать ее и тряс за руку; в эту минуту около меня прошло, задев, однако, мою щеку и ухо, что-то теплое, слизистое, схожее с куском ваты на ощущение, и почти мгновенно ребенок захрипел, а потом завопил, точно его резали. Няня проснулась, а меня охватил такой панический ужас, что я поскорее ушел.

По лицу г-жи Морель видно было, что она не так недоверчива, как старалась казаться, и тоже что-то поняла.

– Если будет так продолжаться, я сбегу отсюда, предупреждаю вас; я не могу жить в этой чертовой путанице.

– Вы больны и нервны, Мишель; у вас галлюцинации, и вам надо

лечиться, мой друг. Слава Богу, теперь конец февраля, а недели через три Мила окончательно оправится и мы решили с ней ехать в Горки до осени. Воздух там великолепный и будет одинаково полезен как матери, так и ребенку; а вы приедете к нам после лечения, которое укрепит ваши нервы.

Масалитинов ничего не ответил, но перспектива отъезда милой супруги ему доставила истинное наслаждение.

Совершенно оправившись, Мила изъявила желание отправиться на большой вечер к Фаркачу, и Михаил Дмитриевич, против воли, согласился; сам он до тех пор избегал участвовать в сеансах, и на приглашения графа, смеясь, отвечал, что будучи совершенно неверующим, он боится быть дурно принятым в его загробном обществе.

Накануне знаменитого бала Масалитинов навестил своего товарища, молодого офицера, весельчака и кутилу; тот был постоянным посетителем сеансов графа Фаркача, но после Нероновой оргии, видимо, отдалился.

– Ты едешь завтра с женой к графу? – спросил он в разговоре.

– Да. Скажи-ка мне откровенно, что ты думаешь о нем и почему перестал у него бывать? – тоже вопросом ответил Масалитинов.

– Если ты поклянешься сохранить тайну, то я скажу тебе, что у этого человека творятся необыкновенные и поистине дьявольские дела.

И он передал о «сверхъестественных» явлениях у Фаркача такие подробности, которые совершенно смутили Масалитинова и привели к убеждению, что граф – подозрительный и опасный субъект.

– Будь настороже и береги жену, – предостерег приятель.

– Благодарю. Теперь я буду смотреть в оба, – ответил Масалитинов, пожимая его руку.

Вернувшись домой, он долго обдумывал как поступить, и вдруг вспомнил, что дядя его отца был более сорока лет монахом на Афоне и, во время одной опасной болезни матери Михаила Дмитриевича, тогда только что вышедшей замуж, прислал ей маленький кипарисовый крестик с частицей мощей. После выздоровления Масалитинова всегда носила этот крест, приписывая ему чудотворную силу. Будучи неверующим, Михаил Дмитриевич сохранял его просто как память о горячо любимой матери; теперь же, вспомнив перед балом об этой семейной реликвии, он достал ее из шкатулки, где она хранилась.

Это был большой золотой медальон с стеклянной крышкой; внутри виднелся маленький деревянный крестик с ликом святого, а под ним находилась частица мощей. Масалитинов надел на шею золотую цепочку с ладанкой.

Роскошная квартира графа Фаркача была блестяще освещена, и в залах

теснилось нарядное и многочисленное обыкновенного общества. Так как после сеанса предстояли танцы, то дамы были одеты по-бальному, соперничая туалетами и драгоценностями. Ведь любезный хозяин был холост, и на такого красивого, богатого и ученого кавалера стоило вести атаку. Особенно кокетничали две молоденькие, хорошенькие и весьма предприимчивые вдовушки; но как ни был любезен с дамами Фаркач, он не отдавал предпочтения ни одной. Царицами бала, по красоте и роскоши туалета, бесспорно оказались Мила и Надя.

Первая была в зеленом, затканном серебром платье, с чудными кружевами, в уборе из изумрудов и розового жемчуга громадной цены. Надя – вся в белом, и платье ее из старых английских кружев было восхитительно; убор из жемчуга и бриллиантов представлял целое состояние; единственная роза в черных волосах около широкой диадемы оживляла белоснежный туалет.

Они обменялись холодными поклонами, и Надя презрительно взглянула на бледное лицо Милы, а та с злобной завистью оглядела ослепительный цвет лица и юношескую свежесть молодой графини.

Сеанс был чрезвычайно интересен, но без всякого подобия Нероновой оргии. Появлялись цветы и разные безделушки, были и видения прошлого, представлявшие торг женщинами в Вавилоне, средневековый турнир, казнь Марии-Антуанеты и некоторые другие картины, восхитившие зрителей.

В заключение в темной зале вспыхнули разноцветными огнями треножники и ваза, в которой горел фиолетовый огонь, превратившийся в густой дым, поползший по полу вроде гигантской змеи; затем снова наступил полный мрак.

Сердце Нади пугливо забило, и она пыталась проникнуть взором сквозь окружавшую ее тьму. Слышались какая-то странная, нескладная музыка, глухой ропот и резкий голос Фаркача, отрывисто и повелительно произносившего торопливо формулы на непонятном языке. Наде показалось также, будто появлялись откуда-то черные тени и так же быстро исчезали. Минуту спустя Фаркач умолк, и лампы опять зажглись.

Когда все вошли в большую залу, примыкавшую к зимнему саду, то с удивлением увидели, что оттуда вошла группа человек в двенадцать дам и мужчин. Увидав прибывших, Фаркач встретил их радостными восклицаниями; он дружески поздоровался, представил их своим гостям и пояснил, что это – французы, его друзья из Парижа, которые путешествуют ради удовольствия по России, и заехали в Киев повидаться с ним. Узнав, что у него гости, они явились без предупреждения, чтобы сделать ему сюрприз. Нежданные гости принадлежали, по-видимому, к лучшему

обществу и были очень элегантно одеты; только особая бледность лиц и жгучий блеск неопределенного цвета глаз несколько отличали их от прочих гостей. Бельский тоже, вероятно, был знаком с вновь прибывшими; он целовал руки у дам, и обменивался рукопожатиями с мужчинами, а потом представил их своей жене.

Тотчас начались танцы, и все очень оживилось. Масалитинов не танцевал, а сел в глубокой амбразуре окна и наблюдал за Надей. Она казалась исключительно красивой и обаятельной.

Случайно взор его упал на Милу, сидевшую неподалеку от него, и он с удивлением заметил, что когда один из странных кавалеров подошел и пригласил ее танцевать, она вздрогнула, побледнела и инстинктивно подалась назад; но все-таки через минуту встала и, вальсируя, затем потерялась в толпе. Ни тени ревности не было в его сердце; ему не пришла мысль пойти за женой и освободить от видимо неприятного ей кавалера; все внимание его было обращено на Надю, окруженную толпой поклонников.

Он видел, как подошел к ней Фаркач и пригласил ее. Побуждаемый каким-то необъяснимым чувством, Масалитинов вышел из своей засады и следил за ней глазами. На минуту он потерял их из вида в толпе танцующих, а потом увидел, что Надя исчезла со своим кавалером в зимнем саду. Непонятно почему, но у него внезапно явилась мысль, что этот странный и ужасный человек представляет опасность для Нади, и его обязанность охранить ее. Поэтому он торопливо стал пробираться между гостями; но теперь в танцах было что-то безумное и в самом воздухе висело нечто тяжелое и действовавшее на нервы.

Стремясь пройти поскорее в зимний сад, Масалитинов увидел по дороге Бельского, соседней дверью проходившего с некоторыми господами в буфетную залу.

Зимний сад был огромный, и для устройства его соединили в одну несколько зал; тут находилась всевозможная тропическая зелень, а скрытые в ней электрические лампы распространяли таинственный полусвет; посредине в большом бассейне бил фонтан, а по обе стороны между кустов стояли беседки с бархатными скамьями. Сад заканчивался глубоким гротом, слабо освещенным фиолетовой лампой.

Масалитинов остановился в нерешительности. Нади он не видел; но вдруг заметил Милу, и та казалась озабоченной и погруженной в свои мысли. Она меня ищет, подумал Мишель и быстро скрылся за огромным папоротником. Но каково было его удивление, когда он увидел, что за женой бежит Бельский в расстегнутом мундире, с дико блуждавшими

глазами, вытянутыми вперед руками и невыразимым, бешеным отчаянием на лице, а Мила словно не замечала его.

Но ему некогда было долго раздумывать над этим странным явлением, потому что в ту минуту он услышал отдаленный звук флейты, и на него произвела щемящее впечатление донесшаяся дикая, монотонная и неблагозвучная мелодия. Кто это мог играть? Осторожно шмыгнул он за кусты и увидел в глубине грота Фаркача. Он играл, а в нескольких шагах от входа стояла Надя, мертвенно бледная, с остановившимся, угасшим взором. Она казалось была в каталептическом состоянии и двигалась медленно, пока не вошла в грот, направляясь прямо к графу, который перестал играть, засунул флейту в карман и, охватив руками молодую женщину, прижал ее к себе. Масалитинов мгновенно сорвал с груди своей крест и поднял его, пристально смотря на Фаркача; а тот хрипло вскрикнул и руки его упали. С искривленным лицом и пеной у рта, он дико пробормотал:

– Что это? Что это? Несчастливая, откуда у тебя этот проклятый символ? Брось его, или я тебя задушу...

Но в эту минуту он увидел Михаила Дмитриевича, который бросился к Наде с поднятым крестом. В страшном бешенстве Фаркач исчез, как тень, между растениями, а Надя продолжала стоять подобно статуе.

– Придите в себя, вы спасены, – прошептал Масалитинов, прикасаясь ко лбу Нади крестом, силу которого только что узнал.

Та вздрогнула, глаза взглянули теперь сознательно, и она дрожащей рукой отерла лицо.

– Я не спала, но была точно парализована, утратив всякую силу сопротивления. Но по какому случаю пришли вы спасать меня, Михаил Дмитриевич? Вы знали, верили, что этот страшный человек – колдун?

– Да, Надежда Филипповна, знал, потому что я – уже не прежний скептик; я увидел и понял многое, что совершенно разбило мое неверие. И позвольте мне еще одно сказать вам. Я сознаю, что вы – правы, презирая меня, но не осуждайте бесповоротно! Ужасная фатальность вмешалась в нашу судьбу и разлучила нас; нечто страшное, губительное, непонятное творится вокруг нас и, если можете, простите меня за грех мой перед вами. Я тяжко наказан! Я – несчастнейший из людей, и непоколебимое предчувствие подсказывает мне, что вскоре я погибну ужасной смертью. Тогда помолитесь за меня и не бывайте никогда даже близко к Горкам, этому «сатанинскому гнезду», откуда несчастье и стало преследовать нас.

Он схватил и нервно сжимал ее руку, а Надя подняла глаза. Увидав отчаяние на его лице и блиставшие на глазах слезы, она почувствовала глубокое сожаление к любимому ранее человеку, и ненависть ее растаяла.

– Я буду молить Бога вернуть вам спокойствие и спасти вас от всего дурного, – тихим голосом проговорила она.

Вдруг раздались раздирающие душу крики, и оба они, перепуганные, бросились из грота, но тотчас же остановились изумленные. Около бассейна стояла на коленях Мила, а Бельский, в военном мундире, старался ее задушить; молодая женщина отбивалась и кричала под руками разъяренного человека, который как железными клещами сжимал ее горло.

– Верни мне жизнь, дьявольская пиявка! – рычал он хриплым голосом.

Масалитинов быстро очутился подле Милы, чтобы оттащить нападавшего; но в ту же минуту раздался отдаленный удар грома, пол задрожал и все огни потухли: музыка замолкла, и танцы прекратились. В то же время послышался голос Фаркача:

– Минуту терпения, mesdames et messieurs! Электрический провод испортился, и мы осветим залу по старинному.

Через несколько минут со всех концов сбежались лакеи с подсвечниками и канделябрами. Мила лежала на полу и ее поддерживал муж, а Бельский исчез.

Взволнованная и любопытная толпа стремилась в зимний сад. Пока Масалитинов с помощью товарища уносил Милу в дальнюю комнату, со всех сторон сыпались любопытные расспросы о случившемся:

– Хотели убить madame Масалитинову. Нападавший удивительно похож на моего мужа, в бытность его офицером, – разъясняла бледная и расстроенная Надя. – Но граф, как видите, в штатском.

Граф Адам также подоспел, бледный и видимо расстроенный.

– Какая неприятная история, – воскликнул он. – Дворецкий сказал мне, что у выхода схватили офицера, которого ищут с самого утра сторожа дома умалишенных доктора Вурстензона. Несчастному изменила жена и бросила его, а он сошел с ума и всюду ищет изменницу, чтобы задушить. Его уже взяли. Успокойся же, милая, ты совсем расстроилась, – прибавил граф, нежно обращаясь к жене.

– Я хочу домой, – ответила Надя. – Я очень устала; а ты, Адам, оставайся, чтобы не обидеть хозяина.

В эту минуту вошел Фаркач и объявил, что сумасшедшего уже увели, а многие дамы, испуганные внезапной темнотой, уехали.

– Какая досада! Испортили весь праздник! Ах, проклятый сумасшедший! – негодовал Фаркач. – Как, графиня, вы также уезжаете? – с сожалением прибавил он.

– Да, я очень испугалась; но я оставляю вам мужа, – несколько холодно ответила Надя.

– Я тоже, граф, хочу проститься и прошу вас извинить жену, она хочет домой. Мила оправилась, но вы понимаете, – что после такой истории ей нужен отдых, – сказал вошедший Масалитинов и спешно простился.

Не обмолвясь ни словом, ехал Масалитинов с женой домой. Мила дрожала как в лихорадке, зубы ее стучали и она куталась в шубу. Михаил Дмитриевич все это видел, но не решался привлечь ее к себе, поцеловать и успокоить лаской. Его охватило с непобедимой силой чувство ужаса и отвращения, которое внушала ему жена. В полумраке кареты он чувствовал пристально и вопросительно смотревшие на него зеленоватые глаза, минутами сверкавшие враждебным огнем. Он отвернулся, и сердце его болезненно сжалось; им снова овладело странное предчувствие, что в женщине этой таится его погибель.

На следующий день Масалитинов отправился на службу, по обыкновению, но дорогой вспомнил, что забыл портфель и решил вернуться за ним. Подъехав к дому, он увидел экипаж графа Фаркача, а от лакея узнал, что Мила приняла гостя в будуаре и приказала подать чай. Масалитинов знал, что г-жа Морель гуляла с ребенком; значит, Мила одна с таинственным колдуном, который приехал, вероятно, справиться о ее здоровье. Побуждаемый не ревностью, а любопытством, он пожелал узнать, что они говорили без свидетелей. Дальним коридором прошел он в комнатку, отделявшуюся от будуара дощатой перегородкой; в этом уголке стояли картоны, а освещался он небольшим, задернутым кисеей слуховым окошком из будуара. К нему-то и подошел он, встал на сундук и заглянул. Он увидел Милу на маленьком диванчике, всю в слезах; против нее, прислонясь к камину стоял Фаркач, мрачный и озабоченный.

– Повторяю тебе, – говорила в эту минуту Мила, – я не могу больше переносить такого ужасного существования. Сделай что-нибудь, чтобы Мишель не боялся меня. Ты знаешь, как страстно я его люблю, и потому ужасно мучаюсь, видя в его глазах не любовь, а страх и отвращение. Почему дом наш кишит ларвами, инкубами и всеми этими чудовищами невидимого мира? Вы жестоки и несправедливы ко мне. Вы даже ребенка не оставили нам! Он не такой, как все обыкновенные дети. Даже муж – профан – заметил это и не хочет его знать!

Она схватилась руками за голову и горячо, с отчаянием крикнула:

– Отец! Отдай мне душу моего ребенка. Изгони из его тела дьявольский дух...

– Ну, успокойся же и потерпи. Я...

– Нет, – прервала Мила, – я потеряла всякое терпение; я измучена, как загнанный зверь. Страшный Азима преследует меня и высасывает мою

жизнь; Бельский нападает и хочет убить; а между тем я вырвала у него душу по твоему же приказу, чтобы дать место Баалбериту. Я служила тебе так, как ты того требовал; я терпела все молча, не выдавая никогда ничего; но теперь, отец, спаси меня!.. Иначе, я обращусь к моей матери и пусть охранит меня Небо, если ад не может!

Масалитинов слушал ошеломленный. Кто же этот человек, которого Мила звала *отцом*, и умоляла помочь ей? В эту минуту граф вздрогнул, а его темные и глубокие, как бездна, глаза внезапно остановились на слуховом окошке.

– Тише, безумная! – проговорил он, поднимая руку. – За этой перегородкой шпионит твой милый супруг, и он слишком уже много слышал! Надо покончить с ним!

С хриплым криком вскочила Мила с дивана, бросилась к перегородке и, трепеща, прислонилась к ней.

– Не смей трогать его! Ты дойдешь до него только через мой труп! А если, с помощью твоей *проклятой* науки, ты и его отнимешь у меня, я ни за что не отвечаю. Ты пробудишь всю ненависть, на какую способна моя душа, и каким бы могущественным колдуном ты ни был, есть у тебя Ахиллесова пята, и к этому-то уязвимому месту подползу я пресмыкающимся гадом. Не вызывай меня, отец!

Фаркач торопливо подошел и заставил ее сесть.

– Ты совершенно обезумела. Но, по отцовской слабости, я не могу видеть тебя в таком состоянии и не трону неблагодарного, которого ты любишь. Я лишу его только памяти, чтобы обезвредить его.

Он поднял руку, и его изощренный взор уставился на слуховое окошко. В ту же минуту Масалитинов почувствовал сильное головокружение и едва не упал с сундука. С трудом сошел он и, шатаясь, направился в кабинет, почти упал на диван и уснул крепким, тяжелым сном. Когда он проснулся через час, все слышанное изгладилось из его памяти.

На следующий день в городе узнали, что граф Фаркач уехал за границу. Его вызвали телеграммой по такому неотложному делу, что он даже не простился ни с кем; но управитель говорил, что через несколько недель он возвратится и даст еще несколько великолепных балов.

Потом мало-помалу, сначала втихомолку, а потом уже открыто, стали ходить странные слухи относительно *интересного* иностранца. Так, говорили, что появлявшихся на балу «туристов» не видели ни в одном отеле, а в чашах, которые им подавали, вместо красного вина была кровь, что подтвердил и кое-кто из офицеров, взявший одну из этих чаш. Рассчитанный слуга рассказывал, что в тот вечер зарезали несколько коз, и

кровь их выпустили в ведро, которое подали в комнату барина. Наконец, кто-то из любопытных навел справку у доктора Вурстензона, и тот уверял, что душевнобольного офицера будто бы доставили его родственники; но так как подробности оказались очень неполными и противоречивыми, то и эта история осталась невыясненной.

Около месяца прошло после знаменитого бала. Граф Фаркач все еще не возвращался из путешествия; а у Бельского было так много серьезных дел, что он тоже большей частью отсутствовал, и Надя была чрезвычайно довольна своим одиночеством. Она много размышляла и о своем прежнем женихе, и о графе.

Неудовольствие на Масалитинова и презрение исчезли после встречи на балу. Она прочла в его глазах, что он глубоко несчастлив и многие обстоятельства заставляли считать вполне правдоподобным вмешательство злой силы в их судьбу; поэтому ненависть сменилась глубокой жалостью, а образ Михаила Дмитриевича снова выдвинулся отчасти и занял место в сердце Нади. Что касается мужа, то он становился для нее все более загадочным. Надя не понимала их взаимных отношений, а то, что она случайно узнала о вкусах Адама, вызывало отвращение и удивление. Мать рассказала ей со слов мальчика, служившего на кухне Бельского и приходившегося племянником ее горничной, что у молодого графа очень странный аппетит: каждое утро для него убивали телянку и подавали в уборную большой кувшин горячей крови, а кроме того, бифштекс, фунта в три, который он съедал в сыром виде с солью. Сверх того, он на ночь выпивал бутылку мясного сока да полдюжины сырых яиц.

Надю очень удивило такое обжорство, которого она никак не могла подозревать, зная, что с ней Адам обедал и ужинал, хотя и с аппетитом, но как все. Полученное ею в то время письмо от старой ключницы в Горках, которая была очень привязана к семье, довершило ее тревогу.

Старуха писала, что в усадьбе стало еще страшнее прежнего, и никто не мог понять, почему носившееся по аллеям парка и комнатам привидение, которое видели также на острове, похоже, как две капли воды, на графа, ее мужа, когда тот был еще офицером. По ночам слышались крики и стоны, а потом появлялась в растрепанном виде и с блуждающими глазами тень, бегавшая по воде, как по земле. Одним словом, письмо было ужасно и произвело на Надю глубокое впечатление. Она сопоставляла рассказ ключницы со страшной историей на балу, когда сама видела двойника графа, пытавшегося задушить Милу; а из этого, естественно, следовало заключение, что были два Бельских: один, по-видимому, призрак, ненавидел Милу, а другой, живой – ее муж. Разобраться же в этой

путанице она не могла.

Однажды Надя получила встревожившую ее записку от матери, звавшей ее к себе непременно в тот же вечер. Может быть, она нездорова? Но Зоя Иосифовна встретила ее веселая и, целуя ее, шепнула:

– У меня большой сюрприз для тебя, но это секрет.

– Сюрприз, даже с секретом! Где же он спрятан?

– Отправляйся в кабинет отца и увидишь.

Кабинет Замятина и две соседние с ним комнаты оставили нетронутыми; они были всегда заперты, и Зоя Иосифовна сама поддерживала в них порядок. На письменном столе лежали книги, бумаги и счета, все в том виде, как оставил ее муж.

Очень заинтересованная пошла Надя в дорожную ей комнату и, войдя в кабинет, с удивлением увидела, что с дивана поднялись двое мужчин. Узнав в одном из них адмирала, она радостно вскрикнула и бросилась в его объятия, и тут же разрыдалась, повторяя:

– Ах, крестный! Как я счастлива, что ты вернулся. Душа моя разбита. У меня – много, что сказать тебе и о многом просить.

Узнав затем Ведринского, она протянула ему руку, извиняясь, что не сразу заметила его.

– Успокойся, мы приехали с Георгием Львовичем избавить мир от двух негодяев. Миссия эта освободит и тебя от всего, гнетущего твое сердце, – нежно проговорил адмирал.

Надя вздрогнула.

– Сам Бог привел тебя сюда, крестный. Вокруг нас происходит нечто странное, скрывается что-то ужасное и непонятное; но ты, наверно, все объяснишь мне. Не правда ли?

Ведринский незаметно вышел в соседнюю комнату, а Иван Андреевич усадил Надю рядом с собой на диван и сказал, крепко пожимая ей руку:

– Теперь, дитя мое, расскажи без утайки все, что тебя тревожит и кажется тебе непонятным. Когда я разберусь в том, что касается тебя, то разъясню и остальное; а затем ты должна вооружиться всем своим мужеством и энергией.

Надя коротко передала о своем знакомстве с Бельским за границей, а затем, стесняясь и краснея, упомянула про свои странные отношения с графом, который никогда не предъявлял своих прав на нее и, по-видимому, даже сам не замечал этого. Далее она рассказала о странном и непонятном появлении незнакомой женщины в их спальне и прибавила:

– Вообще, Адам существо загадочное; он точно «двойной». Два раза видела я его бегавшим, как безумный, в военном мундире в то время, когда

знала, что его нет дома; на последнем балу у графа Фаркача этот Бельский-офицер пытался даже задушить Милу. В другой раз Адам только что вышел, а когда я вошла в кабинет, то ясно видела одновременно его тень и тень другого человека, отраженные в гобелене, украшающем стену. В этом кабинете совершенно особенная, давящая атмосфера, точно трупный запах, да и по всему дому ходят иногда тени, слышатся шаги и вздохи, совсем как в Горках. Не знаю также, почему скрывает он от меня, что пьет свежую кровь и ест сырое мясо? Это, конечно, противно, но ведь запретить ему я не могла бы. Но в общем жаловаться я не могу – он добр ко мне; а все-таки мне с ним страшно, и часто я боюсь его. Мне также очень не нравится его дружба с Фаркачом. Какой это мрачный господин и в то же время страшный колдун!

Она рассказала историю Нероновой оргии и все странности последнего бала.

Адмирал слушал ее не прерывая, а при ее последних словах улыбнулся и спросил, не напоминает ли ей граф кого-нибудь?

Надя подумала с минуту и вдруг побледнела.

– Да, теперь вспомнила, и как могла я не заметить до сих пор? Фаркач – это оригинал портрета Тураева, который висит в Горках рядом с портретом Маруси. Но в таком случае... Фаркач... это – ужасный, проклятый Красинский. Теперь я уже многое понимаю!

– Да, дитя мое, ты угадала и должна вооружиться мужеством. Учитель наш, мудрый индус, наставил меня с Ведринским и послал пресечь деятельность этого человека, с которым я должен еще свести, кроме того, и наши личные счеты. Не отомщены еще: смерть Маруси, мо его друга Вячеслава, несчастной Бельской с сыном, разбитая жизнь твоего отца и Михаила Дмитриевича, словом, – длинен список жертв...

Развращенность общества, пороки его, преступления, излишества и все ужасы, являющиеся следствием такого порядка вещей, взрастили и придали смелость адским ордам; а те, покинув определенное им царство тьмы вышли на свет Божий и смешались с живыми. Прежде добро, вера и молитва служили преградой, которую эти исчадия ада не могли легко переступить. Но, при содействии своих воплощенных пособников, сатанисты расшатали эту преграду и получили теперь возможность наслаждаться материальной жизнью. Красинский и Бельский принадлежать именно к числу таких опасных и преступных существ, и их необходимо уничтожать телесно. Все сказанное мной покажется простакам невероятной сказкой; оккультисты же, имевшие случай заглянуть в этот страшный мир, знают, что я говорю одну правду. Но, милая Надя, будешь ли ты достаточно

смела для этой великой борьбы и сумеешь ли владеть собой, чтобы Бельский не смог догадаться, что ты знаешь истину.

Надя на минуту закрыла глаза, собираясь с мыслями, а потом энергично выпрямилась.

– Не бойся, крестный, я сумею так все скрыть, что Адам ничего не заподозрит, а страшно мне не будет, потому что ты находишься около меня; значит, я под твоей охраной. Но что мне нужно делать?

– Молодец ты! Ну, так слушай. Я имею основание предполагать, что Красинского известили о грозящей ему опасности; а что враг этот никто другой, как я, он несомненно догадается. Поэтому неприятель постарается засесть в свою крепость, где он всего сильнее, – я хочу сказать, на острове около Горок. Так как Мила – его орудие, то он отправит ее с ребенком и Екатериной Александровной в имение; далее мы увидим, найдет ли он нужным открыто жить на острове или будет скрываться. Затем, более чем вероятно, что и Бельский пожелает быть вблизи своего сообщника, а потому предложит тебе переехать в его замок по соседству. Ты должна, не колеблясь, согласиться и поселиться там. Ввиду грозящей им опасности, один из них, а может быть, и оба отправятся, конечно, в свою общину за подкреплением, чтобы уничтожить меня. Мы же с Георгием Львовичем будем скрываться в окрестностях и воспользуемся отсутствием одного из двух чудовищ, чтобы уничтожить другого.

– Я буду сильна, крестный, и всячески готова помогать тебе! О! Как ужасен этот мир, над которым смеются профаны, а между тем самого Спасителя искушал сатана. Христос изгонял бесов, значит – они существуют, а в завещанной нам божественной молитве повелел молиться: *«Избави нас от лукавого»*. Во все времена и у всех народов говорено об этом оккультном мире. Словно из щелей, то тут, то там выползал какой-нибудь необыкновенный факт, который люди, по невежеству, называли «суеверием».

– Да, дитя мое, вокруг нас кишат эти гадины, а когда им удастся вырвать кого из нашей среды – путем ли сумасшествия, или самоубийства, – то такому случаю дают самые нелепые объяснения.

– Ах, крестный! – перебила его Надя и оживленно заговорила: – Я забыла сообщить тебе несколько фактов, которые наверно являются следствием влияния адских существ населяющих наш дом. Во-первых, я теряю все шейные кресты; потом, у себя дома я почти не могу молиться, а когда возвращаюсь из церкви у меня кружится голова. Адаму сделалось дурно на одной панихиде, а запах ладана вызывает у него рвоту. Спасибо тебе, спасибо, крестный, что приехал спасти меня от этого страшного

наваждения.

Прошло несколько дней. В отдаленной комнате дома Фаркача сидели сам хозяин и Бельский. Оба они были мрачно озабочены, и Фаркач (Красинский) вдруг гневно сказал:

– Как я говорил тебе, Баалберит, нам грозит большая опасность; из-за пустяков *учитель* не стал бы предупреждать нас против сильного врага.

– Но кто может быть этот враг? – пробормотал Бельский.

Красинский разразился глухим смехом.

– Враг? Я давно знаю его, и раз он чуть было не стал для меня роковым. Этот проклятый отнял у меня Марусю, а его волшебные стрелы обессилили меня и я потом долго болел. Только случайно я тогда не погиб. Но теперь я его одолею, уничтожу, и до последнего издыхания вытяну из него жизнь. Теперь я не один: здесь ты, но, кроме того, я попрошу тебя съездить за подкреплением в общину. Я приглашу Уриэля, Бифру и Азима поддержать меня; а так как и мне в предстоящей борьбе понадобятся все мои силы, то я отправлюсь в Горки, где вы меня и найдете. Там у меня лаборатория, и я свободнее, чем здесь. Миле я прикажу ехать с ребенком тоже в Горки, потому что и она будет нужна мне. Виллу на острове я нанял на лето, значит, я могу даже открыто появляться там, когда захочу, а пока поселюсь инкогнито. Ты с женой поедешь в свой замок; это необходимо для того, чтобы завлечь в Горки моего презренного врага. Устроив там графиню, ты отправишься за нашими друзьями, а я тем временем займусь приготовлениями к решительной битве.

Обсудив еще некоторые подробности, друзья расстались.

На другой день после этого разговора Мила объявила за обедом мужу, что чувствует себя слабой и изнуренной, а потому желает отправиться в Горки с Екатериной Александровной, и притом как можно скорее в виду прекрасной весны.

– Но я знаю, что ты не любишь виллы, и решила поселиться в доме, где жили раньше Замятины. Таким образом, ты без отвращения можешь приезжать, Мишель. Что касается виллы на острове, то граф Фаркач писал мне и просил отдать ее внаймы на лето. Все странные легенды, которые он слышал об этом доме, очень заинтересовали его и он страстно желает его обследовать. Я дала свое согласие; потому что нет причин отказывать в такой простой вещи, – прибавила Мила.

– Превосходно, отправляйся, когда пожелаешь, а я приеду, когда позволит служба, – ответил Масалитинов с обычной холодностью, которая мало-помалу установилась между ними.

Как-то вечером возвратившийся только что из краткой деловой

поездки Бельский сел на диван рядом с Надей, поцеловал ее и нежно заговорил:

– Ты очень бледна, милая моя. Не думаешь ли ты, что тебе будет полезен свежий воздух? Я хочу потому поводу предложить тебе кое-что. Я нашел здесь письма от управляющего моим именем «Бельковичи»... Ты знаешь, это поместье около Горок. Там накопилось много разных дел; управляющий настоятельно вызывает меня, и я *должен* ехать, но мне хотелось бы увезти тебя; замок удобный, парк великолепный, и я полагаю, что тебе будет хорошо там: ты расцветешь. Скажи, согласна ли ехать со мной?

– Ну, конечно; ты предупреждаешь мое желание, милый Адам. Мне давно хочется видеть этот замок, о котором рассказывают чудеса.

– Благодарю, дорогая. А скоро ли ты соберешься? Я должен выехать через три дня.

– Поспею. Я сейчас же прикажу горничной уложить вещи. Мне хотелось бы только проститься с мамой, Ростовской, Максаковой и некоторыми близкими друзьями, а для этого довольно и суток.

V

На другой день Надя отправилась к матери и уговорила с адмиралом, что если граф уедет, то она тотчас сообщит ему письмом на имя Зои Иосифовны, в котором поместит условную фразу, а после этого они с Ведринским приедут и, под предлогом приведения в порядок семейных бумаг с библиотекой, останутся в самом замке.

Замок очень понравился Наде, а еще более парк в его весеннем уборе. Она много гуляла и могла бы чувствовать себя счастливой в роскошном покое богатого дома, если бы ее не тяготил страх будущего и исключительность положения относительно странного, зловещего мужа, приближение которого и малейшая ласка вызывали в ней внутреннюю дрожь. Но она владела собой, неизменно выказывая мужу нежность и предупредительность. Однако такое постоянное притворство изнуряло ее, и телеграмма, вызывавшая графа на три или четыре недели за границу, явилась для нее истинным облегчением. Адам, казалось, был в отчаянии ввиду необходимости покинуть обожаемую жену; но Надя утешила его, обещая не уезжать из замка до его возвращения.

На другой же день граф уехал, а через несколько дней прибыл в замок старый господин, назвавшийся библиотекарем. Приехал он с помощником по просьбе графа Бельского, чтобы привести в порядок и составить каталог бумаг и книг. Адмирал с Ведринским были так хорошо переодеты и загримированы, что Надя сама не узнала бы их. Она приказала поместить их в комнатах рядом с башней, где находился архив, и никто в богатом и гостеприимном доме не заподозрил в чем-либо вновь прибывших, усидчиво работавших в библиотеке, куда им приносили даже обед и завтрак.

Красинский также перебрался в Горки и поместился, тайно, конечно, в подземелье. Он знал через Бельского, что молодая графиня в замке одна и, стало быть, беззащитна, а потому решил воспользоваться отсутствием «друга», чтобы привести в исполнение свой гнусный план овладеть Надей.

Однажды вечером Надя была одна в своем будуаре и читала книгу об оккультизме, очень заинтересовавшую ее. Она была увлечена чтением, как вдруг свинцовая тяжесть сковала ее члены, глаза закрылись и она откинулась на спинку дивана. Ей показалось тогда, что дверь будуара потихоньку отворилась и вошел высокого роста мужчина в белом; бронзового цвета лицо выражало необыкновенную силу воли. Надя хотела

вскрикнуть, но не могла и чувствовала себя точно парализованной. Затем она увидела, что незнакомец подошел к ней, нагнулся и расстегнул ее пеньюар. В руке его ослепительным светом блистал какой-то предмет, который он приложил к ее обнаженной груди. Надя почувствовала страшную боль, точно от раскаленного железа, и вскрикнула. Открыв глаза, она испуганно огляделась кругом. Все было спокойно, электрическая лампа освещала роскошный будуар, отделанный атласом и кружевами, а книга валялась на полу. Пеньюар из белого сгêре de chine был полуоткрыт, и она чувствовала на груди жгучую боль, хотя на атласистой коже ничего не было видно.

«Какой странный сон!» – подумала она и позвонила горничной, чтобы та уложила ее в постель.

Но каково было ее изумление, когда на утро она увидела на груди маленький крест с удивительным наверху знаком, рисовавшийся на коже точно татуировка красными чернилами. Значит, она не спала. Но что бы это ни было, – сон или видение, – оно должно иметь великое значение. Ей угрожала, вероятно, какая-то опасность и святой знак будет оберегать ее. Она ощутила невыразимо сладостное сознание покоя. В своем странном положении она не чувствовала себя уже одинокой: кто-то бодрствовал над ней и охранял ее.

Дня через два после описанного странного видения Нади адмирал и Ведринский деятельно занимались в своей комнате таинственными приготовлениями. Из сундука они достали большую сандалового дерева шкатулку с чудной инкрустацией и вынули из нее темный металлический диск с кабалистическими знаками, палочку с семью узлами и магический кинжал с фосфоресцирующим лезвием. Вооруженные этими предметами, они прошли в будуар хозяйки дома, рядом со спальней. Надя лежала и, казалось, крепко спала.

Было около полуночи. Адмирал положил металлический диск на пороге спальни, жезлом начертал в воздухе магические знаки и, после этого, вместе с Ведринским спрятался за тяжелой бархатной портьерой.

Едва старые часы в замке пробили полночь, как вдруг в маленькой, выходящей в сад зале послышался легкий шум шагов, и при слабом свете луны, пробивавшемся сквозь кружевные занавески, они увидели Красинского, который почти бежал через будуар в спальню; но не успел переступить порог, из уст его вырвался глухой крик, и он прилип точно к металлическому кругу. Он повернулся, чтобы бежать прочь, а ноги, скользя по металлу, не отставали от него; несмотря на все отчаянные усилия, он был пригвожден к месту, мертвенно бледный и с пеной у рта. В эту минуту

адмирал вышел из своей засады и, остановившись перед врагом, сказал презрительно:

– Приветствую вас, благородный Красинский, в похищенном теле несчастного Вячеслава. На этот раз я держу тебя, кровопийца, подлая тварь, разбойник! Час правосудия пробил, наконец и теперь ты не скроешься, а вернешься в ад, из которого выскочил.

Красинский выпрямился и, в свою очередь, смерил противника гневным взглядом. К нему вернулись, очевидно, спокойствие и сила.

– Да я попал в ловушку, но еще не побежден, в чем ты сейчас убедишься, хвастливый невежда, который смеет нападать на человека учнее его.

Он поднял руку, на которой сверкало знаменитое кольцо Твардовского, и закричал диким голосом:

– На помощь, учитель! Спаси меня, ты близкий мне!

Он проворно стал бормотать формулы и заклинания, а из кольца, которое он повернул между тем камнем в сторону адмирала, исходили клубы черного, зловонного дыма, от которого у того закружилась голова, и он отступил. Минуту спустя, раскат грома словно потряс замок до основания, и подле Красинского появился черный, омерзительный дух. Одной рукой он обхватил колдуна, а другой взмахнул чем-то вроде огненного трезубца, которым ткнул затем в металлический диск; тот подскочил и отлетел в другой конец комнаты. Столб огня и дыма окутал обоих, и, сметенные точно порывом бурного ветра, опрокинувшего на пол адмирала, они исчезли в пространстве.

– Экая неудача, – прошептал адмирал, когда Ведринский помог ему подняться. – Чудовище это кажется в самом деле неуязвимым; но теперь, друг мой, надо быть настороже. Каждую минуту мы рискуем смертью; ясно, что негодяй сделает все, даже невозможное, чтобы погубить нас.

Адмирал разбудил Надю, наказал ей бодрствовать и молиться, как бы это ни было трудно, и передал вкратце случившееся. Испуганная, но бодрая духом Надя все обещала, присовокупив, что со времени появления светлого видения, запечатлевшего крест на ее груди, она ничего больше не боится.

Затем адмирал с Ведринским ушли в свою комнату; но поочередно один спал, а другой читал формулы и совершал предписанные окуривания. Однако ночь прошла тихо, так же как и два следующие дня; но время это было тяжелое, тревожное, а часы тянулись томительно, в беспрестанном ожидании нападения со стороны опасного врага.

Надя жила также в лихорадочном волнении, но владела собою и молилась с усердием, которое умиляло ее крестного и восхищало Георгия

Львовича.

Вечером, на третий день, Ведринский спал, а адмирал читал формулы; как вдруг по комнате пронеслась гармоничная вибрация, а маленький аппарат на столе завертелся, выбрасывая искры. Адмирал бросился к столу и поспешно положил на аппарат металлическую блестящую пластинку, на которой стали появляться золотистые знаки, потухавшие, сверкнув на минуту. С лихорадочным вниманием следил адмирал за появлением таинственных знаков, а потом вздохнул тяжело и вместе с тем облегченно, закрыл аппарат и разбудил спавшего.

– Я получил послание от Манармы. Он предупреждает, что нападение Красинского произойдет в эту же ночь, но он поддержит нас. Вставай, друг, надо приготовиться немедленно.

– Мы опять пойдем в будуар? – спросил Ведринский.

– Нет, я получил приказ ожидать в твоей комнате, выходящей в сад.

В обширной, с небольшим количеством мебели комнате, занимаемой Ведринским, стены были выкрашены белой масляной краской, и широкое венецианское окно выходило в сад. С помощью Георгия Львовича адмирал перетащил в смежную комнату всю удобную для переноски мебель, а затем начертил на полу посреди комнаты большой круг красным мелом. Оба надели длинные белые хитоны, стянутые в талии шелковым шарфом; адмирал повесил на шею небольшой золотой рожок, похожий на охотничий, и заткнул за пояс меч, на длинном и остром клинке которого были начертаны магические знаки. Ведринский взял большой хрустальный сосуд с голубоватой водой, кропило и старинную книгу. Став в середине круга, Георгий Львович начал читать заклинания, обрызгивая воздух на все четыре стороны; адмирал же в это время чертил мечом кабалистические знаки.

В эту ночь Красинский находился в своей подземной лаборатории, занимаясь различными приготовлениями. Лицо страшного колдуна было мрачно и озабочено, а в глазах его, глубоких как бездна, вспыхивали минутами гнев и ненависть. Посредине залы он положил на каменный пол большой металлический диск, а вокруг разместил семь треножников с угольями и смолистыми ветками, полив их едкой, серного запаха эссенцией. В середине круга он поставил низкий стул.

– Я должен избавиться от этого врага, иначе не могу более существовать! – проворчал он. – Он неустанно будет терзать меня, и мне суждено сгнить в этом подземелье. Враг стал еще опаснее после своего возвращения сюда. Я чувствую это.

Надев черное трико и нагрудный знак в виде опрокинутого

треугольника, он стал на металлический диск и, подняв жезл, начал обряд вызывания. Вскоре наверху жезла показался зеленоватый огонек, который затем отделился и зажег семь треножников, наполняя подземелье зловонным дымом. Минуту спустя, на треножниках произошли взрывы, а из облаков дыма появились шесть черных отвратительных существ; они сгруппировались вокруг одного треножника, на котором словно кипела какая-то, до бела раскаленная масса. Тогда взрыв, сильнее предыдущих, потряс стены подземной залы, и из красной пламенной массы, окутанной дымом, поднялся страшный демон, который за три дня перед тем спас Красинского и назван был легендарным именем *Твардовского*. Красинский пал ниц, а потом, отрывистым голосом изложив свои жалобы на адмирала, молил помочь ему. Зловещая улыбка скользнула по лицу видения.

– Желание твое законно. Тотчас же выйди в астрал и исполни свою справедливую месть. Я же буду здесь охранять твое тело; значит, ты можешь быть спокоен. Тебя там ждут, но твой противник бессилен в борьбе с нами.

Красинский горячо поблагодарил и, достав из-за по яса большой плоский флакон, открыл его; находившаяся в нем жидкость была красная и дымилась с приятным, но очень крепким запахом, наполнившим все подземелье. Осушив флакон, он вдруг завертелся на месте с все возрастающей и под конец ставшей головокружительной быстротой. После того из места солнечного сплетения стал понемножку выделяться густой, красноватый пар, который, все усиливаясь, как бы окутал его всего; затем пар сгустился и отделился, а тело, став тогда безжизненным и мертвенно-синим, рухнуло на стул.

Клубясь теперь уже вне круга, пурпурное облако расплылось и быстро приняло форму лежавшего человека; это был Красинский, но как будто отлитый из раскаленного металла и огненной лентой привязанный к материальному телу. По прошествии минуты астральное тело колдуна точно врезалось в стену и исчезло.

Прошло около часа, как адмирал и Ведринский стояли на своем посту. Внезапно почувствовали они какую-то непонятную истому, а комнату стал наполнять все усиливавшийся запах серы; стены, пол и мебель начали трещать, а большая восковая красная свеча в руке Георгия Львовича почти тухла. Вдруг из темных углов появились омерзительные существа, полулюди, полуживотные; они подползли к магическому кругу, сгруппировались около него и вперили в обоих свои зловеще злобные глаза, обдавая их вонючим воздухом, от которого у тех кружилась голова. В то же время на белой стене обрисовалась красноватая тень, быстро

уплотнявшаяся.

У Ведринского волосы стали дыбом на голове от ужаса, но он энергично боролся со своей слабостью, бесстрашно повторяя формулы и опрыскивая воздух; но его ударил в лицо порыв зловонного воздуха и он чуть было не задохнулся. Все кружилось перед ним; книга и кропило выпали из рук, глаза закрылись и он, как сноп, повалился на пол. Падение молодого неопита сопровождал звонкий, глумливый смех; красная тень приняла теперь облик человека, отвратительная голова гримасничала с дьявольски злой усмешкой, а руки то быстро вытягивались, то сокращались.

Адмирал тоже ощущал странное оцепенение, и взгляд его прикован был к двум громадным рукам с крючковатыми, как когти, пальцами, которые постепенно приближались к магическому кругу. Замиравшим усилием воли поднес он к губам маленький золотой рожок, и раздался звонкий, гармоничный звук, который эхом унесся в даль. Послышался свист, а затем треск, словно от воды, вылитой на раскаленное железо; гигантские руки, скрючившись, отодвинулись было, но тотчас же снова приблизились и протянулись теперь уже за круг, пробуя достать Ивана Андреевича.

Но в этот миг подле него появилось белое облако, которое мгновенно сгустилось, и явился Манарма. Сноп лучей окружал голову мага, а в руке его тысячью огней сверкал крест, поднятый над головою адмирала. Поток живительного тепла, вместе с мягким освежающим ветерком, обдал того, точно по волшебству возвращая ему силу и энергию.

Двойник колдуна стремительно отступил, прижавшись к стене; но, по повелительному жесту мага, Иван Андреевич бросился стрелой и ударил в стену магическим мечом. В ту же минуту отражавшая тень человека стена залилась точно пурпурной жидкостью. Весь дом вздрогнул будто от ужасного громового удара, и все стекла венецианского окна разлетелись вдребезги.

Сметенные, словно порывом ветра, Иван Андреевич и Ведринский с силой были отброшены к противоположной стене, где и упали без чувств, а Манарма исчез.

А на дворе в это время ревел ураган; бурный ветер с корнем выворачивал деревья и вздымал тучи песка, снося все на своем пути. Наконец проливной дождь положил конец циклону.

В подземелье ничто как будто не изменилось: на жаровнях все еще горели, потрескивая, смолистая травы, а темные духи продолжали охранять лежавшее на стуле посередине металлического круга тело. Вдруг где-то

вдали послышался раскат грома, и в подвал влетело белое облако, озарив его ослепительным светом. В магическом круге появилась стройная и заключенная словно в светлый шар фигура мага. Манарма встал между безжизненным телом и огромным, раскаленным точно шаром, явившимся из стены. Как стрела, направлялся он к телу, со свистом, треском и выбрасывая снопы искр. Но в ту же самую минуту из поднятой руки мага сверкнуло пламя и пересекло огненную нить, соединявшую шар с телом. В воздухе прозвенел мрачный и словно предсмертный крик, после чего все стихло, и наступила полная тьма.

Около часа прошло после страшной ночной драмы. По озеру быстро пронеслась, мелькнула лодочка с одиноким гребцом и причалила к лесистой части острова. Посетитель привязал лодку в кустах, поспешно направился к монастырским развалинам и подал сигнал о своем прибытии. Ждать ему пришлось довольно долго, и когда наконец отворился скрытый вход, то его встретил бледный, расстроенный и дрожавший карлик.

– Где Ахам? Разве он не ждет меня? – спросил прибывший, поспешно направляясь к той части подземелья, где жил Красинский.

– О, господин Бифру! Здесь произошло нечто ужасное, – пробормотал карлик. – Учитель Ахам делал великие вызывания, и я знаю, что являлся даже сам глава, а потом произошло что-то страшное. Мы с Фалько были за дверью и читали формулы, как вдруг стены задрожали так, как будто все рушилось; раздались взрывы, гром, крик и необыкновенный топот, а потом все стихло. Учитель Ахам не подает признаков жизни, а войти я не смел, – закончил, дрожа всем телом, карлик.

С нахмуренными бровями на минуту остановился Бифру перед входом в лабораторию: массивная дубовая дверь треснула во всю высоту; но затем он порывисто отворил ее. В зале было темно и стоял странный запах: смесь серы, смолы и каких-то мягких духов.

Нервно подергиваясь, Бифру с минуту простоял на пороге, а потом приказал карлику принести огня. Тот проворно зажег свечи в канделябрах и тогда можно было видеть происшедшее опустошение в лаборатории. Пол был усеян обломками мебели и инструментов, обрывками книг и одежды; металлический круг разбит был на три части, а стены точно забрызганы черным и красным; кроме того, в стене видна была большая дыра, как будто от пронизавшей ее бомбы, и посреди всего этого разрушения валялось нагое тело Красинского, лежавшего на спине, с почерневшими и словно обуглившимися конечностями.

На месте солнечного сплетения (под ложечкой) виднелось широкое черное пятно, а над ним начертанный точно красными чернилами

кабалистический знак с крестом наверху. Увидав этот знак, наклонившийся было над трупом Бифру с глухим криком отшатнулся.

– Знак *мага*! Его поразил меч *мага*! – бормотал он мертвенно бледными губами, прислоняясь к стене.

Минуту спустя он выпрямился и провел рукою по лбу.

– Не знаю, созвать ли мне братьев ордена, или самому похоронить Ахама? – проворчал он. – Жаль, очень жаль его! Такого ученого трудно заменить!

Он вздохнул, подумал с минуту и прибавил вполголоса:

– Я приготовлю тело так, чтобы оно не могло разложиться. Может быть, братья придумают. Надо предупредить Уриеля и Баалберита. Все необходимое должно находиться здесь; такой предусмотрительный человек, как Ахам, не мог не иметь под рукой всех нужных средств.

Он позвал карлика и с его помощью приготовил все необходимое. Принесли длинный, черного дерева ящик, спрятанный за занавесью в соседней комнате. Затем карлик указал ему место, где Красинский сохранял свои снадобья, и по приказанию Бифру принес со двора большой мешок земли, клетку с крысами и черную кошку.

Смешав землю с фосфором и различными сильно пахучими веществами, Бифру зарезал кошку и несколько штук крыс, кровью которых полил землю, а этой слизистой массой обмазал все тело, за исключением рта, ноздрей и глаз; далее он запеленал труп, как мумию, в полотно и с силой, которую трудно было предположить в таком худеньком человеке, приподнял Красинского и положил в ящик, внутренность коего была обита отливавшим всеми цветами радуги металлом с кабалистическими знаками.

Осыпав внутренность фосфоресцировавшим порошком, Бифру закрыл ящик крышкой с отверстиями и, с помощью двух карликов, стащил его в небольшую круглую залу, где стояла статуя Люцифера. Вокруг гроба они поставили шандалы с черными зажженными свечами, семь жаровен с угольями, а ящик покрыли сукном. Бифру приказал карликам дежурить по очереди, поддерживая курения и читая заклинания. После этого он удалился, объявив, что займет помещение Ахама и останется в подземелье до прибытия других...

Уже светало, когда адмирал и Ведринский пришли в себя. С ужасом смотрели они на стену, залитую точно кровью, и на сказочное рогатое существо, начертанное как бы темными линиями на этом пурпурном фоне. На груди чудовища виднелся кабалистический знак с крестом над ним. Адмирал перекрестился и вздох облегчения вырвался из его груди.

– Красинский умер. Это был страшный противник и, не приди

Манарма на помощь, нас не было бы теперь в живых.

– Как раз вовремя, Иван Андреевич, ты затрубил в рог.

– Как знать? Может быть, и слишком поздно. Манарма предвидел, что борьба не по силам нам, но и Маруся тоже следила; может быть, она раньше меня позвала его. Видишь эту розу? Это она оставила в доказательство своего присутствия.

Он поднял цветок и положил в карман. Затем они обсудили, каким образом уничтожить, или скрыть от прислуги страшное изображение на стене. Теперь адмирал понял приказание Манармы запастись масляной, скоро высухавшей краской и, не теряя времени, распаковал ящики. Они оба принялись закрашивать, и таинственный рисунок скоро исчез под краской почти совсем, если не считать появившегося на белой стене розоватого оттенка; но он был очень незаметен, а внимание слуг все обратилось на разбитое окно и повреждения в саду.

Однажды вечером, недели через две после описанных событий, Мила и г-жа Морель сидели в небольшой зале, прилегавшей к террасе, где в начале рассказа мы видели семейство Замятиных. Со времени страшной грозы, нанесшей столько бед и проложившей словно прогалину между Горками и замком Бельского, погода испортилась; стало холодно и дождливо. В этот вечер погода была отвратительная: весь день шел дождь, небо потемнело, а озеро покрылось густым туманом, который совершенно окутал остров. Дамы были одни. Екатерина Александровна взяла детское одеяльце, украдкой взглядывая на Милу; несмотря на ярко горевший в камине огонь, распространявший приятную теплоту, молодая женщина, сидя против в кресле, зябко куталась в плюшевый плед. Вдруг г-жа Морель сложила на стол работу.

– Мила, что с тобой эти дни? У тебя нехороший вид, ты заметно похудела и побледнела, стала такой нервной, что вздрагиваешь при всяком шуме. Скажи, что с тобой?

– Ах, я и сама не знаю, тетя; но какая-то смутная тревога, предчувствие, что нам грозит опасность или несчастье терзают меня и не дают покоя, – ответила та усталым голосом. – Я сама не понимаю, – прибавила нервно Мила. – Иногда мне страстно хочется, чтобы Мишель скорее приехал, а минуту спустя хочу, чтобы муж вовсе не приезжал сюда. Он ненавидит Горки, да и мне это место становится противным; я хотела бы уехать отсюда. Вероятно, я не останусь здесь до осени! Поверишь, тетя, что я, никогда ничего не боявшаяся, становлюсь трусихой. По ночам я отворяю дверь в комнату ребенка и чувствую себя спокойнее, когда слышу храп няни, от которого дрожат стекла. Не странно ли это?

Г-жа Морель облокотилась и задумалась, нервно теребя часовую цепочку; она была озабочена и смущена.

– При всем моем скептицизме, должна признаться тебе, Мила, что здесь происходит что-то загадочное. Ночью я слышу шаги в коридоре, или шелест шелковых юбок; а на днях произошло нечто совершенно невероятное. Я уже собиралась лечь спать, как вдруг ясно услышала, будто по коридору и даже мимо моей двери тащат что-то тяжелое, а в то же время лает и ворчит собака. Я схватила свечу, отворила дверь и осветила коридор, а мимо меня, задев даже, пробежала собака твоей покойной матери. Я узнала ее по серебряному, кавказскому с чернью и тремя эмалевыми колокольчиками ошейнику; с собаки текла вода. Она исчезла, а я, как ошпаренная, бросилась в постель, но всю ночь не сомкнула глаз.

В эти минуту маленькие часы на камине пробили половину двенадцатого.

– Уж поздно. Тебе надо лечь, ты так бледна, бедное дитя мое.

– Нет, нет, тетя. Я не хочу спать. Если ты не устала, останься со мной и поговорим.

– С удовольствием, Милочка; я сама предпочитаю поболтать лишний часок одиночеству в своей комнате. Только извини, я уйду на четверть часа отдать распоряжение Аксинье и потом отпущу ее. Кстати, – прибавила она, вставая и временно свертывая работу, – я нахожу, что Надя довольно неделикатна. Уже более месяца, как она здесь, а к тебе так и не показалась. Очень глупо так резко выказывать свое неудовольствие.

– Тем лучше, я вовсе не желаю ее видеть.

Оставшись одна, Мила откинулась на спинку кресла и задумалась. Ее мучило и пугало одно обстоятельство, которого она не могла доверить Екатерине Александровне. Вскоре по прибытии в Горки она получила известие от отца, что он сперва тайно поселится в подземелье и будет беседовать с ней, а через несколько дней явится официально, как граф Фаркач. Но с тех пор она не получала никаких известий, не видела отца, а потому не понимала, что значило это молчание; тревога ее усиливалась с каждым днем.

Пробила полночь, как вдруг внимание Милы привлек странный треск, и порыв холодного, зловонного воздуха пахнул ей в лицо. Она вздрогнула и выпрямилась. В эту минуту дверь на террасу с шумом распахнулась и на пороге появилась высокая черная фигура человека, который прислонился к притолоке, скрестив руки на груди...

Мила застыла от ужаса, смотря на таинственного посетителя, одетого словно в какое-то черное и точно волосатое трико; землистого цвета и

мертвенно-бледное лицо его коробила судорога и, хотя походило оно на лицо ее отца, но черты приняли странное сходство с бывшим женихом г-жи Морель, Казимиром Красинским, – портрет которого она часто видела у своей приемной матери.

– Папа, – прошептала Мила, делая шаг к нему.

– Отойди и не приближайся ко мне, – произнес глухой голос. – Я исчез, я умер. Не пугайся, это не надолго! Я пал жертвой ужасной подлости, но все же сумею добыть себе новое тело; вероятнее всего то самое, у которого на твоих глазах сменился хозяин. Ха-ха-ха! Только теперь я опасен, потому что стал вампиром и жажду крови; хотя тебе я не причину зла.

Он отступил и точно растаял в ночной мгле, а совершенно подавленная Мила упала в кресло, дрожа как в лихорадке. Отец ее – умер... отец – вампир... то есть стал одним из тех таинственных и страшных существ, которые ненасытно жаждут жизненной силы здорового и крепкого человека! Насколько опасно подобное вампирическое существо она убедилась на собственном опыте, а можно ли ручаться, что вампир пощадит ее мужа или ребенка? И Мила дрожавшей рукой отерла влажный от испарины лоб. Ее душил оставшийся после мерзкого существа трупный запах и еще минуту она боролась со слабостью, а потом лишилась чувств...

Открыв глаза, она увидела, что г-жа Морель терла ей виски одеколоном и давала нюхать соль.

– Право, Мила, тебя нельзя и на пять минут оставить одну. Скажи мне, зачем это в такой холод ты открыла дверь на балкон, и отчего упала в обморок?

– Не знаю, тетя. Я задыхалась, мне не хватало воздуха, и потом эти отвратительные нервы мои! – прошептала Мила, обнимая г-жу Морель и разражаясь судорожными рыданиями.

На другой день после описанного происшествия адмиралу удалось кратко побеседовать с Надей в библиотеке, после чего та рано легла спать, ссылаясь на сильную головную боль, и отпустила горничную, а по прошествии часа неожиданно вернулся граф. Он казался усталым и озабоченным; узнав, что у графини мигрень и она уже спит, он не захотел тревожить ее и приказал приготовить постель в своей прежней спальне, куда тотчас и удалился.

Пробило полночь, и в обширном замке все спало. Адмирал тихо вошел в комнату графа и, как тень, подкрался к его постели. Бельский лежал неподвижно; тело его точно окоченело, рот был открыт и состояние его походило на каталепсию. Иван Андреевич поспешно вышел, а минуту

спустя снова вернулся уже с Ведринским, который нес большую миску, кропило и простыню, и Надей – с горевшей восковой свечой в руках; сам адмирал нес серебряный подносик с освященной облаткой.

– Вампир временно покинул захваченное чужое тело, чтобы искать новых жертв, но мыотрежем ему путь отступления, строго сказал адмирал.

Надю он поставил в ногах постели, а Ведринского у изголовья и, взяв кропильницу, окропил сначала тело, читая заупокойные молитвы. Затем он произнес трижды:

– Адам Бельский! Во имя Господа нашего Иисуса Христа, Коего ты с верой исповедовал до последнего издыхания, очищаю тело, оживлявшееся душой твоей, от соприкосновения с нечистым, овладевшим им духом. Влагаю в уста твои освященный хлеб, которого тебя лишили путем злодеяния. Он будет тебе защитой.

Сказав это, он вложил кусочек облатки в открытый рот, который немедленно закрылся. В то время, как Иван Андреевич произносил имя Бельского, над головой лежавшего тела появилось беловатое облако, которое быстро затем изменилось, приняв облик *настоящего* графа Адама, пристально смотревшего на присутствовавших с чувством глубокой благодарности. Призрак перекрестился, потом побледнел и растаял в воздухе. Тогда адмирал вложил свечу в окоченевшую руку, закрыл тело простыней с большим крестом посередине и кабалистическими знаками по углам, а на уста наложил крестик. После этого Ведринский и Надя вышли, адмирал же остался и, опустившись на колени у изголовья, стал молиться, ожидая возвращения сатанинского духа.

Ждал он недолго. Не прошло и нескольких минут, как распахнулось окно и темная человеческая тень, со свистом и треском, устремилась к телу, с которым ее соединяла тонкая огненная нить, теперь только ставшая заметной. Не доходя на шаг до постели, призрак застыл на месте, а затем откинулся назад с глухим стоном и корчась. Огненная связь натянулась, как струна, и потом лопнула, с глухим взрывом, а призрак упал, словно перевернулся в воздухе и исчез за окном. Тогда адмирал снял простыню, погасил свечу и вышел из комнаты, оставив только золотой крестик, как бы замыкавший уста.

– И второй демон наткнется на уничтоженный переходной мост, – подумал довольный Иван Андреевич.

Подземную залу, где стояло тело Красинского, мрачно освещали четыре черных свечи в серебряных шандалах, а карлик, сидя на полу перед статуей Люцифера, жалобно читал нараспев заклинания. Часы на вилле пробили полночь, как послышался шелест словно сухих листьев и по

подвалу пронесся порыв холодного ветра. Немного спустя, приподнялась крышка гроба и показалось бледное лицо Красинского. На мертвенном лице его живы были лишь глубоко впалые глаза, горевшие как два угля. С кошачьей ловкостью проворно соскочил он на пол, схватил лежавшее на столе перед истуканом кольцо Твардовского и бесшумно выбрался из подземелья в поисках за новым телом, которое дало бы ему возможность безнаказанно совершать новые и новые злодеяния. Как темное облако, неслось по воздуху таинственное и опасное существо, окутанное чем-то вроде дымчатой мантии. Живые не замечали его, конечно, но ночные животные кидались в сторону и бежали при виде вампира.

Полет свой Красинский направлял к замку Бельского. Он знал, что тот вернулся, потому что «граф» побывал в подземелье и сообщил Бифру, что Уриэль и Азима, задержанные делами ордена, придут только через несколько дней; причем весть о смерти Ахама глубоко потрясла его. А направлялся Красинский в замок с целью отобрать у Баалберита им же данное тому тело. В качестве новой «квартиры» тело Бельского оказывалось в данную минуту ближе всего; кроме того, им и легче завладеть, потому что, вследствие сношений с ларвой, Баалберит ослабел и не пустил вообще прочных корней в своем новом теле. Вернулся он, наверно, расстроенный, усталый и спит, а по всем вероятностям выйдет в астрал. Этим его отсутствием Красинский и задумал воспользоваться, чтобы с помощью сатанинской науки и вампирической силы прогнать Баалберита и занять его место. Тогда... – и жестокая, циничная усмешка скривила губы призрака, – несмотря ни на что, он будет по праву обладать Надей, сделавшись ее мужем.

Он беспрепятственно проник в старый замок, все закоулки которого прекрасно знал, проскользнул в комнату Бельского и тихонько приподнял портьеру. Инстинкт привел его прямо к цели. Но вдруг злой дух с хриплым криком отшатнулся, увидав, что не в состоянии подойти к постели, которую окутывала дымка голубоватого света, а над головой трупа парил в воздухе лучезарный крест.

– Проклятие! Игра моя здесь проиграна! – прошептал темный дух, дрожа от бешенства и исчезая через окно.

Но там он столкнулся с таким же черным и плотным, как сам, существом, а два зеленых, фосфоресцировавших, словно у дикого зверя, глаза вперили в него взгляд, дышавший ненавистью и лютой злобой.

– Опоздал, предатель! Не получить тебе этого тела, которое ты собрался похитить у меня, как задумал отнять и многое другое. На этот раз ты сам в дураках! Ха, ха, ха!

Злорадный смех прозвенел в ушах Красинского, но он в свою очередь так же враждебно и насмешливо сказал:

– Я нахожу, Баалберит, что рассудок твой помутился от пребывания в теле благочестивого графа Бельского. Какие же мы были бы *демоны*, если бы нашими поступками руководили великодушие и человеколюбие, а сердца наши не горели завистью, насилием и братоубийственной враждой? Мы оказываем друг другу услуги потому только, что это нам выгодно; отсюда ясно, что чем больше будет *наших* среди живущих, тем мы будем сильнее. Я ведь имел уже тело, так почему же мне было не помочь тебе завладеть телом Бельского? Но раз только тело это может пригодиться мне самому, то, конечно, я не стеснюсь изгнать тебя из него. Никто не мешает тебе проделать то же самое, а с твоим знанием и при помощи братства ты можешь сыскать новую квартиру. Мне же необходимо как можно скорее устроиться; я не могу выносить полную опасностей, жалкую жизнь вампира. Пока до свиданья. Мне пора домой: я чувствую, что слабею. – И с головокружительной быстротой темный силуэт его исчез в пространстве.

Баалберит стоял неподвижно, с бешенством и отчаянием озираясь вокруг. Все это принадлежало ему: и древний, великолепный замок, и молодое, полное жизни тело, и обаятельная женщина, от которой предатель Красинский удалил его, воспользовавшись его временной слабостью и спутав его с ларвой. Кроме того, в этом, захваченном чужом теле, с которым еще не успел освоиться, он потерял большую часть своих оккультных сил; ясновидение и знание притупились, а у него не было времени, чтобы сделаться полным хозяином нового организма и пользоваться всеми прежними способностями... А в сущности, как мало содержательна была эта мрачная и посвященная злу жизнь, с ее постоянной погоней за преступлениями, ради поддержания материальной силы в астральном теле. Кровь, вечно – кровь для того, чтобы влачить ужасную жизнь вампира. Невыразимая горечь охватила Баалберита; впервые за много-много лет в этой потускневшей и загрязненной душе шевельнулось сожаление о далеком прошлом, когда он был ребенком и его благочестивая мать молилась вместе с ним, а он был так спокоен и счастлив... Это был тот момент, когда несокрушимое наследие Отца Небесного, божественная искра заявляла свое присутствие и подсказывала ему, что преступление не дает мира и счастья...

Темный дух отвернулся и как бы растаял в беловатом тумане зари. Тяжело и медленно поднялся он наверх, как вдруг его подхватила холодная волна и повлекла к видневшемуся вдали лесу. Он был теперь не один: другие, черные и отвратительные, подобно ему, тени спешили, гонимые

тем же током к невидимой еще цели, которая, однако, вскоре обозначилась.

Это был бледный и расстроенный юноша, с безумным взором и дрожавшими губами. Стоял он, прислонясь к дереву и платье его было растянуто; от холодного пота волосы прилипли ко лбу, а в сжатой руке блеснул револьвер. Его вплотную окутывало темное облако и вот к этой-то *ауре*, где уже кишели черные отвратительные существа, направился Баалберит с его спутниками. У прозрачных, волновавшихся теней с искаженными лицами одни лишь глаза казались живыми и с алчной жестокостью пристально смотрели на несчастного, еще боровшегося против ужаса самоистребления. Зеленые, синие, красные искры роем витали вокруг его головы, а гадкие твари липли к нему, мучили его, подталкивали и внушали положить конец жизни, ничего будто бы не обещавшей впереди и не имевшей более цены...

Увидав властного демона, мятежная масса подонков невидимого мира раздалась, давая ему дорогу. В эту минуту несчастный поднял оружие; но, прежде чем он успел спустить курок, подле него блеснул широкий луч золотистого света, который окутал его голову и отодвинул дьявольскую свору.

Баалберит знал, что это значило: кто-нибудь, любивший этого человека, горячо молился за него. Теперь слышался вдали церковный колокол, призывавший людей на молитву. Гармоничный, могучий звон привел в движение атмосферные волны и из пространства посыпались серебристые искры.

Этот блестящий дождь пал и на несчастного, отгоняя от него и обращая в бегство окружавшие до того времени зловредные существа. И вдруг в нем произошла необыкновенная перемена. Он стал прислушиваться к дрожавшим в воздухе звукам, которые как будто и его призывали к стопам милосердного Отца вселенной; к горлу его подступали слезы, пистолет вывалился из рук и, упав на колени, он прошептал:

– Помилуй мя, Господи!

Словно сметенные бурным ветром, духи тьмы рассеялись, шипя от бешенства, как змеи. Добыча, уже бывшая почти в их руках, ускользнула, и они направились в другое место, за иными жертвами, новыми убийствами или самоубийствами, чтобы насытиться жизненным флюидом, кровью и разлагавшимися телами, словом, тем, что и составляет пищу этих мерзких тварей...

VI

На утро следующего дня замок Бельского пришел в волнение. Удивляясь, что барин долго не звонит, камердинер вошел в комнату и увидел графа лежавшим замертво и даже похолодевшим. Он поднял на ноги весь дом, приказал разбудить графиню, которая, между прочим, легла только на заре, и послал верхового за доктором. Когда через несколько часов прибыл врач, то мог только засвидетельствовать, что граф, как и мать его, умер от разрыва сердца. Смертельно бледная графиня распорядилась послать за католическим духовенством и заперлась у себя, Надя была окончательно подавлена всем тем, что видела, слышала ранее и читала впоследствии о невидимой для слепых глаз большинства, но тем не менее объемлющей мир области сатанизма, которая зачастую губит человека, если тот не огражден молитвой и покровительством высших существ, называемых нами *святыми*.

В тот же день за вечерним чаем пришло в Горки известие о внезапной смерти Бельского, и Мила помертвела. Она сразу поняла, что попытка отца овладеть телом графа не удалась; какая-то неизвестная причина разбила план страшного чародея, потому что и Бельский умер.

– Что с тобой, Мила? Ведь смерть графа не может так расстроить тебя, – захлопотала госпожа Морель, поспешно доставая из ридикюля успокоительные капли, которые всегда имела при себе. – Ты стала ужасно нервной, бедное дитя мое, с того именно злополучного вечера, когда тебя испугал тот сумасшедший, похожий на Бельского.

Мила ничего не ответила; у нее выступил холодный пот, руки дрожали, и зубы стучали, а в голове зародилась страшная, мучительная мысль, причинявшая ей почти физическую боль.

Машинально выпила она капли и, стараясь побороть волнение, ответила, что весь день чувствовала себя слабой и нервной, но что сейчас ляжет и все пройдет. Она простилась с Екатериной Александровной, но не легла, а пошла к своему ребенку и села у его колыбели, отпустив няню ужинать. Мальчуган не спал; он только что скушал кашку и молоко, а теперь играл множеством шерстяных и резиновых игрушек, набросанных на голубом атласном одеяльце.

Володя Масалитинов был исключительной красоты, совмещающая правильные черты и греческий тип Михаила Дмитриевича с золотистыми густыми локонами матери, обрамлявшими крошечное личико алебастровой

белизны; только губы были кроваво красные. Ему было в то время месяцев семь, но вырос он не по летам. Чудные глазки, большие, зеленоватые, с фосфорическим в темноте блеском, как у кошки, имели страшное выражение. Это не были глаза ребенка его возраста, а взрослого, хитрого и лукавого человека. Несмотря на эти странности, ребенок был восхитительный, особенно в ту минуту, когда он приподнялся в колыбельке и, в своей батистовой рубашечке с широким кружевным воротником, улыбающимся личиком и пухленькими протянутыми ручонками, походил на херувима. Мила не была бы матерью, если бы в эту минуту не забыла все странности, приводившие ее иногда в ужас. Она со страстной нежностью прижала к себе ребенка и целовала. У нее явилось горячее желание защитить это маленькое создание, охранить от козней злодейского существа, которого она называла «отцом», если тот попытается овладеть ребенком, чтобы обеспечить себе жизнь в богатстве и наслаждении; а инстинкт подсказывал ей близость и неизбежность опасности.

Скоро вернулась няня – сильная, молодая, двадцатипятилетняя женщина, – и они вместе стали играть с ребенком, пока тот не заснул.

Мила выходила из комнаты, когда вошла г-жа Морель с только что полученной телеграммой от Масалитинова, извещавшего о своем приезде через день с ночным поездом. Известие это в прежнее время доставило бы ей величайшую радость, теперь же причинило настоящее горе. Муж и ребенок, – самые близкие жертвы, так сказать, приговорены были, может быть, к смерти страшным вампиром.

– Милая тетя, у меня большая просьба к тебе, – сказала Мила, схватив руку г-жи Морель. – Меня мучает предчувствие, что Володе грозит опасность, но я устала, а няня спит обыкновенно как чурбан, и невозможно разбудить ее; так побудь, пожалуйста, эту ночь с ребенком.

– Конечно, если это может успокоить тебя, дитя мое. Я хорошо уснула после обеда, теперь не хочу спать и проведу здесь ночь. Схожу только за работой и книгой.

– Возьми, тетя, Евангелие.

– О! Я начинаю думать, что ты делаешься ханжой, Мила! – и она улыбнулась. – Охотно исполнила бы твое желание, но у меня нет Евангелия.

– Я нашла Евангелие в прежней комнате адмирала. Пойдем, я дам тебе, – ответила Мила, таща ее за собой.

Оставшись затем одна, Мила взяла с туалета портрет матери, долго смотрела на него и вдруг прижала его к губам.

– Мама, мама! Защити меня! – шептала она, рыдая. – Я ведь не

виновата, что мой отец колдун и сама я такая странная. Помоги мне, я очень несчастна! Мишель боится меня и ребенка; я знаю, он едет сюда неохотно, а может быть, предчувствует опасность в этих проклятых Горках. Я уеду отсюда и продам имение, приносящее несчастье!

Долго плакала она и потом уснула от утомления с портретом матери на груди. Вскоре около спавшей появилось легкое туманное облако, быстро принявшее женский облик. Это была прозрачная тень молодой, дивно прекрасной женщины, и золотистые волосы, как сиянием, окружали ее голову. Полным любви и грусти взором смотрела она на спавшую; затем видение склонилось над ней, окутало ее серебристой дымкой, а потом побледнело и растаяло в воздухе.

Г-жа Морель устроилась около колыбели ребенка, который спал спокойно, как и няня, по обыкновению полуодетая, на случай если ребенок проснется. Екатерина Александровна занялась вязаньем, а потом стала перелистывать Евангелие; это было прекрасное издание в красном кожаном переплете и с большим крестом на крышке. Но вот пробил полночь, и ее стала одолевать упорная сонливость. Тщетно боролась она с этим неожиданным стремлением ко сну; члены ее отяжелели, руки опустились на колени, а усилие держать глаза открытыми причиняло почти физическую боль. Почти инстинктивно она схватила Евангелие и положила его на одеяло. Вдруг ей показалось, что у колыбели встала мужская фигура. Человек этот затем отступил, и она узнала смотревшего на нее лучистым взглядом графа Фаркача, который в то же время удивительно походил на ее прежнего жениха, Красинского. Г-жа Морель не могла шевельнуться и, как зачарованная, смотрела на неожиданного посетителя. Вдруг тот отвратительно ослабил, обнажив белые, острые зубы, отвернулся и направился, казалось, к постели няни; но в эту минуту Екатерина Александровна уже лишилась сознания.

Привело ее в чувство ощущение холодной воды и острый запах английской соли; она вздрогнула всем телом от ужаса, какого никогда еще не испытывала, выпрямилась и растерянно огляделась кругом. Посреди комнаты стояла смертельно бледная Мила с плакавшим ребенком на руках, а около няниной постели хлопотали горничная и старая экономка, обе расстроенные.

– Что случилось? – спросила г-жа Морель.

Мила собралась было отвечать, но дрожавшие губы не повиновались; она указала рукою на постель, где за несколько часов перед тем молодая, свежая и сильная женщина лежала теперь белая, как мел, и слабо стонала; в ней не осталось словно ни одной капли крови. Екатерина Александровна

вспомнила, что видела, как Фаркач направлялся к постели няни, и волосы на голове ее зашевелились.

– Боже мой, она умрет до прихода доктора! – с тоской вскричала горничная.

– Ей надо не доктора, а священника. Разве не видите, ее укусил упырь, – и ключница указала рукой небольшую ранку на шее. – По счастью, отец Тимон здесь на ферме причащает пастуха Якова, и я послала за ним.

И старуха начала громко читать отходную молитву. Вскоре пришел священник, а г-жа Морель вышла шатаясь из комнаты с Милой и ребенком; у того сделались конвульсии и он бился на руках матери. Когда с помощью второй горничной мальчика успокоили и уложили в колыбель, перенесенную в комнату матери, Екатерина Александровна рассказала Миле странное, бывшее ей видение.

– Если бы я не видела Фаркача своими глазами, то не поверила бы. Но где может скрываться это чудовище? Недаром зовут его колдуном; в нем действительно было что-то демоническое.

Мила молчала, слишком хорошо понимая происшедшее, и в голове ее кружился целый ураган беспорядочных мыслей. Не возражая, выпила она успокоительные капли, данные г-жой Морель, а потом предложила той отдохнуть после страшных событий, которые и ее расстроили так, что она настоятельно нуждалась в покое. Отдав еще несколько распоряжений относительно умершей няни, тело которой должны были вынести, Мила ушла в свой будуар и заперлась.

Свернувшись на диванчике, Мила старалась успокоиться и понемногу у нее в голове ясно определилась мысль, где найти средство защитить себя от ужасного существа, угрожавшего жизни ее, ребенка и обожаемого мужа.

Да, не только необходимо защитить всех, но еще важнее уничтожить опасного вампира. Мила не была уже невеждой, со времени встречи с отцом, который посвятил ее во многие тайны и достаточно научил латинскому языку, чтобы читать магические книги; а Мила, будучи способной и настойчивой, с жаром училась и успехами своими поразила Красинского. С захватывающим интересом читала она в подземной библиотеке о сомнамбулизме, магии и вампиризме, не подозревая даже, что когда-нибудь знания эти послужат ей орудием защиты. По мере того, как мысли ее сосредоточивались на этом предмете, решение ее все крепло. Она просмотрит специальную книгу о вампиризме и в ней найдет все нужное; надо только ее немедленно найти, а она помнит, в каком шкафу эта книга. Мила знала секрет входа в галерею, проходившую под озером; Красинский

открыл ей эту тайну перед отъездом в Горки, и она решила не откладывая идти в подземную библиотеку.

Она вернулась в спальню, вымыла лицо одной эссенцией, потом выпила оставленные отцом на случай слабости капли и, закутавшись в черный плащ с капюшоном, решительно направилась в комнату, откуда был вход в подземелье. Легко и быстро прошла Мила длинную галерею и скоро достигла подземного помещения Красинского. Все было пусто и безмолвно; между тем кое-где горели лампы, а это указывало, что кому-то нужен свет. Проходя небольшим боковым коридором, она вдруг услышала гнусавый голос, читавший заклинания. На минуту она остановилась в испуге, а потом осторожно пошла вперед и очутилась у затянутой кожаной завесой двери, из-за которой слышался голос. Мила тихонько приподняла край завесы и заглянула внутрь; в ту же минуту ей пахнул в лицо порыв едкого и тошнотворного воздуха. Она вздрогнула. В глубине круглой залы она увидела статую Люцифера, а перед ней на корточках двух карликов: один производил окуривания, а другой читал формулы. Посредине, в открытом гробе лежало под простыней тело отца и лицо его с широко открытыми глазами имело странное, ошеломляющее выражение, а губы казались покрытыми запекшейся, но красной кровью.

«А, так адское отродье находится здесь!» – подумала Мила, в ужасе отступая.

Торопливо побежала она в хорошо знакомую ей рабочую комнату, где в шкафу, за черной завесой, находилось сочинение, которое она однажды держала в руках. Ей не пришлось долго искать. На последней полке лежала огромная книга в черном кожаном переплете; на крышке была вытеснена красная летучая мышь, с человеческим лицом и распущенными крыльями, вцепившаяся в тело нагой женщины с безжизненно опущенной головой. Мила спрятала книгу под плащ и уже медленнее, вследствие тяжелой ноши, пошла обратно.

В будуаре, несмотря на усталость, она немедленно начала читать книгу, которая была очень древней, и скоро совершенно увлекла ее. Перед Милой развернулась поразительная картина, и ее бросило в пот от ужаса при мысли о страшной тайне, которую невидимый мир скрывает от простых смертных. Теперь только она поняла вполне, до какой степени невежественный относительно оккультных законов человек бывает беззащитен и находится во власти окружающих его злых сил. Страшная книга указывала средства для поддержания темного существования трупа, связанного с его преступной душой, способ обессиливать влияние флюида разложения и устранять грозящие вампиру опасности; наконец, говорилось

и о средствах, как уничтожить вампира, а самым верным указывалось – введение в место солнечного сплетения трупа магического кинжала, а за неимением такового – какого-либо оружия, но служившего уже при ночном убийстве.

Окончив чтение, Мила откинулась в кресле и задумалась. Многие из описанных явлений она испытала на себе: ее ночные путешествия, жажда крови, многочисленные случаи смерти вокруг нее... Голова ее кружилась и она вздрагивала от отвращения. Вдруг она выпрямилась и лицо ее вспыхнуло. Ей пришла мысль, что если она уничтожит вампира, то, может быть, оборвет и нить, связывавшую ее с ним, так как он ведь ее отец... Тогда она была бы свободна, могла бы жить спокойно и вести нормальную жизнь; а спасена была бы не одна она, но также и ребенок, прелестное маленькое создание, пугавшее Мишеля, а нередко и ее, с его кошачьими, зелеными, светившимися глазами.

– Разве я сама не вампирическое тоже существо, которое стремится перестать быть им? Небо избрало меня, очевидно, для того, чтобы освободить землю от этого изверга, и я сделаю это до приезда Мишеля. О! Если бы он хоть на один день запоздал. Здесь его жизнь ежедневно будет в опасности; тут стережет вампир, которому нужно не только свежей крови, а *нового* тела, чтобы вновь безнаказанно продолжать свое преступное существование и усеивать свой путь новыми жертвами... Да, я так сделаю, – шептала она.

С каждой минутой решение ее крепло, и она обдумывала подробности, но вдруг вздрогнула при мысли, где найти оружие, нужное для приведения своего плана в исполнение? Она знала, что у Красинского было в изобилии магическое оружие, но книга поучает, что нужно оружие *белой* магии, а такового она не найдет, конечно, у *черного* мага. Вдруг вспомнилось ей, что в одной из ночных бесед, отец рассказывал ей, как он нашел в подземельях замка Бельского пропавшую прабабку Адама, убитую вместе с ее любовником-монахом, и показывал даже кинжал с богатой резной рукояткой, украшенной драгоценными камнями, который он сам вынул из смертельной раны ксендза.

Жестокая и довольная улыбка скользнула по губам Милы: она употребит именно этот кинжал; показывая ей эту ужасную редкость, Красинский не предвидел, конечно, что она послужит к уничтожению его самого. Как только правосудие будет совершено, а дом избавлен от смертельной опасности, она покинет Горки и продаст это злополучное место.

Уже светало, когда Мила закрыла наконец книгу, легла и уснула; от

утомления голова ее кружилась. Проснувшись поздно, она была еще очень слаба и с грустью подумала, что не в силах была бы тотчас привести в исполнение свой замысел. Для благополучного окончания такого рискованного дела ей необходимы все физические и духовные силы; кроме того, весь день был занят неизбежными формальностями по случаю няниной смерти, одно воспоминание о которой приводило в трепет.

Было часов десять вечера, когда Масалитинов прибыл на станцию, где его ожидал экипаж для доставления в Горки. Чтобы не волновать мужа сразу неприятным известием, Мила запретила говорить ему о смерти няни; но тот ничего не спросил у слуги и молча сел в высланную ему по случаю дождя карету. Он был печален и в нервном состоянии; в течение двух недель его мучила непонятная тоска, по ночам у него были кошмары, а необходимость увидеть Милу тоже угнетала его. Вдруг почему-то у него воскресло воспоминание о разговоре Милы с Фаркачем, когда она называла того *отцом*, о чем он раньше со всем забыл. Тут он наталкивался на новую загадку, на новую тайну, такую же непонятную, как и все касавшееся Милы. Чувство похожее на ненависть поднималось в его сердце против женщины, разлучившей с Надей, овладевшей им при столь же трагических, как и непонятных обстоятельствах, а кроме того, внушавшей ему страх и отвращение. Более чем когда-либо, сердце его наполнял образ чистого и прелестного создания, бывшего его невестой; а что и она тоже не совсем забыла его, он прочел в ясных глазах графини во время разговора с ней на бале у Фаркача. Надя потеряна для него, но он мог, по крайней мере, вернуть свою свободу, и в нем быстро созревало решение развестись с Милой во что бы то ни стало. Все эти мысли так поглотили его, что он не обращал внимания на грозу и проливной дождь, хлеставший в окна кареты.

В конюшнях Горок были великолепные запряжки, и пара молодых лошадей резво неслась, несмотря на разбитую дорогу; а кучер был надежный и на него можно было положиться. Они въехали в чащу густого леса, и в тени вековых деревьев стало совершенно темно. Кучер сдержал немного лошадей, как вдруг те бросились в сторону, заржали и стали на дыбы.

Внезапно выведенный из задумчивости Масалитинов выпрямился и, опустив стекло, хотел спросить, что случилось, как вдруг при красноватом свете каретного фонаря увидел высокую черную фигуру человека, который вынырнул точно из бывшего у дороги оврага и, вероятно, прятался за деревом.

– Дайте мне, пожалуйста, местечко в вашем экипаже; гроза застигла меня в лесу, – прокричал в эту минуту знакомый, но заглушенный

страшной бурей голос.

И незнакомец очутился около кареты.

– А! Это вы, Михаил Дмитриевич? Я граф Фаркач.

При этом имени Масалитинову стало неприятно; ему очень хотелось спросить, по какому случаю очутился он в такую непогоду один в лесу; но какая бы ни была причина, она не давала ему права сказать: «Убирайтесь, я не желаю принимать вас в свой экипаж; вы мне неприятны, и я считаю вас колдуном». Из простой вежливости следовало согласиться, и граф был уверен, очевидно, в согласии его, потому что, не ожидая даже ответа, отворил дверцу кареты и легко вскочил в экипаж.

Все время кучер с величайшим трудом сдерживал лошадей, которые бросались и становились на дыбы; но как только захлопнулась дверца, лошади бешено помчались, так что кучер и лакей думали, что они закусили удила. Масалитинова тревожила такая быстрая езда, но он вполне доверял кучеру. Он повернулся к графу, намереваясь выразить удивление по поводу его настоящего положения, но слова застыли в горле, и его ошеломил ужас. Вокруг готовы Фаркача мерцал широкий зеленоватый свет, который озарял бледное лицо, искаженное усмешкой и скалившее зубы. Бледными, словно восковыми руками, Фаркач делал над ним пассы, а он чувствовал такую тяжесть, точно его придавила скала, и ледяной холод сковывал его тело. Потом острая боль защемила сердце, дыхание захватило, и он лишился чувств.

Бешено мчавшиеся лошади вынесли наконец карету из леса, и кучер увидел в темноте неясные силуэты двух скакавших им навстречу всадников. В эту минуту одна из лошадей бросилась в сторону, споткнулась и свалилась в овраг, а другая тоже упала, и только стоявшее у дороги дерево помешало экипажу свалиться в овраг; кучер же и лакей были отброшены силой толчка на несколько шагов.

Всадники успели к месту катастрофы и быстро соскочили на землю; то были Ведринский и адмирал. Первый бросился к карете, а Иван Андреевич старался поднять кричавшего и стонавшего кучера. Но едва Георгий Львович отворил дверцу, как отскочил: из кареты вырвалась черная студенистая масса, задела его, и, обдав ужасным, удушливым трупным запахом, исчезла в темноте. Ведринский осветил электрическим фонарем внутренность кареты и увидел, что Масалитинов замертво лежал на подушках. В эту минуту подошел адмирал.

– Кучер серьезно ранен, – сказал он, помогая вытащить Масалитинова из экипажа.

Иван Андреевич вынул из кармана флакон и кусок полотна, которым

отер лицо и руки Михаила Дмитриевича, а потом дал понюхать из флакона, положил на его грудь крест и произнес несколько формул.

В это время Ведринский помогал уцелевшему лакею поднять лошадь и обрезать постромки, удерживавшие ту лошадь, которая упала в овраг и, по-видимому, сдохла.

– Сам черт забрался в карету и гнал несчастных коней. Никогда ничего подобного не случилось со мной, – говорил лакей, крестясь, а он был сильный и бесстрашный молодец, служивший в солдатах и в одиночку ходивший на медведя.

Глухой возглас Масалитинова, открывшего глаза, заставил Жоржа подойти к нему. Бледный и шатаясь, молодой офицер поднялся.

– Фаркач был в моей карете и хотел убить меня, задушить... не знаю что. Чудовище это было страшно, словно настоящий черт, – проговорил он, отирая струившийся по лицу пот. – Жорж, Иван Андреевич, сам Бог послал вас, – прибавил он. – Только я лучше пойду пешком, а не сяду в этот ужасный экипаж.

В нескольких словах ему объяснили положение. Одна из лошадей убила, а у кучера была сломана нога; кроме того, они уклонились от пути на Горки там, где дороги расходились, и теперь стояли на пути к замку Бельского, чего кучер за темнотой и волнением не заметил.

Буря и дождь прошли. Решили оставить раненого и экипаж под присмотром лакея, пока не пришлют им помощь из соседней деревни. Масалитинова легко было уговорить следовать за друзьями в замок, а Жорж уступил ему своего коня, взяв себе каретную лошадь, и все тронулись в путь. Дорогой адмирал сообщил Масалитинову о смерти Бельского, и того восхитила мысль увидеть Надю снова свободной.

В самый день смерти лже-графа Адама оба библиотекаря объявили свою работу оконченной и просили позволения уехать, что им и было разрешено. В тревоге по случаю смерти хозяина, никто не обратил внимания на отъезд скромных тружеников, а когда через день депеша известила графиню о приезде крестного отца с другом, новость эта также не возбудила ничьего подозрения. Утром, в день приезда Масалитинова, совершилось погребение графа на соседнем кладбище. Грустная и утомленная вернулась молодая вдова в замок, а вечером ее сильно взволновало сообщение адмирала о том, что Манарма предупреждает его о смертельной опасности, грозившей Масалитинову, и приказывает тотчас отправиться ему на помощь.

В большой тревоге ожидала Надя возвращение адмирала и Ведринского, которые к ее удивлению привезли с собой Михаила

Дмитриевича. Увидав бывшего жениха таким расстроенным, она почувствовала сожаление и любезно приняла нежданного гостя. Значит, и он был жертвой адских злодеяний.

Надя тотчас заказала сытный ужин, а в ожидании его адмирал удалился в свою комнату, чтобы отправить письмо своему покровителю. Надя с гостем остались вдвоем, потому что и Ведринский ушел к себе. Наступило тяжелое молчание. Масалитинов не сводил глаз с Нади, которая была прелестна в траурном платье. Молчание прервала она:

– Однако надо бы предупредить Людмилу Вячеславовну о происшедшем: она будет беспокоиться, что вас нет, – сказала Надя не совсем решительно.

Михаил Дмитриевич вздрогнул.

– Вы правы, но вернуться сегодня же в Горки я не в состоянии. Я напишу ей несколько слов, если вы будете добры послать кого-нибудь.

– Ну, конечно. Пройдите в мой будуар и пишите, а я сейчас снаряжу посланного.

Масалитинов написал коротенькую записку, сообщив только о случае с экипажем и умолчав о нападении вампира; а когда Надя выходила из комнаты за посланным, он облокотился о стол и серьезно задумался. Буря кипела в его душе. Он чувствовал себя до того несчастным, что ему казалось невозможным продолжать подобную жизнь.

Порыв ненависти поднимался в нем против овладевшей им женщины и ларвического существа, внушавшего ему страх, или даже ужас. Ни одного часа не бывал он уверен, что не сделается жертвою какого-нибудь из тех адских чудовищ, которые окружали словно Милу.

Нет, нет, надо бежать, отделаться от нее, развестись, или как-нибудь положить конец этой разбитой жалкой жизни; долее терпеть он не может. Вздох, тяжелый, как стон, вырвался из его груди.

Незаметно вернувшаяся в комнату Надя с любовью и сожалением наблюдала за ним, а потом подошла и положила руку на его плечо.

– Не отчаивайтесь, Михаил Дмитриевич, имейте веру, молитесь и надейтесь, что Бог спасет вас и, может быть, освободит из адской ловушки, в которую вы попали.

Масалитинов поднялся и, схватив Надины руки, горячо прижал к своим губам.

– Да, Надя, оба мы – жертвы дьявольской плутни, а так как судьба дала мне неожиданное счастье говорить с вами, то позвольте сказать вам все, чтобы хотя отчасти оправдаться в моем ужасном поведении относительно вас. – Он быстро передал все происшедшее и прибавил. – Все связано

между собой красной нитью; мы попали в сеть, которая нас душит: и ваше непонятное разоренье, и моя странная страсть к игре, так же странно пропавшая, как и появившаяся, потому что никогда, Надя, я игроком не был. Мила вырвала из моих рук пистолет, и я стал ее женихом, буквально с веревкой на шее. А теперь я дошел до той же точки, – я задыхаюсь в этой адской фантазмагории и мне кажется, что я скверно кончу.

– Надо бороться и с помощью Божьей искать спасения, а не предаваться бесплодному отчаянию, – энергично проговорила Надя.

Масалитинов вздрогнул.

– Для борьбы нужна цель, надежда, которая бы манила и поддерживала. Эта надежда для меня – вы, Надя. Если вы можете простить меня и в глубине вашего сердца сохранилось хоть чуточку привязанности ко мне, если я могу надеяться, что, став свободным, вновь обрету вас, Надя, тогда я буду бороться, я сделаю все на свете, чтобы избавиться от чудовища, полуженщины, полувампира, которая как клещ вцепилась в меня и высасывает жизнь. Если нет, я положу конец ужасному существованию, когда жена и даже ребенок внушают мне непреодолимый ужас, когда я не понимаю ничего происходящего вокруг меня. Кто эти отвратительные существа, появляющиеся из мрака и преследующие меня; кто эта дочь Фаркача, вырвавшаяся из ада на мою погибель? Спаси меня, Надя, спаси от меня самого; не то я сойду с ума, или покончу с собой; легче и приятнее умереть от пистолетной пули, чем от зубов вампира.

Возбуждение его росло, он был бледен и все тело дрожало, как в лихорадке, а в блуждавших и горевших глазах было действительно что-то безумное. Испуганная и взволнованная Надя подвела его к дивану и усадила. Глубокая, внушаемая им раньше и не совсем угасшая любовь оживала в ней при виде страданий любимого человека. Тихо, точно говоря с больным ребенком, пожалала она его руку.

– Успокойтесь, Мишель, я давно простила вас. Ну же, не волнуйтесь! Я люблю вас, а если вы будете снова свободны, Бог пошлет нам может быть счастье и заставит забыть этот ужасный кошмар.

Масалитинов опустился на пол, положил голову на колени Нади и судорожно зарыдал. Он весь дрожал и страшное нападение вампира окончательно расстроило его больные нервы. Надя забыла все; подняв склоненную голову прежнего жениха, она поцеловала его пылавший лоб.

– Миша, Миша опомнись. Я люблю тебя, буду молиться за тебя и вызову могущественного покровителя моего крестного. Он – добрый и сильный, – спасет тебя.

Михаил Дмитриевич привлек ее к себе и, с глубокой благодарностью

во взоре, поцеловал в дрожавшие губы. В эту минуту огромная ньюфаундлендская собака Бельского, очень привязавшаяся к Наде и теперь спавшая на ковре, внезапно вскочила на ноги и, оцетинившись, повернулась с глухим ворчанием к окну. Надя и Масалитинов также обернулись и остолбенели.

Около окна колыхалось желтоватое дымное облако, а посредине его блестела пара зеленых глаз, пристально глядевших на успевших прийти в себя Масалитинова и Надю, которая вскрикнула и закрыла лицо руками, а Михаил Дмитриевич вздрогнул и побледнел.

– Это глаза Милы! – вдруг хриплым голосом вскрикнул он и, схватившись руками за голову, сделал несколько шагов к двери, а потом зашатался и рухнул на ковер.

Надя позвонила и бросилась к нему. Облако исчезло.

Сбежалась прислуга, а затем пришли адмирал и Ведринский. Михаилу Дмитриевичу оказали необходимую помощь, и, когда он открыл глаза, его перенесли в отведенную ему комнату, где Георгий Львович уложил своего друга, впавшего теперь в мертвенную апатию, и остался с ним.

Крестному Надя передала с глаза на глаз о видении двух зеленых глаз; она тоже ясно видела их, что исключало всякое предположение о галлюцинации, возможной при общем возбужденном состоянии Масалитинова. Слушая ее, Иван Андреевич покачал головой.

– Дай Бог, чтобы бедный Михаил Дмитриевич благополучно пережил это страшное приключение. О! Когда нам приходится бороться с злобной силой тьмы и ее служителей, только тогда и сознаем мы вполне всю свою слабость и невежество.

– Крестный! Упроси доброго Манарму помочь Мишелю и спасти его, – проговорила Надя со слезами на глазах.

– Это уже сделано, дитя мое, и сегодняшнее приключение, вырвавшее несчастного из когтей вампира, указывает, что я не напрасно просил его.

VII

Пока описанное происходило в замке Бельского, Мила проводила в Горках тяжелый вечер. Приезд мужа теперь был ей не кстати, потому что именно в эту ночь она хотела уничтожить вампира, воображая этим спасти Мишеля и сына от козней страшного колдуна, а себе вернуть личную свободу. Когда около одиннадцати часов экипаж не вернулся, она стала беспокоиться. Сидя в будуаре, она тоскливо прислушивалась к каждому шуму, а потом уже истомленная волнениями последних дней, уснула и, без сомнения, впала в каталепсию, так как тело ее окаменело и приняло вид трупа.

Когда она вновь открыла глаза, то в них и на лице ее появилось выражение бешенства и отчаяния. Она отчетливо помнила, что была в замке Бельского и видела Мишеля на коленях перед Надей, а они обменивались словами любви и поцелуями.

– Ах, негодный! Ты поехал к ней, а не ко мне, к своей жене! И ты хочешь развестись со мной? Нет, нет, ты мой и моим останешься. А за час же этот, предатели, вы оба дорого заплатите мне!

Она сжала голову руками, а потом решительно встала, бледная, как призрак, и с пылавшими злобой глазами.

– Но прежде я уничтожу тебя, – чудовище, сделавшее меня орудием своих гнусных преступлений и пугалом для любимого человека.

Она взглянула на часы: до полуночи оставалось двадцать минут, – именно то время какое ей было нужно. Поспешно накинула она поверх батистового пеньюара черный бархатный плащ, на белой шелковой подкладке и с капюшоном, так как в подземелье было холодно и сыро.

Затем она тихонько приотворила дверь детской и увидела, что г-жа Морель читает около колыбели. Успокоившись, она прошла в библиотеку, зажгла электрический фонарь и решительно спустилась в подземелье.

Зловещая тишина стояла в обширной галерее, нарушаемая порывистым дыханием и шелестом шелковых юбок Милы. Но ею овладела злобная решительность; она почти бегом пролетели галерею и вступила в кабинета Красинского. Дрожавшей рукой открыла она ящик стола, где находился ключ от потайного шкафа, куда отец прятал свои самые драгоценные инструменты. Несколько минут спустя, в руках ее была продолговатая шкатулка, где находился знаменитый кинжал, завернутый в лоскуты бархата. Мила достала оружие и осмотрела клинок, покрытый

буро-красными пятнами.

– Роковое оружие! Второй раз послужишь ты для уничтожения изменника! – подумала она с жестокой усмешкой и спрятала кинжал под плащ.

Затем она взяла на полочке флакон с наркотическим средством, которое давал ей раньше Красинский, чтобы поливать ковер в комнате г-жи Морель. Флакон она положила в карман и потом тихонько подкралась к комнате, где лежал труп и откуда доносились гнусавые голоса карликов. Осторожно приподняв один угол завесы, Мила выплеснула из флакона в комнату, а потом, вся дрожа, забилась в нишу и стала ждать. Через минуту голоса стали слабее и наконец совсем умолкли. Мила закрыла нос и рот смоченным платком и вошла. Карлики спали, склонившись на толстую книгу. Но в этот миг сильным порывом ветра ее отбросило к двери, и она прислонилась к стене, почти задыхаясь от страшной трупной вони; но каков был ее ужас, когда она увидела, что из открытого гроба поднимается большая черная тень и медленно сгущается, принимая образ ее отца. Лицо его было отвратительно, а мутные и точно налитые кровью глаза ничего, казалось, не видели; тяжело, но быстро пронесся вампир мимо, почти коснувшись ее, а затем исчез во тьме коридора.

– Проклятие, я пришла слишком поздно, – молнией пронеслось в голове Милы, но тотчас вспомнила она, что труп-то именно и следовало уничтожить, чтобы отнять у злого духа его телесное убежище.

Быстро очутилась она около открытого гроба, с чувством ужаса и любопытства нагнувшись над распростертым телом. Стекланные глаза трупа были открыты, рот также, точно ему не доставало воздуха; откинутый саван обнажал грудь, а на пальце левой руки сверкал и искрился таинственный перстень Твардовского. Мила отвернулась от ужасного лица и смотрела на талисман, который постоянно носил Красинский, а сила его была ей известна. У нее явилось страстное желание овладеть кольцом, которое, несомненно, даст ей власть над Мишелем и поможет уничтожить Надю. Она проворно сняла с почерневшего пальца кольцо и надела себе, а затем решительно подняла кинжал и всадила его по рукоять во впадину желудка... В тот же миг загредел точно пушечный выстрел, и стены подземелья дрогнули от этого удара, а из раны брызнула черная, зловонная кровь и обдала Милу с головы до ног; но она едва обратила на это внимание, потому что последовавшее за сим привело ее в ужас и волосы зашевелились на голове. Все вокруг рушилось, шандалы полетели прочь и свечи потухли, а гроб трещал, точно разваливались его доски; все вертелось и свистало, как во время сильной грозы. В то же время со всех

сторон появлялись омерзительные существа, полулюди, полуживотные, скопище крыс, волков, громадных жаб, и вся эта свора окружила Милу, собираясь словно броситься на нее, а черные когти уже тянулись к ней, чтобы схватить ее.

Почти инстинктивно подняла она руку с кольцом, – камнем в сторону адских тварей, – и те с ревом отступили. Но отчаяние придало ей силы, и Мила воспользовалась этим моментом, чтобы кинуться к двери, и опрометью бросилась к себе. Едва успела она вбежать в длинную галерею, как услышала за собою сначала раздирающие душу крики, а потом топот и дикий рев дьявольской ватаги, кинувшейся за ней в погоню. И снова, побуждаемая словно чьим-то внушением, она положила руку с кольцом на левое плечо, камнем в сторону преследователей, которых таинственная сила кольца держала на некотором расстоянии. Судорожно прижав к груди электрический фонарь и обливаясь холодным потом, она уж не бежала, а летела, и только вспорхнув по лестнице наверх заметила, что рев становился тише и наконец со всем заглох вдали.

Мила выбилась из сил; она тяжело дышала, в висках стучало, а перед глазами вертелись красные круги. Стрелой пронеслась она по библиотеке и только в будуаре почти в обмороке упала на кресло. С минуту Мила сидела неподвижно, прижав руки к груди, но она была слишком возбуждена и не могла быть совершенно спокойной. С жгучей, болезненной тоской живо вернулось к ней воспоминание о ребенке. Она видела, что вампир вышел из гроба... А если он успел совершить новое преступление? Мила выпрямилась и, случайно взглянув на себя в большое зеркало, ужаснулась. Неужели это она – то глядевшее на нее привидение с искаженным и смертельно бледным лицом, окруженным, как голова Медузы, гривой рыжих волос, распустившихся во время ее безумного бега. А черные пятна, липкие, с трупным запахом, это – кровь ее отца... Отца, который был из тех таинственных, смертоносных существ, таящихся в невидимом мире. С новым страхом вспомнила она о сыне и, вся дрожа, бросилась в детскую и там, как пораженная громом, остановилась на пороге.

Около колыбели, на ковре, лежала без чувств г-жа Морель, а на постельке сидел проснувшийся мальчик и смотрел на нее своими большими зеленоватыми глазами с насмешливым и совершенно не детским выражением. Мила подбежала и со страхом стала жадно вглядываться в ребенка, но почти в тот же миг откинулась: в лицо ей пахнул трупный запах...

Все существо молодой женщины кипело; ей показалось, что злой и глумливый взгляд, устремленный на нее, – не сына ее, а взгляд

Красинского. Теперь ею овладело бешенство. Как?... Значит чудовищу удалось-таки завладеть этим телом, чтобы обеспечить себе вновь богатую жизнь и безнаказанно совершать бесчисленные преступления?...

– Нет, – шептала она, не в силах более владеть собой, – этим новым аватаром я не дам тебе наслаждаться. Ты изгнал душу моего ребенка, а я изгоню тебя из его похищенного тела...

С налитыми кровью глазами и пеной у рта схватила она ребенка за горло и стала душить. Завязалась страшная борьба. Крошечное создание отбивалось с геркулесовой силой, но тщетно: тонкие, гибкие пальцы Милы давили, словно железные клещи. Она не слышала раздирающего душу крика камеристки, силившейся ото рвать у нее жертву; не замечала она также шума и возгласов сбежавшейся прислуги, в немом ужасе смотревшей на нее; только после того, как ребенок посинел и замер с искаженным лицом, руки ее опустились, а она, задыхаясь и еле переводя дух, прислонилась к высокой спинке кресла. Мутным взором и дрожа, как в лихорадке, Мила казалось, ничего не видела, но вдруг у нее явилось ощущение, будто ледяные руки с острыми когтями схватили ее и тянут к двери.

Онемевшая от страха прислуга видела затем, что она странно как-то отбивалась, пятась вышла из комнаты, цепляясь за портьеры и сопротивляясь будто кому-то, тянувшему ее.

Все прибавляя шаг, прошла Мила несколько комнат, дошла до террасы и спустилась с лестницы. Самые смелые из слуг, – лакей и камеристка, – побежали за ней, а выйдя на лестницу, увидели, как молодая женщина одним прыжком бросилась в озеро и исчезла под водой, точно мешок с камнем.

В несколько минут весь дом был на ногах. Обезумевшие люди бегали и кричали, размахивая руками, а потом несколько человек в лодке, с факелами и фонарями, обыскали баграми озеро; но все было напрасно. Они проработали несколько часов, а тела не нашли, и дальнейшие поиски пришлось оставить до следующего дня.

Тем временем привели в чувство г-жу Морель. Расстроенная и бледная, с блуждавшим как у безумной взором, слушала Екатерина Александровна несвязные рассказы слуг. При виде изуродованного тела ребенка с ней сделался второй обморок, а когда она очнулась, ее облегчили слезы. Одно понимала она ясно из этого невероятного происшествия, а именно: что вновь разыгралась таинственная драма, связанная смертью Милы в водах ужасного озера с той, которая погубила и ее мать.

Прибытие посланного с письмом Мишеля к Миле вернуло ее к

действительности. В кратких словах описала она Масалитинову происшедшие события, призывая его как можно скорее для необходимых распоряжений.

Было около семи часов утра, когда нарочный вернулся в замок Бельского. Михаил Дмитриевич еще спал, а Ведринский и адмирал, привыкшие рано вставать, уже пили чай на террасе. Им-то и вручил посланный письмо г-жи Морель и передал ужасные события в Горках.

– Бедная барыня верно с ума сошла, если решилась задушить собственного ребенка, – закончил он свой рассказ.

Иван Андреевич и Георгий Львович были ошеломлены, слушая все это, и решили немедленно ехать с Масалитиновым, чтобы помочь ему и поддержать в тяжелые предстоявшие ему дни. Пока они рассуждали еще по этому поводу, вошла Надя, бледная и расстроенная. Она уже слышала о происшедшем и очень встревожилась за Масалитинова, но ее несколько успокоило, что крестный поедет с ним.

Адмирал сам пошел будить Михаила Дмитриевича и передал письмо г-жи Морель, а потом настоятельно убеждал успокоиться, ввиду необходимости его присутствия в Горках, чтобы принять все меры, какие потребуются вследствие двух смертей.

Молча оделся мрачный Михаил Дмитриевич и сошел в столовую. Пока запрягали лошадей, он выпил стакан чая, а потом, пользуясь отсутствием адмирала, ушедшего с Ведринским уложить некоторые вещи, увел Надю в ее будуар. Наедине с ней он прижал ее к себе и прошептал взволнованно: – Молись за меня, Надя, и не забывай, если я погибну ужасной смертью в этом проклятом гнезде. А теперь повтори, что ты всецело простила меня.

Надя со слезами ответила на его поцелуй.

– Как мог ты подумать, что я все еще сержусь, видя тебя таким несчастным! Ты не погибнешь, Господь не допустит этого, и крестный уверил меня, что Манарма охраняет тебя. Только молись и будь тверд, дорогой мой; ты будешь бороться с помощью Отца небесного за наше счастье и будущее.

С любовью и признательностью поцеловал Масалитинов руку Нади. Потом они вернулись в залу, а минут через десять экипаж увозил их в Горки.

Стоял пасмурный, но жаркий день; небо было покрыто темными тучами, и гроза слышалась уже как будто в отдалении, а густой туман покрывал беловатым саваном озеро, совершенно скрывая остров.

В зале, где когда-то стояло тело Маруси, лежал теперь ее несчастный внук. Ребенка одели в кружевное платье, а синее и искаженное личико

прикрыли густым газом. Ключница положила на грудь трупа большой образ Спасителя, а вокруг него образовались груды цветов. Однако, несмотря на сильный запах роз, жасминов, тубероз и других тепличных растений, трупный запах был удушлив, и тело необыкновенно быстро разлагалось.

По прибытии своем Масалитинов отправился прямо к залу, но так взволновался при виде изуродованного тела сына, что почти лишился чувств, и Ведринский должен был поддержать его, а потом вывести из комнаты.

Встреча с г-жой Морель была тоже тяжелой. Екатерина Александровна постарела лет на двадцать и не переставала плакать; ее убивала потеря Милы, которую она воспитала и любила, как собственного ребенка; сознание, что она погибла так ужасно и странно, что даже тела ее не нашли, довершало ее отчаяние.

Новой пыткой для Масалитинова явилось прибытие станового пристава, составившего протокол по показаниям свидетелей, и при котором он должен был присутствовать.

Горничная Маша показала, что не ложилась, ожидая приезда барина. Случайно увидела она, как барыня вышла из будуара и направилась в пустые в то время комнаты для гостей. Удивившись, что та накинула черный плащ и взяла электрический фонарь, она из любопытства пошла за ней и увидела, что барыня вошла в кладовую мебели. Маша испугалась и спряталась, ожидая возвращения Людмилы Вячеславовны. Спустя некоторое время, сколько именно определить не может, она услышала точно удар грома или сильный взрыв; ей казалось даже, что дом вот-вот развалится, а потом раздались крики и рычания; через несколько минут появилась Людмила Вячеславовна и казалась безумной: волосы были растрепаны и вся она забрызгана кровью. Стрелой промчалась она прямо в будуар, а Маша так испугалась, что на несколько времени оцепенела; когда же она вошла в детскую, то барыня уже душила ребенка, а она тщетно пыталась вырвать у нее мальчика. Остальные слуги единогласно описали конец сцены убийства ребенка, и как затем барыня, пятясь, выходила из комнаты, кричала, отбивалась, цеплялась за мебель и портьеры, точно кто насильно тянул ее. Побежавшие же за Милой показали, что она стремительно бросилась в озеро. Екатерина Александровна заявила, что упала в обморок, услышав взрыв, и ничего более не знает; по отъезде же пристава она рассказала Масалитинову, что читала около колыбели, как вдруг почувствовала порыв холодного воздуха и увидела графа Фаркача, склонившегося над ребенком. В ужасе воскликнула она: «Господи Иисусе!»

Тогда граф бросился на нее, намереваясь задушить, и тут она увидела, будто это не Фаркач, а ее прежний жених Красинский. Но она чувствовала на шее ледяные пальцы. Вдруг стены дрогнули, точно от удара грома, огненное облако окружило Красинского, подняло на воздух, и он, перекувыркнувшись, исчез. Больше она ничего уже не помнила вследствие наступившего обморока.

Погода все более и более портилась; шел проливной дождь, ветер свистал, вздымая пенившиеся воды озера, и дальнейшие поиски тела Милы были невозможны. После обеда, к которому Масалитинов, между прочим, не притронулся, он занялся необходимыми приготовлениями к погребению и разбирал с управляющим неотложные дела. Тем временем адмирал с Ведринским осматривали комнаты Милы и нашли знаменитую книгу, открытую на странице, где говорилось об уничтожении тела вампира.

– А! Несчастливая знала несомненно, где находилось тело, и хотела отделаться от чудовища, – заметил адмирал. – Бог знает, что случилось с ней в подземелье, откуда она вырвалась растерзанная и в крови. Если не боишься, Георгий Львович, пойдем со мною. Я хочу осмотреть сатанинское гнездо и взглянуть, удалось ли ей уничтожить вампира.

Ведринский возмущился предположением о трусости. Надев затем нагрудные магические знаки, данные им Манармой, оба они, вооружившись крестами, спустились в подземелье. Там все было пусто и безмолвно. Скоро нашли они и погребальную комнату, откуда шел удушливый трупный запах. Ужасная картина представилась им. Посреди опрокинутых подсвечников и разорванных листов книги валялись изувеченные, изрубленные словно тела карликов. В трупе Красинского торчал вонзенный по рукоятку нож, а на груди его сидела огромная черная кошка; оцетинив хвост, она, ворча, смотрела на вошедших.

– На этот раз он действительно умер, – произнес Иван Андреевич, подняв крест и произнося формулы.

И оба, пятясь, вышли из комнаты.

Вечером, после панихиды, Масалитинов ушел в бывший кабинет Замятина, чтобы провести там ночь; ни за что на свете не вошел бы он в спальню. Спать однако ему не хотелось и, сидя в большом кресле у стола, куда ему подали бутылку холодного шампанского, он размышлял, стараясь радужными мечтами о будущем разогнать щемившую его душу болезненную тоску. Буря на дворе усиливалась, гром и молния не прекращались, ветер выл в трубах; мысли Михаила Дмитриевича путались от этого шума и не давали сосредоточиться на образе Нади, который он вызывал на свою защиту.

Пробило полночь, как вдруг он услышал шаги в смежной комнате, будто кто медленно приближался, таща какую-то тяжесть. Он выпрямился, удивленный и встревоженный; но сердце его перестало биться и он точно прикованный к стулу смотрел на дверь: прозрачная рука приподняла портьеру. В черном плаще и окутанная словно мантией золотистых распущенных волос приближалась Мила; с волос ее и одежды струилась вода, а на неподвижном, каменном лице зловеще сверкали ее большие, изумрудные глаза. В ужасе смотрел на нее Масалитинов, не будучи в состоянии понять: живой ли человек, или призрак приближается к нему; но он чувствовал себя парализованным и не способным двинуть рукой, чтобы нажать электрическую кнопку. Теперь она почти касалась его и, склонившись над ним, прошептала синими губами:

– Ты хочешь развестись со мной, изменник? Не надейся на это! Ты – мой и останешься моим!

В это время лицо ее, ошеломлявшее своей зловещей красотой, касалось его; зеленые глаза смотрели в его глаза со злобой и насмешкой, а руки обвивали его шею.

– Господи Иисусе, прими душу мою, – молнией пронеслось в мозгу Масалитинова, который чувствовал, что слабеет, и жизнь отлетает от него.

Но в ту же минуту между ним и призраком появился золотистый крест, а около кресла выросла высокая, окруженная снопами лучей, фигура человека в белом. Мила отступила с глухим рычанием. Из поднятой руки незнакомца шла светлая, отстранявшая призрак полоса, которая точно приподняла его и вышвырнула из комнаты. Освободившись словно от давившей его каменной скалы, Масалитинов встал, схватился руками за голову и с криком упал на ковер. На шум падения прибежал лакей; позвали адмирала и оказали Масалитинову необходимую помощь. Но прошло много времени в напрасных усилиях оживить его и уже светало, когда он открыл наконец глаза. Он был слаб и разбит, точно после долгой болезни. Иван Андреевич дал ему наркотических капель, и он уснул тяжелым, беспокойным сном.

Измученные и усталые, Ведринский с адмиралом сидели за завтраком, когда вбежал перепуганный слуга и объявил, что садовник нашел тело барыни.

– Где? Из озера выловили? – спросил Ведринский, отставляя чашку и вставая, вместе с адмиралом.

– Нет, – ответил дрожавший, как в лихорадке, лакей. – Барыня лежит на лестнице, ведущей к озеру.

– Невозможно! – воскликнул Георгий Львович, бросаясь к указанному

месту.

Внизу лестницы и на террасе уже собрались бледные и онемевшие все слуги дома. Взоры всех были устремлены на распростертое, ступеней на десять ниже террасы, тело с запрокинутой головой и вытянутыми руками. Положение тела производило впечатление, как будто Мила хотела спуститься с лестницы и упала в обморок. Кружевной пеньюар был разорван, запачкан тиной, покрыт кровавыми пятнами, и с него струилась вода; на посиневшем и вздутом лице застыло словно выражение страдания и гнева; но она и мертвой все же оставалась красавицей. Взволнованные и опечаленные, Ведринский и адмирал склонились над трупом несчастной жертвы страшных законов, которые преступный отец ее дерзнул нарушать.

С большим трудом удалось Ивану Андреевичу убедить слуг перенести покойную в дом. Те боялись трупа, который, по их словам, только черт мог принести сюда, и только когда увидели, что господа приподняли его, некоторые устыдились и подошли помочь им. Такие же тяжелые сцены повторились в спальне Милы. Служанки отказались обмыть и одеть покойницу, и только ключница взялась за это печальное дело; при этом она открыла на трупе молодой женщины такие же черные пятна, какие видела раньше на теле Маруси. На г-жу Морель смерть Милы произвела ошеломляющее впечатление. Сначала она так отчаянно рыдала и вопила, что походила на безумную; потом она впала в апатию, из которой выходила только для того, чтобы кричать, что хочет уехать из Го – рок, – этого проклятого места, где погибает все любимое ею.

Масалитинов проснулся поздно, расстроенный и видимо больной; известие, что тело Милы нашли на лестнице террасы произвело на него тягостное впечатление. Он тоже объявил, что не останется ни за что в Горках и ночь проведет в церковном доме до похорон, назначенных через день, а затем поместится где-нибудь в окрестностях, пока не приведет в порядок необходимые дела.

Днем Георгий Львович верхом отправился в замок Бельского, чтобы сообщить Наде о происшедшем, а графиня поручила ему передать Масалитинову и г-же Морель предложение поселиться у нее до тех пор, пока они не определят свое будущее местопребывание. Но вечером, за первой панихидой, у г-жи Морель был такой приступ отчаяния, что стали опасаться за ее рассудок и решили немедленно перевезти ее к Наде, пригласив врача.

Погребение Милы и ребенка ознаменовалось неприятным случаем. Одна из свечей упала из подсвечника и воспламенила платье покойницы; с трудом потушили небольшой пожар и переодели тело.

Прямо с кладбища Масалитинов отправился в замок Бельского. Надя приняла его дружески и с опасением заметила, что у него очень дурной вид. Она сообщила ему о болезни г-жи Морель, которую доктор велел уложить в постель. Та бредила, и ей представлялись то Мила, то Красинский, от которых она отбивалась и кричала. Из города уже выписали сестру милосердия. Доктор был еще в замке и собирался уехать только вечером. Но во время обеда Михаил Дмитриевич неожиданно упал в обморок и, осмотрев его, врач заявил, что начинается, по-видимому, в тяжелой форме нервная горячка. Действительно, болезнь усиливалась с невероятной быстротой, и три недели жизнь Масалитинова буквально была на волоске.

Обессилев от хлопот вокруг двух борющихся со смертью больных, Надя телеграфировала матери, умоляя приехать помочь ей, а также и ради соблюдения приличия. Зоя Иосифовна не замедлила приехать и, с присущей ей добротой, ухаживала за обоими больными, не питая против них злобы за прошедшее.

Однако относительно г-жи Морель все заботы оказались напрасными и апоплексический удар унес ее в могилу. Ровно через три недели после смерти Милы она соединилась в ином мире с той, кого любила, как родную дочь.

Что касается Масалитинова, то его молодой и сильный организм победил болезнь, но доктор сказал, что выздоровление пойдет медленно.

Как только Михаил Дмитриевич оказался вне опасности, Надя уехала в Киев, где надо было свести денежные счета с наследником графа Адама, – бедным пехотным офицером, служившим на границе и принадлежавшим к младшей, боковой ветви графов Бельских.

Прошло месяца четыре, и все это время Надя с Масалитиновым были заняты приведением в порядок своих дел. Граф Адам, вполне уверенный, что переживет молодую жену, прекрасно выставил себя, назначив Наде миллион рублей. Такое великодушие ничего не стоило ему, так как он не сомневался в словах Фаркача, что жена не протянет более трех лет, а свой «великодушный» дар он получит таким образом обратно.

Но судьба решила иначе; а наследник Бельского, славный, скромный юноша, совершенно подавленный и ослепленный неожиданно выпавшим ему громадным наследством, и не подумал оспаривать у молодой вдовы троюродного брата того, что ей дал муж. Итак, все устроилось миролюбиво, и новый граф Бельский сделался частым гостем в доме Зои Иосифовны.

Как только состояние здоровья позволило, Михаил Дмитриевич

поспешил уехать в Киев, потому что даже самая близость Горок была ему невыносима. По завещанию Милы, муж являлся ее единственным наследником, но он ни за что не хотел поселиться в доме, где проживал с Милой, и очень выгодно продал его еврею банкиру, женившему сына. Михаил Дмитриевич чувствовал себя счастливым, а душа его, как и тело, мало-помалу возрождались. Он вышел в отставку, так как физические и нравственные потрясения совершенно расстроили его организм, и ему предписан был продолжительный отдых. Он был обручен с Надей, но это оставалось в тайне до конца официального траура обоих. Теперь он иначе смотрел на свое счастье, и в душе его произошел полный переворот. Он не был уже прежним, самонадеянным «скептиком», потому что видел и ощущал «невидимое», а страшные силы иного мира едва не убили его. Он сделался верующим, с умилением благодаря Бога за свое спасение и за дарованное ему новое счастье. Врачи определили, что для окончательного выздоровления Михаил Дмитриевич должен проводить зимние месяцы на юге, и решено было поселиться в окрестностях Генуи, куда отвезут его адмирал и Георгий Львович, отправляющиеся затем снова в Индию.

Иван Андреевич и его молодой спутник не покидали своих друзей и деятельно помогали Наде с женихом разбираться в делах. В особенности Масалитинов, по слабости и болезненному состоянию, нуждался в поддержке и помощи в хлопотах по наследству жены. Теперь молодой человек страстно хотел отделаться от Горок до своего отъезда за границу, а Иван Андреевич обещал ему, когда представится случай, показать покупщику имение и сделать запродажную. Одно воспоминание о Горках приводило Михаила Дмитриевича в дрожь, и он с лихорадочным нетерпением ожидал минуты, когда перестанет быть собственником этого проклятого места.

А он еще не знал, что зловещие явления не прекращались. Адмирал скрыл от него письмо отца Тимона, сообщавшего, что не только разбежались все оставшиеся в Горках слуги, но даже крестьяне волнуются, настаивая, чтобы вырыли с кладбища тело Милы и закопали «ведьму» где-нибудь в другом месте. Дело в том, что многие лица и даже сам священник ясно видели Милу, как живую; она сидела на своей могиле, плакала и ломала руки. Иной раз она носилась по всему кладбищу, преследуемая убитым ею мальчиком, а затем оба исчезали в каком-то пылавшем костре. Словом, случаи появления призрака были многочисленны и разнообразны; в господском доме, например, видели Милу в сопровождении черного рогатого человека, а в бывшей детской слышались по ночам крики, стоны и шум борьбы.

Ввиду всех этих историй, понятно, как счастлив был адмирал, когда однажды утром доложили Масалитинову о прибытии господина, желавшего купить Горки. На визитной карточке стояло имя Оскар ван дер Хольм.^[11]

Когда Михаил Дмитриевич вошел с адмиралом в кабинет, куда провели покупателя, и тот раскланялся с ними, Иван Андреевич вздрогнул и пристально взглянул на того.

Это был человек около сорока лет, худой и хорошо сложенный, с красивым и правильным, но бледно-восковым лицом; в бесцветных губах и больших темных глазах было странное и неопределенное выражение. Переговоры окончились невероятно быстро. Господин ван дер Хольм заявил, что знает имение, так как много лет тому назад был в нем у бывшего владельца Изотова, которого хорошо знал по Италии. Он не торговался и сказал, что уплатит наличными деньгами условленную сумму при подписании контракта.

Масалитинов был в восторге, но тем не менее считал своей обязанностью сказать, что Горки пользуются дурной славой и считаются «нечистым» местом ван дер Хольм рассмеялся и заметил, что знает об этом; но, будучи убежденным скептиком, смеется над такой нелепостью и, конечно, страх «привидений» не остановит его от покупки поместья, которое ему чрезвычайно нравится.

Вечером Надя, Масалитинов и Иван Андреевич с Ведринским сидели и беседовали. Видя, что адмирал мрачен и озабочен, Михаил Дмитриевич спросил, что его так беспокоит.

– Продажа Горок, – ответил тот.

– Как?! Неужели вы сожалеете об утрате этого очаровательного места, или вам жаль покупателя? – смеясь, спросил Михаил Дмитриевич.

– Нет, другое беспокоит меня. Видите ли, господа, покупатель, несомненно, – *сатанист* высшего разряда, и талисман Манармы, который я ношу на шее, предупредит меня о свойствах этого господина. Конечно, он покупает Горки для своей дьявольской общины, желающей сохранить за собой обладание подземельями. Во время нашего разговора у меня внезапно явилось убеждение, что борьба наша не кончена. Мы только что видели, как завершилась трагедия дочери колдуна, а внутренний голос подсказывает мне, что нам придется еще разбираться в этом наследстве.

– Но пусть будет и так, – заметил Масалитинов. – С верой в Бога и при помощи ваших учителей, чего нам бояться?

– Конечно, если понадобится, мы смело примемся снова за неблагодарный труд открывать глаза людям, упорно не желающим понять,

что их окружает темное воинство сатанизма, которого они касаются весьма часто, по неведению или легкомыслию, и зачастую гибнут, не подозревая опасности...

Конец

Виши, 1910 г.

notes

Примечания

1

Религия гласит: уверуйте и вы поймете. Наука говорит вам: поймите и вы уверуете. ` Ж. де Местр.

2

Летний полевой бал.

3

В Индии так называется земное воплощение духа, чаще всего воплощение бога Вишну.

4

Автор сочинений: «Книга духов», «Небо и ад», «Евангелие по спиритизму» и др.

5

Злобный дух, уничтожающий одержимого им субъекта.

6

Облатка – причастие у католиков.

7

Надгробные памятники в Бретани друидической эпохи.

8

Умирает человек надолго, а дураком остается навсегда (*фр.*).

9

Lermina. – «Magie pratique», p. 202

10

Где нет ничего, там и король бессилён (*фр.*).

11

Подробное описание этой личности находится в романе «В царстве Тьмы».

Table of Contents

[Вера Ивановна Крыжановская-Рочестер Дочь колдуна](#)

[Часть первая](#)

[I](#)

[II](#)

[III](#)

[IV](#)

[V](#)

[VI](#)

[VII](#)

[VIII](#)

[IX](#)

[XI](#)

[XII](#)

[XIII](#)

[XIV](#)

[XV](#)

[XVI](#)

[XVII](#)

[XVIII](#)

[Часть вторая](#)

[I](#)

[II](#)

[III](#)

[IV](#)

[V](#)

[VI](#)

[VII](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

8

9

10

11